

# РОМЕН ГАРИ

## Корни неба

im WERDEN VERLAG  
DALLAS AUGSBURG 2003

ROMAIN GARY

Les racines du ciel

im WERDEN VERLAG  
DALLAS AUGSBURG 2003

Ромен Гари  
*Корни неба*

Romain Gary  
*Les racines du ciel*

The book may not be copied in whole or in part.  
Commercial use of the book is strictly prohibited.  
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Gallimard, 1956  
©Издательство Полярис, 1994  
©Е. Гольшева, перевод с французского, 1994  
©«Im Werden Verlag», 2003  
<http://www.imwerden.de>  
[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon [books@tumana.net](mailto:books@tumana.net)  
Generated by L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>

## ОТ АВТОРА

*Событий, описанных в этом романе, в действительности никогда не происходило. И персонажей, изображенных в нем, никогда не существовало.*

*Я выбрал местом действия моей истории Французскую Экваториальную Африку потому, что я там жил, и тем самым мог избежать всякого сходства с подлинной местностью, людьми и обстоятельствами,*

*А может, потому, что я не забыл, как именно ФЭА первая откликнулась на знаменитый призыв бороться против бесправия и отчаяния, и что отказ моего героя подчиниться человеческой слабости и жестокому закону, под которым мы живем, отозвался в моем сознании другими легендарными временами. . .*

*Тема моей книги отражает реальный факт: истребление великой африканской фауны, и особенно слонов. . .*

*Что же касается более общей проблемы защиты природы, то в ней, естественно, нет ничего специально африканского; об этом мы давненько вопим не своим голосом.*

*А тем, кого удивит моя забота о красоте нашей земли, кто, быть может, сочтет эту заботу «претенциозной» или чрезмерной в ту пору, когда мы должны защищать само достоинство человечества, которому грозят самые древние силы зла, я отвечаю, что верю в нашу душевную щедрость, – она позволит нам отяготить себя заботой и о слонах, как бы ни трудна была наша борьба и как бы ни жестоки были условия поступательного движения в будущее.*

*Люди всегда отдавали самое дорогое, чтобы сберечь в жизни хоть какую-то ее красоту.*

*Какую-то красоту ее природы. . .*

*И наконец, так как в романе попутно затронут национальный вопрос, то для тех, кто желал бы знать точку зрения на это автора, я хочу сказать следующее: в моей книге отражен важнейший для всех нас вопрос о защите природы и задача эта настолько громадна по своим последствиям в эпоху водородной бомбы, нищеты, поработленного сознания, рака и целей, которые оправдывают средства, что только могучее усилие нашего гения и то людское братство, на которое мы способны, могут эту задачу решить. Я, во всяком случае, не понимаю, как можно возложить ответственность за это благородное дело на тех, кто черпает свою политическую силу из первобытных источников расовой и религиозной ненависти или же из пламенной мистики. История нашего века доказала с кровавой неопровержимостью – в моей семье из восьми человек погибло шестеро, а из двухсот моих товарищей – летчиков 1940 года в живых осталось пятеро, – что националистические принципы всегда утверждаются могильщиками свободы, что никакие права человеческой личности не соблюдаются на триумфальных дорогах «строителей тысячелетнего царства», гениальных «отцов народов» и «меча Ислама» и что, применив кое-какую сноровку, обеспечив себя для начала крепкой партией, потом крепкой полицией и хотя бы толикой трусости у противника, не так уж трудно расправиться с народом во имя права народов распоряжаться своей судьбой.*

*Я верую в личную свободу, в терпимость и в права человека. Быть может, и тут речь идет об анахронизме – о вышедших из моды слонах, громоздком пережитке ушедшей геологической эпохи, – о гуманизме. Я так не думаю, потому что верю в прогресс, а*

*истинный прогресс неотъемлем от условий, необходимых для его движения. Возможно, что я обманываюсь и моя вера – лишь простая уловка инстинкта самосохранения. Тогда я надеюсь погибнуть вместе с ними. Но не раньше чем попытаюсь их защитить всеми силами от разгула тоталитаризма, националистов, расистов, мистиков и маньяков. Никакая ложь, никакая теория, никакое словоблудие, никакая идеологическая маскировка не заставят меня забыть их простодушного величия.*

*Я хочу поблагодарить Клода Эттье де Буаламбера за оказанную им техническую помощь, а также за то, что он, будучи президентом Международного комитета по охоте, не переставал поощрять фотоохоту и бороться со злоупотреблениями тех, кто находит психологическое удовлетворение в охотничьих трофеях. Я приношу свою благодарность также профессору де Хоорну, докторам Рене Ажиду, Конраду Сарториусу и всем, кто так дружески и с таким постоянством поддерживал меня, прежде всего Жану де Липковски, Ли Гудмэну, Роже Сент-Обэну и Анри Оппно, которому я посвящаю свою книгу.*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

Дорога с рассвета шла по холму, сквозь заросли бамбука и трав, где и лошадь, и всадник зачастую совсем пропадали из виду; потом снова появлялись белый шлем иезуита, крупный костистый нос, мужественный насмешливый рот и пронзительные глаза, которым куда привычнее было созерцать безбрежные просторы, чем страницы требника. Будучи высок ростом, он плохо умещался на пони по кличке Кирди; ноги, покрытые сутаной, упирались в слишком короткие стремяна и были согнуты под острым углом – всадник порою чуть не вываливался из седла, когда резко поворачивал свой конкистадорский профиль, чтобы полюбоваться окружающим пейзажем: горы Уле производили на него какое-то особое, радостное впечатление. Три дня назад он оставил раскопки, которые возглавлял по поручению французского и бельгийского институтов палеонтологии, и, проехав часть пути в джипе, вторые сутки подряд трясся в сопровождении проводника верхом через заросли, направляясь к тому месту, где должен был находиться Сен-Дени. Проводника он не видел с самого утра, но тропа шла прямо, и временами впереди слышались шелест травы и стук деревянных башмаков. То и дело его одолевала дремота, нагоняя дурное настроение: он не любил вспоминать о своих семидесяти годах, но после семи часов, проведенных в седле, уже не мог справиться с некоторой приятной расслабленностью, которую осуждали совесть духовника и разум ученого. Иногда он останавливался и поджидал слугу с лошадью, которая везла ящик с кое-какими интересными обломками – результатом последних раскопок, – и рукописями – с ними он не расставался никогда. Дорога поднималась не очень круто; у холмов были мягкие склоны, порой они начинали шевелиться, оживать – там двигались слоны. Небо как всегда было непроницаемым, дымчатым, светящимся, затянутым испарениями африканской земли. Даже птицы, казалось, могли в нем заблудиться. Тропа пошла вверх, и на одном из поворотов иезуиту открылась равнина Ого, поросшая густой курчавой растительностью, которая ему не нравилась; она так же отличалась от величественных лесов экватора, как грубая щетина от пышной шевелюры. Он рассчитывал добраться до места в полдень, но лишь к двум часам дня поднялся на вершину холма. Перед палаткой начальника он увидел слугу, который, присев у догоравшего костра, чистил котелки. Иезуит сунул голову в палатку, где на походной койке спал Сен-Дени. Гость не стал того будить, подождал, пока и для него поставили палатку, привел себя в порядок, выпил чаю и немного поспал. Проснулся он с ощущением усталости во всем теле. Полежал какое-то время, вытянувшись на спине, подумал, как грустно, что ты так стар, что времени у тебя осталось немного и надо довольствоваться теми знаниями, которые ты успел приобрести. Наконец он выбрался наружу и нашел Сен-Дени, который курил трубку и глядел на холмы, еще освещенные солнцем, но уже словно бы тронутые неким предчувствием. Сен-Дени был невысок ростом и лыс, щеки его заросли косматой бородой, а глаза, занимавшие, казалось, чуть не все изможденное лицо с высокими скулами, были прикрыты очками в стальной оправе; узкие, сутулые плечи говорили о сидячем образе жизни, хотя их обладатель и являлся последним хранителем огромных африканских стад. Мужчины немного поболтали об общих знакомых, обменялись слухами насчет войны и мира, потом Сен-Дени расспросил отца Тасена о работе; его особенно интересовало, правда ли, что в связи с последними открытиями в Родезии можно утверждать, будто Африка действительно колыбель человечества? Наконец иезуит задал свой вопрос. Сен-Дени словно и не удивился, что выдающийся член Святейшего Братства в возрасте семидесяти лет, имеющий среди миссионеров репутацию человека,

гораздо более занятого наукой о происхождении человека, чем спасением души, проехал два дня верхом, чтобы расспросить о девушке, чья красота и молодость, казалось, не должны интересовать ученого, привыкшего вести счет на миллионы лет и целые геологические эпохи. Поэтому отвечал он откровенно, со все возрастающим жаром и странным чувством облегчения. Потом он не раз спрашивал себя, не приехал ли отец Тассен только для того, чтобы помочь ему скинуть бремя одиночества и воспоминаний, которые так его угнетали? Иезуит слушал молча, с какой-то отчужденной вежливостью, ни разу не пытаясь помочь утешениями, которыми так славилась его религия. Разговор затянулся до ночи, но Сен-Дени продолжал свой рассказ, прервавшись лишь однажды, чтобы приказать слуге Н'Голе зажечь костер. Пламя сразу же прогнало с неба последние проблески света, и им пришлось отодвинуться от огня, чтобы не лишиться общества холмов и звезд.



## II

«Нет, я не могу утверждать, что хорошо ее знал, но много о ней думал, а это тоже способ общения. Она не была со мной откровенна и даже честна: из-за нее меня лишили управления округом, которым я так дорожил, и поручили надзор за этими громадными стадами африканских животных. Мои наивность и доверчивость доказывали, что я куда больше приспособлен управлять животными, чем людьми. Я не жалуясь, наоборот, считаю, что со мной поступили даже мягко; меня ведь могли просто-напросто выслать из Африки, а в моем возрасте такую встряску и не переживешь. Что же касается Мореля. . . О нем уже все сказано. Думаю, что этот человек в своем одиночестве зашел дальше других, а это, между прочим, большое достижение, ибо, если уж побивать рекорды одиночества, не каждый из нас откроет в себе чемпиона. Он часто приходит ко мне в бессонные ночи – сердитый, с тремя глубокими складками на высоком упрямом лбу под взъерошенными волосами, держа свой знаменитый портфель, набитый петициями и воззваниями в защиту природы, с которым не расставался. Я часто слышу его голос с неожиданными для образованного человека простонародными нотками: «Все очень просто. Собак нам уже мало. Люди ощущают себя до смешного одинокими, им нужно общение, им нужно нечто крупное, могучее, на что можно положиться, нечто и в самом деле обладающее стойкостью. Собак людям уже мало, им нужны слоны. Поэтому я и не желаю, чтобы их трогали». Он заявляет это совершенно серьезно, стукнув по прикладу карабина, словно чтобы придать больше весу своим словам. О Мореле говорили, будто его приводила в отчаяние людская порода и он был вынужден защищать свою чрезмерную раннимость с оружием в руках. Говорили без шуток, что он – анархист, который решил пойти дальше других, порвать не только с обществом, но и с человеческой породой вообще, – «волю к полному разрыву» и «к выходу из человеческой особи», – вот что эти господа ему чаще всего приписывали. Более того, всей этой чепухи им было мало, я нашел в Форт-Ашамбо старые журналы с совсем уж глубокомысленным объяснением. Оказывается, слоны, которых защищал Морель, всего-навсего символы, и даже символы поэтические, а этот бедолага мечтал о чем-то вроде Исторического Заповедника, похожего на заповедники в Африке, где запрещена охота и где все наши духовные ценности, нелепые, даже отчасти уродливые и уже нежизнеспособные, так же как наши древние права человека, – эти пережитки ушедшей геологической эпохи – будут сохранены во всей своей красе как духовное наследие нашим правнукам». Сен-Дени беззвучно рассмеялся и покачал головой: «Что тут сказать. Мне тоже не все понятно, но придумать такое!.. Я вообще больше руководствуюсь сердцем, чем разумом, такая у меня натура, – и думаю иногда, что так легче что-либо понять. Поэтому не ждите от меня чересчур мудрых рассуждений. Могу лишь предложить кое-какие обломки, в том числе и себя. А в общем полагаюсь на вас – вы ведь привыкли иметь дело с раскопками, так сказать, восстанавливать истину из осколков. Говорят, будто в своих сочинениях вы предрекаете эволюцию нашей породы к совершенной духовности и всеобщей любви и что якобы этого можно достичь очень быстро, – полагаю, что на языке палеонтологии, который не вполне соответствует языку человеческих страданий, слово «быстро» означает какие-нибудь ничтожные сотни тысячелетий и что вы придаете старому христианскому понятию спасения смысл биологических мутаций. Признаюсь, мне трудно представить, какое место займет в такой грандиозной перспективе бедная девушка, помогавшая утолять далеко не духовные потребности. Ну ладно, допустим, что сойдет и Минна, я ведь знаю, какую скромную, но необходимую роль играют

в Священном Писании блудницы, – но какое место в ваших теориях и ваших пристрастиях может занять такой человек, как Хабиб, какой смысл можно придать тому беззвучному смеху, от которого столько раз на дню и без видимой причины трясется его черная борода, когда, растянувшись в шезлонге «Чадьена», натянув морскую фуражку, беспрерывно обмахиваясь бумажным веером, украшенным пурпурной маркой американского лимонада, и жуя мокрую погасшую сигару, он глядит на искрящиеся воды Логоне? Надо сказать, что, если вы ехали сюда, чтобы узнать причину этого вселенского смеха, ваши два дня верхом пропали не совсем даром. Я могу предложить свое объяснение. Знаете, я много об этом думал. Мне даже приходилось просыпаться в палатке, одному как перст, глядя на самый прекрасный пейзаж в мире, – я говорю о ночном африканском небе, – и спрашивать себя, что за причина может заставить такого негодяя, как Хабиб, беззаботно и весело смеяться? И пришел к выводу, что этот наш ливанец – человек на редкость хорошо приспособленный к жизни, что взрывы утробного смеха означают: он целиком с этой жизнью в ладу, их взаимопонимание и полное, нерушимое согласие – просто счастье, да и только. Из них получилась прекрасная пара. Вы, пожалуй, сделаете тот же вывод, что и кое-кто из моих молодых сослуживцев: Сен-Дени превратился в старого спесивца, стал ото всех обособившимся, сварливым злыднем – «он уже не наш»; там ему и место, среди диких зверей, в заповедниках, куда его благоразумно и заботливо сослало начальство. И все же трудно было не поражаться тому здоровью и довольству, которые излучал Хабиб, его геркулесовой силе, земной устойчивости, хитроумию подмаргиванию, не предназначавшемуся никому в особенности, обращенному, казалось, к самой жизни, а помня, до чего удачлива была карьера этого подлеца, нельзя было не сделать кое-каких выводов. Вы же несомненно знали его не хуже меня, когда он заправлял делами отеля «Чадьен» в Форт-Лами вместе со своим молодым подопечным де Врисом, после того как это заведение во второй или третий раз перешло из рук в руки, – раньше дела там шли не блестяще. По крайней мере пока не появились господа Хабиб и де Врис, которые открыли бар, выписали барменшу, устроили танцевальную площадку на террасе над рекой и стали шеголять всеми признаками растущего благосостояния, истинные источники которого обнаружились гораздо позже. Де Врис делами отеля не занимался. В Форт-Лами его видели редко. Большую часть времени он проводил на охоте. Когда Хабиба расспрашивали, куда делся его компаньон, он беззвучно смеялся, а потом, вынув изо рта сигару, делал широкий взмах рукой в сторону реки, голенастых пеликанов, которые рассаживались в сумерки на песчаных отмелях, и кайманов, подражавших древесным стволам на берегу Камеруна.

«Что поделаешь, милый мальчик не очень-то в ладу с природой, – он преследует ее повсюду. Лучший стрелок в здешних местах. Показал себя в Иностранном Легионе, а теперь должен довольствоваться более скромной дичью. Настоящий спортсмен в полном смысле слова, – Хабиб всегда говорил о своем компаньоне со смесью восхищения и издевки, а иногда даже с ненавистью. Нельзя было не заметить, что дружба между этими людьми скорее объясняется какой-то тайной взаимосвязью, независимой от их воли. Я видел де Вриса всего раз, вернее, встретил на дороге возле Форт-Ашамбо, когда он возвращался с охоты в джипе, который вел сам и за которым ехал грузовичок. Прямой и тощий как жердь, с волнистыми светлыми волосами и довольно красивым лицом прусского типа. Он посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами, взгляд которых показался мне, несмотря на мимолетность встречи, просто поразительным. Де Врис заливал в бак бензин из канистры и, когда я подъехал, уже кончал заправку. Помню также, что на коленях он держал ружье, отличавшееся удивительной красотой: приклад был инкрустирован серебром. Он тронулся с места, не ответив на мое приветствие, бросил грузовичок на произвол судьбы, а я остался поболтать с шофером-сара, который объяснил, что они возвращаются из похода в район Ганды и что «хозяин охотится

все время, даже когда дождь». Движимый непонятным любопытством, я приподнял брезент грузовичка. И надо сказать, был вознагражден. Грузовичок был буквально набит «трофеями»: бивнями, хвостами, головами и шкурами. Но самым удивительным были птицы. Там были пернатые всех цветов и размеров. А красавчик де Врис явно не собирал коллекции для музеев, потому что большинство этих птиц были изрешечены дробью до неузнаваемости и уж во всяком случае не годились для лицезрения. Наши правила охоты таковы, каковы они есть, не мне их защищать, но они не разрешают подобное варварство. Я порасспросил шофера, который с гордостью мне рассказал, что «хозяин, он охотится для развлечения». Я не выношу местной тарабарщины, – это, может, самое постыдное, что есть у нас в Африке, поэтому заговорил с ним на языке сара и через четверть часа столько узнал о спортивных подвигах де Вриса, что, вернувшись в Форт-Лами, влепил тому колоссальный штраф, хотя это, конечно, ничего не дало: есть люди, которые, как вы сами знаете, готовы заплатить любую цену, чтобы потешить душу. К тому же я закатил скандал на террасе «Чадьена» покровителю юнца и попросил умерить пыл голландца. Хабиб от души посмеялся. «Чего же вы хотите, милый? Благородная натура, насущная потребность чистоты, отсюда яростное противоборство с природой, иначе и быть не может. У него это вроде постоянного сведения счетов. Он член ряда охотничьих обществ, неоднократно получал награды, великий зверолов перед Господом, который, к счастью, в хорошем укрытии, не то бы...». Он развеселился. «Поэтому де Врису и приходится довольствоваться тем, что под рукой, всякой мелочью – гиппопотамами, слонами, птичками. По-настоящему крупная дичь на глаза не попадается, предусмотрительно прячется. А жаль, хорошо бы в нее пальнуть. Бедному мальчику, верно, по ночам это даже снится. Выпейте лимонада, я угощаю». Он продолжал, как всегда, обмахиваться веером, развалившись в шезлонге, и я оставил его в покое, он ведь у себя дома. Он бросил вдогонку: «И не стесняйтесь насчет штрафа – что положено, то положено. Дела идут неплохо».

Они и в самом деле шли неплохо.

Причина процветания, удивлявшего тех, кто знал, какие денежные затруднения испытывали прежние владельцы «Чадьена», открылась самым неожиданным образом. К востоку от Ого попал в аварию грузовик, набитый ящиками с лимонадом; произошел взрыв, который трудно было объяснить содержанием в лимонаде газа. Выяснилось, что господина Хабиб и де Врис принимали деятельное участие в контрабанде оружием, которое доставляли древними путями работоторговцев в глубь Африки с нескольких хорошо известных баз. Вы же знаете о той подспудной борьбе, которая ведется вокруг нашего древнего материка: ислам все больше давит на первобытные племена, перенаселенная Азия постепенно вынашивает мечту об экспансии в Африку, и урок бесплодной войны, которую англичане вот уже три года ведут в Кении, ни для кого не прошел даром. Хабиб расположился в этой обстановке еще удобнее, чем в своем шезлонге, и справка о его прошлых судимостях, которую наконец-то догадались затребовать, оказалась просто гимном этому подлому миру. Но к тому времени он уже сбежал вместе со 32 своим красавчиком-компаньоном, этим врагом природы, без сомнения предупрежденный одним из тех секретных посланий, которые почему-то всегда вовремя приходят в Африке, хотя ничто никогда не выдает спешки или тревоги на непроницаемых лицах наших мечтательных и ласковых арабских купцов, сидящих в прохладной полутьме своих лавчонок так, словно их вовсе не касаются треволения взбудораженного мира. Словом, эти двое исчезли, чтобы снова появиться, – что, если хорошенько подумать, естественно, – в ту минуту, когда звезда Мореля достигла своего апогея и они могли воспользоваться последними лучами той земной славы, которая так подходила к их типу красоты.

### III

Однако именно Хабиб, как только приобрел «Чадьен», превратив его при помощи неона в «кафе-бар-дансинг», задумал оживить несколько унылую атмосферу этого заведения, – уныние особенно ощущалось на террасе, над берегом Камеруна, словно ощеренным от безлюдья, под бескрайним небом, которое словно было задумано для каких-то доисторических животных – именно он задумал оживить чересчур тоскливую атмосферу женским присутствием. Он загодя сообщил о своем намерении посетителям и твердил об этом всякий раз, когда присаживался к их столикам, обмахиваясь своим рекламным веером, с которым никогда не расставался, – веер выглядел особенно игриво в его громадной ручище, – он садился, похлопывал по плечу, словно желал ободрить, призывал еще немножко потерпеть, он ведь о нас печется, да, он кое-кого пригласит, это входит в его планы реорганизации, но имейте в виду, не кокотку, а просто милую девушку, он отлично понимает, что его приятелям, особенно тем, кому надо протопать пятьсот километров, чтобы выйти из глуши, надоедает сидеть в одиночестве, когда хочется промочить горло, им нужно общество. Он тяжело поднимался и повторял свои посулы за другим столиком. Надо признать, что ему удалось создать атмосферу любопытства и ожидания – всеми овладел интерес, не без оттенка жалости и насмешки, что же за девушка попадет в эту ловушку, но я уверен, что среди нас были бедняги – видите, я от вас ничего не скрываю, – которые тайком уже мечтали о ней. Вот почему Минна стала темой разговоров в самых затерянных уголках колонии Чад задолго до своего появления, а за это время кое-кто из нас снова мог убедиться, что годы, одиноко проведенные в джунглях, не могут убить весьма живучие потребности и что легче перепахать участок площадью в сто гектаров в разгар сезона дождей, чем проникнуть в тайные уголки нашего воображения. И когда она однажды вышла из самолета, с чемоданом, в берете, нейлоновых чулках, привлекая взгляд высоким ростом и незаурядным лицом, если не обращать внимание на его встревоженное выражение, понятное в этих обстоятельствах, можно с полным правом сказать, что ее ждали. Хабиб, как видно, написал в Тунис своему другу, содержателю ночного ресторана, где Минна исполняла свой номер «стриптиза». Он точно объяснил, что ему требуется: хорошо сложенная девушка, со всем, что надо, там где полагается, предпочтительно блондинка, которая может управляться с баром, петь, а главное, быть приветливой с клиентами, – ну да, прежде всего тут требовалась услужливость, он не хочет никаких неприятностей, вот что самое главное. Но и проститутка не подходит – не такое у него заведение, ему нужна просто девушка, ласковая с мужчиной, которого он, Хабиб, ей порекомендует. Хозяин тунисского кабаре, заметив, что Минна – блондинка, и вспомнив, что она – немка и документы ее не совсем в порядке, а это может служить залогом покорности, передал ей предложение Хабиба.

– И вы его тут же приняли?

Такой вопрос ей задал во время следствия комендант Шелшер, уже после бегства Хабиба и де Вриса, когда открылись кое-какие подробности их деятельности. Он вызвал Минну к себе, чтобы самому разобраться в тех обвинениях, которые выдвинул против нее Орсини. Следствие вела полиция, но военные власти давно беспокоило появление на границе с Ливией отрядов отлично вооруженных феллахов, поэтому связи Хабиба в Тунисе и других местах заслуживали особого внимания. Мало кто так хорошо знал пограничные районы, как Шелшер, который пятнадцать лет объезжал пустыню на верблюдах во главе отряда французских колониальных войск, от Сахары до Зиндера и от Чада до Тибести; все кочевые племена, завидев на

горизонте песчаные вихри, поднятые верблюдами, приветствовали его издалека. Вот уже год, как впервые в своей жизни он занимался сидячей работой – губернатор Чада, встревоженный контрабандным потоком современного оружия, который просто хлынул на всю территорию колонии, проникнув до самых глухих уголков джунглей, назначил его советником по особым делам. Минна вошла в кабинет коменданта под конвоем двух стрелков, совершенно обезумевшая от допроса, который ей учинили в полицейском управлении, уверенная, что ее вот-вот выставят с единственного клочка земли, к которому она на удивление так привязалась.

– Мне тут хорошо, понимаете! – кричала она, рыдая, Шелшеру с таким немецким выговором, от которого непроизвольно сводило скулы. – Когда я по утрам отворяю окно и вижу, как тысячи птиц стоят на песчаных отмелях Логоне, я счастлива! Ничего другого мне не надо. . . Мне тут хорошо, да и куда же я денусь?

Шелшеру было не свойственно предаваться ироническим размышлениям перед лицом чужого горя, каково бы то ни было, однако на этот раз он не мог не улыбнуться в душе: в его практике впервые высылка из ФЭА приравнивалась к изгнанию из райских кущей. Тут, видно, сказалось не слишком счастливое прошлое, потому, как мне кажется, у него и зародилась жалость. Он сразу же понял, что Минна ничего не знала о нелегальной деятельности своего хозяина, которому служила ширмой, частью маскировки, каковой являлась роскошная обстановка «Чадьена»: две карликовые пальмы в ящиках на террасе, торговля лимонадом, проигрыватель, поцарапанные пластинки и одна-две парочки, которые по вечерам отваживались выйти на танцевальную площадку. Шелшер приказал принести кофе и бутерброд – Минну подняли с постели в пять часов утра – и больше не задавал ей вопросов, но она, глядя на него с тревогой, все пыталась объяснить, горячо и в то же время смиренно, порой доходя до крика, так страстно она желала, чтобы ей поверили. Может быть, Минна прочла во взгляде Шелшера дружеское расположение, которое нечасто замечала во взглядах мужчин, а она ведь так нуждалась в сочувствии. Она непременно должна рассказать все, что знает, настаивала девушка, право же, ей не в чем себя упрекнуть и не хочется, чтобы на ней висело какое-то подозрение. Она прекрасно понимает, что ее могут подозревать. Спрашивается, каким образом она, немка, да еще с сомнительными документами, оказалась в Чаде?.. Но какая связь между этим и обвинением в пособничестве тем, кто промышлял в контрабанде оружием, в том, что она будто бы злоупотребила гостеприимством, оказанным ей в Форт-Лами, в то время, как у нее не было другого убежища. . . Губы ее дрожали, слезы снова потекли по щекам. Шелшер нагнулся и мягко дотронулся до ее плеча.

– Успокойтесь, – сказал он, – никто вас ни в чем не обвиняет. Скажите мне только, почему вы приехали в Чад и как познакомились с Хабибом?

Она подняла голову, прижав платок к носу, и пристально поглядела на коменданта, словно решая, может ли сделать такое признание. Она приехала в Чад, – объяснила Минна, – потому что ей больше было не вмоготу, так не хватало тепла, и еще потому, что любит животных. Ох, она прекрасно понимает, что такое объяснение не слишком убедительно, но что поделаешь, это правда. Шелшер не выказал ни удивления, ни недоверия. Если человек нуждается в тепле и в дружбе, – удивляться нечему. Но эта бедняжка, как видно, порядком намучилась, если удовольствовалась африканской жарой, дружбой нескольких прирученных животных и мечтала как о чуде о большом стаде слонов, которое изредка показывалось на горизонте. В этом была такая покорность судьбе, которая не могла его не растрогать. Минна казалась удивительно беззащитной и еще более потерянной здесь, на этой земле, чем все кочевники, каких ему когда-либо приходилось встречать.

– А Хабиб?

Что ж, она и это может объяснить. Но ей надо вернуться на несколько лет назад. Родители

ее погибли во время бомбежки Берлина, когда ей было шестнадцать лет, и она стала жить с дядей, с которым раньше ее семья даже не общалась. Однако он все же о ней позаботился, когда она осталась одна, и даже устроил петь в ночное кабаре, хотя, надо признаться, голоса у нее нет. Год она выступала в «Капелле», – война уже была вроде проиграна и мужчинам нужны были женщины. Потом столицу заняли русские, ей пришлось пережить то же, что и другим берлинкам. Бои продолжались несколько дней, а потом кончились и командование навело порядок. А потом. . . Вид у нее стал смущенный, даже виноватый, и она поглядела в открытое окно. Потом с ней случилось то, чего она не ожидала. Она влюбилась в русского офицера. Минна опять замолчала и покорно взглянула на Шелшера, словно прося у него прощения. Ах, она отлично понимает, что он о ней думает. Ей уже столько раз тыкали этим в нос. В русского? Как было можно влюбиться в русского после всего, что произошло? Она с раздражением пожимала плечами. Но при чем тут национальность? Ее соотечественники очень на нее сердились. Соседи даже проходили, не здороваясь и глядя мимо нее. А те, кто посмелее, встречая Минну одну, громко высказывали, что они о ней думают. Как она могла влюбиться в человека, который, если можно так выразиться, прошелся по ней во главе своих солдат? Подозреваю, что они выражались фигурально, а она понимала эти слова буквально. Ну, это еще неизвестно! – с жаром объясняла она Шелшеру. Конечно, такие случаи были. Они пару раз говорили об этом с Игорем – так звали офицера, но сами ничего об этом не знали и, откровенно говоря, им было все равно. Сам он однажды побывал в одной из таких вилл, – он находился на фронте уже три года, а семью его расстреляли немцы; к тому же Игорь был слегка пьян. Но нельзя же судить людей по их отношению к подобным вещам, особенно в разгар войны, когда они дошли до ручки. . . Минна снова посмотрела на Шелшера, но комендант ничего не сказал, потому что говорить было нечего. Тогда она стала рассказывать об Игоре. Он ей сразу понравился: в лице у него было что-то веселое, привлекательное, как у многих русских и американцев. . . и французов тоже, – неловко поправилась она. Минна с ним познакомилась в доме у дяди, – на первом этаже были расквартированы военные; он несмело стал за ней ухаживать, приносил цветы, делился пайком. . . Как-то вечером он ее наконец неуклюже поцеловал в щеку, – она улыбнулась, касаясь рукой щеки и вспоминая тот момент. – «Это был первый поцелуй в моей жизни», – сказала она, снова кинув на Шелшера светлый взгляд.

## IV

Сен-Дени прервал свой рассказ и глубоко вдохнул, словно ему вдруг понадобилась вся свежесть ночи, «В конце концов, наверное, существует такое, чего не уничтожить. Право же, можно поверить, что человека ничем не сокрушить. Такое это создание, над ним нелегко одержать победу». Иезуит наклонился к огню, вынул горящую ветку и поднес к сигарете. Отсветы пламени пробежали по его длинным седым волосам, по сутане и по лицу, словно вытесанному топором и похожему на те каменные изваяния, чьи следы он неустанно отыскивал в недрах земли. С наступлением ночи он, казалось, обращал внимание только на звезды, но Сен-Дени хорошо знал иезуита, и этот отрешенный взгляд, устремленный ввысь и будто перебиравший четки бесконечности, не мог его обмануть. «Да, отец мой, вы несомненно правы, когда призываете меня отчасти отказаться от своих привычек, признаюсь, мне все труднее рассказывать, я все больше озадачен, а ночи, даже самые звездные, дарят тебе только красоту, но не разрешают вопросов. Но вернемся к Минне, ведь это ей мы, как видно, обязаны появлением в самом сердце страны уле, на холмах слонового заповедника, которым а нынче ведаю, знаменитого члена Иезуитского ордена, для которого изучение доисторических эпох до сих пор считалось единственным земным интересом. Но быть может, великий орден тоже обуреваем желанием провести следствие и вам поручил составить досье, – чего ведь только не говорят об иезуитах!» Он посмеялся в бороду, и отец Тассен вежливо улыбнулся в ответ. «Значит, вернемся к Минне. Она рассказала, что шесть месяцев была совершенно счастлива, а потом офицер получил приказ о переводе на другое место. Ни он, ни Минна не предвидели такой возможности, хотя ее можно было предусмотреть. Но их счастье было таким безграничным, что не допускало и мысли о конце. Офицеру дали на сборы сорок восемь часов, и он не мешкая решил бежать с Минной во французскую зону. Она объяснила, что они выбрали французскую зону потому, что у французов репутация людей, которые больше понимают в любовных делах. Им, как видно, нужна была помощь. Но они сделали большую ошибку, посвятив в свой замысел дядю. Так как тот весь погряз в, нелегальных делишках, им казалось, что тут-то он им и поспособствует. Дядя спрятал Игоря у своего дружка, а потом выдал его русским. Трудно понять, что его на это подвигнуло. Может, и патриотизм, – ведь хотя бы одним русским офицером будет меньше; а может, наоборот, желание угодить властям, но возможно, что ему просто нравилась Минна как женщина. Минна высказала это предположение мимоходом, словно и не подозревая вовсе, какие бездны тут приоткрылись.

Шелшер не дрогнул. Он продолжал курить трубку, только крепче обхватил ее пальцами, чтобы почувствовать ладонью дружеское тепло. Возможно, что в это время он уже окончательно принял решение, так удивившее всех, кто его знал, кроме Хааса, – он-то, я должен признать, предвидел все заранее. «Все эти бывшие кавалеристы помнят только об отце де Фуко\*, – сказал он в один из своих редких кратковременных наездов в Форт-Лами. – И Шелшер не исключение». Короче говоря, продолжала Минна, Игоря арестовали, и она никогда больше ничего о нем не слышала. Ну, а сама она вернулась в «Капеллу». За прогул ей вычли недельное жалованье. Она снова жила у дяди. В то время в развалинах Берлина было почти невозможно найти жилье, и Минне казалось естественным поселиться в своей комнате. К тому же ей все стало безразлично. Дяде, благодаря его связям, нетрудно было добывать

---

\*Шарль Эжен Фуко – исследователь Африки, миссионер (1858-1916), автор «Духовных записей». (Здесь и далее примеч. пер.)

уголь, а у нее если и осталось какое-то чувство, то разве что ненависть к холоду. Хотя она с трудом переносила атмосферу, царившую в Берлине. Мечтала убежать, уехать куда-нибудь далеко, очень далеко, туда, где более мягкий климат. При виде каждого русского солдата у нее щемило сердце. Видно, ей не хватало и витаминов, потому что все время было ощущение, будто она подышает от холода. Конечно, – сказала она Шелшеру, явно стараясь быть справедливой и каждому отдать должное, – дядя был с ней довольно мил, поставил к ней в комнату большую печку, которая топилась круглые сутки. Но она мечтала жить в Италии или во Франции – солдаты, которые оттуда возвращались во время войны, рассказывали об этих странах с восторгом, показывали снимки апельсиновых садов, синего моря и мимоз. Как в той песне:

Kennst Du das Land, wo die Citronen blühen,  
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühen,  
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,  
Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht,  
Kennst Du es wohl?  
Dahin, dahin,  
Möcht ich mit Dir,  
O mein Geliebter, ziehen.

Она часто пела эту песню Миньоны на публике, пока в один прекрасный день, уже в самом конце войны, один эсэсовский офицер не вышел на эстраду и не дал ей пощечину; потом ее допрашивали в гестапо, обвиняя в том, что она с издевкой поет песни об отступлении германской армии из Средиземноморья. Она искала работу на юге и спрашивала о ней военных из оккупационных войск. В конце концов пианист из «Капеллы» помог осуществить ее мечту. Он участвовал в тунисской кампании в составе Африканского корпуса и проездом завязал знакомство с хозяином ночного кабаре, – там наверняка можно устроиться. Сложнее всего было выправить необходимые документы, на это ушли все ее сбережения, но, слава Богу, ей чуток повезло и через три месяца она уже была в Тунисе, выступая с номером стриптиза в «Корзине цветов». Там она прожила год, в общем не жалуясь, несмотря на более холодную зиму, чем она ожидала, и конечно, клиентов, которые к ней приставали. Но странное дело, у нее так и не проходило стремление сбежать, уехать еще дальше, все равно куда. Она вдруг рассмеялась и поглядела на Шелшера. «Вы, я вижу, скажете, что я вечно чем-то недовольна. Но так в самом деле и было, какое-то смутное томление, потребность быть где-то, только не здесь». Однажды вечером хозяин кабаре, тучный тунисец, который был с ней довольно мил, – он не любил женщин, – отвел ее в сторону и спросил, не хочет ли она поработать в баре отеля Форт-Лами. Надо обслуживать бар, иногда петь – голос иметь не обязательно, – а главным образом быть приветливой с клиентами. Нет, это не такое заведение, как она думает, – снисходительно сообщил он в ответ на вопрос, который она сразу же задала. Наоборот, это очень приличное место. Просто там, в Чаде, много одиноких мужчин, которые приезжают из джунглей и нуждаются в обществе. Она знала, что Форт-Лами далеко, на другом краю пустыни, в самом сердце Африки, что это совсем другой мир. Там она наконец утолит свою жажду тепла – даже в Тунисе ей порой бывало невыносимо. Вот почему, сама не зная как, она оказалась на террасе «Чадьена», откуда по утрам можно видеть тысячи птиц на песчаных отмелях; проснувшись, она прежде всего бежала поглядеть на птиц. Она обслуживала бар и тансинг, и вопреки ее опасениям Хабиб никогда не принуждал ее спать с кем бы то ни было, кроме одного раза, – поспешно поправилась она. Шелшеру было ясно, что об этом случае она



просто забыла. Он не стал ее дальше расспрашивать, но она сама поторопилась рассказать об этом. Да, как-то раз Хабиб вошел в бар и коротко сказал: «Сандро ты не откажешь, если он попросит»; и мсье Сандро, действительно, ее попросил, и она, конечно, сказала «да». Она замолчала, но так как Шелшер никак на это не отреагировал, она посмотрела на него с некоторым вызовом и пожала плечами: «Знаете, я таким случайностям уже не придаю никакого значения. Важно совсем не то». А что именно важно, она не сказала.

## V

Сандро был владельцем грузовиков, которые обслуживали глухие углы Африки, куда крупные автотранспортные компании отказывались посылать свои машины, не желая их гонять на трассах, которые шесть месяцев в году солидные люди считали непроезжими и где доживали свой век лишь несколько старых армейских грузовиков. Он упорно исследовал пути, которыми пренебрегали крупные транспортные компании, чересчур богатые, чтобы заниматься всякой ерундой, – сперва в одиночку, с трудом окупая расходы на содержание своего единственного тупоносого ловко угнанного «Рено», но уже через три года, во время бума, владел двадцатью пятью грузовиками, которые практически монопольно обслуживали второстепенные маршруты и, как говорили, с каждым годом все глубже вгрызались в джунгли, в то время как грузовики португальцев и Юго-Восточной автокомпании осторожничали, выжидая заключения экспертов о состоянии новых дорог и перспективах эксплуатации. Шелшеру было совершенно понятно, почему Хабибу хотелось задобрить владельца предприятия, который если и брал почти на десять процентов дороже за километр, не отказывался гонять свои грузовики по дорогам, еще наполовину скрытым водой, не задаваясь вдобавок вопросом, в сохранности ли мосты через реки. Его шоферов нередко можно было застать загорающими по двое суток в «rotonoto» перед каким-нибудь потоком, которого не было в прошлый проезд, либо увязшими по ветровое стекло в грязи, перед которой, кажется, бессильно даже солнце. Но, несмотря ни на что, груз в конце концов доходил по назначению, туда, куда в это время года не добирался никакой другой транспорт, к племенам, которые, по слухам, были недостижимы – к дибунам из Камеруна, крейхам на суданской границе и даже к уле. Подобное «окно» в джунглях было для Хабиба поистине бесценным, – он мог не сомневаться, что его товар, под вывеской того же американского лимонада, чья реклама украшала веер ливанца, дойдет к какому-нибудь торговцу-арабу или азиату, затерянному в дебрях Африки; к тому же дух предприимчивости Сандро вызывал у Хабиба восхищение и одобрение. Марселец же знать не знал, что за грузы ему доверяют, пока однажды один из его грузовиков не взорвался только потому, что съехал в канаву и перевернулся, а так как авария случилась очень далеко, полиции понадобилось две недели, чтобы задуматься над этим делом, и если бы господы Хабиб и де Врис все еще пребывали в Форт-Лами, они бы дорого заплатили хозяину грузовика за смерть шофера. Но тогда оба они были уже далеко и все, что оставалось Сандро, – побеседовать с Минной, чья очевидная непричастность и недоумение окончательно его взбесили. Ведь она и в глаза не видела Хабиба до своего приезда в Форт-Лами, доказательством чему служила фотография, которую ей пришлось ему послать; и не думала о поездке в ФЭА до того дня, пока не получила предложения от хозяина кабаре?

– И вы согласились так, сразу?

Да, согласилась не раздумывая. Она слышала рассказы о Чаде еще в детстве; ее отец преподавал в лицее естествознание; об этом она сообщила с ударением, словно показывая, что когда-то знавала лучшие дни. Она помнила, что Чад далеко, очень далеко, где-то в непролазных дебрях Африки, и сразу же представила громадные стада, которые мирно бродят по саванне. У нее ведь никого не осталось, – кроме берлинского дяди, – и она согласилась не раздумывая. . . «Я очень люблю природу и зверей», – горячо воскликнула она.

«Странная идея – только ради этого ехать в Чад, – дружелюбно заметил Шелшер. – Могли купить собаку».

Она отнеслась к его словам очень серьезно и даже оживилась: было видно, что Шелшер задел больное место. Ей трудно было бы держать собаку при той жизни, какую она вела. В Тунисе платили понедельно, постоянно грозили выбросить на улицу: она не могла взять на себя такую ответственность. А потом, понимаете, – пояснила Минна, – у собак ведь такое самолюбие. Она не раз это замечала. В Берлине у нее был старик-сосед, который среди бела дня копался в помойках. Старика обычно сопровождал пес. «И вы бы видели, какое выражение морды было у этой собаки! Клянусь, она отворачивала голову, словно не желала смотреть, как хозяин роется в отбросах; я уверена, что ей было за него стыдно. Вот, пожалуй, потому я и не хотела заводить собаку. . . » Она вдруг весело рассмеялась, что ей было очень к лицу. Шелшер впервые заметил, что она может быть красивой. «Не посмела. Но это не мешает мне любить их издали. Я из тех, кто гладит чужих собак. А если вам и правда хочется знать, почему я согласилась, могу сказать: ради собственного покоя, в Тунисе клиенты от меня не отставали, – вы же знаете, что значит раздеваться догола в ночном кабаре. И я в самом деле надеялась, что Чад – такое место, где можно найти убежище на лоне природы, среди слонов и мирных стад, которые бродят по саванне. И птиц. Вот почему я приехала. И знаете, не жалею, особенно когда утром открываю окно». Такое объяснение, услышанное от девушки, о которой довольно грубо и несправедливо говорили, будто ее такса «десять тысяч монет за ночь», показалось бы довольно нелепым и уж конечно неправдоподобным всем, кроме Шелшера. Высказанное на террасе «Чадьена», оно вызывало только усмешки и неодобрительное покачивание головой. Оно было просто находкой для Орсини, который потом, во время «событий» – в Чаде все понимали, что под этим подразумевается, – с восторгом знатока приводил ее слова в доказательство безграничной наивности коменданта. Но вы-то знали Шелшера, это был человек, умевший составить собственное мнение, и смешки за спиной его не трогали. Он сразу поверил Минне, когда, объясняя свой приезд в Чад, она поведала о любви к природе и потребности в тепле и дружбе, и, наведя кое-какие справки в Тунисе и Германии, оставил ее в покое.

Должен все же добавить, что единственные звери, которых она могла увидеть с террасы «Чадьена», где иногда подолгу простаивала, опершись о перила, после отъезда Хабиба и де Вриса, – кайманы, лежавшие на песчаных отмелях, пеликаны и антилопа, прирученная городским ветеринаром и в сумерки, до появления клиентов, обычно наносившая Минне визит вежливости.

Я как-то раз видел их вместе в конце дня – девушка обняла животное за морду с таким выражением детской радости, что бывший со мной полковник Бэбкок заметил: «Можно подумать, что ты за сто тысяч миль от всего. . . » – Он не уточнил, от чего именно, но вы понимаете.

Лицо иезуита по-прежнему было непроницаемым, и Сен-Дени, выждав секунду, продолжал: «Кстати, это был тот полковник Бэбкок, который, когда Минна уже стала в «Чадьене» легендой, а воспоминания о ней – достоянием тамошних обитателей, подошел, пожалуй, ближе всех к истине, разумеется как офицер и джентльмен, то есть соблюдая меру. Он довольно долго просидел в баре совсем один, не сказав за весь вечер никому ни слова, а потом поставил на стойку стакан и расплатился. Оставив сдачу, он вдруг строго сказал бармену, глядя на него невидящим взором:

– В сущности эта девушка нуждалась только в любви.

Никто даже не обернулся, хотя эта история занимала не только его. Вот вам и полковник Бэбкок. Жаль, что Иезуитский орден не может расспросить обо «всем», по его собственному выражению; к несчастью, для того, чтобы до него добраться, мало одной выносливости лошади и решительного священника». Иезуит улыбнулся: то, о чем полковник мог сказать, еще не

потеряно, вовсе нет!

«Теперь вы видите, что мы сами задаем себе ваш вопрос и то и дело мысленно возвращаемся к тем событиям, перебирая все мельчайшие подробности. Мне иногда кажется, что они продолжают совершаться, но в другом измерении, и что их участники, приговоренные к вечности, навсегда обречены переживать те же трудности и совершать те же ошибки, пока не вырвутся из этого адского круговорота благодаря порыву нашего братского участия. Мне кажется, они подают нам отчаянные знаки, всеми средствами привлекают наше внимание, порой даже бесстыдными, словно им во что бы то ни стало надо добиться понимания. Я уверен, что вы их видите так же отчетливо, как и я, что они снятся вам по ночам, как и мне, – не зря же вы сюда приехали».

Сен-Дени замолчал и повернулся к собеседнику, словно ожидая отклика или подтверждения. Скрестив руки на груди, иезуит сидел с поднятой головой. Лунный свет блуждал по холмам, звезды, рассыпавшись до краев равнины, продолжали настойчиво и ясно учить отрешенности. Порой слышался топот проходящего стада. Отец Тассен взял сигарету и закурил. Он спрашивал себя не без иронии, обнаружит ли в конце концов то, ради чего приехал, или ему придется удовольствоваться тем, что уже знает. Он подумал, что в его годы терпение перестает быть добродетелью, оно становится роскошью, которую все меньше и меньше можешь себе позволить. Поэтому он слушал Сен-Дени внимательно, ловя малейшую подробность, и в то же время предавался воспоминаниям, пытаясь их себе уяснить раз и навсегда. Завораживающий покой окрестных холмов и взволнованный голос рассказчика должны были помочь ему разобраться наконец в этой истории со всей беспристрастностью ученого.

## VI

Он вовсе не был похож на «отщепенца» – как его прозвали по аналогии с теми слонами, которые живут одни, тая ото всех полученную рану, и в конце концов становятся злобными и даже могут кинуться на человека. Довольно крепкий, кряжистый мужчина, с волевым и мрачноватым лицом, вьющимися каштановыми волосами, которые порой нетерпеливо откидывал; да и все, что делал, он делал резко, решительно, – чувствовалось, что колебания ему не по нутру. В Форт-Лами его почти не встречали. Позднее выяснилось, что он какое-то время все же прожил в туземной части города, – на него просто не обращали внимание. И дело было не в том, что он старался быть незаметным. Наоборот, он сумел чуть ли не всем надоесть своими путаными, дурацкими воззваниями к правительству. «Речь тут идет о деле, которое всех нас касается», – говорил он, вынимал из портфеля лист, аккуратно его расправлял и пальцем указывал место, куда надлежало поставить подпись; казалось, он был уверен, что никто не откажется, хотя внизу на бумаге не было ни единой фамилии. Обычно при слове «петиция» люди поворачивались спиной, заявляя, что они не занимаются политикой. «Послушайте, при чем тут политика? – раздраженно возражал он. – Речь идет о самой обычной гуманности». «Конечно, конечно!» – отвечали ему насмешливым тоном, по-приятельски хлопнув по плечу и спроваживая с показной вежливостью, которая все же обязательна по отношению к белому тут, в колонии. Он не настаивал, брал свою порыжевшую фетровую шляпу и молча уходил, даже не взглянув на собеседника, с невозмутимым видом человека, уверенного, что последнее слово останется за ним. Те, кто давали себе труд пробежать его петицию, – Орсини, к примеру, знал ее чуть не наизусть, так как читал и перечитывал с угрюмым сладострастием, питая таким образом свою злобу ко всем, кого, по его словам, больше всего ненавидел, – людей, считающих, что им все дозволено, хоть и не уточнял, что именно им дозволено, – все, кто читали его петицию, говорили о ней в баре «Чадьен» со смехом, довольные, что есть тема для разговора, кроме падения цен на хлопок или последних зверств мо-мо в Кении. Минна, которую иногда приглашали за столик, слушала эти пересуды, не спуская глаз с официантов, разносивших в сумерки, которые быстро погружали все в темноту, на террасе напитки, – от всей Африки оставалось только небо, оно, казалось, спускалось, становилось ближе, чтобы лучше вас разглядеть, понять, откуда взялся весь этот шум. «Представляете, ко мне приходил какой-то псих и хотел, чтобы я подписал петицию о запрещении охоты на слонов в Африке. . . » Минна смотрела, как над рекой медленно кружит гриф. Каждый вечер он словно расписывался в небе, чтобы оно могло перевернуть еще одну страницу. На миг в тростниках противоположного берега показался скакавший галопом всадник – это был американский майор, который словно спасался от чего-то неминуемого, быть может, от самих этих сумерек; он уже много месяцев подряд проезжал там каждый вечер, в один и тот же час, словно слившись с невидимой стрелкой, неумолимо вращавшейся по циферблату, так хорошо знакомому Минне каждой своей отметиной: купы деревьев, три рыбацьи хижины, несколько пирог, горизонт, смазанный высокими травами, устье Шари, возле впадения Логоне, а дальше, к востоку, одинокая пальма в Форт-Фуро и снова бескрайнее небо, словно символ небытия.

– А кто-нибудь знает этого чудака?

Полицейский комиссар Котовский, «Кото» для своих подчиненных, – бывший легионер со шрамами на лице, напоминавшими ритуальные надрезы южных племен, сообщил, что этого чудака зовут Морель, что он уже больше года живет в Форт-Лами, но большую часть времени

проводит в джунглях. Он указал в анкете свою профессию: «зубной врач», но подлинная его страсть – слоны; братья Юэтт как-то видели его посреди стада из четырехсот животных, к востоку от Чада. Котовскому он тоже надоедал своей петицией. Тут, видно, мы имеем дело с помешанным, но совершенно безвредным. В ответ на это из полутьмы послышалось презрительное карканье Орсини, полное неудержимой злобы, – и все, кто его знали, отчетливо представили, несмотря на темноту, раздраженное, перекошенное лицо, будто кричавшее всему свету, что никому еще не удавалось провести Орсини д'Аквавиву: – «Зовите меня просто Орсини, – говорил он, – я не гордый», – что он видит всех насквозь, вывел на чистую воду, раскусил в первую же минуту, знает истинную цену, то есть не ставит ни в грош. Этот крик обладал странной способностью сжимать все мироздание до величины булавочной головки. Минне казалось, злорадные зубоскалы утверждают, будто единственное, чего можно ждать от жизни, – чтобы вы потом могли лишь вымыть зубы и прополоскать рот, что всем людским поступкам суждено завершаться каким-нибудь несусветным свинством. Она с первой же встречи отказалась иметь с ним какое бы то ни было, дело. Сразу же категорически отвергла все его заигрывания, отвергла с яростной, ожесточенной решимостью. С тех пор он величал ее только «немчурой», и когда в его присутствии произносили имя Минны, сразу замолкал, не принимал участия в беседе и равнодушно смотрел в сторону. Весь его вид говорил, что он, дескать, много знает, но не желает зря молоть языком, – пока не время. Иногда кто-нибудь из вновь приехавших попадался на крючок и начинал задавать ему вопросы. Орсини, поломавшись немного, раздражался речью. Уж не считают ли его простофилей? Пусть комиссара Котовского, если тому угодно, водят за нос или он сам закрывает на все глаза; что до него, то он давно понял, с кем имеет дело. Неужели они и вправду верят – а ведь люди серьезные, опытные, – что эта девица случайно попала в Форт-Лами, только потому, что не знала куда ей деваться? Неужели они верят, что такая ладная девица, – он-то лично не любитель «немчуры», – однако, надо признать, что у нее все на месте, – неужели такая девица приехала в ФЭА просто для того, чтобы служить в баре отеля «Чадьен» и кое с кем спать, – кое с кем, подчеркнул он, но не со всяким, выбор тут тщательный! Надо быть Шелшером, чтобы быть настолько наивным, а может, тут не наивность, а кое-что похлеще? А что же она, по его мнению, делает в Чаде? Орсини поводил плечами и поглубже усаживался в кресло. Он не желает об этом говорить. Во всяком случае, пока. Это дело Службы безопасности. Лично ему все глубоко безразлично. Он тут ни при чем. Это не значит, что в нужный момент он не заговорит и не назовет кого надо по именам; но пока скажет одно: сколько он в жизни ни охотился, следа никогда не терял, шел по нему до конца. Вот это пусть все и запомнят. Котовскому передавали эти высказывания, но комиссар относился к ним равнодушно, хотя однажды, встретив Орсини на базаре, мимоходом ему сказал со своим заметным славянским акцентом:

– Кстати, старина, у меня есть для вас интересная новость. Я, видно, все же выдворю отсюда Минну. Думаю доложить губернатору. Жены стали жаловаться. Уж больно она всем режет глаза. Я вам рассказываю об этом потому, что, говорят, вы тоже были недовольны, – и вы правы. Вот я и попрошу ее убрать свои прелести подальше.

Он произнес свою тираду, продолжая осматривать, вместе с врачом, руки женщин в черных одеждах, что сидели на корточках перед кучами земляных орехов, которые предлагали прохожим. От их пропитанных маслом волос исходил пронзительный, тошнотворный запах. Комиссар и врач проводили осмотр по той причине, что им донесли, будто у одной из женщин на руках проказа, а ведь очищенные от шелухи орехи. . . Орсини побледнел. Его кадык судорожно задергался. Он выдавил улыбку.

– Ах так, – пробормотал он, – принимаете решительные меры.

– Порой находит, знаете ли, – ответил комиссар. – Вы покупали арахис? Мне донесли, что у одной из торговков проказа.

– А мне плевать, – сказал Орсини, – она не заразная. Я ведь уже двадцать лет здесь живу.

– Знаю.

Кото взял горсть орешков и принялся грызть. Он знал, что прокаженную не найти, – она либо сбежала при их появлении, либо, что еще вероятнее, слух был уткой, пущенной сирийскими лавочниками, воюющими с базарными торговками. Орсини больше не произнес ни слова, но на следующее утро появился в управлении. Кото нашел его сидящим в приемной.

– Могу я вам сказать пару слов по делу, которое меня не касается?

– Давайте. Я прислушиваюсь к советам, особенно если их вам дает ветеран.

– Послушайте, Кото, почему бы вам не оставить эту девушку в покое?

Комиссар и глазом не моргнул. Он все понял. Одинокая девушка в самом сердце Африки, да в придачу еще немка, может какое-то время сопротивляться, но в один прекрасный день ей придется уступить, особенно другу своих хозяев. А злость, которую она вызывает у Орсини, можно утолить только одним способом.

– Ну ладно, – сказал он, – вижу, что вы один из счастливых избранных.

– Напрасно вы так легкомысленно к этому относитесь! – вспыхнув от ярости, возразил Орсини. – Вы когда-нибудь видели, чтобы такая смазливая девушка приезжала служить в баре в Форт-Лами?

– Я уже на многое насмотрелся, Орсини, в том числе и на вас, – ответил Кото.

– Она ведь приехала из Берлина, да? А я случайно получил оттуда кое-какие сведения. Она пела в ночном кабаке в русской зоне. Была любовницей советского офицера. Если вы думаете, что мо-мо сами всем обзавелись...

– Значит, есть еще одно основание от нее избавиться, не так ли?

– Разрешите заметить, что это была бы топорная работа. Наоборот, ее надо оставить здесь, но не спускать глаз. Помешать сняться с места, загнать в угол. Рано или поздно в этой стране она должна допустить промашку. И тогда можно будет заграбастать всех ее дружков.

– Понял, – серьезно ответил Кото.

– Можете на меня рассчитывать, буду держать вас в курсе. У меня свои источники информации.

– Спасибо.

Он пристально поглядел на Орсини. Тот побледнел, губы его дрожали, пытаясь растянуться в улыбку.

– Ваш диагноз, Кото? – спросил он с вызовом. – Я отпетый негодяй, не так ли?

Комиссар ничего не ответил и опустил глаза, разглядывая бумагу, лежавшую на столе. Орсини минуту помолчал, его тяжелое дыхание, казалось, наполняло комнату.

– Вот уже двадцать лет, как я живу в Африке... один. И если в первый раз мне кто-то понравился...

Комиссар продолжал смотреть на бумагу.

– Вы не выделите Минну, Кото? Вы так со мной не поступите? Нельзя же всю жизнь находить утешение только в охоте на слонов...

Он тихонько взял панаму, еще минуту подождал ответа, потом усмехнулся и вышел. Кото сидел, сжав челюсти и опустив голову, потом резко протянул руку к звонку и вызвал капрала. Капрал был из племени сара – круглое, спокойное лицо, ясный взгляд свидетельствовали о здоровье, довольстве и мягкой мечтательности. Он стоял навтыжку, пока Кото молча его разглядывал. Не удивился, не задал вопроса, просто стоял, прижав мизинец к шву своих брюк.

Кото набирался сил, изучая добрую, здоровую, обнадеживающую физиономию довольного жизнью человека. Когда у него отлегло от сердца и он снова смог вдохнуть полной грудью, комиссар отослал капрала из комнаты.



## VII

В сумерках раздался голос Орсини, – на террасе как можно дольше не зажигали ламп: вокруг них вились тучи мошкары, – он закричал с такой пронзительной издевкой и злобным глумлением, что в крике этом было даже что-то поэтическое: казалось, что его издала в африканской тьме некая неведомая птица. Крик был ответом на слова комиссара о безвредности Мореля, того Мореля, который, обойдя поочередно всех и строго на них глядя, просил подписать свою петицию. Все разом обернулись в темный угол, откуда послышался голос, в котором была та жгучая сила, та хрипая властность, которые вдруг вскрыли тишину как рану. Все молча ждали. И тогда голос прозвучал вновь, но уже дрожащий, почти напевный, полный такого безудержного негодования, которое превосходило свой непосредственный предмет и включало людей, планеты, каждую пылинку, каждый атом жизни.

– Безвредный? – У него на этот счет свое мнение и никто его переубедить не сможет. Конечно, для людей добродетельных все чисто; он почтительно отдает дань коменданту Шелшеру, но сам не питает особых иллюзий насчет собственной чистоты. К нему, как и к остальным, приходил Морель, петицию которого Орсини прочел с большим интересом. В конце концов, охота на слонов его тоже отчасти касается. Официально у него на счету пятьсот животных. Не говоря уже о гиппопотамах, носорогах и львах; общее число, по самым скромным подсчетам, наверняка приближается к тысяче. Да, он охотник и тем гордится и будет продолжать охоту на крупного зверя, пока хватит дыхания идти по следу и сил держать в руках ружье. Поэтому можно себе представить, с каким вниманием он читал эту петицию. Та напоминала о числе слонов, которых ежегодно убивают в Африке, – а именно тридцать тысяч за один истекший год, – и горестно оплакивала судьбу этих животных, вытесняемых все дальше и дальше в болото и обреченных исчезнуть с лица земли, где человек с остервенением их преследует. Там сказано, – Орсини процитировал буквально: «немыслимо смотреть на то, как громадные стада несутся по бескрайним просторам Африки, и не поклясться сделать все, чтобы продлить присутствие среди нас этого чуда природы, этого зрелища, которое вызывает счастливую улыбку у всякого, достойного называться человеком». У всякого, достойного называться человеком! – выкрикнул Орсини почти с отчаянием, с какой-то безудержной злобой и замолчал, словно подчеркивая всю гнусность подобного требования. Там же утверждалось, что «времена гордыни миновали», что мы должны относиться с гораздо большим смирением и чуткостью к другим видам животных, «отличных от нас, но отнюдь не низших». Отличных, но не низших! – снова с негодованием повторил Орсини. А дальше говорилось: «Человек на этой планете дошел до такого состояния, что ему насущно необходимо всякое дружеское участие, какое только он может обрести, и нуждается в своем одиночестве во всех слонах, во всех собаках, во всех птицах. . . » Орсини странно захохотал, с каким-то победоносным глумлением, в котором не было ничего веселого. «Пришло время поверить в себя, показав, что мы способны сохранить тех свободолюбивых гигантов, неуклюжих и прекрасных, которые еще живут рядом с нами. . . » Орсини замолчал, но его отрывистый голос словно продолжал звенеть в темноте, готовый вновь клеймить и обвинять. Послышались смешки. Кто-то заметил, что если содержание этого потешного документа действительно таково, автор всего-навсего чудака, и трудно вообразить, что он может быть опасен. Орсини презрел это замечание, попросту исключив того, кто его сделал, из разряда смертных, достойных внимания. «Вот каков этот субъект, – продолжал он, – месяцами бродил по джунглям, проникал в самые отдаленные

деревни и, выучив ряд местных наречий, якшался с туземцами, занялся последовательной и опасной подрывной работой, пороча репутацию белых. Ибо не надо быть ни таким уж пронизательным, ни даже государственным чиновником, которому платят за охрану безопасности колонии, – Шелшер улыбнулся, – чтобы осознать цель этой петиции – она, несомненно, уже ходит по деревням с разъяснениями автора и, может быть, куда более откровенными, чем сам документ. Западную цивилизацию изображают в состоянии крайнего распада, которого африканцы всеми силами должны избегать. Вот как представляют христианство, хорошо, если не призывают вернуться к людоедству, ведь и оно – меньшее зло по сравнению с современной наукой и с орудиями уничтожения, хорошо, если им не советуют поклоняться своим каменным идолам, – не зря ведь люди из породы Мореля забили ими все музеи мира. Ах, если бы дело было только в слонах! Вольно же тем, кто видел, как мо-мо в Кении подняли стихийное восстание безо всякой предварительной подготовки, упорно закрывать на все глаза. Что же касается его, Орсини д'Аквавивы, он ничего не предлагает, ничего не советует, он просто не желает, чтобы его дурачили. И повторяет, что не ему платят деньги за безопасность колонии. Петиция Мореля беспрепятственно переходит из рук в руки по всему Чаду, обрастая различными подписями, какими именно, он, в сущности, предполагал заранее. . . Он говорил уже несколько медленнее, менее раздраженным и более лукавым тоном, и губы его сложились в нечто вроде улыбки. Да, когда Морель поднес ему свою петицию, под ней красовались две подписи белых, – это было первое, на что он, конечно, обратил внимание. Два имени: майора Фурсайта, этого американского отщепенца, выгнанного из армии за то, что, попав в плен, он охотно признался корейцам, что сбрасывал на мирное население бомбы с мухами, зараженными холерой и чумой. Кстати, не мешает задаться вопросом, почему власти Чада сочли нужным оказать гостеприимство изменнику, которого изгнала собственная родина. Что же касается второй подписи, пусть присутствующие догадываются сами. Он замолчал. И в напряженной тишине вдруг повел себя сдержанно, как истый джентльмен до мозга костей: нет, он не скажет, ни за что. . . И тогда послышался голос Минны, которая спокойно произнесла:

– Там стояло мое имя. Я тоже подписала.

## VIII

Он появился в «Чадьене» в конце дня, когда она за стойкой отбирала на вечер пластинки. Поспешно вышел на пустую танцевальную площадку и остановился, сжав кулаки и озираясь, словно искал кого-то, с кем требовалось свести счеты. На этой пустынной террасе, где само небо словно ожидало хоть какого-нибудь посетителя, вид у него был и грозный, и слегка растерянный. Минна улыбнулась, во-первых, потому, что для того она здесь и находилась, во-вторых, оттого, что раньше его не видела, а она заранее симпатизировала людям, с которыми не была знакома. Нет, он не показал ей своей знаменитой петиции, во всяком случае не сразу. Он подошел поближе; тогда девушка заметила, что рубашка на нем рваная, лицо в кровоподтеках, вьющиеся волосы спутаны, прилипли к вискам и к высокому упрямому лбу, прорезанному тремя глубокими морщинами. Он, казалось, только что кончил драку и затевает новую. Под мышкой он держал старый кожаный портфель.

– Мне надо поговорить с Хабибом.

– Его нет.

Он как будто огорчился и снова обвел взглядом террасу, словно проверяя, правда ли это.

– Месье Хабиб в Майдагури. Вернется только завтра вечером. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?..

– Вы немка?

– Да.

Лицо его слегка прояснилось. Он положил портфель на стойку.

– Ага, значит, мы с вами почти соотечественники. Я тоже, можно сказать, немного немец, натурализовавшийся, так сказать. Меня во время войны насильно угнали в Германию, и я два года провел там в разных лагерях. Чуть было не остался совсем. Привязался к этой стране.

Она смущенно нагнулась к пластинкам, сразу же приготовившись к обороне, хотя в Форт-Лами с ней были скорее ласковы, если не считать беглых, слегка насмешливых взглядов, которые на нее бросали, как только поминалась ее национальность. Она вдруг почувствовала, что рука этого мужчины дотронулась до ее руки.

– Ладно, ладно, опять я сболтнул лишнее. Живу один и совсем разучился разговаривать с людьми. Правда, это не так уж и плохо.

– Вы плантатор?

– Нет. Я занимаюсь слонами.

– Значит, вы знаете месье Хааса? Он работает на зоопарки и цирки. Специалист по отлову слонов. Именно он поставил в Гамбург всех зверей Гагенбека.

– Да, я знаю месье Хааса, – медленно произнес он, его лицо снова помрачнело. – Уж его-то я знаю. Давно приметил. . . В один прекрасный день месье Хааса повесят. Нет, мадемуазель, я не ловлю слонов. Довольствуюсь тем, что живу среди них. Месяцами хожу за ними, изучаю. Вернее говоря, восхищаюсь. Не стану от вас скрывать – я отдал бы все на свете, чтобы самому превратиться в слона. И говорю это для того, чтобы вы не думали, будто я против немцев, как вам только что показалось. . . Тут все куда сложнее. . . Дайте мне рому.

Она не поняла, шутит ли он или говорит серьезно. Быть может, он и сам этого не знал. Но, услышав эту малопонятную для нее речь, она почувствовала, что перед ней человек добрый, немножко чудаковатый, но ведь доброта всегда делает тебя странным, как объяснила она потом Сен-Дени, тут уж ничего не поделаешь.

- Раз Хабиба нет, могу я для него кое-что оставить?
- Разумеется.
- Но вам придется мне помочь.

Она вышла с ним, недоумевая, что бы это могло быть. Перед триумфальной аркой, украшавшей вход в «Чадьен», она увидела машину де Вриса. Морель отворил дверцу. Спортсмен лежал, скорчившись на заднем сиденье, – распухшее лицо, рука на перевязи, на голове повязка; двигаться он явно не мог. Де Врис бросил на них взгляд, полный боли и ненависти.

– Я застал его к востоку от озера. Он собирался убить четвертого слона за день. Я выстрелил в этого мерзавца с сорока метров, но перед тем слишком долго бежал и руки дрожали, – промахнулся.

Морель будто извинялся.

– Тогда я чуток объяснился с ним при помощи приклада. Будьте любезны, передайте Хабибу, что, если я когда-нибудь снова замечу, что этот подлец шатается возле стада, я из него сделаю такую отбивную, на какую не способны далее слоны. Вот и все. До свидания.

– Обождите.

Он обернулся.

– Вы не заплатили за ром.

– Сколько с меня?

– Но вы его даже не выпили... Хотя бы допейте...

Он следом за девушкой направился в бар. Она дала указание слугам, и те занялись де Врисом. Минна и Морель какое-то время молчали. Она прислонилась к стене, скрестила руки и без улыбки смотрела на него. Он опустил голову, стиснул пальцами стакан. Она спокойно ждала, с каким-то поразительным самообладанием, и ему пришлось какое-то мгновение сопротивляться этому немому призыву. Потом он поглядел на реку, на противоположный берег, – там, как и во всяком африканском пейзаже, расстилался необъятный простор, словно таинственным образом освобожденный от чьего-то чудесного присутствия. Как будто только доисторическое животное, уже исчезнувшее с лица земли, было под стать этому пустому необитаемому пространству, которое, казалось, требовало его возвращения. Морель улыбнулся и заговорил тихо, ласково, как разговаривают с детьми. Он не сказал, ни кто он, ни откуда приехал, вел разговор только о слонах, как если бы то был единственный предмет, достойный обсуждения. Каждый год в Африке убивают десятки тысяч слонов – в прошлом году погибло тридцать тысяч, – и он решил сделать все, чтобы положить конец этой преступной практике. Вот зачем он приехал в Чад, – чтобы развернуть кампанию в защиту слонов. Все, кто видел, как эти великолепные животные ступают по последним девственным тропам нашей планеты, понимают, что мы не можем утратить это живое сокровище. В Конго скоро соберется конференция по охране африканской фауны, и он готов употребить все средства, чтобы добиться принятия необходимых мер. Он знает, что стадам угрожают не только охотники, – ведь еще вырубая леса, расширяют посевные площади, прогресс! Но, конечно, самое подлое – охота, и борьбу надо начинать против нее. Знает ли она, к примеру, что слон, попав в западню, наткнувшись на колья, умирает много долгих дней? Что среди туземцев до сих пор широко распространена охота с помощью огня, и ему попались на глаза трупы шестерых слонят, ставших жертвами пламени, от которого взрослые животные сумели спастись благодаря своим размерам и быстрому бегу? Знает ли она, что целые стада слонов выбирались иногда из горящей саванны, обожженные до брюха, и неделями мучились от ожогов? Он иногда ночи напролет слышал крики покалеченных животных. Знает ли она, что контрабанда слоновой костью до сих пор широко практикуется арабскими и азиатскими торговцами, толкающими племена на браконьерство? Тридцать тысяч слонов в год – стоит хоть на минуту задуматься

об этом, и ты, схватив ружье, станешь на защиту слонов. Знает ли она, что на глазах у Хааса, монопольного поставщика крупных зоопарков, дохнет не менее половины отловленных слонят? У туземцев есть хоть какое-то оправдание: у них не хватает в пище протеинов. Они убивают слонов, чтобы питаться их мясом. Защита слонов в первую очередь требует поднять уровень жизни африканцев – это первое условие во всякой серьезной борьбе по охране природы. Ну а белые? «Спортивная» охота ради меткого выстрела? – Он повысил голос; во взгляде добрых карих глаз выразилась такая скорбь, которая была красноречивее всяких слов. Ибо Минна нисколько не усомнилась – поняла сразу, с первого же слова: вот и тут все дело в одиночестве. Ей пришлось потом повторить то же самое судьям, серьезно, даже торжественно глядя тем прямо в глаза, словно убеждая, что сомневаться нечего: для нее вопрос был ясен, она в таких делах разбирается. Этот человек много страдал и чувствовал себя очень одиноким. Она догадалась сразу, потому что его потребность жить среди слонов была сродни той, что толкала ее смотреть с террасы «Чадьена» на пустынный берег реки и песчаные отмели, где неподвижно стояли тысячи белых голенастых птиц и где каждый корявый куст, каждая птица казались знаком пустоты, карикатурой на то, чего у нее не было, чего ей недоставало. Единственная ласка, которую здесь дарили Минне, единственный знак привязанности – теплая морда ручной антилопы в ладонях. И было забавно представлять себе, что будет, если дать волю потребности, которую она так хорошо понимала, – ведь и всех слонов Африки не хватит, чтобы заполнить эту пустоту. Она не шевелясь стояла у стены, стараясь не прерывать Мореля, и даже не улыбалась при мысли, что, наверное, впервые мужчина с таким жаром разговаривает с женщиной о слонах. Она думала и о том, как ему повезло, ведь только девушка, на которую мужчины кидались, даже не расстегнув пряжки на поясе, способна понять, какие странные, а иногда и смешные формы может принять потребность в дружбе и участии. Он ни разу не говорил с ней ни о чем, кроме слонов, но позднее, в ту ночь, когда уже была готова все объяснить, она сказала Сен-Дени, что никогда еще ни один человек не говорил с ней так откровенно. «Я хотела ему помочь, – вот и все», – закончила она, передернув плечами, и Сен-Дени поразили контраст между силой ее чувства и бедностью слов, которыми она хотела это чувство выразить. Он стал ее расспрашивать, упорно и даже сердито, но так ничего больше и не добился. «Я прекрасно видела, что он дошел до точки, что ему кто-то нужен». Она затянулась сигаретой и бросила на Сен-Дени долгий, требовательный взгляд, которым часто сопровождала свои фразы, словно желая их продлить, намекнуть, что в них есть скрытый смысл, который она предоставляет вам разгадывать. «Сама ведь знаю, что это такое, нечего и говорить. . . » У Сен-Дени вдруг создалось впечатление, что и эти банальные слова, и манера говорить врасстяжку, и сигарета в уголке накрашенных губ, и голые ноги, которые она скрестила под слишком коротким халатиком, – средства защиты, чисто человеческая попытка скрыть полную заброшенность. «Да, я-то знаю, как бывает. Уверена, что и вам это знакомо, месье Сен-Дени, ведь говорят, вы один живете в джунглях уже тридцать лет. Рано или поздно, месье Сен-Дени, становится невтерпеж, и тогда одного спасают слоны, другого – собака или звезды и холмы, как вас, – говорят, будто вам этого хватает. Ну, а он, – я видела, что он больше не может». Иезуит вздохнул, и Сен-Дени, который не без горечи повторил слова Минны, тут же последовал его примеру. «Ну да, святой отец, я понимаю, что вы думаете. То, что он обратился к животным, ясно показывает, до чего же мы обеднели. Вы, конечно, посоветовали бы ему поискать что-нибудь более значительное, чем наши толстокожие друзья. Быть может, он просто такой человек, которому недостает мужества, или у него беднее воображение. В этом я с вами абсолютно согласен». Иезуит слегка вздернул брови, удивившись такому странному толкованию невинного вздоха. «Рядом с нами пустует огромное место, но все стада Африки не смогут его заполнить. Человеческая душа, отец мой,

– это совсем не то же, что африканский континент, – он, безусловно, велик, но все же имеет границы, замкнут морями и океанами».

Отец Тассен устал себе под ноги. Ему всегда бывало неловко, когда с такой уверенностью вещали о человеческой душе. «Я хотела помочь, вот и все. . . Подобное объяснение было куда понятнее. В удивительной тишине, которая, казалось, всегда выбирала это время, чтобы опуститься на реку с тростниками и еще не уснувшими птицами, быстро сгущались сумерки.

Морель продолжал рассказывать своим глуховатым голосом, полным сдержанной страсти. Потом он замолчал и поднял взгляд.

– Я вам надоел своими рассказами.

– Вовсе нет. Надоедают не так.

– Должен еще сказать, что, когда я был в плену, слоны мне здорово помогли и теперь я пытаюсь с ними расплатиться. Эта мысль пришла одному товарищу, после нескольких дней карцера – метр десять на метр пятнадцать: когда он почувствовал, что стены его душат, он стал думать о стадах слонов, пасущихся на свободе. Каждое утро немцы находили его в прекрасном состоянии, он мог даже шутить; стал неуязвим. Выйдя из карцера, он поделился с нами своим опытом, и всякий раз, когда становилось невозможно в моей клетке, ты принимался мысленно воображать этих великанов, вольно несущихся по громадным просторам Африки. Это требовало большого напряжения фантазии, но поддерживало силы. Оставшись один, при последнем издыхании, ты сжимал зубы, улыбался и, закрыв глаза, продолжал смотреть на слонов, которые все сметали на своем пути, их ничто не могло удержать или остановить; ты явственно слышал, как дрожит земля под ногами этой *стихии*, и ветер открытых широт наполнял твои легкие. Лагерное начальство в конце концов забеспокоилось: моральное состояние нашего барака было на редкость высоким, да и умирали в нем меньше. Нам подкрутили гайки. Вспоминаю одного приятеля, парижанина по имени Флюш, он был моим соседом по нарам. Вечером я увидел, что он не в состоянии двигаться, пульс у него упал до тридцати пяти ударов, но время от времени мы встречались взглядами, я замечал в глубине его глаз едва уловимый проблеск и понимал, что слоны еще при нем, он еще видит их на горизонте. . . Охранники удивлялись, какой бес в нас вселился. А потом нашелся доносчик, который нас продал. Можете себе представить, что началось! Мысль, что у нас есть то, до чего им не добраться, выдумка, иллюзия, которую они не могут отнять, которая помогает нам держаться, выводила их из себя. И они стали применять более действенные методы. Однажды вечером Флюш едва дотащился до барака и мне пришлось помочь ему добраться до своего угла. Он с минуту полежал, вытянувшись, с широко открытыми глазами, словно пытался что-то разглядеть, а потом сказал, что все кончено, что уже их не видит, даже не верит больше в их существование. Мы сделали все, чтобы его поддержать. Вообразите себе сборище скелетов: они окружили Флюша со всех сторон, иступленно тыча пальцами в воображаемый горизонт и описывая исполинов, которых не могут уничтожить никакое насилие, никакая идеология. Но наш Флюш утратил веру в величие природы, не мог представить, что на свете вообще существует свобода, что люди – даже в Африке, – еще способны уважать природу. Все же он прилагал последние усилия, повернулся ко мне, скривил свою грязную рожу и подморгнул. «Один пока остался, – прошептал он. – Я хорошенько его спрятал, но заботиться о нем уже не могу. . . Чего-то мне не хватает. . . Бери его к своим». Бедняга Флюш едва выдавливал слова, но глаза чуточку поблескивали. «Бери. . . Его зовут Родольф». – «Дурацкое имя, – сказал я. – Зачем он мне? Сам с ним возись». Тут он на меня так глянул. . . «Черт с тобой, – проговорил я, – так и быть, возьму твоего Родольфа, а когда тебе станет лучше, верну». Конечно, я только прикидывался бодрячком, а на деле понимал, что Родольф останется у меня. С тех пор так его за собой и таскаю. Вот почему, мадмуазель, я приехал в Африку, вот что я защищаю. И

когда попадается мерзавец-охотник, который убивает слона, возникает такое желание всадить ему пулю в самое нежное место, что я ночь не сплю. И вот еще почему пытаюсь добиться у властей принятия весьма скромных мер. . .

Он расстегнул портфель, вынул лист бумаги и старательно расправил его на стойке.

– Тут у меня петиция с требованием запретить охоту на слонов во всех ее видах, начиная с самого позорного: охоты ради трофеев или, как говорят, для удовольствия. Это первый шаг и не бог весть что. Право же, требование не такое большое, я был бы рад, если бы вы могли ее подписать. . .

Она подписала.

## IX

Вот так, невзначай, они сделали первые шаги навстречу друг другу, завязав отношения, которые в Чаде не могли не создать вокруг них, особенно с годами, ореол легенды. «Я хорошо их знал», – эта фраза неизбежно привлекала внимание к тому, кто ее произносил с оттенком небрежности, которая только разжигает любопытство. В часы, когда особенно хочется выпить, такое заявление отменно помогало тем, чьи плантации хлопка не могли сравниться с посевами в долине Нила, о чьих золотых приисках было неприлично даже упоминать, от чьего обширного предприятия панафриканских путей сообщения остался лишь остов ржавого грузовика в какой-нибудь пересохшей речке. По правде сказать, у Мореля не было друзей, потому что почти все свое время он проводил в джунглях, а на его появление в Форт-Лами со смехотворной петицией, от которой все, пожав плечами, отмахивались, никто не обращал внимания. Никто, кроме Орсини. Потому что, если и был человек «не из породы простофиль», правоту которого подтверждали дальнейшие события, это, конечно же, Орсини, ветеран, охотник, обладавший удивительным нюхом на врага. Разве не он с самого начала заявил, что это опасный тип и что подобная затея может ввергнуть Африку в кровавую бойню? Разве не он тщетно предостерегал своим криком, странным, полным отчаяния и глумления, который, казалось, извечно издавало ночное зверье Чада и который был таинственным эхом стремлений, ему совершенно чуждых? И наконец, разве не он опасался «немчуры»? Разве не он распознал и тут важную ветвь заговора? Да, Орсини пережил часы своего торжества, но они были недолгими, и если он и стал частью легенды, то отнюдь не в том качестве, какого бы желал. Он совершил большую ошибку, этот Орсини: чересчур глубоко во всем увяз. Он обжегся о слишком сильный огонь, который притягивал его к себе. Он первый выследил дичь и затрубил в рог; страстно кинулся в атаку, почувствовав вызов в чрезмерно благородном возвышении человека: словно тот на десять тысяч метров возвысился над землей и стал на столько же выше Орсини. Он решил защищать свой уровень, свой масштаб. Не считая Орсини, единственный, кто обращал на Мореля хоть какое-то внимание, был отец Фарг, человек, который вообще-то занимался главным образом прокаженными. Францисканский монах, раньше был казначеем ВВС Свободной Франции, человек необузданный на словах, вспыльчивый, добрый, склонный при случае стукнуть кулаком по столу. Во время долгого перехода из Леклерка в Чаде до баварских Альп он досыта насмотрелся на гибель ближайших друзей и не терпел неверия в Бога уже потому, что оно лишало его за гробом общества товарищей по оружию, которым он был глубоко предан. Его рыжая борода, бычий загривок и речь, наивность которой отдавала богохульством, придавали ему вид распутного монаха, – «я же не виноват, что у меня костяк такой», – однако он вел праведную жизнь в густых джунглях к северо-востоку от Форт-Ашамбо. Он славился своими бестактностями, самая знаменитая навсегда вошла в фольклор колонии. В историю она попала в Банги, на борту парохода, который ходил до Конго до Браззавиля, и все великолепие этой промашки усугублялось отчаянными усилиями отца Фарга ее избежать. Он позаимствовал из жаргона летчиков привычку обращаться к собеседнику с кличкой «рогач»; люди для него делились на «славных рогачей» и «злых рогачей». «Привет, рогач», – такова была в его устах форма обращения. Случилось так, что к моменту появления Фарга на палубе уже собралась компания, в которой был и некий Уар, чья репутация рогоносца давно установилась в округе благодаря молодой жене, которая открыто и щедро, ничуть не стесняясь, ему изменяла. Фарг подошел и стал поочередно пожимать руки,



произнося свое обычное приветствие: «Привет, рогач», переходя от одного к другому. «Привет, рогач; привет, рогач; привет. . .» Он вдруг сообразил, что держит в своей лапище руку злосчастного Уара. И тут вздумал проявить находчивость: «Здравствуйте, месье Уар!» – воскликнул он, радуясь, что наконец-то может показать, какой он тактичный, а затем продолжал здороваться с другими: «Привет, рогач; привет, рогач!» Вот он каков, этот отец Фарг, любимый миссионер прокаженных и страдающих слоновой болезнью. Он слишком долго прожил в самом сердце джунглей, в черном сердце человеческого страдания, чтобы не обозлиться; и вдруг в миссию Форт-Лами, куда он приехал ругаться из-за того, что лекарства пришли с опозданием на полтора месяца под предлогом отсутствия дорог, явился какой-то тип и ну совать ему под нос дурацкую петицию, речь в которой шла о защите слонов!

– Да провались они пропадом, ваши слоны, – огрызнулся преподобный отец, проявляя несомненную широту взгляда. – На этом материке бог знает сколько прокаженных, энцефалитиков, не говоря уже о сифилисе (чем меньше ешь, тем больше спишь с бабами). Да ведь дети тут дохнут как мухи, едва успев родиться, а трахома – о ней-то вы слышали? А спирохета, а слоновая болезнь? И после этого вы мне морочите голову вашими слонами!

Этот тип – Фарг никогда раньше его не встречал – выглядел так, словно вышел прямо из джунглей, в распахнутой грязной рубашке, крагах, с давно небритой физиономией, – мрачно воззрился на монаха. Даже отец Фарг, не отличавшийся особой чуткостью, был поражен этим горящим, почти жестоким взглядом, в котором, как ни странно, поблескивала безудержная ирония. Он поправил очки и повторил уже для порядка и не слишком уверенно:

– А вы морочите мне голову вашими слонами. . .

Морель ответил не сразу. Он сжал кулаки, потом достал из кармана кисет и с минуту молчал, расставив ноги и свертывая сигарету, видно, для того, чтобы не дрожали от ярости руки. Наконец он поднял голову:

– Послушай, кюре, – сказал он. – Ну да, ты ведь кюре. Миссионер. Что ж. . . Ты из тех, кто по самую макушку в дерьме. То есть день напролет любишь всякими язвами и уродствами. Бог с тобой. Видишь разные гадости; одним словом, человеческую беду. А вот когда ты на все это налюбовался, когда всласть нанюхался дерьма, неужели тебе не хочется вскинуть голову, взобраться на какой-нибудь холм и посмотреть на что-то другое? На что-нибудь красивое, свободное, совсем другое?

– Когда у меня возникает желание вскинуть голову и я чувствую, что нуждаюсь в другом обществе, то смотрю вовсе не на слонов, – огрызнулся отец Фарг, с силой стукнув кулаком по столу.

– Понятно, кюре, понятно. Тебе, как и всем, надо время от времени оглядеться, чтобы убедить себя в том, что еще не все загажено, не все истреблено, не все погублено. Тебе, как и всем, надо успокоить, убедить себя, что еще осталось на этом дерьмовом свете что-то красивое, свободное, хотя бы только для того, чтобы продолжать верить в своего Бога. Вот и подпиши здесь. И нечего так суетиться и дрейфить: ты не черту бумагу подписываешь. Просто чтобы больше не убивали слонов. Их приканчивают по тридцать тысяч в год. – Морель вдруг лукаво усмехнулся. – И вспомни, кюре, что во всех наших свинствах они не виноваты. Понимаешь, не виноваты.

– Кто? – рявкнул Фарг.

– Слоны, кюре, кто же, по-твоему, еще?

Фарг стоял с открытым ртом.

– Чтoб тебя. . . – Он вовремя осекся. Потом сказал: – Садись.

«И этот тип сел, – рассказывал потом Фарг отцу Тассену, который приехал его повидать и даже напугал доброго францисканца чрезвычайным интересом, который выказал к этой

истории; ведь он впервые заинтересовался чем-то кроме ископаемых, чей возраст не менее ста тысяч лет. – И когда тип этот сел, мы с минуту друг друга разглядывали. Понимаете, негодяй прямо нож мне в спину всадил своими слонами, «которые ни в чем не виноваты». Ведь этот рогач подразумевал, что виноваты люди, а что мне было ему ответить? Что он лжет? А грех? А первородный грех и прочая ерунда? Да вы все знаете получше моего. Он нож мне в спину всадил, взял на мушку мою веру. Я же человек дела: дайте мне оспу, желтуху, тут я в своей тарелке. А теории. . . Между нами говоря, вера, Господь Бог – они у меня в нутре, в кишках, а не в голове. Я не так уж мозговит. Предложил ему аперитив, но он отказался».

Лицо иезуита на миг осветилось, и даже морщины словно разгладились от молодой улыбки. Фарг вдруг вспомнил, что Тассен не в слишком большом почете у своего ордена; ему несколько раз запрещали публиковать свои труды; поговаривали даже, что его пребывание в Африке не совсем добровольно. Фарг слышал, что в своих сочинениях отец Тассен приравнивал вечное блаженство к обыкновенной биологической мутации, а человечество – такое, каким мы его пока знаем, к некоей архаической породе, обреченной так же исчезнуть в сумерках эволюции, как и другие виды. Фарг нахмурился: это попахивало ересью.

– Я повторил, что если ему так не терпится забыть о людях, пусть обращается к чему-нибудь поистине великому, – зачем же хвататься за слонов? Было бы куда лучше защищать животное, которому гораздо больше грозит гибель в сердцах человеческих, а именно Господа Бога.

Фарг произнес последнюю фразу с таким простодушием и с такой наивностью, что слово «животное» прозвучало не как богохульство, а как грубоватое выражение сыновней любви.

– Он дал мне выговориться, а потом на его лице появилось что-то вроде улыбки. «Может, все это и так, кюре, но что тебе мешает подписать бумагу? У тебя ведь не душу твою требуют. Просто подпись. Все, чего я хочу, – чтобы больше не убивали слонов. Не такой уж и грех. Чего же ты увертываешься?» Должен признаться, тут он меня поймал. Ведь верно, что мне мешает подписать? Я растерялся. Даже рот раскрыл, а сказать нечего. Но так как он продолжал совать мне под нос свою писульку, я наконец обозлился и вытолкнул его за дверь, вместе со слонами. Но что-то продолжало меня грызть. Почему же я не подписал? Дело-то левое, не какая-нибудь политика, епископ мне и слова не скажет. . . Полночи заснуть не мог, все искал причину и в конце концов, по-моему, нашел.

Фарг кинул на иезуита хитрый взгляд, словно говоря: «Видите, почтенный, не такой уж я болван, как думают».

– Если согласиться с его болтовней, получается, что ты вовсе плюешь на тех, за кого отдал жизнь наш Спаситель. И подписываешься не столько в защиту слонов, сколько против людей. Не знаю, откуда что взялось, но мне вдруг почудилось, будто я какой-то изменник, ренегат. Шут его побери, на такое меня не возьмешь. Должна же быть у человека гордость. Не знаю, понимаете вы или нет. . .

Иезуит прекрасно его понимал.

– Я вспомнил о моих товарищах по эскадрилье, они ведь отдали жизнь за что-то стоящее, а он просто дурачит нас своими слонами. Будто кроме них и нет ничего на свете. А потом, я не люблю людей отчаявшихся.

Лицо Фарга налилось кровью, он снова треснул кулаком по столу.

– Как встречу человека, который уже ни на что не надеется, так и хочется лягнуть его в зад. Свины они, вот что!

Отец Тассен мягко прервал:

– Я бы очень хотел встретиться с этим молодым человеком.

– Встретитесь, будьте уверены, – проворчал Фарг. – Он небось до сих пор болтается в Форт-Лами и уж непременно сунет вам под нос свою петицию.

## Х

Но Мореля в Форт-Лами уже не было. Что же касается петиции, он ее разорвал, сохранив лишь тот клочок, где стояла женская подпись, на которую он часто поглядывал. Минна продолжала обслуживать бар, солнце продолжало отсчитывать часы на циферблате африканского неба по всем тем же отметинам: в десять утра – хижины рыбаков, бурые скалы за Шари в полдень; одинокие пальмы Форт-Фуро в четыре часа дня, а ближе к половине пятого – американский майор, который галопом скакал по противоположному берегу и пропадал из виду вместе с солнцем; казалось, он бешено гонится за светилом, его рыжие волосы блестели в лучах заходящего солнца. Минна иногда встречала на базаре или в туземных кварталах этого неугомонного лохматого великана в старой летной тужурке, – он ее никогда не снимал, – а как-то вечером увидела его на дороге в Майдагури, он лежал, уткнувшись лицом в пыль, а вокруг толпились негры, которые смеялись своим молодым необидным смехом – защитной реакцией на все тревожения жизни. Она велела погрузить майора в свой джип и вместе со своим безжизненным спутником явилась к полковнику Бэбкоку, у которого в тот день ужинала. Полковник был очень раздосадован; он с таким нетерпением ждал этого вечера наедине с Минной, которую регулярно, каждые три месяца, приглашал ужинать. Майора положили на террасе и накрыли одеялом, но когда, поужинав, они зашли его проведать, то нашли американца на ногах; он вглядывался в ночную мглу, обступившую дом, в это женственное лоно, в которой даже звери чувствовали себя в безопасности.

– В следующий раз, когда найдете меня в канаве, вы там меня и оставьте, – сказал майор, – или же, что еще лучше, ложитесь рядом, в ней очень удобно. Почувствуете себя как дома.

Глаза полковника блеснули.

– Машина стоит у дверей. Садитесь и уезжайте. Эта молодая дама, вероятно, спасла вас от воспаления легких, а вам надо, естественно, ее тут же оскорбить.

Американец захохотал:

– А вы, полковник Бэбкок, естественно, подумали, что мое предложение относилось к ней, а не к вам? Не пойму, откуда англичане набрались своего великолепного самомнения; но оно явно обратная сторона их лицемерия. Успокойтесь, полковник, я говорю и о вас, вы тоже входите в великое братство обитателей канав. Разница между англичанами и остальными смертными только в том, что англичане давно и четко знают правду о самих себе, что им и позволяет тактично ее избегать, обходить стороной. Ваше проклятое чувство юмора – это способ жульничать, обезоруживать правду, вместо того чтобы помериться с ней силами. Было время, когда и я питал кое-какие иллюзии. Мне просто не повезло, я попал в Корею в плен к китайцам, и они потрудились мне разъяснить, что я такое. Или, точнее говоря, я узнал правду о них, что одно и то же. И несмотря на то, что по рождению я южанин, я из оригинальности не стал расистом и вынужден признать, что они – такие же люди, как и я. Вы, конечно, знаете, что меня с позором выгнали из армии, ведь я признался по китайскому радио, что бомбил Корею зараженными мухами, а следовательно, моя страна ведет бактериологическую войну. Это, конечно, было неправдой, но странная вещь – правда или нет, результат всегда тот же. Совершили ли китайцы дьявольское мошенничество, или американцы завезли холеру в Китай – важно одно: вы все равно валяетесь в сточной канаве, полковник Бэбкок. У коммунистов одного достоинства не отнимешь: они смотрят человеку в глаза. И не посылают его в Итон, чтобы научить маскироваться. У Запада, может быть, и есть цивилизация, зато коммунисты

придерживаются правды. И главное, не обвиняйте их в бесчеловечных методах, у них все как у людей. Все мы единая прекрасная зоологическая семья, не надо этого забывать! Вот почему, полковник Бэбкок, вы попали в сточную канаву. Если вы даже спрячетесь у себя на острове и притворитесь страусом, то есть как поступает Англия, вам это не поможет: сточная канавка вот она, перед вами, а вернее, в вас, ибо жижа из нее течет в ваших жилах. А засим сообщаю, что зовут меня Форсайт, я из Чарльстона, штат Джорджия, и был рад с вами познакомиться. Тем, кто живет рядом, надо друг друга знать. Спокойной ночи.

Он сбежал по ступенькам террасы и скрылся во тьме. Полковник дал отойти ему подальше, потом взял Минну под руку и тихо произнес:

– Бедняга. Как он ошибается... насчет Англии.

С тех пор когда в сумерки Минна видела на другом берегу Шари высокую фигуру на мчащемся галопом коне, она провожала ее взглядом, полным дружеского участия. Она не раз пыталась разузнать о Мореле, но его давно уже не видели в Форт-Лами. И когда однажды она подъехала верхом к хижине из высохшей глины, которую ей указали в туземном квартале, то нашла там только беззубую старуху: та мотала головой, махала рукой, но знать ничего не знала.

## XI

Ну а потом события стали развиваться с такой пугающей быстротой, что весь город перешел от неверия к растерянности, потом к негодованию, а когда в Форт-Лами выгрузили с самолета специальные выпуски газет, все наконец почувствовали даже некоторый приступ гордости: поговаривали не без самодовольства, – даже те, для кого это происшествие уже давно было горше хинина – что подобная история могла произойти только в Чаде, в людях вдруг проснулось смутное томление. Ланжевьель, которому было разрешено отгонять стада слонов, постоянно топтавших его плантации и огороды туземцев, был доставлен на санитарном самолете в больницу Форт-Лами с пулей в бедре. Он ничего не видел и ничего не слышал. Просто в ту минуту, когда он собирался выстрелить в самого красивого самца из стада в сорок слонов, которые намеревались опустошить поле, его левую ногу прошила пуля. Люди заволновались: в Кано (в Британской Нигерии) вспыхнула борьба между сторонниками и противниками Федерации; на востоке мо-мо жгли и заливали кровью издавна самые мирные территории Африки; с севера грозно заявлял о себе ислам, арабы опять захватили древние дороги работорговцев; наконец, на юге Африки выходы буров разбередили в душах черных древние раны. Стрелявшего не нашли. А потом Хаас, двухметровый детина, распухший от укусов москитов, в тростниковых зарослях Чада, где он ловил слонят и поставлял половине зоопарков мира африканских носорогов и гиппопотамов, был принесен на носилках в филиал больницы в Ассуа. Он рычал на своем родном голландском языке, извергал такие многословные ругательства, каких еще не слыхивали в колонии, хотя там имели кое-какой опыт. Задница у него была прострелена того же калибра пулей, которая так несвоевременно помешала прекрасному выстрелу Ланжевьеля. Хаас – этот оригинал – знал повадки слонов лучше кого бы то ни было. Его обуревали злость и бешенство, и лишь спустя два дня он смог отвечать на вопросы не одной только бранью. Лежа на животе – о нем заботилась медицинская сестра, которая посыпала, обрызгивала и смазывала задницу Хааса с суровым, но ангельским усердием, – он проклинал Шелшера, тщетно пытавшегося угостить его вонючими сигарами, но в конце концов с отвращением ворчливо сообщил кое-какие туманные сведения. Он, как и каждый вечер, пошел в загон, где содержались пойманные слоны. В то утро он заполучил новенького, просто младенца; слоненок стоял неподвижно, боком к загородке, несмотря на настойчивые приглашения других узников поиграть. Хоботом он обхватил ветку куста, словно надеялся, что из кончика этого воображаемого хвоста вдруг возникнет его мать. Еще утром он семенил за ней как доложено: можно сказать, держа за руку, и Хаасу пришлось устроить целый фейерверк, чтобы большое животное обезумело и на несколько мгновений утратило материнский инстинкт. Стадо разбежалось в стороны, оставив самого маленького из детишек застывшим на месте: он стоял на прямых ногах и мочился от страха. Хаас обвязал ему шею веревкой и, сопровождаемый двумя черными помощниками, потащил за собой. Мать убежала со стадом, но, как видно, смелости ей было не занимать или сердце изнывало, потому что она с отчаянным ревом часами кидалась наудачу в заросли, вынюхивала, подняв хобот, запах своего детеныша. Хаас прервал рассказ и мрачно поглядел на Шелшера.

– А вы знаете, что у слонов есть свой язык? – спросил он. – Каждый раз, когда мать зовет своего детеныша, который попался мне, я всегда слышу один и тот же звук. Три ноты. Вроде этого. . .

Он поднял голову и разразился на удивление выразительным ревом, полным неизъяснимой тоски. Сестра милосердия пулей влетела в комнату и захлопотала возле раненого.

– Бедный месье Хаас, ну потерпите же немножко, – взмолилась она. – Я вам сделаю на ночь укольчик.

Хаас произнес несколько слов по-голландски, и сестра поспешно удалилась.

– Короче говоря, эта мамаша казалась мне на редкость решительной и я принял меры предосторожности. Лагерь находился всего в десяти километрах от места поимки, и я не был спокоен. Я посадил двоих негров на акации и приказал смотреть в оба. Перед заходом солнца поехал проверить, не дрыхнут ли они. Конечно, они дрыхли. Слононок по-прежнему цеплялся за ветку и печально гудел. . . – Хаас тоже печально загудел носом. – Я его раза два шлепнул по заду и уже собрался возвращаться, но услышал знакомый шум урагана, который несся сюда по земле со скоростью в сто километров. – Он радостно осклабился. – Я его тысячу раз в жизни слышал, а еще чаще видел по ночам во сне, но всякий раз словно впервые, такое это на меня производит впечатление. Так и хочется взлететь вверх и там и остаться, верхом на облаке, с которого все видно. Этот шум, когда он стихает, будто делает землю более пригодной для житья. И почти в ту же минуту я увидел перед собой слониху – она появилась с резвостью горы, которая вот-вот на вас свалится. Я приложил приклад к плечу, но в тот момент, когда хотел выстрелить, получил пулю в задницу.

Шелшер задумчиво курил.

– Гора пронеслась в трех метрах от меня, словно не заметила, – продолжал Хаас. – Не заметила и все. Ей как будто не было ни малейшего дела до моей репутации. В голове у нее умещалось только одно: ее детеныш. Она сбила загородку, слоненок впился в нее как блоха, и они рысью двинулись в чашу.

– А кто же пустил пулю? – спросил Шелшер.

В лице Хааса появилась хитреца.

– Да это же мой идиот Абду, – проворчал он. – Последний раз даю ему в руки ружье. Думал, наверное, спасти мне жизнь. Но рука дрожала. . .

– Я с вашими слугами разговаривал, – сказал комендант. – Вы им крепко вбили в голову, как надо отвечать, но недооценили престиж мундира. Все, что им известно – что вас нашли залитым кровью и произносящим непотребные слова.

Хаас сделал вид, будто примирился с неизбежным.

– Ладно, приятель, я вам все расскажу как на духу, но пусть это останется между нами. Если правда выйдет наружу, я стану посмешищем всей колонии.

Шелшер молча ждал.

– А правда в том, что, когда я увидел, что на меня бежит слониха, совсем потерял голову, нацелился не туда и сам вlepил себе пулю в зад.

Шелшер встал.

– Хорошо, – сказал он. – Так я и думал. Не пойму только, почему вы покрываете того, кто стрелял.

Старый голландец поднял голову; лицо у него было серьезное и немножко грустное.

– Представляете себе, Шелшер, я ведь тоже люблю слонов. Думаю даже, что люблю их больше всего на свете. Если я взялся за эту профессию, то потому, что она позволила мне вот уже тридцать лет жить среди них, узнать их, и к тому же я понимаю, что каждого слона, которого ловлю, я спасаю от охотников, от клещей, ран и москитов, да, москитов. Слоны к ним особенно чувствительны. Но я загубил десятки слонят, прежде чем научился их кормить, прежде чем понял, например, что без грязной воды Чада, определенной к тому же температуры, онидохнут. . . И ведьдохли! Вы же видели лежащего на боку полумертвого слоненка, которыйглядит на вас такими глазами, что кажется, в них выразились все человеческие чувства, которыми мы гордимся и которых на самом деле лишены напрочь. Да, я тоже люблю

слонов, до того, что когда мне случается молиться, – у каждого бывают свои минуты слабости, – единственное, чего я прошу, это чтобы после смерти я мог уйти с ними туда, куда они уходят. Остаться с ними, а не с вашим братом. И зарубите себе на носу, что я ничего не видел, ничего не слышал. А насчет пули у меня в заднице – я ее заслужил. Да и кто вам сказал, что это пуля? Может, просто газы не туда вышли.

Он с вызовом посмотрел на Шелшера. А комендант спрашивал себя, что вынудило такого человека, как Хаас, жить тридцать лет в одиночку среди москитов Чада. Его всегда удивляла та искра мизантропии, что таит большинство людей и что может подчас разгореться и принять странные, неожиданные формы. Он вспомнил старых китайцев, которые не двинутся с места без любимого сверчка, о тунисцах, которые приносят с собой в кафе свою птицу в клетке, об индейцах Перу, проводящих целые дни, уставясь на зерна мексиканского кустарника, которые прыгают, потому что в них живут червячки. Он был немного удивлен, что Хаас верующий, – тут была какая-то неувязка; у Бога, правда, нет холодного носа, который можно потрогать, почувствовав себя одиноким, у него не почешешь за ухом по утрам, он не машет, завидя вас, хвостом, и не шагает по холмам, держа хобот по ветру и хлопая ушами, отчего лицо человека озаряется счастливой улыбкой. Его даже не поддержишь в руке, как хорошо разогретую трубку, но так как пребывание на земле может затянуться на пятьдесят, а то и на шестьдесят лет, неудивительно, что люди кончают тем, что покупают трубку или прыгающие зерна мексиканского кустарника. Он сам провел пять лет в Сахаре, во главе отряда колониальных войск, разъезжавших на верблюдах, и это были самые счастливые годы его жизни. Это правда, что в пустыне меньше нуждаешься в обществе, быть может, потому, что постоянно и почти физически общаешься с небом, которое, как тебе кажется, заполняет все вокруг. Шелшеру хотелось растолковать все это Хаасу, но годы в Сахаре поубавили коменданту красноречия, вдобавок он сознавал, что некоторые вещи, глубоко тобой прочувствованные, меняют свой смысл, обрастая словами, до такой степени, что ты не только не можешь выразить смысла, но и сам его теряешь. Он часто спрашивал себя, достаточны ли вообще мысли, может быть, они лишь нащупывают истину, не состоит ли подлинное зрение в другом и нет ли в мозгу у человека еще не использованных нервов, которые когда-нибудь превратят эти мысли в безграничное видение. Он сказал:

- Я не так уж уверен, что дело тут исключительно в животных.
- А в ком же, по-вашему?

Шелшер хотел ответить, что людям позволено нуждаться и в другом обществе, но почувствовал, что подобное замечание и даже сама мысль не вяжутся с мундиром, который он носит. Быть может, это запало в его сознание с тех пор, когда он был молодым выпускником Сен-Сира и весь его горизонт ограничивался узенькими погонами младшего лейтенанта. Лицо Шелшера было непроницаемо, но в душе он улыбнулся, вспоминая свою юность. Долгие годы мундир оставался для него символом того, чего он с самых ранних лет больше всего жаждал: преданности установленному порядку. Преданность исключала кое-какие поступки, кое-какие душевные движения. Поэтому он оставил свои размышления при себе, тем более что в последние годы все меньше и меньше испытывал потребность обмениваться мыслями с другими, главным образом еще и потому, что мысли принимали у него форму вопроса. У него не осталось ничего, кроме толики любопытства.

– В чем же тут дело, по-вашему, если не в слонах? – повторил Хаас уже угрожающим тоном.

- В другом, – неопределенно ответил Шелшер.

Голландец, прищутив глаза, смотрел на него с крайним возмущением.

- Знаете, как вас тут называют? – проворчал он. – Солдат-монах.



Шелшер пожал плечами.

– Ну да, пожимайте плечами сколько влезет, а кончите вы свой век траппистом. Впрочем, всякий раз, когда я вижу офицера верхом на верблюде, в белом бурнусе, обутого в сандалии, с бритым черепом и стремлением поскорее вернуться в пустыню, то говорю себе: вот еще один, кому не дает покоя память об отце Фуко. А что касается Мореля, вы глубоко ошибаетесь. Чего ради усложнять такое простое дело, как любовь человека к животному?

Шелшер встал.

– Самая большая услуга, которую вы можете оказать этому бедняге, – помочь нам его задержать. Не то в следующий раз он кого-нибудь убьет, и тогда уже ничего нельзя будет поделывать. Его сгноят в тюрьме.

Он оставил угрюмо молчавшего голландца и вернулся к себе, думая только об одном: где же предел людской слепоте?

## XII

Он провел следующие несколько дней в зарослях, отыскивая след Мореля, о котором ему сообщали со всех сторон. Вернувшиеся охотники клялись, будто видели того в одной из деревьев, и каждый местный начальник был уверен, что Морель прячется на его территории, готовясь учинить какую-нибудь гадость. Шелшер стал уже сомневаться, действует ли Морель в одиночку, нет ли у него сообщников: трудно было себе представить, чтобы какой-нибудь белый мог переходить с места на место в джунглях без чьей-то помощи. Но всякий раз, допрашивая в деревнях туземцев, он встречал пустые глаза; стоило ему затеять этот разговор, как все переставали понимать, о чем идет речь. Шелшер вернулся в Форт-Лами около часу ночи, но едва лег спать, как был поднят с постели приказом: губернатор Чада требовал немедленно явиться к нему. Он поспешно оделся, проглотил кружку обжигающего кофе, вскочил в машину и, дрожа от холода, покатил по молчаливому, укутанному в звездный покров Форт-Лами. Попал он на настоящий военный совет. Губернатор в парадной форме, хотя и в расстегнутом кителе, – наверное, вернулся с какого-то приема, – с окурком, что торчал из бороды, которая то ли пожелтела от никотина, то ли такова была ее естественная окраска, диктовал телеграммы. С ним были генеральный секретарь Фруассар, чье желтое лицо напоминало подушку, на которой много и беспокойно спали; военный комендант Чада полковник Боррю склонился над картой, которую изучал с таким подчеркнутым вниманием, что оно скорее было похоже на позу, на способ устраниваться, чем на живой интерес; а также офицер де ла Плас, отличавшийся противной манерой становиться навтыяжку, как только начальство открывало рот. Чуть в стороне стоял инспектор по делам охоты Лоренсо, которого редко видели в Форт-Лами, – он постоянно бродил где-то в холмах; чернокожий гигант не слишком хорошо разбирался в служебной иерархии, но из всех, кого Шелшер знал, он один мог рассуждать о львах, не навлекая на себя насмешек. Лоренсо, видно, был не то озабочен, не то возмущен.

Губернатор с нетерпением встретил вошедшего Шелшера:

– Ага, это вы. . . наконец! И вероятно, как всегда ничего не знаете? Фруассар, сообщите ему.

Генеральный секретарь заговорил быстро, отрывисто, как человек, который всю жизнь имел дело только с телеграммами. Проблема заключалась в Орнандо. . .

– Может, вы все же слышали об Орнандо? – саркастически осведомился губернатор.

Шелшер улыбнулся. Вот уже три недели, как вся Экваториальная Африка твердила имя Орнандо. Его приезду предшествовало столько правительственных телеграмм, инструкций и секретных циркуляров, что казалось, даже москиты гудят это имя в уши осатаневших чиновников. Орнандо был самым знаменитым журналистом Соединенных Штатов: популярный обозреватель, которому каждую неделю внимали по радио и по телевидению более пятнадцати миллионов американцев, а поэтому из Парижа приказывали произвести на него хорошее впечатление. Там надеялись, что, вернувшись на родину, он употребит свое влияние на американцев в благоприятном для французского государства духе. Инструкции гласили, что месье Орнандо не должен заболеть дизентерией; что ему не должно быть слишком жарко, слишком тряско на дорогах, что его следует вволю снабжать дичью, так как охота на крупную дичь – главная цель приезда журналиста в Африку. И хотя в инструкциях не уточнялось, можно было понять, что в Париже пламенно желают, чтобы там, где будет ступать Орнандо, били фонтаны свежей воды, чтобы нежный ветерок ласкал кудри американца и ни один москит

не укусил его царственную особу. Американец отличался высоким ростом и дородностью; мучнистый цвет лица и светлые курчавые, как у барашка, волосы. Трудные переходы он проделывал на чем-то вроде носилок, озирая до странности неподвижным взглядом реки, холмы и пропасти, мимо которых его несли. Трудно вообразить ту тайную причину, которая заставила Орнандо приехать в Африку охотиться на диких зверей, Орнандо, который, как говорили, единственным словом мог убить человека. Сопровождаемый братьями Юэтт – лучшими охотниками колонии, он уже убил двух львов, одного носорога, несколько грациозных антилоп, – если можно, конечно, говорить о грации подстреленного животного, – и, наконец, на рассвете третьего дня, на берегу Ялы – великолепного слона с бивнями в сорок килограммов, – слон рухнул к его ногам со смирением покойника. Но через полчаса, когда Орнандо чуть-чуть отошел от лагеря, чтобы помочиться, он получил пулю в грудь и был со всей поспешностью доставлен в Форт-Ашамбо, где и лежал в бреду, – пуля едва не угодила в сердце, что дало возможность одному из конкурентов в США начать свое сообщение словами: «Оказывается, у него было сердце!»

– Так вот, – сказал губернатор, отодвигая кучу телеграмм. – Это произошло пять дней назад, а с тех пор единственное, что мне доподлинно известно по сообщениям из Парижа и Бразавиля, – это будто мною не слишком довольны. Да, такого не забудешь. Вот не думал, что правительственные телеграммы могут содержать столь прочувствованную брань, уж и не знаешь, что выбрать. – Он взмахом руки показал на стопку телеграмм у себя на столе. – У меня сорок восемь часов, чтобы арестовать Мореля. Потому что я, конечно, приписываю случившееся ему и надеюсь, он не заставит меня признать ошибку; наша версия сразу была такова: мы имеем дело со своего рода помешанным, с человеконенавистником, который вбил себе в голову, что должен защищать слонов от охотников, а сам из отвращения к людям решил как бы сменить свое естество. Белый, которого от неприязни к людям настиг амок\*, и он встал на сторону слонов. Лишь бы только это был он; нечего и говорить, что в противном случае придется допустить весьма неприятные предположения, особенно когда мо-мо, мягко говоря, пришли в движение. . .

– Пулю осмотрели? – спросил Шелшер.

– Она из того же ружья, из которого стреляли в Хааса и Ланжевьеля, – сказал Фруассар. – Сомнений быть не может.

– Надо вам сказать, что поначалу к нашему объяснению этого происшествия относились не очень благосклонно. В Париже во что бы то ни стало хотели представить трагедию как акцию местных политических террористов. Когда я стал настаивать на своей версии, со мной заговорили весьма резко. Сказали, что если тут и впрямь не замешана никакая организация, то у меня нет никаких оправданий. В конце концов, клянусь вам, мне просто дали понять, что я не справился со своими обязанностями, не сумев подстрекнуть мо-мо в Чаде. Видите ли, в глубине души эти люди убеждены, что колонизация, которая не вызывает подрывных действий и кровопролития, является неудачной. Может, в чем-то они и правы.

Шелшер знал, что под иронией старого африканца кроются усталость и глубочайшая горечь.

– Но должен признать, что свою точку зрения они потом изменили. Тут нам сильно помогла пресса. Кажется, впервые в истории наших колоний Чад занимает в мировой печати ведущее место. Она никогда не писала ни о наших дорогах, ни о нашей борьбе с болезнями, ни о сенсационном падении детской смертности, ни о боях с нацистами во время войны. Но на сей раз пресса на высоте. К нам даже послали специальных корреспондентов. Эта история, как

---

\*Так малайцы называют безумие, сопровождаемое страстью к убийствам.

видно, затронула широкие круги, что доказывает, что мизантропия, или, как вы предпочитаете ее называть, любовь к животным – явление массовое. Они даже красивые заголовки дали: киньте взгляд на телеграфные сообщения и вы увидите, что газеты пишут только о «человеке, переметнувшемся на другую сторону» и о последнем «честном разбойнике» – лично я не очень-то понимаю, о какой чести идет речь.

– А ведь все довольно ясно, не так ли? – спросил Лоренсо.

– Не будете ли вы любезны пояснить вашу глубокую мысль, Лоренсо? – осведомился губернатор. – Уже три часа утра, и от чиновников нельзя много требовать.

– Я хотел только сказать, господин губернатор, что до сегодняшнего дня слоны не располагали оружием последнего образца. А поэтому в прошлом году в Африке можно было истребить тридцать тысяч слонов.

– Продолжайте, прошу вас.

– Тридцать тысяч слонов дают всего около трехсот тонн слоновой кости. А так как целью всякого хорошего правительства является увеличение продукции, я уверен, что в текущем году дела пойдут лучше. Не надо забывать, что только одно Бельгийское Конго поставляло в последние годы до шестидесяти тысяч слонов. Я уверен, что мы всей душой жаждем побить этот рекорд. При желании можно добиться того, чтобы Африка в целом убивала сто тысяч слонов в год, пока, если так можно выразиться, она не достигнет своего потолка. Ну, тогда можно будет перейти к другим видам животных. . .

Держа во рту сигарету, губернатор пристально глядел на пламя зажигалки. Шелшер заметил, что та – из слоновой кости. Стена за спиной губернатора была увешана слоновьими бивнями, любовно отобранными знатоком своего дела. Впрочем, это панно было творением нескольких его предшественников. Полковник Боррю прилежно вглядывался в военную карту колонии Чад с видом человека, поглощенного тем, чем ему положено интересоваться. Лейтенант де да Плас фактически растворился в стойке «смирно», выполненной на удивление лихо. Один Лоренсо, как видно, чувствовал себя непринужденно. Он с интересом поглядывал на отчаянные знаки, которые делал генеральный секретарь.

– Продолжайте, прошу вас, – повторил губернатор с изысканной вежливостью.

– Я говорю, естественно, только о свежей слоновой кости: старые бивни, припрятанные туземцами, давно уже выторгованы у деревенских старост. К тому же вы знаете не хуже меня, что колонизация была частично произведена на трупах слонов: ведь это добыча слоновой кости позволила купцам покрыть расходы по первоустройству.

– Ну и что же? – не повышая голоса, спросил губернатор.

– А то, что пора кончать с охотой на слонов, господин губернатор. Этот Морель, может, и сумасшедший, но, если он сумеет пробудить общественное мнение, я пойду позвать ему руку даже в тюрьму.

Губернатор сидел за столом неестественно прямо. Шелшеру подумалось, что если ты не вышел ростом, то лучше всего держаться именно так. Он думал это не только о губернаторе. Лицо генерального секретаря выражало тоскливое беспокойство человека, который знает, что останется здесь и тогда, когда для остальных уже все будет кончено. Однако когда губернатор наконец ответил, в тоне его не было и тени гнева, – скорее в том сквозило дружелюбие.

– А вам не кажется, милый Лоренсо, что в наше время в мире есть цели, ценности, ну, скажем. . . гражданские свободы, которые стоят чуть подороже слонов, в похвальной преданности которым наш друг и вы тоже как будто хватили через край? Среди нас еще остались люди, не желающие отчаиваться, махнуть на все рукой и находить утешение в обществе зверей. . . В эту самую минуту люди борются и умирают в тюрьмах и лагерях. . . Нам еще дозволено в первую очередь радеть о них.

Он замолчал, уставившись на зажигалку, которую все время вертел в руках. Комнату освещала яркая люстра, но падавший за окно свет тут же гасила африканская ночь, в которую он не мог проникнуть. Губернатор потерял во время Соппротивления единственного сына, и Шелшер с беспокойством спрашивал себя, знает ли и помнит ли о том Лоренсо.

– Конечно, господин губернатор, – тихо и даже грустно отозвался Лоренсо. – Но слоны – тоже участники этой борьбы. Люди умирают, чтобы сохранить в жизни хоть какую-то красоту. Какую-то естественную красоту. . .

Воцарилось молчание. Губернатор чиркал зажигалкой, которая отказывалась работать. Шелшер улыбался, удивляясь про себя той глупой радости, которую испытывает, наблюдая беспомощность некоторых человеческих жестов, даже самых незначительных. Генеральный секретарь поспешно поднес губернатору огонь, которым тот воспользовался не без раздражения: как и многим курильщикам, жест был ему важнее сигареты.

– Я вам еще кое-что скажу, Лоренсо. Человечество пока не достигло той покорности судьбе или. . . или одиночества, которые необходимы старым дамам, находящим утешение в болонках. Или, если предпочитаете, в слонах. Любовь к животным – одно, а отвращение к людям – совсем другое, и у меня о нашем друге сложилось собственное мнение. Вот почему я постараюсь упрятать его как можно быстрее за решетку и даже испытаю от этого некоторое удовольствие. И не потому, что меня ругает Браззавиль или Париж, мое положение устойчивее, чем у них. Я просто не люблю людей, которые принимают свой психоз за философское воззрение.

Он веско поглядел на Лоренсо поверх очков – этакий суровый старый школьный учитель.

– На сей раз я нахожу, что газетчики поняли все очень правильно. Этот тип пытается плюнуть нам в лицо. Пытается сказать, что он о нас думает. В прежние времена анархисты были против всякой власти, а наш друг пошел еще дальше. Однако, понимаете ли, я хоть и старик, но несмотря на шестой десяток еще не научился презирать людей. Что поделаешь, такое уж, видно, я ничтожество. Мое поколение никогда этим не отличалось. Наверное, мы – ужасные буржуа. А того типа, который приехал в Чад, чтобы устраивать демонстрации, я закатаю в кутузку, – так ведь у вас, офицеров, выражаются, полковник? Вы мне предоставите батальон стрелков, которые прочешут территорию между шестнадцатой и восемнадцатой параллелями, где нашего добряка видели в последний раз. Вы скажите Кото, что его осведомители должны принять участие в поисках и что для разнообразия я хочу видеть результаты.

– Было бы куда мужественнее запретить охоту на слонов, господин губернатор, – сказал Лоренсо. – Морель ведь утверждает то же самое, что я повторял вам в двадцати докладных записках.

– Вам стихи надо писать, Лоренсо, уверен, у вас станет легче на душе. – Губернатор встал. – А пока же я отправляюсь в Каноссу, иначе говоря, в Форт-Ашамбо. Должен передать месье Орнандо извинения правительства. Представляете, этот. . . этот господин, который, несмотря на всю шумиху, даже не умер, требует меня к себе, буквально требует! Невероятно, но факт. Увидимся через час на аэродроме.

Шелшер и Лоренсо вышли вместе. На улице еще стояла ночь. Они молча зашагали по дороге; ветер пустыни захлестнул их вихрями песка. Было холодно. Время от времени возникали диковинные силуэты, которые, казалось, плыли в облаке пыли. Порою во тьме странно сверкали светящиеся глаза, но луч фонарика высвечивал всего лишь бродячую собаку, которая тут же убегала, поджав хвост. Деревенские женщины своей царственной поступью направлялись к рынку, неся несколько яиц в узелке или корзину с овощами на голове. Шелшер знал, что часто они проделывали за ночь километров тридцать, чтобы продать в Форт-Лами горсть

фисташек. Он знал также и то, что дело заключалось не в нищете, а в африканских обычаях. Прогресс безжалостно требует и от людей, и от целых континентов отказа от своеобычности, прощания с тайной, и на этом пути лежат кости последнего слона. . . Окультуренная земля мало-помалу вытеснит леса; дороги все больше и больше внедряются в убежища диких зверей. Все меньше и меньше останется места для великолепия природы. А жаль. Он улыбнулся и крепче сжал рукой трубку, наслаждаясь холодным воздухом, отчего дружеское тепло в ладони было еще приятнее, а холодный воздух так хорошо сочетался со звездами. Ему вдруг вспомнились слова Хааса: «Представьте себе, я иногда молюсь, чтобы после смерти мог уйти туда, куда уходят они», – и подумал, что бы стал делать без своей трубки. Издалека их осветили фары грузовика, шедшего по правой дороге, и перед ними в завихрениях пыли заплясали две огромные тени. У выхода из туземной части города на дороге внезапно возник гигантский силуэт, на фоне пыльной пелены он тянулся в свете фар до самого неба, потом стал уменьшаться почти до человеческих размеров и обернулся американским майором, который прошел мимо них, согнувшись и пошатываясь.

– Бедняга, – сказал Лоренсо. – Интересно, что его мучает.

– Он год просидел в Корее в плену у китайцев, – отозвался Шелшер. – Поддался небольшому давлению и соблазнился кое-какими поблажками. Из тех американских офицеров, которые сочли более удобным «сознаться», что Соединенные Штаты ведут бактериологическую войну против китайского населения. А теперь ему нехорошо. Окопался в Форт-Лами. Еще одна история в пользу слонов.

– Вы считаете, что я был сегодня не прав?

– Нет.

– Я пытался говорить с позиции натуралиста. В конце концов, жалование мне платят именно за это. . .

Шелшер слушал рассеянно. Он не мог подойти к случившемуся только с точки зрения охраны африканской фауны. Под светлым небом, перед горизонтом, чьи пределы ограничивает только зрение, он ощущал наличие другой ставки в игре. Журналисты, быть может, не ошиблись, прозвав Мореля в насмешку «честным разбойником». А что, если он действительно один из тех маньяков, которые не видят ничего выше и дальше человека и кончают тем, что превращают того в нечто беспредельное, грандиозное, в эталон благородства, великодушия, в идеал, который и пытаются защищать? Это ведь подлинный поединок чести, в который Морель вступил в африканских джунглях. Бедняга! Шелшер поглядел вверх, на небо. Белый балахон придавал его фигуре в утреннем полумраке странные очертания. Он задумчиво посаживал трубку. Но, может быть, он и ошибается. Каждый смотрит по-своему. Если покушение на Орнандо и вызвало такой интерес во всем мире, то наверняка не столько из-за личности жертвы, сколько потому, что страх, озлобление и крушение иллюзий изранили сердца миллионов людей острием человеконенавистничества; оно побуждает многих следить с сочувствием, а то и с какой-то мстительностью за поступками влюбленного в природу француза, – ведь он защищает ее от насилия, которое не обошло стороной и их самих. Чувство это не очень осознанное, не выражено вслух, но тем не менее присутствует.

Шелшеру нравился Лоренсо. Трудно было не любить душевный, слегка напевный голос, не любить самого чернокожего великана, который столь откровенно рассказывал о себе, думая, что рассказывает об африканской фауне.

– Я просто стараюсь выполнять свои обязанности. Вы знаете не хуже меня, какой урон грозит Африке, если она потеряет своих слонов. А мы к этому идем. Черт побери, как мы смеем говорить о прогрессе, когда истребляем вокруг себя самые красивые и благородные явления жизни? Наши художники, архитекторы, ученые, наши мыслители обливаются потом

и кровью, чтобы сделать жизнь прекраснее, а мы в это время углубляемся в последние, еще оставшиеся у нас леса, держа палец на спусковом крючке автомата. Если бы этого Мореля не существовало, его надо было бы выдумать. Может, ему и удастся взбудоражить общественное мнение. Господи Бойсе, я, кажется, способен уйти к нему в заросли, в это ядро сопротивления. Потому что, правда ведь, все дело в этом – надо бороться с пренебрежением к последней земной красоте и к тем местам, в которых живет человек. Неужели мы уже не способны бескорыстно уважать природу, живое олицетворение свободы, не ища пользы, без всякой побочной цели, кроме желания время от времени ею любоваться? Свобода сама по себе анахронизм. Вы знаете, что от одинокой жизни в лесу у меня недержание речи, но мне плевать, что вы думаете. Я говорю для себя, чтобы успокоиться, потому что у меня нет мужества поступать как Морель. Ведь как необходимо, чтобы люди не только начали сохранять то, из чего им делают подметки или швейные машинки, но чтобы оставили про запас уголок, где можно иногда укрыться. Только тогда можно будет говорить о цивилизации. Чисто утилитарная цивилизация всегда дойдет до ручки, то есть до концлагерей. Надо оставить нам свободное пространство. И потом, вот что я хочу сказать. . . Право же, у нас осталась одна только Эйфелева башня, откуда можно посмотреть вниз на мироздание. Вы тоже, как губернатор, дошлете меня сочинять стихи, но имейте в виду, что люди никогда так не нуждались в общении, как сейчас. Им нужны все собаки, все кошки, все канарейки, все зверушки, каких только можно найти. . .

Он вдруг смачно сплюнул. Потом произнес, опустив голову, словно больше не смел смотреть на звезды:

– Людям нужна дружба.

### XIII

Орнандо принял губернатора в больничной палате. Журналист едва мог разговаривать. Он лежал на спине, уставясь в потолок, и, когда в комнату вошел губернатор в парадном мундире и при всех регалиях, в его глазах блеснула обычная злоба. Секретарь, он же переводчик, потом рассказывал, что этот полный ненависти взгляд был первым признаком выздоровления. С тех пор как Орнандо подобрали, он ни разу не пожаловался, не произнес ни единого слова и молча истекал кровью; лицо американца большей частью выражало странное удовлетворение. Можно было подумать, что он считал естественным и даже в какой-то мере приятным то, что с ним произошло. Когда кто-то отважился заговорить о Мореле, он будто и не удивился и продолжал пристально смотреть в потолок. Потом потребовал, чтобы к нему явился губернатор. А сейчас внимательно разглядывал чиновника, безучастно выслушивал пожелания скорейшего выздоровления и сожаления, которые выражало ответственное лицо.

– Передайте ему, месье, – закончил свою речь губернатор, – что виновный понесет заслуженное наказание.

Секретарь перевел. Орнандо вдруг оживился. Он сделал попытку привстать и быстро произнес несколько слов. Секретарь явно растерялся.

– Господин Орнандо убедительно просит оставить стрелявшего в покое, – перевел он наконец. – Он настаивает.

Губернатор понимающе улыбнулся.

– Это крайне благородно со стороны господина Орнандо, пожалуйста, поблагодарите его. Мы сообщим в газеты о проявленном им великодушии, которое, я уверен, читатели безусловно оценят. Тем не менее правосудие воздаст этому типу должное. К тому же он совершил покушение не на одного господина Орнандо. . .

Орнандо вдруг разразился руганью. Он сумел, несмотря на повязки, приподняться на локте и, трясая головой от беспомощной ярости, словно топал ногами.

– Господин Орнандо просит напомнить, что каждую неделю его слушают пятьдесят миллионов американцев, – перевел вконец растерявшийся секретарь. – Он хочет сказать, что. . . что если хоть один волос упадет с головы покушавшегося, он, если понадобится, поднимет против Франции такую кампанию в прессе, что ваша страна запомнит это на многие годы. Если этого человека не оставят в покое, он обратит все имеющееся у него влияние на то, чтобы подорвать престиж Франции в глазах своих соотечественников. . . – И поспешно добавил с мольбой в голосе: – Господин губернатор, я не знаю, учитываете ли вы, какое влияние имеет Орнандо в Штатах. . .

Орнандо приподнялся еще выше. На его лице выступили капельки пота, побежали струйками по жирной шее. Глаза расширились, выражая страдание; но, казалось, то причиняла вовсе не израненная плоть, оно словно было присуще им, как цвет зрачка. Губернатор стоял возле кровати с разинутым ртом. На миг воцарилось молчание, и с больничного двора донеслись детские голоса, хором разучивавшие суры Корана.

– Господин Орнандо предлагает лично вам двадцать тысяч долларов за то, чтобы вы оставили этого человека в покое, – пролепетал вне себя от ужаса секретарь; видно, он пока не успел проникнуться безграничной верой в человеческую низость, в отличие от хозяина.

Тут к губернатору вернулся дар речи. Он начал с того, что во все горло выкрикнул имя своего сына, погибшего в Соппротивлении. Потом перевел несколько фраз от имени Франции, побагровел и стукнул себя кулаком по ордену Почетного Легиона.



– Во всяком случае, – бормотал переводчик; чувствовалось, что если бы мог, он охотно залез бы под больничную койку, – во всяком случае господин Орнандо сразу же пожертвует пятьдесят тысяч долларов на защиту этого человека, если его арестуют, чего он... чего он делать никому не советует. Господин Орнандо рассматривает случившееся как... свое личное дело.

Орнандо откинулся на спину. Губернатор Чада изрек несколько высокопарных фраз по поводу «достоинства» и «чести», потом повернулся на каблуках, нахлобучил свой белоснежный шлем и вылетел из палаты с бородой торчком; люди видели, как он рухнул на заднее сиденье лимузина, бледный, прямой и «весь ощетилившийся, как зверь», – по выражению одного сержанта; автомобиль проехал через Форт-Ашамбо, подняв облака пыли; казалось, что их подняла не машина, а губернаторская ярость, поэтому-то пыль долго и угодливо вилась за ним следом. На аэродроме он визгливо закричал на полковника, командующего гарнизоном, – такого тона от него еще никогда не слышали, – он был человеком вежливым и скорее добродушным, склонным к мягкому скепсису, оберегавшему и от излишних иллюзий насчет человеческой природы, и от неверия в нее, – и сообщил, что дает тому сорок восемь часов на поимку Мореля и доставку в Браззавиль в наручниках «этого мерзавца, этого подлеца, слышите?» – повторял губернатор, еще больше возвысив голос и сверля полковника суровейшим взглядом, словно обвиняя в скрытой симпатии к «человеку, желавшему изменить человеческую породу». В самолете он молчал, скрестив руки на груди и вызывающе поглядывая в иллюминатор, будто подозревал, что Морель прячется за каждой купой деревьев с ружьем в руках, готовый отрицать оправданность человеческого существования. Он хмурил брови, передвигал во рту мокрый окурочок, о котором совершенно забыл, взглядом метал молнии в Шари, в заросли, во все стада, которые могли находить там убежище, во все живое и уже вымершее, от допотопного птеродактиля до диких артишоков, перемещая окурочок из правого угла рта в левый и напрягая челюсти от негодования и ярости истого человеколюбца, который к тому же верит и в демократию. Он метал взглядом молнии в джунгли и заставлял себя вспоминать о Микеланджело, о Шекспире, об Эйнштейне, о техническом прогрессе, о пенициллине, о запрете клиторидектомии у пигмеев, в чем была его личная заслуга, о живописных и скульптурных шедеврах французского гения, о третьем акте «Риголетто» в исполнении Карузо – эту пластинку он держал у себя дома. Он думал о Гете, о президенте Эррио, о нашей парламентской системе и каждый раз победоносно передвигал окурочок из одного угла рта в другой, мечая молнии в заросли и в Мореля, притаившегося там среди своих диких слонов, да, диких, он на этом настаивает! Он даст ему настоящий, беспощадный бой, в котором будет победителем. Губернатор летел высоко в небе, со скрещенными руками, со все более и более мокрым окурочком во рту, и утверждал свое превосходство. Он немало потрудился над собственным культурным уровнем и, слава Богу, изучил гуманитарные науки. Петрарка, Ронсар, Иоганн Себастьян Бах – все прошли перед ним. Это была борьба за человеческое достоинство. При таких, как у него, ловкости и выдержке, при находчивости старого боевого радикал-социалиста он сумеет избежать тех ловушек, которые ставит незримый Морель. Он не позволил себе хотя бы на миг подумать о водородной бомбе, только быстро передвинул окурочок в другой угол рта и умело направил мысли в другую сторону, атакуя противника в его же окопах: он отдал дань благотворному действию атомной энергии, которая именно в Африке сделает пустыни плодородными. Его возвышенное положение – они летели в лазурном небе, на высоте трех тысяч метров над горами Бонго – настолько помогло губернатору в борьбе, что, сойдя с самолета в Форт-Лами, он пришел в хорошее расположение духа и стал тихонько надевать арию из «Фауста», сцена в саду – которую очень любил; вдохновенная красота, разве она сама по себе не ответ тем, кто поносит человечество, таким, как Морель и Орнандо? Он заявил ожидав-

шим его газетчикам – три специальных корреспондента прилетели в этот день из Парижа, и «Эр Франс» объявила о прибытии других на следующий день, – что мы имеем дело с проявлением человеконенавистничества и было бы ошибкой придавать ему политическую окраску; тут действовал в одиночку фанатик, человек, которым овладел амок или, если хотите, ставший одиночкой, как тот слон, который, безнадежно израненный, покидает стадо и становится крайне агрессивным и злым. Журналисты записали слово «одиночка» и засыпали губернатора вопросами. Может ли он им сообщить какие-нибудь сведения об этом Мореле? Что на самом деле о нем известно? У кого-нибудь есть его биография? Верно ли, что это бежавший боец Сопротивления, который уже был депортирован немцами за свое участие в партизанской борьбе? Губернатор кинул взгляд на Шелшера, который утвердительно кивнул головой. . . Он получил телеграмму из министерства внутренних дел, где на Мореля имелось досье. Но губернатор счел более уместным отделаться шуточками. «Пока можно сказать только одно, – заявил он с добродушной улыбкой, – мы имеем дело с зубным врачом и вся эта смехотворная история объясняется тем, что пресловутый Морель просто помешан на слоновой кости». Послышались смешки, но губернатор понял, что взял неверный тон, и принял слегка уязвленный вид. Он сделал шаг к своей машине, но журналисты не думали расступаться. Правда ли, что Морель пытался вручить губернатору свою петицию, прежде чем прибег к партизанским действиям, но что его упорно отказывались выслушать? События в округе Уле вызвали необычайный интерес во всем мире, и, по-видимому, симпатии публики больше склоняются на сторону Мореля, на сторону слонов, чем. . . ну, словом, чем администрации. Правда ли, что в Африке убивают около тридцати тысяч слонов в год, всего лишь только для того, чтобы изготовить биллиардные шары и ножи для разрезания бумаги? Правда ли, что нынешних ограничений на охоту недостаточно? Журналист, задавший этот вопрос, был суматошливым человеком невысокого роста, в очках и с возмущенно вздернутыми бровями, – у него у самого был диковатый и злобный вид; он подпрыгивал, словно ему не терпелось отбежать по малой нужде или уйти в партизаны к Морелю. Может ли губернатор сказать несколько слов об охране природных богатств Африки? Было бы очень удобно объяснить всю эту историю простой мизантропией; разве Морель не из тех, кто обладает очень высоким представлением о долге и обязанностях и кто, несмотря на все разочарования последнего двадцатилетия, не желает поступаться своей совестью? Корреспондент энергично поправил на носу очки, словно подчеркивая, что и сам идет в авангарде таких бойцов. На сей раз губернатор внимательно обдумал свой ответ: он отдавал себе отчет, что почва под ногами зыбкая. Он заявил, что любовное отношение к слонам – давнишняя французская традиция. Цель Франции – обеспечить слонам любую защиту, в какой те могут нуждаться. Он сам – верный друг животных и может заверить журналистов, – а они, в свою очередь, могут заверить своих читателей, – что им сделано все необходимое для охраны этих симпатичных толстокожих, которых мы любим с детства. Ему наконец удалось сесть в машину. Следом забрались Фруассар и Шелшер. Он был сильно взволнован неожиданным нападением прессы и тем значением, которое она явно придавала этой истории, и даже не заметил, что генеральный секретарь бледен как мел и выглядит совсем больным; выражение лица у Фруассара было жалобное, возмущенное, как у всякого хорошего чиновника во время землетрясения, сильного наводнения и прочих катастроф, грозящих потерей важных документов.

– фу! – произнес губернатор, отирая лоб. – Ну, ребята, что вы на это скажете? Ни словечка об Орнандо! Их занимает только Морель.

– Газеты и в самом деле не пишут ни о чем другом, – через силу признал Фруассар. – Публику очень увлекают рассказы о животных. А тут столько романтики!

– Ну что ж, я не намерен дурачить изменников. Кстати, это наводит меня на мысль. . . Так

как мне, несомненно, придется принимать у себя газетчиков, будьте любезны убрать со стен слоновьи бивни. Не то, сами понимаете, что выйдет, если их сфотографируют.

Шелшер улыбнулся.

– Можете сколько угодно улыбаться, друг мой, но по их вопросам видно, кому люди сочувствуют. Я не ищу популярности у публики, это не в моем характере, но я не хочу прослыть кем-то вроде бесчувственного жандарма. Вот увидите, если мы скоро не поймем этого негодяя, он станет чуть ли не национальным героем. А что говорят в Париже?

– Пока сказали все, что могли, господин губернатор. Зато...

Они проезжали мимо Медицинского центра вакцинации. Губернатор окинул здания хозяйским взглядом: с тех пор как его сюда назначили, детская смертность упала на двадцать процентов. Когда он проезжал мимо этого учреждения, на душе у него становилось веселее и теплее, как у доброго папаша. Лицо губернатора прояснилось. Фруассар, поймав эту улыбку, преподнес ему пилюлю.

– Зато есть новости о Мореле.

Губернатор подскочил; быть может, это просто потрянуло машину.

– Ну? Ну? Что там еще?

– Он напал на плантацию. Плантацию Саркиса. Сирийца там не было, но дом сожгли. Видно, он теперь не один: с ним целая шайка.

Странно, однако у губернатора даже отлегло от сердца и он словно успокоился. Шелшер наблюдал за ним с любопытством. Ему вспомнилось, что говорят о настоящих творцах: великие произведения – те, которые в конце концов ускользают от их понимания.

– Что ж, это мне нравится больше, – медленно произнес губернатор. – Теперь, по крайней мере, все ясно как день. Мы имеем дело с обыкновенным бандитом, который дошел до того, что стал грабить фермы. Да, это мне больше нравится. Если бы речь и правда шла о слонах, с ним ничего нельзя было бы поделаться... С легендами бороться очень трудно. Ну, а так колебаться нечего. Это просто разбойник, может быть, последний белый авантюрист в Африке...

Нельзя было равнодушно смотреть, с какой страстью человек защищал свое достоинство.

– Да, все это так, господин губернатор, – внушительно произнес Фруассар. – Он напал и на лавку слоновой кости Банерджи в Бангассе. Привязал индийца к дереву и прочел ему свою петицию...

Шелшер не мог сдержать улыбку при мысли о том, как Банерджи, – самого изнеженного и безмятежно-жирного человека, каких ему приходилось видеть, – стащили посреди ночи с постели, привязали к дереву и заставили слушать невероятный текст при свете пожара, уничтожавшего собственный магазин индийца...

– Морель приговорил его потом, именем «Всемирного Комитета защиты слонов», или чего-то вроде этого, к шести ударам плеткой и конфискации имущества. И объявил, что намерен когда-нибудь поехать в Индию, чтобы и там вести свою кампанию, «потому что и азиатским слонам угрожает то же самое». Банерджи в больнице с нервным расстройством; он убежден, что это – сумасшедший, который действительно верит в свою «миссию», но действует по чьей-то указке. А магазин сгорел дотла. Взяли все деньги, какие нашли, оружие и боеприпасы. Одну из женщин племени сэра изнасиловали. Черные, бывшие с Морелем, – все из племени уле, и слуги опознали среди них двух или трех уголовников, в том числе знаменитого Короторо, сбежавшего три месяца назад из тюрьмы Банги. Но Банерджи клянется, что там было еще и несколько европейцев, и в том числе, судя по его весьма похожему описанию, датский естествоиспытатель Пер Квист, – он как раз находится в тех краях по поручению Музея естественной истории Копенгагена.

– В общем, никакой политики? – медленно спросил губернатор.

– Кажется, нет. Во всяком случае, впрямую. . .

Шелшер смотрел на двух чиновников, которые пытались мужественно сражаться с кошмарным призраком, обрушившимся им на плечи. Волей-неволей они находили в этом событии все свои навязчивые страхи, все причины бессонных ночей и даже суеверия. Они слишком гордились своим положением, чтобы не чувствовать, какую угрозу им оно теперь представляет. Впрочем, их успех, быть может, не был столь полным, как они опасались, а деяния – не такими уж великими и прекрасными, чтобы вдруг зажить у них перед глазами независимой жизнью. Они забежали вперед, все преувеличивали и слишком далеко заглядывали. Но он вдруг ощутил к ним благодарность вместе с приливом теплого, почти братского чувства.

– Думаю, что не надо искать так далеко, господин губернатор. У нас должен быть более скромный взгляд, если можно так выразиться. Может, тут и мы виноваты, но пока что такая точка зрения на Чад еще преждевременна. Думаю, что все гораздо проще – и гораздо фантастичнее. Саркис – самый крупный охотник на слонов во всей округе. На него не раз накладывали штраф за организацию «карательных» экспедиций против стад, вытаптывающих поля, и за то, что он проводил их без контроля инспектора по делам охоты. Банерджи торгует слоновой костью. . . Думаю, что искать дальше нечего. Мы имеем дело с невысказанной затеей, а может статься, и с самым прекрасным происшествием в мире.

Фруассар бросил на него неодобрительный взгляд.

– Да, а уле – самое первобытное племя в Африке, – сказал губернатор. – Я с вами согласен, Шелшер. Мы становимся чересчур впечатлительными. Глупо припутывать сюда политику. Впрочем. . . Он улыбнулся не без горечи. – Впрочем, ведь в Кении началось не иначе. . .

«Вот чего я никак не пойму, – загремел отец Фарг, угощая в тот вечер иезуита обедом, – почему все вели себя; так, будто каждый лично был оскорблен или ему персонально что-то грозило. У всех у них был такой вид, словно этот злосчастный Морель плюнул им в лицо. Вы хоть что-нибудь понимаете?» Иезуит не мог удержаться, чтобы не подразнить хозяина.

«Гордыня, гордыня!» – сказал он.

Отец Фарг забеспокоился: если что его и ужасало, так это профессиональный жаргон. «Ну да, правда, – поспешно согласился он, горько сожалея, что натолкнул собеседника на такую утомительную тему. – Съешьте еще курицы». Отец Тассен улыбнулся. Они отлично понимали друг друга. «Ведь это хороший признак. Люди начинают смутно понимать, что у человечества есть душа, совесть, то, что они зовут честью, независимо от каждого человека в отдельности. Гордость, но гордость всего человеческого рода, что уже похвально. Жаль, что орден относится. . . ну, скажем, с такой осторожностью к моим взглядам на этот счет. Что ж, надеюсь, что, когда я умру, мои рукописи все же опубликуют. Было бы интересно поглядеть, как человечество однажды вылупится из своих двух миллиардов коконов как единое живое существо». Фаргу такой поворот в разговоре совсем не нравился, – он знал, что иезуит повсюду ездит с внушительным ящиком, набитым рукописями. Не хватало еще, чтобы ему дали что-нибудь из них прочесть. Одному Богу известно, что за непристойности там найдешь. «Мне достаточно молитвы!» – заявил он угрюмо с присущим ему тактом и принялся жевать курицу с такой яростью, которая исключала всякое другое занятие.

## XIV

Форт-Лами никогда не слыл таким местом, где боялись почесать языки. А потому и теперь пересуды шли в соответствии с важностью событий. «Он» связан с мо-мо. «Он» напал на отдаленный военный пост во главе шайки чернокожих, убийц офицера или сержанта, и увел с собой в чащу солдат, так как пытается набрать легион для борьбы за независимость африканцев, – «ну, а как насчет слонов, милый мой, вы, стало быть, в это не верите?» Но люди, наоборот, в это верили. Они даже как будто удивлялись, почему нечто подобное не произошло раньше. Морелю в общем сочувствовали женщины, они жалели, что вовремя не обратили на него внимания, ведь все так романтично, так трогательно, ну почему и правда не оставить в покое этих бедных слонов? Пусть мужчины твердят, что слоны тут ни при чем, что он террорист, враг рода человеческого, – женщины желали видеть Мореля только в образе красивого молодого человека с горящими глазами, вроде Франциска Ассизского, но более энергичного и мускулистого. В «Чадьене» Минна переходила от столика к столику с накинутой на плечи шалью» ловя малейшие обрывки разговоров.

– Да, именно так она и поступала, – с легкой улыбкой сообщил иезуиту полковник Бэбкок, когда тот пришел навестить его в больнице через несколько дней после сердечного приступа, свалившего офицера. – Переходила от столика к столику с тем отсутствующим видом, какой бывает у людей, поглощенных одной мыслью, одной задачей; потом присаживалась, держась очень прямо, выслушивала последние новости, – никто, конечно, ничего не знал, но у людей есть воображение, – не произносила ни слова, крепко сжав в руках концы шали, а потом поднималась и переходила дальше. Вопросов не задавала. Но казалось, что она чего-то с волнением ждет, ждет со все большим нетерпением; теперь, когда я об этом думаю, я точно знаю, какие важные сведения ей были нужны. Мы ведь не подозревали, что с ней происходит. Естественно – наш опыт ничего подсказать нам не мог. . . Я говорю главным образом о себе.

Лицо полковника было растерянным и осунувшимся; оно выражало скорее сердечные страдания, чем болезнь.

– Наверное, мне надо раз навсегда объяснить свое состояние. Люди моего класса, моей среды получают определенное воспитание, вернее сказать, определенный взгляд на мир. Какой – неважно, какой уж есть. Вы, наверное, только усмехнетесь, если я скажу, что нас воспитывали для того, чтобы мы могли занять свое место среди других джентльменов. Мы, конечно, знали, что порой рискуем получить удар ниже пояса. Но нам привили убеждение, что такой удар противозаконен. Нам никогда не приходило в голову, что такой удар может быть законом, правилом. Можете, если угодно, считать меня старым идиотом, отставшим от жизни, но люди моего круга не имели никакого понятия об условиях, которые могут породить таких, как Морель или Минна. Я вам признаюсь, что еще и сегодня склонен видеть в Мореле только оригинала, правда симпатичного, который всего-навсего решил защищать слонов от охотников. А в остальном. . .

Он с трудом повернулся на кровати, словно старался найти наконец удобное положение.

– Мнение, что причиной всему только презрение или даже отвращение к людям, что это. . . нечто вроде разрыва, плевка, – да вы же знаете не хуже меня, что говорят, – было и до сих пор остается мне совершенно непонятным. Думать, что человек мог так далеко зайти в своем отрицании, в своем отказе, я хочу сказать – отказе от нашего общества, – чтобы и впрямь стремиться переменить свое естество, как о том писали. . . Мрачная, недостойная мысль,

и мне трудно поверить, что в жизни существует нечто такое, что может ее оправдать. Но, очевидно, бывают обстоятельства. . .

Он бросил на иезуита горестный взгляд, который и на этот раз выражал отнюдь не физическое недомогание.

– Поймите меня правильно. Я не такой уж болван, но меня дурно воспитывали: мне не объяснили правил игры. Конечно, со временем и мы кое-что стали замечать. Англичан сажали в японские концлагеря. Бомбили Лондон, а потом та ужасная история на континенте с газовыми душегубками. Явно, как у нас говорят, «не крикет». Но мы воспринимали все это лишь как отвратительные, чудовищные случайности истории, как исключение. Мы продолжали верить, что тут просто нарушены правила игры, что идут удары ниже пояса. Нам и в голову не приходило, что, наоборот, в том, может, как раз и проявляются подлинные правила игры. Мы долго жили, укутанные в моральную вату, но фашисты и коммунисты в конце концов дали нам понять, что правда о человеке, быть может, у них, а не на зеленых лужайках Итона. Я не очень-то сам понимаю, почему говорю «мы», но просто хочу подчеркнуть, что в Англии было и, должно быть, еще есть немало таких кретинов, как я. Возможно, что наша так называемая цивилизация – всего лишь длительная попытка самообмана, чем как раз и занималась Англия. Мы глубоко верили в то, что людям свойственна элементарная порядочность. Однако я признаю, что мы, быть может, пережиток ушедшей эпохи и что бремя изменной действительности скоро заставит нас исчезнуть с поверхности этой планеты, ну хотя бы как тех же слонов.

Иезуит бросил на него пронзительный взгляд, но больной, по-видимому, не вкладывал в это сравнение особого смысла.

– Я рассуждаю просто для того, чтобы объяснить, как мне не хватало опыта, чтобы понять такое существо, как Минна. Требовалось быть куда теснее связанным с окружающей действительностью и с тем, что кроется в нас самих, – этой близости нет и у большинства моих соотечественников, – нас не поглотили те страдания, которые залили континент. Я, конечно, знал, что эта девушка много страдала, но не имел ни малейшего представления о том, сколько горечи накопилось в ее душе. Во всяком случае, ни сном ни духом не подозревал о том безумстве, которое она совершит, и что она задумала, быстрой походкой прогуливаясь среди посетителей «Чадьена». Она присела на минуту и к моему столику, и должен сказать, что улыбнулась мне как обычно; она всегда улыбалась, когда меня видела, думаю, что я ей казался смешным. «Ну, полковник Бэбкок, а что думаете вы?» Я ответил, что всегда испытываю симпатию к людям, которые любят животных, и что он совершенно прав, говоря, будто слоны практически истреблены в некоторых районах Африки; однако этот Морель слегка перегибает палку. «В Англии, – сказал я, – все наверняка уладится бы письмо в «Тайме», вслед за чем, под давлением общественного мнения, парламент принял бы соответствующие законы о защите африканских животных». Видите, какой я старый дурень: действительно верил, что дело только в этом. «У него, как видно, нет шансов спастись», – сказала она, словно сообщила мне то, что ей известно. Я согласился, что надежды на спасение у Мореля почти никакой. Никогда не забуду, как она тогда на меня посмотрела: потерянно, с мольбой, глазами, полными слез. Я 100 поспешил добавить, что дело, наверное, обойдется годом тюрьмы, если за это время он кого-нибудь не убьет, что весьма вероятно. Спросил ее, не хочет ли она со мной что-нибудь выпить, – признаюсь, это было тактичным напоминанием о том, что я давно тут сижу, но ни один официант не подошел, чтобы взять у меня заказ. То был час, когда я выпивал первую рюмку виски, и я не хотел менять привычек. Но по-моему, она меня даже не слушала. Сидела рядом, зябко кутаясь в серую шаль, и думала о чем-то своем, – явно не о моем виски. «Очень красивая, – я это сознавал всякий раз, когда ее видел, – очень красивая».

Полковник помолчал.

– Жаль, – сказал он, не поясняя, к чему относятся его слова. – Да, жаль.

Он снова помолчал, а потом продолжил:

– Я отлично видел ее рассеянность. Сказал ей, что она, видимо, чем-то озабочена. Она кинула на меня удивленный взгляд. Потом улыбнулась. Помню, она вдруг даже проявила дружескую симпатию и позаботилась, чтобы мне подали виски.

Полковник вздохнул.

– Что ж, я прекрасно себе представляю, что она тогда должна была обо мне думать. Она, конечно, подумала, что я – старый дурак, который ничего не понимает. Но может быть, она думала обо мне не без теплого чувства, – должна была знать, что войска, которыми я командовал, никогда никого не насиловали. Тут она пошла распорядиться, чтобы мне подали виски, потом опять вернулась за мой столик и, знаете, что сделала? Взяла меня за руку. К сожалению, должен сказать, что я не из тех мужчин, кого женщины прилюдно держат за руку. Уже спускались сумерки, но на этот раз знаменитые африканские сумерки, которым всегда так некогда, как будто не стали спешить. Большинство людей в «Чадъене» знают меня и должны были понимать, что тут какое-то недоразумение, но я все равно был порядком смущен. Вдобавок не знал, что ей на это сказать. Я удовольствовался тем, что слегка кашлянул и грозно огляделся вокруг на случай, если кто-то решит надо мной посмеяться. Но самое неприятное было впереди. Ибо когда я вот так сидел, держа свою руку в ее руке и не решаясь убрать, чтобы не показаться невежей, я вдруг почувствовал на тыльной стороне ладони какую-то влагу – слезы! Она плакала. Изо всех сил сжимала мою руку я плакала. Я открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, все равно что, попытаться ей помочь, ободрить, но тут услышал ее смех. Ну да, смех. Должен сказать, я был как громом поражен. И когда я уже больше ничего не понимал, то вдруг услышал, как она произносит срывающимся голосом, рыдая так громко, что вся терраса могла ее слышать: «Ах, полковник Бэбкок, вы такой хороший!»; а потом эта девушка, Минна, вдруг поднесла мою руку к губам и поцеловала!

Полковник тяжело вздохнул:

– Что она хотела этим сказать и что я должен был сделать или не сделал, чтобы заслужить поцелуй, для меня до сих пор тайна. Я себя иногда даже спрашиваю, не начался ли в ту минуту мой сердечный приступ?

Он прервал свой рассказ и с укором поглядел на иезуита.

– Я не очень хорошо помню, что тогда говорил или делал. Но она, как видно, поняла мое состояние и отпустила мою руку. А может, мысли ее уже были далеко. Полагаю, что именно так, и она больше обо мне и не думала. «Но еще есть какое-то время, правда?» – спросила она. Я не имел ни малейшего понятия, что она хочет сказать. Был совершенно растерян. Зажгли лампы, и у меня было отчетливое впечатление, что все наблюдают за нами с улыбкой. Вы спросите: а почему вас так заботит, что думают другие? Но кому же хочется быть посмешищем, а старым английским полковникам в отставке не более других. Вы скажете, что в моем возрасте подобные вещи уже не имеют значения. Но может, кое в чем человек никогда не стареет. А в шестьдесят три года так же неприятно, когда молодая женщина не считает тебя мужчиной, как если в шестнадцать она считает тебя еще мальчишкой. И куда неприятнее, когда молодая женщина вдруг начинает обращаться к тебе как к отцу, даже если ни одна из них никогда не воспринимала тебя иначе. . .

Иезуит жестом показал, что все понимает. Он пожалел, что люди прошли мимо полковника, не уделив ему чуточку больше внимания. Это была веточка, мельчайший побег эволюции, за которым человечеству стоило бы понаблюдать поприлежнее. Порядочность: вещь, далекая от великих устремлений, от гениальности, от грандиозных возможностей, но тем не менее –

поворот, у которого человеку следовало задержаться подольше. Он преклонялся перед чувством юмора, потому что оно было едва ли не лучшим оружием человека в борьбе с самим собой.

– В конце концов я понял, что она говорит о Мореле, – продолжал полковник. – У меня, право же, отлегло от сердца. Я ей сказал, что Морель может еще какое-то время оставаться на свободе, но что это все же только вопрос дней.

Полковник слегка пошевелился.

– Она слушала с необычайным вниманием, прямая, напряженная, наклонившись ко мне, сжав руки почти до боли. Видите ли, она не скрывала своих чувств, да, не скрывала, должно быть, понимала, что со мной ничем не рискует, что я все равно ничего не пойму. Она, наверно, сказала себе, что когда надо, чтобы женщину не поняли, на джентльмена всегда можно положиться. Признаться, я полностью оправдал доверие. Я сидел и спокойно готовился объяснить, что у Мореля нет никаких шансов спастись, что он, вероятно, доведен до крайности, что всякого белого, который один бродит по джунглям, рано или поздно выдадут негры из соседних деревень. Она слушала меня с той страстью, какую другие вкладывают в свою речь, – если можно так выразиться, ее молчание было красноречиво.

Полковник умолк.

– Не знаю, помните ли вы ее глаза, – заговорил он немного погодя. – Серые, светло-серые; казалось, они постоянно и горестно вас о чем-то спрашивают. Между ее глазами и тем, через что она прошла, была какая-то несообразность, во, в конце концов, солдаты же не заметили их в темноте или смотрели в сторону... В них светилась поразительная невинность, может быть, просто из-за цвета; это были глаза, которые все видели, но одержали победу. Должен добавить, что голос ее был совсем не похож на эти глаза, вероятно, из-за немецкого акцента. В нем ощущалась тяжеловесность, многоопытность... Впрочем, Минна много курила... Словом, я как раз собирался ей объяснить, что арест Мореля – вопрос нескольких дней, что у него нет никаких шансов спастись, раз он один и прячется в джунглях, когда Минна меня прервала.

«Но он же не один, – сказала она. – Я разговаривала с корреспондентами, и все они говорят то же самое: очень многие ему сочувствуют. Если бы только он о том узнал...»

И вот тогда я произнес самую большую глупость за всю свою жизнь, – а у меня за плечами сорок лет военной службы. «Что ж, – сказал я ей, – вижу, что и вы тоже любите слонов». Она мне улыбнулась, метнула на меня, как показалось, явно дружеский взгляд и снова дотронулась до моей руки. Потом поднялась и отошла. Я остался наедине с трубкой, пытаюсь принять безразличный вид, но мне всегда было больно, когда Минна от меня уходила. С тех пор как я постарел, мне все больше и больше нужно чье-нибудь общество. Я посидел еще немного, потому что она переходила от столика к столику и могла ко мне вернуться. Иногда она возвращалась два, а то и три раза за вечер, – я появлялся на террасе около шести, и если мне не хотелось уходить домой, там и обедал; она обычно подходила, когда я заказывал обед, а потом, когда подавали кофе, но это, конечно, зависело от того, сколько там в данный момент было людей. Я никогда заранее не мог быть ни в чем уверен. В субботу вечером я никогда не приходил в «Чадьен», терпеть не могу толпу. И она обо мне забывала!.. Я хочу сказать, что не мог добиться, чтобы меня обслужили. Понедельник был самый лучший день, она была гораздо свободнее. Полчаса я только издали следил за ней взглядом. Я часто на нее смотрел – и совсем не потому, что она была красива и грациозна, хотя такой безусловно и была, – но чтобы увидеть, не приближается ли она опять к моему столику; у меня было впечатление, что она чувствует себя немножко одинокой, и мне не хотелось делать вид, будто я ее избегаю. Я посвящал ей таким образом весь вечер, – оставался обедать на террасе, – и чувствовал, что она



мне за это признательна. Я смутно догадывался, что она нуждается в чем-либо дружеском присутствии. У меня большой опыт в смысле одиночества, и я знаю, как приятно присутствие, даже отдаленное, кого-то, кто тебе симпатичен. Я не очень-то любил «Чадьен», во-первых, потому, что цены там неприлично высокие, и еще потому, что там постоянно видишь одни и те же лица, но чуть не каждый вечер все равно туда ходил, из-за нее – она всегда улыбалась, когда видела, что я вхожу, думаю, что она по-своему была ко мне привязана. А если бы не Минна – само местечко препротивное, со своими насекомыми и всегда одними и теми же пластинками; там есть одна под названием «Помни забытых людей», – я бы ее с наслаждением разбил; а этот жуткий тип Орсини, чей голос слышишь, как только входишь. . .

Должен сказать, что мне стоит больших усилий быть с ним любезным, я считаю необходимым проявлять терпимость, ведь хорек не виноват, что он воняет? Ты не имеешь права показывать людям, что они тебе неприятны. Поэтому я всегда старался демонстрировать ему свое хорошее отношение. Кончилось дело тем, что он стал воображать меня одним из близких друзей, – как-то раз даже сказал мне, что я его единственный друг, с какой-то слезливостью в голосе, – до чего это было противно, но я был вынужден время от времени приглашать Орсини к себе, чтобы он не обиделся, и кончилось тем, что я его так возненавидел, что один вид его вызывал у меня головную боль. А это вынуждало меня прилагать еще больше усилий, чтобы не показать свое настоящее отношение, то есть то чувство, которое я не считаю себя вправе испытывать к любому человеческому существу и тем более проявлять. А в результате мы часто проводили вдвоем вечера – у него или у меня на террасе, глядя на звезды, и должен сказать, что этот несчастный был до того мне противен, что в конце концов вызвал отвращение и к звездам, только потому, что он был тут, рядом и на них глядел. Он как будто даже любил это занятие и находил звезды красивыми. И в том, по-моему, тоже было что-то отвратительное. Если такой человек, как он, любит звезды, значит, они совсем не то, что о них думают. Вот так мы частенько проводили вдвоем вечера, и мне приходилось выслушивать, как он всё и всех поливает грязью. Когда Орсини сидел рядом со мной и молча, мечтательно глядел на звезды, мне казалось, будто он просто спрашивает, как ему до них доплюнуть. В какой-то степени ему это даже удавалось, потому что он занимался тем, что оплевывал Минну, утверждая, что она спит с кем попало. Когда я говорю о звездах в связи с Минной, разумеется, это не из каких-то глупых романтических побуждений, – они мне уже не по возрасту, а просто чтобы подчеркнуть: для Орсини она была так же недосягаема, как самая далекая звезда на небосклоне, и он утешался тем, что ее чернил. Я вообще не выношу, когда о женщинах говорят дурно. Вы меня спросите, как же я мог терпеть, что Орсини говорит это мне, мне одному, на террасе моего дома, в пяти километрах от ближайшего соседа? Но он был человек подозрительный, недоброжелательный, и если бы я призвал его к порядку, он мог бы еще обвинить меня бог знает в какой ерунде, – ну хотя бы в том, что я тайком питаю к этой женщине определенные чувства. Этот тип во всем видел только низость. К тому же, если бы я запретил ему рассказывать о ней такие истории, а по-другому разговаривать он не умел, он бы вообще перестал о ней со мной говорить. Иногда я даже спрашивал себя, не терплю ли присутствие этого человека два-три раза в неделю только потому, что он единственный, кто мне о ней говорит. Я хочу сказать, что таким образом мешал ему выливать свои потоки грязи в другом месте, перед людьми, которые оказались бы доверчивее моего. Видите, в какое удручающее положение я себя поставил. Тем более что в конце концов я почувствовал, что веду себя с Орсини нечестно, а это вынуждало быть с ним вдвойне любезным, особенно на людях, чтобы меня нельзя было упрекнуть в лицемерии, которое так охотно приписывают нам, англичанам. И в конце концов все нас стали считать друзьями, хотя я-то презирал Орсини больше, чем кто-либо в Форт-Лами. В тот вечер он находился в другом конце террасы и в

присутствии черных официантов, понимавших каждое его слово, громил туземцев за то, что те будто бы помогают Морелю только для того, чтобы все думали, будто в Чаде происходят такие же беспорядки, как в Кении. Это была одна из тех идиотских выдумок, которые так вредят нам в Африке. Я так разнервничался из-за этой чепухи, что потерял Минну из виду, но тут же увидел ее совсем рядом, у одного из столиков. Я встал. Вспоминаю теперь, что сердце у меня в этот момент вдруг заколотилось – явный признак того, что я уже тогда был нездоров и что резкое движение заставило его бешено застучать. Но я тогда не обратил внимания.

Полковник Бэбкок призадумался.

– Думаю, что больше всего поражали ее глаза. Высокая, очень хорошо сложена (по-моему, о дамах говорят, что у них хорошая фигура); волосы совсем светлые, лицо... и губы... скорее пухлые, скулы высокие и эти глаза, которым вы верите. Когда я глядел на нее, почему-то всегда немножко щемило сердце. А когда она говорила, я почти забывал об ее акценте. Она села в плетеное кресло и на минуту отрешенно застыла, оставившись куда-то за мою спину, на другой берег Шари, – я чуть не обернулся, чтобы узнать, что ее так привлекает. «Орсини заявляет, будто ему оказывают помощь туземцы, – сказала она. – Правда ли?» Я сказал, что это утверждение кажется мне абсурдным. «Единственное, что представляет для туземцев слон, – это мясо, – сказал я. – Уж вы поверьте, красота африканской фауны им глубоко безразлична. Когда стада вытаптывают посевы и администрация приказывает убить несколько животных, на месте всегда оставляют тухнуть несколько туш в назидание другим. Но стоит чиновнику из Управления охоты отвернуться, как черные пожирают мясо и оставляют один скелет. Что же касается красоты слона, его благородства, достоинства и прочего – все эти понятия чисто европейские, как и право народов распоряжаться своей судьбой». Она недовольно повернулась ко мне. «Человек вам верит, полковник Бэбкок, он взывает о помощи в своей попытке что-то спасти, сохранить, а вы не находите ничего лучшего, как холодно рассчитывать его шансы на спасение, словно все это вас совершенно не касается! Он верит в природу, в том числе и в человеческую, на которую вы все только клеветаете, он думает, что можно еще что-то сделать, что-то спасти, что еще не все непоправимо изуродовано». Я был так поражен этим неожиданным взрывом, этими словами, – вы же понимаете, главным образом потому, что они исходили от нее, после того что с ней было, что она... ну, скажем, видела своими глазами, – даже выронил трубку изо рта. «Но, дорогое дитя, – пробормотал я, – не донимаю, при чем тут забота об охране африканской фауны...» Она меня перебила: «Бог ты мой, да поймите же, полковник Бэбкок... Неужели вы не догадываетесь, о чем речь? Дело просто в том, верите ли вы в себя, в свой здравый смысл, в свою душу, в свою возможность уцелеть, да, вот именно, уцелеть, вам и всем, таким, как вы. Там, в чаще бродит человек, который в вас верит, верит в то, что вы способны на доброту, на душевную щедрость, на... на великую любовь, которую проявите и к последнему псу!» Глаза Минны были полны слез, и, глядя на ее светлые волосы, на чудесное лицо, я подумал, что она и впрямь права.

«Если уж вы, англичане, не понимаете, о чем идет речь, тогда и Англия – тоже обман, басня, ein Wintermarchen», – договорила она по-немецки. Потом встала, пересекла террасу, и я ее в тот вечер больше не видел. Я пытался собраться с мыслями. «Ein Wintermärchen». Наверное, это означает волшебную сказку. Я не очень хорошо понимал, что она хотела сказать. Неужели ожидала, что вся Англия, во главе с Уинстоном Черчиллем, встанет на защиту слонов, выстроится в ряд с Морелем, будто вся страна – громадное общество по охране животных? Однако Минна как будто хотела сказать, что дело тут вовсе не в животных; а в чем же тогда, интересно знать? Я не очень-то понимал, в чем она меня упрекает, но смутно чувствовал какую-то вину. Чего вы хотите, – старые полковники в отставке, вроде меня, не созданы для того, чтобы попадать в такие переделки. Я всю ночь не сомкнул глаз. Ворочался

с боку на бок, видел перед собой ее лицо; был уверен, что она права, раз так мучается. Я понимал, что каким-то образом не оправдал ее доверия, а так как в этом уголке земного шара у меня, кроме нее, никого не было, – есть еще, правда, троюродная сестра, но в Англии, в Девоншире, – мне стало грустно и показалось вдруг, что, может, она была ко мне не совсем справедлива. Видите ли. . .

Полковник поднял голову. Лицо у него было усталое, глаза запали, черты заострились. Но взгляд, несмотря на страдания, был бодрый, и он до самого конца находил опору в чувстве юмора.

– Право, не знаю, как лучше сказать. . . Видите ли. . . у меня такое впечатление, что я всегда, всю мою жизнь, если можно так выразиться, уважал слонов. . .

## XV

Журналисты горели нетерпением; таинственные «доверенные лица» выманивали у них крупные суммы, обещая отвести к Морелю, а потом исчезали вместе с деньгами, полученными якобы на покупку «нужных пособников и снаряжения»; подонки общества, которые, казалось, уже давно похоронены в глуши Чада, вдруг выплыли на поверхность с важным видом, за которым пряталось изумление, что им еще раз удалось быть принятыми всерьез. Они назначали тайные встречи журналистам: «вы же понимаете, что нас не должны видеть вместе, я посвятил всю жизнь тому, чтобы заслужить доверие туземцев, и вовсе не желаю его обмануть»; мелькнув на виду, благодаря насмешливому попустительству всего Форт-Лами, они успевали несколько раз пообедать в обществе, произвести сенсацию, появившись на террасе «Чадьена» в костюмах с иголки и новеньких панاماх, – это и было «снаряжение», – а потом так же неслышно исчезали, после грандиозной пьянки, и снова возвращались в свою тину, куда наверняка погружались со вздохом облегчения. А в это время люди утверждали, будто на юге гремят тамтамы, разнося по джунглям приукрашенные вести о подвигах Мореля; что туземцы, известные своим враждебным отношением к белым, в частности Вайтари из племени уле, присоединились к нему и вместе с ним нападают на плантации; что Морель на самом деле – коммунистический агент. Говорили. . . и да чего только не говорили! Колония облегчала душу, сваливая на Мореля все свои тайные страхи. Потом объявился Сен-Дени – выбрался из своей глуши; он выполнял административные обязанности по округу Уле с такой самоотдачей, что с каждым годом все больше хирел – от него остался только лысый череп, черная борода да глаза, горящие безумной мечтой о гигиене и повсеместной охране здоровья; он придал этой истории более жалкое, человеческое измерение и сообщил, что встретил в чаще Мореля, полумертвого от лихорадки, тот был один и без оружия. Когда Сен-Дени спрашивали, где он его встретил, он долго, с легким удивлением, но нисколько не сердясь, изучал лицо собеседника, а потом с таким добродушием и точностью сообщал долготу и широту, что никто больше к нему не приставал. Да, он встретил Мореля в чаще, и тот попросил хинина. «И вы ему дали?» Конечно, дал, он ведь еще не знал, с кем имеет дело. Ничто, – простодушно заверил он журналиста, устремив на него свой горящий взор, полный мистического огня, за которым пряталось непомерное безбожие, – ничто во внешности Мореля не давало повода усомниться, что он принадлежит к людской породе. Поэтому он и дал хинин. Надо как-нибудь изобрести способ, который позволит отличать людей от других особей, – рассуждал он вслух, – установить критерий, позволяющий, несмотря на всю видимость, сказать, что вот это – человек, а вон то – нет, выдумать нечто вроде таблицы логарифмов, которая позволит вам немедленно разобраться, а может, новые законы, как в Нюрнберге. . . А вы, господа журналисты, специально приехавшие издалека, прямым ходом из области высочайшей цивилизации, вы, господа журналисты, могли бы внести сюда ясность, пользуясь достижениями современной науки. Потом Сен Дени обождал, пока стихнет брань, и добавил, выпятив грудь, как петушок, ошипанный в тысяче боев, но еще готовый драться: «Я ему дал даже боеприпасы». Раздались охи и ахи, он понял, что не пройдет и получаса, как его снова потянут к губернатору, с которым он уже имел бурное объяснение. «Да, я дал ему боеприпасы. Станьте на мое место; я ведь не знал, что встретился с дикарем, с фанатиком. Я шесть недель был в походе, инспектируя одну из тех знаменитых пограничных зон, которые мы отвоевываем у мухи цеце. И ничего не знал. Из высокой травы выходит белый, говорит, что, переправляясь через Обо,

потерял охотничьи припасы, и спрашивает, могу ли я ему немного помочь. Я и помог. Он мне сказал, что он натуралист, изучает африканскую фауну; я ответил, что это благородное дело, – вот и весь сказ». Позже, когда и Сен-Дени был вынужден, как и все, без конца мусолить «отчего» и «как» в деле, где каждый видел не больше того, что ему хотелось, после того, как от всех событий остались только долгие звездные африканские ночи, за которыми всегда сохраняется последнее слово, Сен-Дени признался иезуиту, что в ту минуту он почувствовал рядом, с почти физической осязаемостью, мучительную женскую тревогу.

Она прислушивалась к тому, что он говорил, но с таким вниманием, что он даже повернул к ней голову – ему казалось, что его окликнули.

«Она стояла в тени, держась за концы серой кашемировой шали, и в ее полной напряженности неподвижности было то, что я до сих пор мог представить себе только по греческим трагедиям. Стоило мне ее увидеть, такую прямую, застывшую за спиной у этой жалкой своры, готовой меня бранить на все голоса, стоило мне встретить ее взгляд, как я тут же почувствовал, что она заодно с ним, что все это так или иначе ее касается; что она на стороне Мореля. Помню, я подумал как дурак: «Эге-ге. . .», но в том была не столько ирония, сколько желание защититься от этой волны страсти в ее взгляде, волны, которая обрушилась на меня, подхватила и повлекла. Я, конечно, тогда и представления не имел, что происходит в ее красивой головке, – я говорю «тогда», хотя мы и сегодня не очень далеко в этом знании продвинулись. Твердо можно сказать одно – что место там найдется всем, и вам, и мне, и стадам слонов, и даже многому другому, – даже тому, например, что еще не успело родиться. Но в ту минуту я, конечно, ни о чем не подозревал».

Он подбросил несколько веток в огонь, пламя вспыхнуло, приблизилось, потом снова успокоилось. Иезуит вглядывался в темноту.

«Но в конце концов, – продолжал Сен-Дени, – может, потому, что я так долго жил один, мне кажется, что главную роль тут сыграло одиночество. По-моему, этот субъект, этот Морель так нуждался в людях, ощущал возле себя такой провал, такую пустоту, что ему понадобились все стада Африки, чтобы ее заполнить, но, пожалуй, их тоже не хватило бы. Вы сами видите, отец, что он очень далеко зашел, но и вы, я уверен, считаете: это произошло только потому, что дорога им была выбрана неправильно».

Сен-Дени на секунду замолчал, чтобы вновь почувствовать тишину ночи, вглядеться в стада холмов, толпившихся в лунном свете у их ног.

«Люди, вероятно, поймали мой взгляд, потому что все головы обернулись к Минне, раздалась смешки и чей-то голос с иронией произнес: «А вы знаете, что Минна подписала?» Мне рассказали о петиции и о том, что она поставила под ней свою подпись. «Ну так давайте же выпьем», – предложил я ей. Она отказалась: некогда, – ей надо следить за официантами, за проигрывателем. Она повернулась ко мне спиной и ушла. И у меня, уж не знаю почему, появилось дурацкое чувство, что я теряю ее навсегда. Она поставила новую пластинку: «Помни забытых людей» или что-то в этом роде. Но почти сразу вернулась и словно помимо своей воли села за наш столик. Ее явно интересовало то, о чем здесь говорят. Говорили же, естественно, о Мореле. Что у него больше нет ружейных припасов, не считая нескольких патронов, которые я ему дал, что он долго в лесу не протянет и сдастся. Да, добавил кто-то, – дело дрянь, и трудно сказать, чем ему помогут слоны. Вдруг мне стало невмоготу: вокруг царил атмосфера охоты за человеком и черт знает какого сведения счетов с самим собой, у себя в жалком углу. Особенно это чувствовалось в отношении Орсини. Он сидел за дальним столиком, – по-моему, презирал меня, обвиняя с высоты двадцати веков самой что ни на есть белой цивилизации в том, что я «обуглился», – но его голос настигал с другого конца террасы, голос, за который на него даже нельзя было сердиться, – следовало принять наравне со всеми

другими голосами ночи. Он говорил с журналистами, а те почтительно слушали, – ведь как бы там ни было, это был первый, кто «сразу все понял». Он обличал «преступную нерадивость властей» и сетовал на «непоправимый ущерб, который нанесен белым в Африке», говорил и о некоем пособничестве «высокопоставленных лиц» и тут произнес по адресу Мореля примечательную, поистине полную прозорливости фразу. Своим пронзительным голосом, пылая от возмущения, – Боже, опять я о его голосе! – он вдруг воскликнул со странной интонацией, и торжествующей, и язвительной: «И не забудьте, господа, что мы говорили о том, кого вы зовете идеалистом!» Я никогда не слышал, чтобы ненависть так близко подходила к истине. Ведь каким-то невыносимым образом – злобным, причудливым, как сама эта мысль, Орсини, как мне кажется, попал в точку; голос его словно колокол зычно прогудел отходную по другому древнему стаду нескладных, трогательных гигантов, самозабвенно преданных идеалам человеческого достоинства, не говоря уже о терпимости, справедливости и свободе. И подумать только, что, потерпев одну неудачу за другой, пережив одно разочарование за другим, один из них, одержимый амоком и уже не зная, кому верить, очутился в черной Африке, чтобы умереть рядом с последними слонами! В этом было что-то от отчаяния и поражения, за что Орсини не мог не зацепиться. Но он пошел еще дальше, гораздо дальше, – до чего же вышло комично, я никогда не забуду его последней тирады как одной из лучших минут моей жизни: «И я вот что скажу вам, господа, вот что я вам скажу: он гуманист!» Я чуть было не вскочил, чтобы пожать ему руку. На миг мне даже почудилось, что у него есть чувство юмора, особый дар обозначить одним словом надежды и отчаяние многих из нас. Но это было не так, совсем не так. Он просто определял своего врага, вот и все. Орсини не был способен на юмор, на эту любезность по отношению к противнику. То был человек, который, если ему было больно, попросту драл глотку». – Сен-Дени дернул головой: – И все же одного я так до конца и не понял: почему с самого начала этой истории Орсини воспринимал ее как свою личную драму, словно то был для него вопрос жизни и смерти? Вы скажете, что он был прав, именно так и обстояло дело, он защищал себя и до самого конца, как он выражался, «не позволял водить за нос», – но это же ничего не доказывает, ибо предчувствие того, что его ожидало, должно было, наоборот, заставить Орсини вести себя спокойно. А может, он объяснил свое поведение, воскликнув с глубочайшим убеждением: «Это же идеалист!» – но тогда пришлось бы считать дуэль, на которую он вызвал Мореля, совершенно бескорыстной и почти святой, ибо странное наваждение – будто все, что так или иначе связано с идеализмом, направлено против него лично, свидетельствует, несмотря ни на что, об искренней, мучительной одержимости. Я помню его последнюю фразу, брошенную с таким пафосом, будто она была обращена к одной из тех потусторонних сил, которые, как ему казалось, толпились вокруг и ему грозили и чье присутствие он ощущал во всех людских деяниях: «В противовес инертности властей, не способных действовать из-за проникновения кое-кого в их ряды, найдется несколько старых, но решительных охотников, которые возьмут это дело в свои руки!» Я отошел подальше, чтобы не присутствовать, не слышать этого голоса, не находиться рядом с этой посредственностью, одержимой гигантоманией и в своем ничтожестве поносившей весь мир. То была одна из тех минут, когда вам нужен весь необъятный простор, доступный глазу на земле и в небе, чтобы не потерять веру в себя. Минута, когда нужно что-то большее, чем ты сам, когда тяжесть, само существование материи заставляют тебя мечтать о невозможной дружбе. Мне не терпелось выйти на воздух, снова увидеть мои звезды – ведь из них и создана наша древняя Африка, если правильно на нее посмотреть. – Сен-Дени поднял лицо к небу. «Оно было повсюду, столь громадное, что казалось близким». – «Прямо рукой подать, правда?» – спросил он с таким душевным покоем, словно черпал из самого источника гармонии. «Мне было грустно, и с того вечера всякий раз, когда вспоминаю Орсини, я не чувствую к нему вражды, все больше его

понимаю, и он как бы становится ближе. Я еще вижу его в белом костюме, со ртом, злобно сведенным каким-то тотальным всезнанием, – что на самом деле лишь подлая пронизательность, нельзя же назвать эту гримасу улыбкой, – до последнего вздоха отвергающим всех, кто, подобно Морелю, пытается слишком громко и слишком явно восславить высокое звание человека, требуя от нас великодушия, которое найдет на земле место всем чудесам природы; да, я его еще вижу и, наверное, буду видеть всегда – глаза, горящие злобой, кулаки, воздетые над головой и доказывающие скорее бессилие кулака. Некультурный, едва умевший писать, что скрывал за невыносимой напыщенностью речи и готовыми фразами, он тем не менее первый понял Мореля и подлинную подоплеку всего, что случилось, а это ведь признак какого-то странного их родства. Может, оба они были одинаково глубоко и болезненно одержимы той же идеей, но один посвятил себя ей, а другой в жалком бешенстве боролся с ней. Может, обоих терзал один и тот же порыв, но они восставали против него с двух противоположных сторон и где-то, в одной точке, должны были встретиться. Впрочем, что я об этом знаю? В таком деле всякий может думать что хочет. Двери открыты, входите, с чем можете. Порой мне кажется, что Орсини не без отваги мелкой шавки защищал собственное ничтожество от слишком высокого представления о человеке, в котором ему не было места. Он был готов себя презирать, так как не заблуждался и на свой счет, но уж никак не допускал, чтобы более чем скромное мнение о себе лишало его места среди прочих людей. Наоборот. Он видел тут знак принадлежности. Изо всех сил тащил вниз на себя покрывало, другой конец которого Морель держал чересчур высоко, и пытался прикрыться им, всеми способами доказать, что он не изгой. В глубине души он должен был страдать от душераздирающей жажды братства». – Сен-Дени замолчал. Он, как видно, сам почувствовал противоречие между сочувствием, которое выдавали эти слова, и единственным видом братства, которого жаждал сам, – со звездами. . . Но он знал и то, что противоречия – плата за все истины о человеке. Он пожал плечами. «Но я вам надоел с Орсини. Уверен, что вас он не интересуется, впрочем, это его удел, которым он не уставал возмущаться. Я знаю, что если давить на душу, как на тюбик с зубной пастой, то в конце концов можно получить несколько капель чистоты. Что ж, оставим, если хотите, Орсини в покое. Ему неуютно на этой высоте. Так вот, я ушел с террасы и направился к выходу. Под дурацкой триумфальной аркой, которая его украшает, я вдруг почувствовал, что меня кто-то взял за руку. Я выругался: чернокожие девушки, а то и парни иногда приходят сюда предлагать свои услуги, наспех оказываемые тут же, между пустыми прилавками базара. Но это была Минна. «Можно с вами поговорить?» У меня не было особого желания с ней разговаривать. С тех пор как впервые ее увидел, я, приезжая в Форт-Лами, избегал с ней беседовать и даже слишком часто на нее смотреть. Живу один, в чаще, безо всяких воспоминаний, и мне вредно возвращаться в лес на девять месяцев, имея перед собой образ такой девушки. Тут вот скребет-скребет, до того, что уж думаешь, правильно ли ты прожил свою жизнь, не проворонил ли ее? Я ответил Минне, что да, с удовольствием! Надеюсь, вы оцените, какая у меня сильная натура? Я не робею перед опасностью».

## XVI

«Она повела меня в свою комнату. Отель «Чадьен» построен в пышном стиле колониальной выставки 1937 года, и ее комната была на верхней площадке винтовой лестницы, в одной из двух башен, на которые опиралась триумфальная арка; я о ней упоминал. Должен отметить, что Минна убрала комнату с большим вкусом. Можно вообразить, как бы она обставила свой настоящий дом. Что ж. . .

– Сюда они никогда не приходят, – сказала она, – никогда. – Она смотрела на меня внимательно, даже с каким-то вызовом, явно готовясь защищаться или оправдываться, но я вовсе не желал обсуждать подобные вопросы – какое это имело значение? Помню, меня больше всего поразили рисунки, припиленные к стенам; они пробудили во мне смутные воспоминания детства и даже память о родителях. Да, подумал я, она права, что никого сюда не пускает. Это могло бы смутить клиентов, померить их пыл. Как видите, я был не слишком добродушно настроен. Я повернулся к этой высокой молодой женщине с шапкой светлых волос, к этой немке, – что сразу бросалось в глаза, – с очень бледным лицом и глазами – как бы это получше выразиться? – не имевшими со всем, что тут было, ничего общего. Мне вдруг захотелось спросить ее: да что же вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Такой вопрос в Чаде можно задать многим, поэтому его никогда и не задают. Мне к тому же показалось, что она малость выпила. Глаза у нее блестели, веки слегка покраснели, лицо горело от возбуждения; она уже не сдерживалась, не скрывала своих чувств, как только что внизу, на террасе, на виду у посетителей. В ее манере не было и следа покорности, и она больше не куталась в шаль, словно та была ее единственной защитой, а высоко держала голову, чуть ли не с торжеством, да и с вызовом тоже. Не знаю почему, но меня вдруг охватила антипатия, нечто вроде физического отвращения. Она мерила комнату быстрыми шагами, двигалась резко, почти как автомат. Будто спешила. На столе стояла бутылка коньяка и один бокал. Я пристально поглядел на бутылку, но Минна с презрительной улыбкой покачала головой.

– Ах нет, – сказала она, – я не пьяна. Мне, конечно, случается выпить рюмку в собственном обществе. – По-французски она говорила не слишком хорошо. Акцент, во всяком случае, был очень заметный, она произносила «шара» вместо «жара», и в голосе ее не чувствовалось сдержанности, она говорила чересчур громко.

– Но сегодня я чокнулась с тем, кого здесь нет.

Признаюсь, что и я совершил ту же ошибку, что и остальные. Было так легко обмануться, так удобно. Я немножко знал биографию этой девушки; вдобавок имел полное представление о том, что тогда происходило в Берлине, – война, взятый приступом город, возмездие, развалины, трудное существование, а потом – мужчины, пользовавшиеся ею для своих маленьких надобностей. Поэтому я, кажется, должен был понимать, откуда ее симпатия к Морелю и к той борьбе, которую он ведет в защиту природы. Но я ошибся, как и все остальные, я тоже подумал о плохом, что проще всего объясняет поведение человека, и это не делает мне чести. . . Но тут-то и кроется дьявольская особенность всей этой истории. Полагал, что имеешь дело с другими, а оно было в тебе самом. Вот я и говорил себе, что раз эта девушка за свои двадцать три года навидалась всей грязи, которую может предложить человечество, стоит ему чуть-чуть постараться, значит, она должна чувствовать только злорадство, думая о том, что в глубине африканских джунглей бродит человек, объявивший нам партизанскую войну и



переметнувшийся со всей своей амуницией и пожитками на сторону слонов. Я вдруг увидел, как эта... эта берлинка запирает на ключ дверь своей комнаты и произносит «прозит», поднимая бокал за здоровье такого же фанатика, как она сама, восставшего против общего врага. Ну да, тут просто ненависть, я представил себе все с такой быстротой, которая прежде всего свидетельствовала о моей слепоте. Как же я мог так ошибиться?» Тот, кто слушал Сен-Дени в тишине окружающих холмов, понимал по горечи его тона, что старый африканец этой ошибки никогда не забудет.

«Не знаю, сумею ли я толком вам объяснить. Я, без сомнения, был предубежден. Тут было нечто вроде инстинктивного недоверия к тем, кто чересчур много страдал. Ведь невольно раздражаешься при виде калек – они оскорбляют тебя своим видом. И думаешь, что люди, которые слишком пострадали, больше не способны... быть твоими союзниками, а ведь в этом-то вся суть. Что им уже чужда доверчивость, оптимизм, радость, что их каким-то образом безвозвратно *испортили*. Они обозлены, их несчастьям, конечно, сочувствуешь, но и попрекаешь тем, что они пережили подобное. Немецкие теоретики расизма проповедовали истребление евреев отчасти и во имя этой идеи: евреев слишком много заставляли страдать, а поэтому они не могли стать ничем, кроме врагов рода человеческого. Вот какой была сначала моя реакция, правда не лишенная жалости. Я искренне верил, что единственная связь между этой девушкой и Морелем – затаенная злоба и презрение к людям. Но ведь суть была, – как об этом говорят, а главное, пишут, – в человеческом сострадании, в доверии, доведенном до предела, до еще не исследованных глубин, в бунте против навязанного нам жестокого закона, – вот эту суть мне действительно трудно было постигнуть. И должен сказать, что она нам не помогала, – та девушка Минна.

– Я хотела вас поблагодарить, – сказала она с какой-то даже торжественностью в голосе, словно пытаюсь установить между нами официальные отношения. *Ich wollte Ihnen danken*, перевел я мысленно с невольным раздражением. Она закурила сигарету.

– Я хотела поблагодарить вас за то, что вы ему помогли. Дали хинин, патроны и не выдали полиции. Вы, по крайней мере, все поняли. – «Да нет же, Господи спаси, ничего я не понял!» – В голосе Сен-Дени звучало насмешливое недовольство. Я же ровно ничего не понял, но повторяю, эта девушка вовсе не рассеяла моего недоумения. А знаете, что она сделала? Может, она что-то прочла в моем взгляде, – трудно было отвести глаза... Она улыбнулась – и что самое удивительное, со слезами на глазах, клянусь вам, – улыбнулась и развязала пояс, а потом приоткрыла халат. – Хотите? – спросила она. Она стояла передо мной, подбоченясь, в полуоткрытом халате и смотрела на меня, высоко подняв голову. Вот какое мнение было у нее о мужчинах, и она мне показывала, что я – не исключение. «Если хотите, – сказала она. – Для меня это ровно ничего не значит, не играет роли, никогда не играло, и уже больше не пачкает. Но если это вам доставит удовольствие...» Она опять улыбнулась, как больничная сиделка, сестра милосердия... Недаром говорят, будто после падения Берлина эти девицы стали сексуальными извращенками, истеричками. – Сен-Дени в бешенстве помотал головой.

– Поди-ка тут разберись. Надо было видеть это высокомерие, оно ведь так характерно для расы господ! «Для меня это ровно ничего не значит, не играет роли, никогда не играло... и уже больше не пачкает». Я и сейчас слышу, как она говорит, – спокойно, с оттенком торжества, словно никто никогда ее не топтал... Что она хотела сказать? Что подобные вещи вообще не могут замарать? Хотела ли она смыть с себя свое прошлое, вернуть хоть какую-то невинность? Прогнать воспоминания? Отвоевать обратно Берлин? Была ли просто девчонкой, которая хотела себя защитить, мужественно дралась, пыталась придать незначительность тому, что ее больше всего задело, больше всего истерзало? Во всяком случае, так она стояла передо мной в распахнутом халате и...

Сен-Дени судорожно сжал руки, словно хотел раздавить пустоту.

– Я ее не тронул. Из уважения к человеку; в конце концов, у каждого – свои слоны. Мне нельзя было потерять доверие к себе. Во всяком случае, такие оправдания я нахожу себе сегодня. Думаю, что был просто ошарашен и утратил всякую способность реагировать. Короче говоря, я не провел незабываемую ночь в ее объятиях, не провел и пяти минут, которых хватает мужчине для полного счастья. Думаю, что взгляд мой выражал скорее жалость, потому что она довольно нервно запахнула халат и до краев наполнила свой бокал коньяком, как маленькая девочка, которая хочет показать, что умеет пить.

– Слишком много пьете, – сказал я. Вот и все, что я мог сделать, чтобы показать, насколько она мне безразлична. Она поставила бокал. И конечно, заплакала.

– Где он?

Не знаю, что прозвучало в ее голосе, какая внезапная страсть, но помню, что подумал: везет же людям! Мне пятьдесят пять лет, но я много бы отдал, чтобы быть в этот миг на месте Мореля, вы уж поверьте: а его место было не за пятьсот километров отсюда, в гуще джунглей Уле, он жил в этом голосе. А она еще меня спрашивает, где он! – Сен-Дени возмущенно поглядел на иезуита, и отец Тассен одобрительно кивнул, показывая, что разделяет его недоумение.

– Мадемуазель, – сказал я, да простит мне Бог эту шпильку, – я знаю, что вы готовы побежать в чашу леса, чтобы взять Мореля за руку и попытаться спасти, но нельзя же терять голову. Должен вам признаться: я встретил его на опушке вовсе не случайно. Я перевернул небо и землю, чтобы узнать, где он находится, чтобы встретить его и попытаться урезонить. Мне это, как видите, не удалось. – Минна, ничего не говоря, снова закурила и поглядела на меня своими серыми глазами, которые старательно скрывали, что она обо мне думает, – должно быть, она думала, что я жалкий дурень.

Иезуит отрицательно мотнул головой, словно желая вежливо выразить свое несогласие.

«Вот уже несколько недель, – продолжал я, – тамтамы в лесу говорят только о нем, а я последний из белых, кто понимает язык африканских барабанов. То, что они рассказывают, не предвещает ничего хорошего, ни для Мореля, ни для мирной жизни в колонии, ни для местных племен. Рождалась легенда, и я понимал, что Морелю будет трудно не стать ее героем. Тамтамы говорили языком ненависти, и я клянусь – там не было и речи о слонах. Вот что я хотел объяснить Морелю. Объяснить, что его одурачат. Потому что – говорю вам и могу повторить губернатору, – Морель уже не одинок, он попал в лапы к одному из тех политических агитаторов, которым мы привили в наших школах, в наших университетах, а главное, нашими высказываниями, предрассудками и поведением, словом, нашим примером все то дурное, чем давно страдаем сами: расизм, нелепый национализм, мечту о господстве, о могуществе, экспансии, политические страсти, – словом, все.

Я слишком долго живу в Африке, чтобы и самому порой не мечтать об африканской автономии, о Соединенных Штатах Африки, но я бы хотел, чтобы раса, которую я люблю, избежала новой африканской Германии, новых черных Наполеонов, новых исламских Муссолини, новых Гитлеров с расизмом наоборот. А эти нотки мое натренированное ухо расслышало в речах тамтамов. Вот почему я стремился, чего бы это ни стоило, встретиться с Морелем, хотя он и не по моему ведомству, то есть не в моем округе, – но в тебе либо сидит бюрократ, либо нет. В моем районе племена ведут себя безупречно, я за них отвечаю вот уже двадцать лет, и, клянусь, пока я там, никто не заявится их мутить. У меня еще есть такие углы, где туземцы до сих пор живут на деревьях, – и не я заставлю их оттуда слезть. Все, что я намерен сделать, – это сохранить несколько свободных веток для тех, кто выживет после атомного века. Я знаю, что начальство меня едва выносит; с нетерпением ждет, когда я умру от приступа желтухи.

Знаю и то, что я человек отсталый, живой анахронизм, к тому же не очень умен и научился тут в Африке любить черных земледельцев, что никак не вяжется с «прогрессом». К тому же я наивно мечтаю, что Африка когда-нибудь получит независимость, выгодную для африканцев, но знаю, что между мусульманскими странами и СССР, между Востоком и Западом ведутся торги за африканскую душу. А эта африканская душа такой замечательный рынок для нашей продукции! Попутно я больше верю в фетиши моих черных, чем в ту политическую и промышленную дешевку, которой их хотят завалить. Да, я, конечно, анахронизм, пережиток минувшей геологической эпохи, – кстати, как и слоны, раз о них зашла речь. По существу, я и сам – слон.

Вот кое-что из того, что я спешил сказать Морелю. Объяснить, какая недобросовестная компания его окружает, вечерком перевести кое-что с языка тамтама, а главное, помешать слишком близко подойти к моей территории, и готов был вклеить хорошую свинцовую подачку ему в задницу, если он меня не поймет или будет упорствовать. Тем не менее я был убежден в его порядочности, у меня хороший нюх и я в таких вещах разбираюсь.

Я понятия не имел, где он обретается, по той простой причине, что его якобы видели повсюду, на всех базарах. Любители почесать язык хвастали, что видели его на крылатом коне с огненным мечом в руке. Некоторые – всегда одни и те же, – претендовали на роль его посланцев, передавая, будто от него, тревожные вести. Для создания мифа нет ничего лучше тамтама, – мы в Европе слишком поздно это усвоили. В конце концов я послал моего слугу Н'Голу – он сын самого великого и, несомненно, последнего вождя идолопоклонников племени уле, которого я глубоко уважаю, – к отцу с просьбой о помощи. Двала – старый друг, великий чудотворец – может вызвать, когда требуется, дождь, воскресить кое-кого из мертвых, изгнать демонов, если они не очень давно в вас поселились и вы не зазвали их сами. Это замечательный человек, он сделал бы честь любой стране. Я был уверен, что он откликнется, и не ошибся.

Н'Гола вернулся через три дня, сказал, что отец просит меня прийти к нему.

И я отправился к Двале».

## XVII

«Он меня принял в полутьме своей хижины – маленький, старый, морщинистый, – где сидел, скрестив ноги и закрыв глаза. Лицо и туловище были раскрашены синей, желтой и красной красками. Из этого я понял, что он вернулся с магической церемонии. Вид у него был совершенно измученный. Н’Гола рассказал, что он воскресил маленькую девочку».

Сен-Дени прервал свою речь, сжал губы и глянул на иезуита с досадой.

«По-моему, отец, вы улыбнулись. Дело ваше, вы – не первый, кому не хватает воображения; можете считать меня простачком и шепнуть потом кому-нибудь из моих молодых коллег, что Сен-Дени совсем свихнулся из-за того, что столько лет живет среди черных, перенял их суеверия; к тому же он старый ретроград, мешающий проникновению современных понятий в те области, которыми ведает. Но должен сообщить, что Двала воскресил меня самого, когда я уже довольно долго – два часа – был мертв от злокачественной лихорадки. Он сказал, что ему пришлось сделать чудовищное усилие, чтобы заставить меня вернуться, потому что я был уже далеко, и я не вижу в этом ничего необычайного. У них – свои секреты, у нас свои, а я верю в Африку».

Иезуит одобрительно кивнул.

«Во всяком случае эта девушка, Минна, слушала меня очень внимательно и не думала улыбаться. Казалось, что она даже очень ко мне расположена. Она села на ручку кресла, положила ногу на ногу, и у меня возникло желание рассказать ей все, всю мою жизнь, все, что я видел. Но пока что я мог говорить с ней только о Мореле. В противном случае у меня не было бы повода тут находиться. Может, потом она захочет расспросить и обо мне. Вид у нее был заинтересованный и благодушный. Она не сводила взгляда с моего лица, нервно куря одну сигарету за другой. Меня это даже слегка волновало. Пусть ты старый бородач, внимание молодой женщины тебе все равно небезразлично. А я чувствовал ее доверие к себе. К примеру, когда она делала резковатый жест и халат у нее распахивался, приоткрывая ноги, она не обращала на это внимания, да и я старался туда не смотреть и продолжал говорить. Я рассказал ей, что говорил Двала, как он меня слушал, рассеянно глядя из-под полуоткрытых век, бессильно уронив руки; казалось, он даже не дышит. Я не был уверен, слышит ли он меня вообще. Может, он уже отправился на поиски Мореля, в мысленный тысячекилометровый пробег по джунглям. Это был маленький, но энергичный и подвижный человек, буйно жестикулирующий и вечно чем-то занятый. Ключья седых волос на черепе и подбородке придавали ему взъерошенный вид. Похоже, сегодня он был явно не в своей тарелке. И тем не менее я продолжал говорить на случай, если он все же меня услышит».

Долго объяснять не пришлось.

Мы были знакомы давно и доверяли друг другу. Нас объединяла любовь к африканской земле, к нашим племенам, привязанность к их верованиям и традициям и желание обеспечить им мирную жизнь. Общей у нас была и неприязнь к цивилизации и ее ядовитым испарениям. Единственное между нами отличие состояло в том, что я трезво сознавал гибель, грозившую патриархальному укладу, а Двала ее только смутно предчувствовал. Я ему часто об этом говорил, но мне было трудно описать весь ужас того, что мы называем техническим прогрессом. На языке уле нет столь крепких слов, чтобы выразить нечто подобное. Нет терминов, соответствующих нашим техническим терминам, нашим все новым и новым изобретениям, и мне приходилось прибегать к привычным образам, которые всегда имеют магический смысл, для

объяснения того, что напрочь лишено какой бы то ни было магии. Поэтому я в нескольких словах попросил его мне помочь. Он не поднимал век, но я произнес имя Вайтари, и он сразу оживился. Он открыл глаза, голова у него задрожала, он стал гневно сыпать слова и то и дело трясти кулаками. Вайтари – предатель, – сказал он, употребив слово «чуанга-ала», которое буквально означает: «тот, кто меняет племя и ведет новое племя против того, из которого вышел»; наши западные племена окрестили бы такого человека «квислингом». Он кричал, что Вайтари больше не уле и что, когда приходит в деревни, он приносит понятия белых, понятия чужеземцев. Он хочет отменить власть старейшин в племенных советах, уничтожить святилища идолопоклонников, запретить магические церемонии, требует наказывать родителей, которые еще практикуют клиторидектомию своих дочерей, – отравляет умы крестьян идеями, которых набрался у французов. Но главное – не дает спать белым. Он их грубо будит, внушает всякие страхи. Белые взбудоражатся, захотят перемен в Африке, чтобы дать ей новое обличье, покончить с прошлым. Мой старый друг дрожал от ярости, он поднял вверх кулаки, магические полосы на теле – желтые, красные и синие – покрылись потом и потускнели. Он явно вернулся на землю, не осталось и следа от усталости или отрешенности, он был с нами. Что же делают французы? – стонал он. – Почему они дают волю таким Вайтари? Почему они их поощряют, ведут с ними переговоры? Разве они не обещали уважать племена, их обычаи и богов их предков?

Я ему сказал, что власти больше не доверяют Вайтари, что он присоединился к Морелю и с ним партизанит. Он искусно пользуется Морелем, чтобы разжечь беспорядки. Я попытался перевести разговор на Мореля. Но он слушал меня с нетерпением. Интересовал его Вайтари. По-моему, он так ничего и не понял в истории с Морелем. Для него это все еще была междоусобица белых. Когда я попытался объяснить суть дела, он меня прервал: наш народ всегда охотился на слонов. Это хорошая пища. Но я наконец втолковал ему, какую выгоду его приятель Вайтари может извлечь из Мореля, – старик ведь не хуже меня знает, о чем болтают на базарах и что предвещают вооруженные нападения на плантации. Я был уверен, что ему каждый день подробно сообщают о передвижениях шайки. Он терпеть не может Вайтари, во всяком случае старается сохранить с ним хорошие отношения: кто знает, что сулит нам будущее? А может, завтра Вайтари получит слово на совещаниях у французов? В мысли французов проникнуть нельзя, и если Вайтари до сих пор не повесили, значит, французы способны на что угодно. А ремесло колдуна разве не требует вежливого обращения с демонами, – сказал я с улыбкой, – чтобы они не застали его врасплох?

На лице моего старого Друга появилось нечто вроде усмешки, – словно отражение большого опыта, . и не только в области магии, – у нас эту усмешку называли бы циничной, но мы были очень далеки от «нас». Мы понимали друг друга с полуслова: вот уже двадцать лет как мы играем в прятки. Я сказал, что не сомневаюсь относительно его подлинного отношения к Вайтари, оно очень близко к тому, что чувствую я, но все же уверен, что он поддерживает с ним постоянную связь; он ведь наверняка посылает ему просо и кур? Быть может, он даже пополнил одним или двумя деревенскими парнями маленькую группу, сопровождающую Вайтари и Мореля? Левый глаз Двалы наполовину закрылся – это было признание, – потом он, помолчав несколько минут, отдал дань нашей старой, нерушимой дружбе. Заверил меня в своей ненависти к Вайтари, на которого не раз напускал порчу; к сожалению, тот был нечестивец и проклятия на него не действовали. Однако Двала и правда отправил в отряд Вайтари, чтобы получше за тем наблюдать, деревенского парнишку, постоянную связь с которым поддерживает его собственный сын. Он посоветовал мне вернуться восвояси и ждать. Его сын Н'Гола знает все дороги, – добавил он; я расценил слова Двалы как твердое обещание помочь.

Вот каким образом восемь дней спустя мы с Н'Голой очутились где-то у подступов к

Галангале, в горах Бонго.

Я знал этот район – несколько лет назад имел там дело с бандитами крейхами, которые в ту пору, да и по сей день совершают набеги с территории английского Судана, бьют в заповедниках слонов и уносят слоновую кость.

Я не ожидал встретить там Мореля. По последним сведениям он действовал гораздо южнее; его видели во время нападения на плантацию Колба. И если он мог передвигаться с такой легкостью и быстротой по району, где было немало деревень, значит, Вайтари еще пользовался большим влиянием. Впервые мне показалось, что бывший депутат племени уле вовсе не водит Мореля за нос, как полагают, но что у Мореля с ним какие-то общие интересы.

Признаюсь, я шел на это свидание с большим интересом и даже с некоторым трепетом. Я старался представить себе, какое у Мореля лицо. У меня была острая потребность увидеть его, – потребность, которая объясняла больше, чем какие бы то ни было другие соображения, те усилия, которые я приложил, чтобы с ним встретиться. Нельзя прожить всю жизнь в Африке и не испытывать к слонам чувства, очень похожего на любовь. Всякий раз, когда их встречаешь в саванне и видишь, как они мотают своими хоботами и хлопают большими ушами, невольно улыбаешься. Сама их величина, неуклюжесть, колоссальные размеры представляют собою как бы массу свободы, о которой можно только мечтать. В сущности, это последние индивидуальности. Добавьте к этому, что все мы – в той или иной мере – мизантропы и что поступок Мореля затронул во мне весьма чувствительную струну. Вот о чем я размышлял, пока Н'Гола, съехав с дороги, два дня водил мою лошадь по затерянным тропам в горах Бонго. На третий день утром, когда мы медленно пробирались по колючему подлеску среди вулканических скал Галангале, из чащи появился негр и схватил мою лошадь за узду. Мы приехали».

## XVIII

«Морель вышел ко мне в прогалину, окруженную скалами, один, но мне достаточно было поднять голову, чтобы увидеть у водопада группу вооруженных людей с лошадьми. Он шел быстро, прокладывая себе дорогу в высокой, по грудь траве: непокрытая голова, ружье на перевязи, опущенное дулом к земле; решительно направился ко мне с почти угрожающим видом, что сразу вызвало у меня раздражение, хотя у вас наверняка бы – только улыбку; вы ведь принадлежите к сообществу, знаменитому тем, что оно не обманывается внешним видом, за который мы стараемся скрыться. Должен признаться, что меня с первого взгляда поразила невзрачность этого человека. Может, потому, что небо, простиравшееся над нагроможденными на протяжении веков базальтовыми скалами, было безбрежным и тревожным, что требовало совсем других пропорций. А главное, я, помимо воли, увлекся созданной вокруг него легендой. В глубине души я ждал встречи с героем. С кем-то выше обычных людей, если вы понимаете, что я хочу сказать. А вместо того передо мной стоял совершенно обычный, крепко сложенный человек с упрямым и хмурым лицом под спутанными, слипшимися от пота волосами; давно небритые щеки заросли щетиной – весь его вид выражал силу, даже грубую силу. Но глаза были удивительные – большие, темные, яростные, они буквально выпирали из орбит от негодования. Было в этом человеке что-то простонародное, какое-то простодушье, проявившееся в той серьезности, с какой он относился к тому, что делает. Он произвел на меня впечатление одного из тех, о ком все сказано словом «борец». Добавьте к тому набитый бумагами кожаный портфель, который он сжимал в руках. Не знаю почему, но этот портфель показался мне особенно смешным, вероятно потому, что был бы уместнее в зале заседаний где-нибудь в Женеве или на профсоюзном собрании в предместье Парижа, чем в диких зарослях Галангале. Потом я понял, в чем именно дело: он явился на переговоры с врагом и принес всю документацию. Я чуть было не расхохотался, но что-то в этом человеке вынуждало его щадить. Может, явное отсутствие чувства юмора: мне часто казалось, что чрезмерная серьезность делает человека больным и тебе хочется помочь ему перейти улицу. Вот так я и описал его Минне, невольно подчеркивая смешные стороны – хитришь, где можешь. Она улыбнулась, и я поначалу имел неосторожность принять эту улыбку за дань моему остроумию. Но ошибся. Я тут же понял, что ее улыбка выражала нежность и что образ, нарисованный мною, ей очень нравится. В улыбке был даже оттенок превосходства, снисхождения, она словно показывает, что есть нечто, чего мне не понять, та интимная, тайная область, куда проникнуть не дозволено. Вам знакомо это выражение лица, которым так больно умеет иногда уколоть женщина? Вы ощущаете себя отринутым, оставленным за порогом. Иезуит жестом показал, что да, знакомо. Так как я, сбитый с толку, замолчал, она нетерпеливо заставила меня продолжать: «Что он вам сказал?» Я объяснил ей не без раздражения, что заговорил первым. Начал с того, что спросил его: не пошел ли он в партизаны, чтобы служить делу африканского национализма? Правда ли то, что он призывает племена к восстанию? Я сказал ему, что знаю Вайтари и цели, которые тот преследует. Я спросил и о том, не хочет ли он, чтобы белых выгнали из Африки, и, наконец, какое отношение к этому имеют слоны? Он слушал меня нетерпеливо, с явной досадой.

«И вас послали, чтобы передать мне только это?» – глухо проворчал он. Чувствовалось, что он еле сдерживается. «Право же, для того не стоило утомлять лошадь. Да, случилось так, что со мной тут человек, которому дорога независимость Африки. Но для какой цели?»

Чтобы обеспечить защиту слонов. Это и его забота. Он хочет, чтобы африканцы взяли охрану природы в свои руки, потому что, несмотря на все наши конференции, у нас ничего не выходит. . . Вот и все, что нас объединяет, потому-то я принял его помощь. Он хочет того же, что и я, написал об этом, как только обо мне услышал, даже изложил в проекте конституции, который составил, – бумага здесь. . . »

Он хлопнул рукой по портфелю. Я тщетно пытался что-то возразить. Но безмерная наивность Мореля попросту обезоруживала. Это был один из тех упрямцев, которых никакая водородная бомба, никакой концлагерь не смогли бы привести в отчаяние, они все равно продолжали бы верить и надеяться. Он говорил с чувством удовлетворения, хлопая по своему драгоценному портфелю и явно считая себя большим хитрецом, сумевшим заручиться всеми необходимыми гарантиями.

«Лично мне, конечно, начхать на всяких националистов, кем бы они ни были: и на белых, и на черных, красных, желтых, бывших и сегодняшних. Все, что меня интересует, – это охрана природы. . . »

Он вдруг сплюнул, словно хотел избавиться от избытка сдерживаемой злобы. У него была странная манера выражаться: он неряшливо перемежал довольно интеллигентную речь жаргонными словечками, зачастую произнося их с растяжкой, с простонародной интонацией, даже с нарочитой вульгарностью. В ту минуту я подумал, что так он скрывает чрезмерную ранимость. С тех пор, часто о нем думая, я пришел к другому выводу. Он провел много лет среди простого народа, в тех местах, где копится гнев: в казармах, тюрьмах, среди партизан, в концлагерях, и всякий раз, когда его захватывало сильное чувство, изъяснялся так, как выражались в тех местах. Но, быть может, я чересчур много о нем раздумывал, и поэтому он в конце концов превратился для меня в фигуру почти эпическую.

«Я с ними связался потому, что они мне помогают, и потому, что они обещают сразу же, как только станут хозяевами, обеспечить безопасность слонов; они даже готовы вписать все дословно в свою программу и в свою конституцию. . . »

Я кинул на него испытующий взгляд – не издевается ли он надо мной, он нет, ничего подобного, он, казалось, просто сердится.

«Сначала всегда так говорят», – заметил я.

«Да, – спокойно согласился он, – сначала всегда так говорят. Но что мешает бельгийским, английским, французским и прочим властям показать пример? Очередная конференция в защиту африканской фауны скоро откроется в Букаву. . . »

Он опять заговорил об африканской фауне; не занимает ли она и правда все его мысли? Я снова пристально посмотрел на него, но тщетно искал в глубине его глаз искру, блеск безжалостной насмешки. Если бы он только протянул руку тому человеконенавистнику, который сидит в каждом из нас, подмигнул бы ему с видом сообщника, я бы сразу почувствовал себя в своей тарелке, – кого же никогда не охватывала внезапная, хоть и преходящая неприязнь к себе подобным? Но нет, ничего похожего не было; казалось, он попросту сердится.

«Негодяи, – сказал он, слегка понизив голос, и лицо его потемнело. – Стреляют в стадо просто потому, что оно огромно и прекрасно. И еще говорят о «мастерской» стрельбе. Среди убитых животных мы обнаружили самок: докажите, что это неправда!»

Это была правда.

– Но ваши друзья все же сожгли плантацию, – сказал я ему не слишком уверенно, – что уже смахивает на самый обыкновенный бандитизм.

«Да, мы действительно сожгли на севере плантацию. Плантацию Саркиса. Но тут случай совершенно ясный, и мы будем поступать так всякий раз, когда возникнет необходимость. Вы все понимаете не хуже меня».



Да, я и в самом деле понимал: под предлогом борьбы со слонами, вытаптывающими посева, некоторые плантаторы принимались старательно истреблять целые стада. По закону такие карательные меры должны производиться под руководством главного егеря. Но на практике у плантаторов не было времени, а зачастую и желания обращаться к властям, и они принимались за дело сами, от души радуясь такой потехе.

– Это исключительный случай, – заметил я.

Я догадывался, что покривил душой. Я знал, например, что сейчас, пока мы тут беседуем, власти Южной Африки, Родезии и Бечуаналенда собираются планомерно истребить стадо в восемьсот слонов-мародеров, которые, вытесненные отовсюду увеличением пахотных земель, разоряли посева в районе Тули, при впадении Лимпопо в Шаши. Это была одна из тех неизбежных коллизий, которые рождает прогресс, и спасти слонов не могла никакая добрая воля.

– И все же это случаи исключительные, – повторил я.

Впервые его заросшее лицо изобразило что-то вроде мрачной улыбки.

«Мы не будем жечь все фермы, – сказал он. Открыв портфель, он протянул мне лист бумаги. – Дайте им этот список; мы тут перечислили все виды, которым грозит уничтожение, их необходимо охранять.»

Я взял список и с первого взгляда увидел, что человек там не упомянут. Мне до того было тягостно само это слово и все, что с ним связано, что я вздохнул с облегчением, и Морель сразу стал мне куда симпатичнее. Значит, он умел обойтись без ненужных сентиментальностей. Кроме слонов в списке присутствовали горная горилла, белый носорог, головоногие с желтыми спинками и вообще все породы, об исчезновении которых наши лесничие и натуралисты тщетно предостерегают правительство уже много лет. Но, как я сказал, главное заинтересованное лицо там не фигурировало, и мне стало веселее при мысли, что на сей раз ему не улизнуть и, быть может, скоро от него можно будет избавиться. Я смотрел на Мореля с видом сообщника, но напрасно искал в его лице хотя бы намек на соучастие, он просто-напросто сердился, в лице не было и тени задней мысли, и мое хорошее настроение сменилось яростью, ведь он напрочь отказывался сотрудничать. Это был явно один из тех, кто начисто лишен чувства юмора и не видит дальше собственного носа. Он стоял в траве перед моей лошадью, слегка расставив ноги, с глупейшим выражением непоколебимости на лице и, видимо, ни в чем не сомневался.

«Все, чего я прошу, – сказал он, – это закона, запрещающего охоту на слонов. Тогда я сразу же сдаюсь. Пусть сажают в тюрьму. Я ведь знаю, что ни один французский суд меня не осудит».

Я был возмущен. Да, я был просто в ярости, выведен из терпения, обуреваем страстным желанием дать ему в зубы, отколотить хотя бы для того, чтобы он понял, на каком он свете. На секунду я даже вспомнил о бане гестапо, о печах крематория, о последних атомных взрывах и обо всех прочих радикальных, решающих средствах – и это чтобы устоять на ногах и не выйти из себя. Ведь он, к тому же, нам доверял! Верил, что стоит лишь привлечь наше внимание к судьбе последних слонов, и мы тут же примем необходимые меры, чтобы обеспечить их бессмертие. И самым возмутительным было то, что он как будто ничуть не сомневался в нашей способности что-то сделать, верил, что и наша судьба, и судьба слонов – в наших руках, что охрана природы – наша задача, и неправда, что всему приходит конец, что еще есть возможность выкарабкаться. Это, несомненно, был мерзавец, недоразвитая рассудочная скотина, один из тех вечных дураков, которые ни черта не понимают, даже тогда, когда истина бьет в глаза. Вы простите мой лексикон, отец, но если кто-нибудь меня и бесит, так это жалкие пройдохи, которые верят, будто нашу жизнь надо просто хорошо организовать,

– и все. Маньяки, извращенцы, они ни в чем не сомневаются и вечно тычут вам под нос меры, которые надо принять, и не дают никому покоя. – Сен-Дени печально вздохнул носом в темноте. Иезуит серьезно кивнул, и Сен-Дени подозрительно покосился на него, спрашивая себя, к кому же относилось это одобрение. – И тем не менее я не посмел ничего возразить. Несмотря ни на что, мне не хотелось огорчать Мореля, хотя я испытывал желание встряхнуть его, выкрикнуть ему в лицо правду о нас самих и помочь ее опровергнуть. Он вынул из кармана табак, бумагу и свернул сигарету, все еще стоя передо мной с портфелем под мышкой, слегка расставив ноги, излучая уверенность и здоровье: вьющиеся волосы, вздернутый нос, прямой и открытый взгляд без тени цинизма; он продолжал без зазрения совести излагать свои немыслимые воззрения.

«Ведь что происходит? Люди просто не в курсе дела и потому сидят сложа руки. Но когда они утром развернут газету и узнают, что в год убивают тридцать тысяч слонов, чтобы сделать из бивней ножи для бумаги или запастись тухлятиной, и что есть такой парень, который из кожи вон лезет, чтобы это прекратилось, вот увидите, какой поднимется гвалт. Когда им объяснят, что из ста пойманных слонят восемьдесят дохнут в первые же дни, на чью сторону, по-вашему, встанет общественное мнение? Ведь из-за таких вещей может пасть правительство, это я вам точно говорю. Достаточно, чтобы о них узнал народ».

Это было невыносимо. Я слушал, разинув рот, окаменев от изумления. Морель питал к нам доверие, полнейшее и непоколебимое, в котором было что-то первозданное, иррациональное, как море или как ветер, нечто такое, ей-богу, что в конечном счете как две капли воды походило на истину. Мне пришлось сделать усилие, чтобы устоять, чтобы не подпасть под власть столь умопомрачительной наивности. Он и правда верил, что у людей в наше время хватит великодушия, чтобы позаботиться не только о самих себе, но и о слонах. Что в людских сердцах еще найдется свободное местечко. Прямо хоть плачь. Я так и остался сидеть, онемев, и только глядел на него, вернее сказать, восхищался им – его сумрачным видом, упрямством, портфелем, набитым петициями и всеми манифестами, какие только можно себе вообразить. Смешно, конечно, но и обезоруживающе, ведь чувствовалось, что он насквозь пропитан теми высокими понятиями, которые сам придумал в минуты вдохновения. И к тому же упорен и обладает тем невыносимым усердием школьного учителя, который вбил себе в голову, что человечество должно выполнить заданный урок, и не преминет наказать ученика, если тот будет себя дурно вести. Как видите, это был больной, очень заразный больной.

Иезуит в темноте улыбнулся.

Теперь я понимаю, до чего ошибочным было мое первое впечатление. Я приехал на эту встречу, ожидая увидеть человека, достойного созданной о нем легенды, и был обманут простотой, невысоким ростом, грубоватой физиономией. Но такая простота свойственна всем народным героям, о которых никогда не перестанут рассказывать бесхитростные истории. Да, теперь я видел его совсем иначе, изучил этот целеустремленный взгляд, лицо под шапкой спутанных волос, полное решимости и негодования, и мне казалось, что я уже слышу чей-то голос: «Жил однажды на свете простоватый парень, который так любил слонов, что решил уйти к ним и защищать их от охотников...» Он как будто собирался мне что-то сказать. Вид у него стал лукавый, а тон доверительный. Поначалу мне показалось, что я сплю, потом захотелось сдернуть с головы шлем, швырнуть на землю и разразиться проклятиями.

«Вот увидите, какой поднимется шум, – с удовлетворением произнес он. – Ведь покуда многим людям хватало собак. Они давали утешение. Но с некоторых пор дело приняло, как вы знаете, такой оборот, что собак уже мало. Да и собаки ведь совсем надорвались на работе, больше не выдерживают. Еще бы, с тех пор как они возле нас вертят задом и подают лапу, им уже не вмоготу...»

Он захохотал, но, уверяю вас, это было не смешно. Он облизал самокрутку и сунул, не зажигая, в рот.

– Да, им осточертело. И понятное дело: чего они только не навидались. А люди чувствуют себя такими одинокими и заброшенными, что им необходимо что-нибудь крепкое, могучее, способное выдержать удар. Собаки – это вчерашний день, людям нужны слоны. Таково мое мнение.

Право же, думал я, он надо мной насмеяется. Да вы же сами знаете: сколько твердили, какой это бешеный, себе на уме анархист, просто олицетворенная издевка! На меня напало сомнение. Я ведь уже в него взгляделся: да нет, как будто ни тени иронии, ни разу не подмигнул, абсолютно серьезен. Он закурил и кинул на меня взгляд, словно проверяя, согласен ли я с ним. Я сделал попытку усмехнуться, чтобы его подзадорить, но он, казалось, только чуть удивился. Тогда у меня в животе что-то сжалось, и я даже позеленел. По-моему, на глазах выступили слезы: ведь казалось, будто он говорит обо мне самом. А он выжидал, стоя в траве, которая тихонько колыхалась под проходившими над ней облаками, и смотрел на меня почти дружелюбно, почти ласково. Я не знал, что и думать. Да и сегодня не знаю. Но вот когда я рассказал об этом его удивительном выпаде Минне, она выпрямилась, глаза ее заблестели торжеством, и она судорожно сжала руки, словно борясь с каким-то непреодолимым порывом. И я снова увидел у нее на губах улыбку полнейшего сочувствия. «Ну, а потом? А потом?» – торопила она. А потом, сказал я довольно сухо, я молча выругался и отступил. Принял вид ворчливый и несколько покровительственный. Сказал Морелю, что через несколько дней буду в Форт-Лами и сообщу властям о нашем свидании. Попросил его вести себя мирно, пока буду его защищать. И добавил, что своими действиями он до того взбесил кое-кого из охотников, в частности Орсини, что слоны рискуют сильно полатиться. Потом я спросил, не желает ли он что-нибудь передать кому-то лично в Форт-Лами, – мол, берусь выполнить поручение. Он ответил не сразу.

– У нас почти не осталось припасов, – сказал он. – Можете так и передать.

Я не очень понял, какая тут связь с моим предложением; уж не думает ли он, что ему оттуда пришлют припасы? Но именно это он и думает, внезапно сообразил я. И снова растерялся, поняв, что он отнюдь не ощущает себя отвергнутым, а, наоборот, считает, что окружен всеобщим сочувствием; он искренне убежден, что при первом же известии о том, что у него недостаток в боеприпасах, весь мир бросится их ему доставлять через горы и долины. По-моему, я рассмеялся. И все же оставил Морелю все свои патроны, кроме нескольких охотничьих зарядов. Вы скажете, что я не имел права снабжать человека, находящегося вне закона, – и тем не менее я это сделал. Неудивительно, что все летит к черту при подобных служащих и правительству не на кого положиться. – Сен-Дени мрачно засопел. – Потом я поглядел на группу вооруженных людей под скалой.

– Вот-вот, – сказал Морель. – Поговорите с ними. Тогда вы сможете доложить вашим начальникам, что действительно испробовали все средства. Но идите один; тогда они откровенно вам скажут, что обо мне думают. . .

Впервые лицо его выразило неприкрытую веселость. Он взял из рук облаченного в синий бурнус чернокожего всадника, который его ожидал, узду своего пони, прыгнул в седло и спокойно уехал. Я направил свою лошадь к водопаду.

## XIX

«Пускаясь в дорогу, я отлично знал, что не найду Мореля в одиночестве. Я знал, что в Африке нет недостатка в искателях приключений, готовых воспользоваться первой же возможностью украсть, ограбить и вообще «пожить вольно». Наш континент все еще не потерял своей привлекательности для людей, чувствующих себя свободными лишь с ружьем в руках. И поэтому я рассчитывал встретить вокруг Мореля нескольких отщепенцев, которые давно от нас ускользают. И не ошибся. Первый, кого я узнал, приблизившись к шайке, был Короторо – гроза лавок и базаров, который не так давно сбежал из тюрьмы в Банги. Он сидел на корточках с автоматом на коленях рядом с другим черным и, жестикулируя, весело смеялся. На меня он даже не взглянул. Но я тут же забыл о Короторо. Вы, без сомнения, знаете, что, когда вернувшись в Форт-Лами, я сообщил, кто были те, кого я обнаружил в лагере Мореля, меня открыто объявили лжецом и обвинили в желании раздуть это дело до небывалых масштабов, помимо всякого правдоподобия, чтобы дать волю собственной мизантропии. Возможно и даже вероятно, что те из сотоварищей Мореля, кого я лично не знал, назвались чужими именами, по той простой причине, что полиция всего мира должна была страстно мечтать об их поимке. Но говорить, как это было после, что этих людей никто, кроме меня, никогда не видел и что они – плод воображения старого бродяги, который пытался составить себе по сердцу компанию. . . . Знаете, отец, это уже делает мне слишком много чести. Я тут возражать не намерен. Вы-то себе представляете, какой у меня был вид, когда я сразу заметил в этой группе людей человека, которого отлично знал, – датского натуралиста Пера Квиста; он имел поручение вести научные работы в Центральной Африке, и я не раз помогал ему при переездах с места на место. Дряхлый старик, – не древний, а именно дряхлый, – худой как палка, суровое лицо постоянно хмурится, но под бородой патриарха прячется воинственная доброта. Это как раз один из тех людей, у кого человечность постепенно принимает вид человеконенавистничества. Я не знаю толком, сколько ему лет, но выглядел он еще лет на пятьдесят старше. Он впился в меня своими голубыми, холодными как лед глазками. Рядом стоял, опершись на ружье, человек с саркастическим выражением лица, – я так и не узнал, кто он; один из тех, кого никогда больше не видели, даже после того, как все кончилось. Потом предполагали, что он сумел уйти в Кению и что это один из тех двух белых, которые сражаются на стороне мо-мо в лесах Аледеена. Вы же слышали легенду о том, что у мо-мо есть несколько белых и один из них носил прозвище французского генерала. О них ничего наверняка не знают, это рассказы захваченных в плен кикуйю, никто и не будет ничего знать, пока их когда-нибудь не убьют, да и то надо поторопиться, иначе их съедят муравьи. Мы говорили не дольше двух минут; я только установил, что он парижанин; когда я попытался убедить его в безрассудности их предприятия, он меня насмешливо прервал:

– Послушайте, месье, я три года работал в Париже кондуктором на линии 91-го автобуса и советую вам на нем прокатиться в часы пик. Там я приобрел знание людей, что меня, естественно, побудило встать на сторону зверей. Надеюсь, вас удовлетворит мое объяснение.

Спутник француза был личностью примечательной – воспаленное лицо, слегка выпученные глаза, седоватые усики, пухлые щеки; казалось, он сдерживает не то вздох, не то взрыв смеха, не то позыв ко рвоте; он сидел на скале, иногда вздрагивая, совершенно отупевший от опьянения; его одежда хранила следы былой элегантности, предназначенной совсем для других широт: рваный костюм из твида и дырявая тирольская шляпка с пером; на коленях

он держал охотничье ружье. Очевидно, и одежда, и ее владелец знавали лучшие дни. Когда я попытался обменяться с ним парой слов, его товарищ, с которым я только что разговаривал, меня прервал: «Барон хоть и весьма знатного происхождения, но тоже решил сменить свою породу и порвать со всем, что было. В своем омерзении он дошел до того, что даже отказывается прибегать к человеческой речи». На эти слова так называемый барон выпустил, словно в подтверждение, дробный поток газов. «Видите, – сказал его единомышленник, – видите, он изъясняется исключительно при помощи азбуки Морзе, считает, что это все, чего мы заслуживаем».

Было ясно, что у бандитов нет никакого желания открыть мне свои подлинные имена, и хотя я сделал попытку припомнить последние розыскные данные, которые поступают ко мне каждый квартал из Лами, стоило мне только кинуть взгляд на последнего члена банды, чтобы сразу пренебречь всей прочей мелюзгой.

Он держался в некотором отдалении, у подножия утеса, и я был удивлен, что даже издали не узнал этой гигантской фигуры, однако я ведь впервые видел бывшего депутата Уле не в хорошо сшитом европейском костюме. Он стоял голый до пояса, накинув на плечи гимнастерку, надув губы и держа автомат, – да, это был Вайтари. . . – Сен-Дени произнес имя африканца с долей иронии и горечи. – Я его хорошо знал, ведь это я двадцать лет назад добился для него учебной стипендии. Позже, гораздо позже он как депутат разъезжал по моему округу и, вернувшись в Сионвилль, распространялся по поводу того, что я-де «ничего не делаю для освобождения отсталых племен от пережитков прошлого». Он был прав, я вовсе не тороплюсь затевать что-либо подобное. Наоборот, меня все больше и больше одолевает желание не только сохранить нетронутыми обычаи и обряды, бытующие в африканских джунглях, но и самому принять участие. Я в них верю. . . Но не буду об этом говорить. Достаточно сказать, что когда я увидел среди высокой травы рослую, горделивую фигуру с оружием в руках, – Вайтари словно показывал мне, что между нами все кончено, – я сразу же уразумел, что кроется за всем этим и какую выгоду он намерен извлечь из безумия Мореля. И как всегда, остро ощутил красоту африканского неба над нами. Я подошел к Вайтари. Мы поглядели друг на друга. Он стоял неподвижно в нескольких шагах от водопада, в туманном кипении брызг, которые увлажняли мое лицо и мельтешили вокруг обоих, стоял, выражая враждебность, которая хорошо сочеталась с его блестящими на солнце мускулами и всем этим пейзажем, что состоял из скал и диких, спутанных трав. И хотя мне было понятно, что он позирует для плаката, изображающего восставшую Африку, в явной надежде, что у меня с собой фотоаппарат, ему все же нельзя было отказать в естественности и подлинной красоте. Посадка головы, спокойная мощь в развороте плечей выражали высокомерие; это был великолепный продукт противоестественной селекции, ибо в том племени, где он родился, уже много поколений избавлялись от неполноценных особей, отдавая их арабским и португальским торговцам живым товаром. Я молча ждал, жуя табак и глядя на него с вызовом.

– Надеюсь, вы поможете рассеять кое-какие недоразумения, – сказал он, и самый его голос, казалось, проникся отзвуками этих базальтовых скал, а может, он просто пытался заглушить шум каскада. – Моего присутствия здесь достаточно, чтобы вам все стало ясно. Этому делу пытаются придать совсем другой характер, опорочить нас в глазах общественного мнения, скрыть восстание африканцев дымовой завесой гуманизма.»

Я молча жевал свой табак и ждал. Глядя на него, я ощущал водяные капли, которые смешивались у меня на лице с потом и щекотали бороду; думал обо всем, что повидал в Африке, на этой настоящей моей родине, откуда никакие силы на свете меня не способны выгнать. Я снял шлем и отер пот. Над водопадом, в водовороте брызг возникла радужная дуга» перекинута солнцем между двумя скалистыми выступами.

– Морель – одержимый. Но он нам полезен. И мы с ним сходимся по крайней мере в одном: пора прекратить бесстыдную эксплуатацию природных богатств Африки международным капиталом. В остальном... – Он бросил веселый взгляд на полянку. – Этот трогательный, старомодный идеалист...

– Понятно, – сказал я. И добавил без всякой иронии. – Вам следовало бы объяснить Морелю, что к чему.

Он меня не слушал. То, что я мог сказать, его не интересовало: у него за спиной было десять поколений вождей уле» а годы в парламенте и почести, по-видимому, ничего не изменили. К тому же он знал, что умнее меня, образованнее, словом, крупнее во всех отношениях. Мне тут же пришла на память другая трагическая фигура – Кеньятта, духовный вождь мо-мо, которого гноили в тюрьме где-то в Танганьике. У того была такая же гордая гримаса, та же могучая нагота, прикрытая лишь шкурой леопарда, дротик в руке и гри-гри вокруг шеи, и та же полнейшая естественность, – не считая того, что его фотография была напечатана на титуле труда по антропологии, который он незадолго до того издал в Оксфорде. Я холодно разглядывал Вайтари, продолжая жевать табак.

– Сколько вас там, на землях уле? – спросил я в конце концов. – Пять, шесть? Десяток? Племена ведь против вас...

В ответ я получил жест, выражающий досаду; лицо Вайтари сделалось чуть угрюмее, в голосе зазвенел металл.

– Речь идет не о том, чтобы поднять восстание среди уле. Еще рано, слишком рано. Но я за то, чтобы наметить сроки. И хочу, чтобы в мире нас наконец услышали... пусть это будет хоть бы один мой голос... Я хочу, чтобы его услышали в Индии, в Китае, в Америке, в СССР, в самой Франции... Пора нарушить великое черное молчание. А кроме того...

Он запнулся, но не смог удержаться, чтобы не сказать:

– Вы же знаете, при каких обстоятельствах меня вынудили расстаться с моим депутатским мандатом во время последних выборов. Власти употребили давление в пользу моего соперника...

Правда, конечно, но прозвучала она не к месту. Совсем не к месту. И он это почувствовал.

– Разумеется, происходящее сейчас не имеет к тому никакого отношения... Я бы в любом случае взял ответственность на себя...

– Как же! – воскликнул я довольно ехидно. А потом добавил: – Вас посадят в тюрьму.

Он пожал могучими плечами. А я подумал: если бы у меня были хотя бы такие плечи...

– Ну и что? Тюрьмы колонизаторов сегодня – прихожие министерств... – Он улыбнулся. – Но зря вы обо мне заботитесь. Может, меня и не поймают. Судан не так уж далеко... А в Каире замечательная радиостанция. Не знаю, произойдет ли схватка капитализма с новым миром сегодня или завтра, но знаю, кто выйдет из нее победителем: Африка...

– Вы, я вижу, все обдумали. Как поживает ваша жена?

– Она во Франции, у матери. Она ведь француженка.

– Знаю. А сыновья все еще в Янсоне?

– Да, – спокойно ответил он. – Я хочу, чтобы они получили хорошее образование. Они нам понадобятся...

Я одобрил это решение. Он – не циник. Он нас просто знает, вот и все. Знает, что может нам доверять. И все же я со злостью выплюнул свою пластинку табака в траву.

– Могу я вас просить им кое-что передать? Ну, что я здоров.

– Я сообщу в Форт-Лами. Уверен, там сделают все что полагается.

Он одобрительно кивнул. Счел это совершенно естественным – в конце концов, мы же люди цивилизованные. Да, он один из нас. Думает, как мы, вскормлен нашими идеями и

нашими политическими принципами. А я подумал: ты хочешь построить Африку по нашему образу и подобию, поэтому заслуживаешь, чтобы твои же соратники заживо содрали с тебя шкуру. Я-то знаю, что тут будет тоталитарная Африка, но и это, главным образом – это, взято у нас. Я так подумал, но вслух ничего не сказал. Только еще раз сплюнул. Это было лучшее, что я мог сделать со своей слюной. То, что я думал или чувствовал, его не интересовало. Наоборот, он интересовался тем, что я расскажу в Форт-Лами, что напишут газеты. А меня теперь уже интересовало лишь одно, и больше чем когда бы то ни было: сдержит ли свое обещание мой старый друг Двала. Я знал, что он может превратить человека после смерти в дерево, а иногда даже и до смерти, и получил от него торжественное обещание раз и навсегда освободить меня от принадлежности к тому, что меня так угнетало, что я больше уже не в силах был вынести. Меня всегда пугала мысль, что я когда-нибудь снова могу родиться в облике человека. Мысль была так ужасна, что я иногда просыпался среди ночи в холодном поту. Поэтому я в конце концов и заключил договор с Двалой, – он пообещал и даже поклялся в следующий раз превратить меня в дерево с твердой корой и корнями, прочно вросшими в африканскую землю, и обещал это в обмен на мелкие административные побрякушки, на то, в частности, чтобы прекратить прокладку дороги через земли уле. Эта надежда меня приободрила, и на несколько мгновений я почувствовал прилив мужества. Я отер лицо и бороду, – я был весь мокрый, – и надел шлем. Я ни словом не обмолвился о том, что думал. Не то чтобы у меня не было желания высказаться. Мне хотелось сказать: «Господин депутат, я всегда мечтал быть черным, иметь душу черного, смех черного. А знаете почему? Я думал, что вы не такие, как мы. Вы были для меня отдельно от всех. Я хотел уйти от плоского материализма белых, от их убогой сексуальности, жалкой религии, избежать неспособности радоваться и неверия в волшебство. Я хотел избежать всего, чему вы так прилежно у нас научились и что вы однажды силой привьете африканской душе, – а для того, чтобы это осуществить, понадобится такое насилие и такая жестокость, по сравнению с которой колониализм покажется детской игрушкой, но я на вас полагаюсь: вы не оплошаете. Подобным путем вы довершите покорение Африки Западом. Ведь это нашими идеями, фетишами, табу, верованиями, предрассудками, нашей националистической заразой, – нашими ядами вы хотите отравить африканскую кровь... Мы чурались хирургического вмешательства, но вы сделаете все за нас. Вы наш самый незаменимый агент. Мы, конечно, этого не понимаем, уж такие мы кретины. И в том, быть может, единственное спасение Африки. Только благодаря этому Африка спасется и от вас, и от нас. Но не наверняка. Расисты напрасно нам внушали, что негры не такие люди, как мы, возможно, это очередной обман, которым мы ослепили глаза наших черных братьев». Вот что мне хотелось сказать, но я сдержался, ибо не желал увидеть на его лице выражение не то снисходительности, не то презрения, какое замечал на лицах моих коллег по администрации, когда излагал им подобные мысли. «Бедняга Сен-Дени, он, конечно, парень славный, но такой отсталый, такой же тяжеловесный пережиток, как его слоны. Да, пора, пора обновить наши кадры в Африке». Мне было бы неприятно получить такого рода характеристику. Поэтому я разжал губы только для того, чтобы сунуть в рот новую порцию табака.

Вайтари улыбнулся.

– Перестаньте сопротивляться, Сен-Дени. Вы еще упираетесь, но прекрасно знаете, что ваше место среди нас. Вы отдали Африке лучшее, что у вас было, и спасете честь администрации, к которой принадлежите, если пойдете сражаться и даже погибнете рядом с нами...

Признаюсь, что у меня на глаза навернулись слезы. Я не был избалован официальным признанием, и знаки поощрения редко выпадали на мою долю. А между тем, хотя бы в процессе борьбы с мухой цеце, я открыл целые районы, благоприятные для скотоводчества, и спас

бог знает сколько человеческих жизней. Единственным признаком того, что мои усилия не прошли незамеченными, была кличка «Цеце», которой меня окрестили мои молодые коллеги, причем я даже не уверен, что в их устах это был комплимент, а не синоним «старого пустомели». А тут сам Вайтари признает мои исторические заслуги перед его народом, предлагает мне братство, которое наконец-то стало возможным и которого никто и никогда мне не предлагал – ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. Я ведь хотел только одного: чтобы черные приняли меня как своего и я мог бы им помогать, оберегать от тех ловушек, которые цивилизация расставляет на их пути. Но я не был таким уж простаком. Я победил муху цеце не для того, чтобы меня обманул политикан, чья черная кожа не могла скрыть того, что он один из нас. Вот уже двадцать лет, как я преследую одну только цель, больше того – навязчивую идею: спасти черных, уберечь их от нашествия современных идей, от материалистического недуга, от политической заразы, помочь им сохранить свои племенные традиции и прекрасные поверья, помешать идти по нашим следам. Ничто так меня не восхищало, как негритянские обряды, и когда я видел в одном из моих племен, что какой-нибудь юноша променял доставшуюся по наследству наготу на брюки и фетровую шляпу, то не ленился самолично пнуть его сапогом в зад. Пенициллин и ДДТ – это максимум того, что я могу допустить, и клянусь, еще не родился тот, кто добьется у меня большего. Вместе со стариком Двалой мы всегда были в авангарде тех, кто защищает черную Африку от проникновения бронированного чудовища, которое зовется Западом; мы мужественно боролись за то, чтобы наши черные оставались неприкосновенными. Я лично делал все, чтобы настоятельные директивы насчет «политического просвещения» кончали свой век в общественных уборных: главная моя забота была в том, чтобы помешать проникновению в Африку нашей отравы, дурацких понятий о демократии и маниакальных идеологий. А поэтому мне не по дороге с человеком, который намерен отдать душу своего народа на съедение громкоговорителям и бездушным механизмам, они будут их перемалывать и долбить, пока не превратят в эту бесформенную пульпу – в массы. Я решительно покачал головой.

– Пока я здесь, – сказал я, – никто не заменит наши ритуальные церемонии политическими сходками. . .

Он презрительно махнул рукой, словно сметая меня с дороги.

– Знаю, вам нужна местная экзотика, что-нибудь живописное. . . Вы реакционер и к тому же еще расист. Вы любите черных из чистой мизантропии, как любят животных. Нам нечего делать с такой любовью. . .

Я почувствовал усталость, уныние. Быть может, он и прав. Быть может, черные – такие же люди, как мы, и деваться некуда. Мне вдруг почудилось, что я в самой гуще какого-то невообразимого свинства, из которого нет выхода. И словно утверждая меня в этом ощущении, между деревьями вдруг возникли грязная морская фуражка и приземистая фигура, пышущая силой и здоровьем, которые показались мне чем-то знакомыми.



**XX**

Человек нес на плече жердь, продернутую сквозь глаза трех больших рыб; увидев меня, он приостановился, а потом подошел и раскинул руки; громовой хохот сотрясал его черные как смоль бороду и усы.

– Сен-Дени! Гром и молния! Что вы тут делаете, старый отшельник? Решили к нам пристать? Захотелось в компанию? А может, ограбили кассу своего округа, сбежали с казенными деньгами и решили укрыться у партизан? Ха-ха! Да провались я пропадом на дно морское, если это не самый злющий, не самый старый и не самый спесивый из наших заморских начальничков!

Я силясь припомнить, кто такой этот грубиян, ибо уже по отвращению, которое он во мне вызывал, понял, что это несомненно знакомец.

– Ну что ж, начальник, приятелей уже не узнаешь? Вот что значит жить одному в чашобе; все лица становятся друг на друга похожими. Хабиб, капитан дальнего плавания, полный хозяин на борту, а мое присутствие здесь показывает, что этот мил человек, то есть я, все еще на плаву!

Я удивился, что не сразу узнал этого негодяя по его жизнерадостности и пышущему здоровьем. Он обнял меня за плечи, хотя я смотрел вокруг не приветливее, чем обычно. Короторо и Хабиб – вот какими людьми окружил себя Вайтари. Во всей этой компании смущал меня только Морель, но он явно попал сюда по ошибке. Я сразу почувствовал облегчение, – как говорится, встряхнулся. Теперь я уже мог вернуться в свою дыру, скрестить руки и ждать, пока все кончится, смотреть на звезды, прекрасные только потому, что они бесконечно далеки. Словом, все пришло в норму. Передо мной было одно из выдающихся начинаний, обреченное, как и все остальные, на те же подлости и компромиссы. Я осведомился со всей доступной мне иронией о судьбе другого земного странника, которого знал как компаньона Хабиба.

– Пал жертвой благородной идеи, прекрасного идеала. Был готов на все ради защиты богатств природы. Перешел в стан слонов, всем пожертвовал ради сохранения могучего символа естественной свободы. Желает так же внести свою лепту в благородную борьбу за право человека распоряжаться своей судьбой, запечатлеть свое имя в анналах истории, рядом с Байроном, вождями Китая и России и великим Лоуренсом Аравийским! Влил свое слабое дыхание в бушующий вихрь восстания! Всегдашний участник любой великой борьбы, неукротимый поборник правого дела! Разбудил меня среди ночи, произнес возвышенную речь, взял свой «манлихер» и цианистый калий, презрел все мирские блага, умчался, опередив всего на несколько часов полицию, – привычное дело, ха-ха! – на помощь слонам. Сразу же был обвинен во всех преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом, хотя ничего уголовного в его характере нет! Верный друг искусств, прилежный наставник молодежи, Оксфорд и Кембридж, светский человек в полном смысле этого слова. И вот мы снова партизанам, привычное дело! Идеалы-то ведь еще не умерли, иногда приходится жрать дерьмо, но, как видите, живы! К несчастью, душа у него ранимая, сейчас валяется в палатке с дьявольской дизентерией, молит бросить его подышать, но дудки, доживет с моей помощью до победного конца, вот поймал для него парочку рыбок, надо спасать наших избранников, все при нас и жизнь прекрасна, это вам говорит капитан дальнего плавания Хабиб, – а, видит Бог, этот малый в таких делах дока!

Он снова хлопнул меня по плечу и, покачиваясь на кривых, уверенно ступавших по земле ногам с крепкими мускулистыми икрами, удалился вместе со своими рыбами; у него был

пышущий здоровьем, жизнерадостный вид. У меня почему-то вдруг отлегло от сердца. Каким бы ни было мое одиночество, я еще не созрел для подобной компании. И теперь я отчетливо видел, что кроется за знаменитой историей со слонами и что покрывает наивность Мореля. Такой человек, как Пер Квист, пришел сюда, побуждаемый страстью натуралиста, известной всем мизантропией, которая на самом деле была лишь благородной злобой против всего, что губило природу, – против испытаний атомной бомбы, концлагерей, диктаторских режимов, расистского варварства и прочей грязи, грозившей замарать красоту природы и отравить источники самой жизни. За ним следовал Вайтари, веривший в неизбежность третьей мировой войны, рассчитывая стать после падения Европы первым героем панафриканского национализма. А далее стояли, как всегда стоят в тени всякого благородного дела, обыкновенные бандиты или убийцы, как залог земного преуспевания. И совсем уже сзади – немая толпа негритянских народов с настороженным взглядом, которые еще ни о чем не знали, но, как бы там ни было, их час пробьет. А еще дальше, очень-очень далеко, быть может, лишь в сердце Мореля – были слоны. Словом, это был партизанский отряд, настоящие партизаны: люди доброй воли и мерзавцы, благородное негодование и ловкий расчет, слоны на горизонте, и цель, которая оправдывает средства. Да, повторяю, партизанский отряд, горстка людей, одержимых высокой мечтой и чистыми помыслами, которые как раз и кончаются кровавыми бойнями. . . – Сен-Дени на минуту замолчал. Быть может, его слегка монгольская внешность – голый череп, высокие скулы и коренастая фигура – вдруг напомнили отцу Тассену всадника, сброшенного на землю. – Я с ними попрощался. Пошел прямо к своим лошадям, которых держал наготове Н’Гола. Пер Квист вызвался меня проводить. Он сидел в седле очень прямо, лицо хранило суровое выражение; одно стремя у него было длиннее другого, чтобы опираться на него негнувшейся ногой, – Квист порвал связки правой ноги в арктической расщелине. Я спрашивал себя, почему, не сказав мне ни единого слова, он решил меня проводить. Может, вдруг почувствовал, что я ему ближе, чем другие. Лошади наши шли по прямой тропе между скалами. Солнце исчезло за лесом; бамбук и деревья, казалось, делили между собой его багряницу. Мы ехали медленно, и от Галангале до нас донесся оглушительный треск; весь лес задрожал и, словно уступив какому-то яростному нашествию, воздух огласился ревом стада, прокладывающего себе дорогу к воде. Несколько мгновений треск вырванных с корнями деревьев, дрожание земли под ногами и трубный зов слонов напоминали разбушевавшийся ураган. Я к такому привык, и все же каждый раз этот грохот заставлял чаще биться мое сердце, – то был не страх, а какое-то странное сопереживание. Я прислушался. Лес будто распахнулся во все стороны, шум стоял такой, что было непонятно, откуда он идет. Но с той возвышенности, где мы находились, я увидел по ту сторону прогалины, по которой текла вода, как сотрясается лес, словно охваченный невыразимым ужасом, а верхушки деревьев стремительно клонятся, прячась в подлески; тут я заметил сбившиеся в кучу серые, громадные, толстые и круглые спины, которые так хорошо знал. Я подумал: скоро во всем нашем мире не останется места, чтобы дать простор столь царственной неуклюжести, И как всякий раз, когда их видел, я не мог удержаться от счастливой улыбки, словно это зрелище заверяло меня в наличии чего-то существенного. В наш век бессилия, всяческих табу, запретов и почти физиологической кабалы, когда человек отбрасывает старые истины и отказывается от своих глубинных потребностей, мне всегда кажется, когда я слушаю этот могучий гул, что мы еще не совсем отрезаны от своих истоков, что нас еще не оскопили во имя лжи, что мы еще не окончательно сдались, И притом, стоило мне услышать этот древний земной грохот, стоило стать свидетелем этого живого обвала, как я тут же понимал, что скоро среди нас не останется места для такой вольной стихии. С этим трудно было мириться. Спустившись по тропе, Пер Квист остановил лошадь. Я сразу подумал, что с тех пор как я его знаю, всегда

видел на этом лице, столь глубоко изрезанном морщинами, что оно приобрело даже некоторое величие, только одно выражение. Выражение предельной строгости; его голубые глаза, казалось, хранили осколки вечных льдов, которые он когда-то созерцал в Арктике вместе с Фритьюфом Нансенем. Губы над седой бородой – прямые и твердые; в них не чувствовалось и намека на снисхождение к людям.

– Вслушайтесь хорошенько, – сказал он. – Это самое прекрасное произведение земли.

– Я вслушиваюсь в него всю жизнь.

– Я говорю не только о слонах. . .

Я чуточку помолчал, прежде чем ответить.

– Мы слышим этот шум с тех пор, как живем в Африке.

– Но сегодня вы уже другой, Сен-Дени. Раньше этот шум достигал только ваших ушей. Сегодня он проникает к вам в сердце. Вы уже не можете сопротивляться его красоте. Прежде, когда он нарушал ваш сон, вы брали ружье, и этим все было сказано. Сегодня ружья вам отвратительнее, чем шум, который внушает страх. Как видно, это и есть пора зрелости. Что вы скажете там, в Форт-Лами?

– То, что не перестаю повторять год за годом, – ответил я угрюмо. – Что в Африке пора уважать слонов. Пора охранять природу, которая в этом нуждается.

Лицо Пера Квиста оставалось каменным. Я подумал, что в каком-то возрасте лица навсегда застывают в одном и том же выражении, которое не так-то просто изменить.

– Вы думаете, против нас решат послать войска?

– Их в Чаде нет. Но охотники очень волнуются. . .

Лицо его по-прежнему оставалось суровым, но то, что он мне сказал, поразило меня своим комизмом.

– В мои годы забавно быть убитым.

– Да уж чего смешнее, – заверил я. – А сколько же вам в сущности лет?

– Я очень стар, – ответил он на полном серьезе. И добавил как нечто само собой разумеющееся: – Я буду рад умереть в Африке.

– Почему же?

– Потому что человек начался здесь. Колыбель человечества в Ньясаленде. Это почти доказано.

– Станный довод.

– Умирать лучше дома.

Вот еще один, кто пытается отыскать свой дом на земле, – подумал я. И спросил:

– А Морель?

– Мы все нуждаемся в защите. . .

В его голосе звучала печаль.

– Бедный Морель, – сказал он. – Попал в немыслимое положение. Еще никому не удавалось разрешить это противоречие: отстаивать идеал человека в компании людей. Прощайте.

## XXI

В ту ночь я так и не заснул, ворочался с боку на бок у себя в палатке; я еще никогда не чувствовал себя таким одиноким и покинутым. Быть может, думал я, глядя в темноту, и слоны чересчур малы; нам нужно любимое животное, которое было бы в каком-то другом отношении побольше и поласковее. Но в настоящее время и, как говорят боксеры, в этой весовой категории на горизонте видны одни слоны. Я вернулся в Форт-Лами, провел с губернатором бурную беседу; он мне сказал, что давно меня знает и ничуть не верит в точность расположения штаба Мореля, которое я указал на карте, – в чем не совсем ошибался. Я пытался ему объяснить, что он зря упрямится, желал уладить эту историю при помощи полиции, и что было бы гораздо проще срочно получить из Парижа поправку к правилам об охоте на крупного зверя, которые давным-давно устарели, о чем не устают твердить все лесничие и вся администрация. Он пришел в страшную ярость, заявил, что это своего рода Мюнхенский сговор, и воскликнул, что лично он не согласен преклонить колени перед знаменами человеконенавистничества, его вера в человеческую деятельность не пошатнулась и нашу породу несомненно ждет светлое будущее. Он махал кулаком, уверяя, что не потерпит на своей территории такого проявления ненависти ко всем достижениям человека и столь презренной, смехотворной попытки изменить наше бытие. Он встал, быстрыми шажками подбежал ко мне и, поднявшись на цыпочки, начал кричать: мол, вся эта кампания в защиту природы – всего лишь политическая диверсия, и если в Африке победит коммунизм, слонов первых же перестреляют; сунув руки в карманы, он саркастически осведомился, слышал ли я, что слоны последние в мире индивидуалисты, – да, месье, и что только они-де и воплощают основные права человека: неуклюжие, громоздкие, допотопные, подвергаемые угрозе со всех сторон и тем не менее необходимые для того, чтобы жизнь была прекрасна, – вот что, месье, изволят писать французские газеты, – он с яростью стукнул кулаком по пачке газет на столе, – вот как изображает происходящее так называемая умная пресса; что же до него, то на все их мелкие философические уколы он может ответить чернильным слюняжкам, болтунам и пораженцам своим здоровым громовым смехом истого республиканца, верящего в судьбу человечества, крепко стоящего на своем посту и полного гордости за достигнутое. При этих словах он закатил глаза, обнажил клыки и разразился чудовищным хохотом: ха-ха-ха! После чего губернатора пришлось уложить на диван и послать за его женой. – Сен-Дени прыснул в бороду. – Может, отец, я чуть-чуть и сгущаю краски, но мне трудно передать, в какое негодование привели их там, в Форт-Лами те небылицы, которые печатались в связи с делом Мореля. Я вышел оттуда крайне довольный собою, в сопровождении Фруассара – он рассказал, что губернатор потерял сон, а в Париже не могут убедить американцев, что речь действительно идет о сохранении африканской фауны; пресса обвиняет правительство в том, что оно выдумало Мореля, чтобы прикрыть серьезные политические беспорядки, и весь мир смеется над наивностью Франции, которая в своем возрасте считает, что кто-то способен верить в слонов.

## XXII

Вот это все я и рассказывал Минне, как сегодня рассказываю вам, и думаю, что никогда за всю мою жизнь ни одна женщина не оказывала мне подобной чести, слушая меня с таким вниманием. Она сидела не шевелясь на ручке кресла, но ее неподвижность выдавала с трудом сдерживаемое волнение, и надо признаться, иногда я забывал, что ее страстный интерес вызван не мной. Нельзя было остаться равнодушным к такому порыву душевной щедрости, к этой глубине сочувствия и сопереживания, которые угадывались в ней. Да, это была женщина, мимо которой трудно пройти. . .

Иезуит с легким удивлением посмотрел на собеседника.

«Когда я дошел до того смехотворного обращения к людям, которое с таким простодушием изложил Морель, и когда привел его слова: «Скажите им непременно, что у меня почти не осталось боеприпасов», губы ее задрожали, она резко поднялась и перешла в другой конец комнаты, где машинально передвинула вазу и так и осталась стоять лицом к стене; ее плечи вздрагивали. Я немножко растерялся. Я знал, что за свою короткую жизнь она пережила много горя, и поначалу думал, что, по знаменитому выражению Мореля, собак ей уже мало и что у нее тоже потребность в друзьях покрупнее, в ком-то под стать ее земному одиночеству: вот почему Минну так страстно занимают слоны. Но теперь увидел, что место уже занято и рассчитывать особенно не на что, во всяком случае мне. Я сказал, что не стоит всю эту историю воспринимать столь трагически – врачи, вероятно, объявят, что Морель не отвечает за свои поступки, и он отделается годом или двумя тюрьмы.

Она обернулась ко мне так резко, с таким негодованием, что у меня перехватило дух. Мне она часто снится, вот такой я ее и вижу: стоит в распахнутом халате, лифчике и трусиках, с растрепанными волосами и кричит, как базарная торговка, с этим ужасным немецким акцентом, который почему-то сразу же ее портит.

– Ах так, месье де Сен-Дени, – кричит она, зачем-то добавив к моей фамилии это «де», – значит, вы думаете, что если все встали человеку поперек горла, если он больше не выносит ни ваших жестокостей, ни ваших рож, ни ваших голосов, ни ваших рук, – то он сумасшедший? И раз он не желает иметь ровно ничего общего ни с вами, ни с вашими учеными, ни с вашей полицией, ни с вашими автоматами, словом, со всем этим, – его надо запереть? Имейте в виду, теперь таких, как он, много. У них, конечно, не хватает смелости сделать то, что надо, потому что они слишком вялые и чересчур. . . усталые или циничные, но они понимают, они отлично все понимают! Они идут в свои конторы или на свои поля, в свои казармы или на свои заводы, словом, туда, где надо делать то, что тебе приказывают, и где тебе тошно, и те из них, кто на такое способен, улыбаются, думая совсем о другом, и поступают, как я. . .

Она схватила свой стакан.

– И пьют за его здоровье. . . Прозит! Прозит! – повторяла она, глядя в пространство за моей спиной. Мне всегда было противно это немецкое слово, а в устах молодой женщины – и подавно. Я почувствовал какую-то вульгарность – она вдруг проявилась в ее голосе, жестах, в равнодушно распахнутом халате, – видно было, что она знала немало мужчин.

– Милая девочка. . . – начал я. Но она меня прервала:

– А потом, месье де Сен-Дени, я вам вот что еще скажу: ваша шкура, понимаете, стоит не дороже слоновьей. В Германии во время войны мы, по-моему, и абажуры делали из человеческой кожи – слышали? Не забудьте, месье де Сен-Дени, что мы, немцы, во всем были предтечами. . .

Она засмеялась.

– В конце концов, ведь это мы изобрели алфавит.

Она, видимо, спутала алфавит с книгопечатанием.

– И нечего так на меня смотреть. Я в жалости не нуждаюсь. Правда, я походила по рукам, но тут были свои обстоятельства. А мужчин не надо судить по тому, что они делают, сняв штаны. Настоящие подлости они совершают одетыми.

Она закурила сигарету. Я был совершенно сбит с толку. У меня не укладывалось в голове, что эта девушка, такая тихая, сдержанная и пугливая, способна на подобную вспышку. Я попытался ей объяснить, что она неверно поняла то, что я сказал о Мореле. Я хотел объяснить, что он попал в лапы шайки бандитов и политиканов, которые злоупотребляют его доверчивостью, и что теперь мы уже не можем ничего для него сделать. Она снова меня прервала и стала с жаром утверждать, что я ошибаюсь, что еще не поздно, если только я соглашусь ей помочь. Все, чего она от меня хочет, – это весточки моему другу Двале с просьбой помочь ей связаться с Морелем. Я, конечно, пытался ее образумить. Напомнил, что мне понадобилось двадцать лет самоотверженного служения, чтобы завоевать доверие племени уле, и тем, что делает для меня старый Двала, не могут пользоваться другие. Мы давнишние союзники, связанные определенным кодексом чести; я не могу нарушить последний, не подорвав своего положения в округе, которым я управляю. Те немногие деревни, где у Вайтари есть сочувствующие, находятся под строгим надзором властей; и она может сразу угодить в руки первого же начальника военного поста. К тому же я сомневаюсь, что у Вайтари больше нескольких десятков сторонников, да и то главным образом в городах; он ведь перерожденец, и туземцы это знают. Он уже один из нас, голова его набита нашими представлениями; он презирает обряды негров. Наконец напомнил, что Мореля как-никак обвиняют в покушении на убийство и что лучше всего для нее – держаться подальше, она ведь иностранка. . . а попросту говоря, немка. . .

– Ах так! – закричала она. – Значит, вы предпочитаете, чтобы он оставался там и в конце концов кого-нибудь на самом деле убил? Считаете, что теперь уже ему ничем не поможешь? Толкуете о своем долге как администратор, но разве не ваш долг пресечь вооруженные нападения и вернуть Мореля живым? Начальство вас тогда даже обласкает, – бросила она тоном, который мне совсем не понравился. – Если бы я могла с ним поговорить, уверена, что он бы меня выслушал.

В этом я тоже не сомневался. Тут она не преувеличивала своих возможностей.

– И разве вы сами не чувствуете, месье де Сен-Дени, что этот человек вам доверяет, на вас рассчитывает, ждет вашей помощи? Человек. . . которого нужно оберегать?..

Голос Минны прервался, глаза наполнились слезами; против такого довода трудно было устоять. Я быстро раскинул мозгами. Затея ее, в конце концов, не так уж безумна, если принять кое-какие меры предосторожности. Не могу объяснить почему, но я был уверен, что Морель поддастся на ее уговоры и последует за ней; возможно, я ставил себя на его место. Мне даже казалось, что здесь тот случай, когда я могу проявить ловкость, и нельзя им пренебречь. Вероятно, я сам себя представлял кем-то вроде коварного Фуше, который пользуется влюбленной женщиной, чтобы захватить опасного врага. В конечном итоге любовь – верное орудие при решении подобных задач. Это известно всем полициям на свете. Она будет служить приманкой, – все дело в том, как половчее ее подкинуть. Право же, отец мой, мне так и хотелось взять из воображаемой табакерки понюшку и с улыбкой поднести ее к ноздрям, как настоящему светскому хлыщу. Я не только ей уступил, но еще и сделал при этом хитрую мину. А честно говоря, просто не мог сказать «нет» ее молодости, красоте, тому растерянному, трогательному выражению, с каким она на меня смотрела. Я предложил послать

Н'Голу, чтобы спросить, хочет ли Морель с ней встретиться. А пока ей лучше покинуть Форт-Лами и дожидаться ответа в моей резиденции Ого, где она будет у меня в гостях и откуда ей ни под каким видом не стоит куда-либо уезжать. Если Морель согласится на свидание, его надо назначить в каком-нибудь месте за пределами земель уле, в одном из районов Банги. Если затея удастся, – тем лучше. В противном случае она спокойно вернется в Форт-Лами, объясняя, что несколько дней провела в лесу.

В порыве благодарности она кинулась мне на шею, что было мне не совсем приятно, видимо, потому, что причиной тут был не я, а другой.

– Ладно, ладно, – сказал я, – нечего меня благодарить, посмотрим, что у вас выйдет. Узнаем, действительно ли все дело в одиночестве – я хочу сказать, стал ли он изгоем только потому, что ему не хватало рядом кого-нибудь близкого. Я, во всяком случае, смотрю на это так, хотя у меня с вашим Морелем нет ничего общего.

Минна снова нервно закурила.

– Надо все же торопиться, – сказала она, – в Банги вот-вот придет стрелковый батальон, и его сразу же отправят в земли уле. Гораздо лучше все организовать до прихода войск.

Я удивился, – вот уж не думал, что правительство придает этой истории такое значение, чтобы посылать войска, которые необходимы в других местах; но как она об этом узнала? Наверное, слушая болтовню здешних господ на террасе «Чадьена». Я пообещал сейчас же дать распоряжение Н'Голе; она же может отправиться со мной, я выеду из Форт-Лами через несколько дней. Ей явно не нравилась такая отсрочка. Не может ли она выехать в Ого уже завтра? Лучше, чтобы нас не видели вместе, ей не хочется причинять мне какие-нибудь неприятности. Помню, что, произнося эти слова, она впервые поглядела на меня с нежностью. Хорошо, ответил я, делайте как знаете. Я к тому же не рассчитывал задерживаться в Форт-Лами. Н'Гола уйдет на рассвете с караваном португальских верблюдов, каждое утро отправлявшимся в Банги. И тогда останется только дожидаться его возвращения.

Дрожа от ночной прохлады, она натянула пеньюар на голые колени. Было уже два часа утра, но я никак не мог заставить себя уйти. Я продолжал разговаривать о чем попало: о джунглях, климате, своих неграх. . . Вид у нее был замученный, и она, как видно, не слышала ни слова из того, о чем я говорил. Помню, что в какую-то минуту я поймал себя на том, что рассказываю ей, какую борьбу мне пришлось вести в моем округе с мухой цеце. Странное дело, с тех пор как истребил эту распроклятую муху, я никак не могу о ней забыть, можно подумать, что я по ней скучаю. Что ни говори, это была какая-то компания. В конце концов Минна подала мне руку и проводила до дверей, то есть попросту выпроводила меня, если называть вещи своими именами. Пришлось уйти, миновать триумфальную арку входа, – уж она-то была на месте! Я заметил прижавшийся к одной из опор неясный силуэт и красный огонек сигары: Орсини. Он стоял там в позе сутенера, подсчитывающего клиентов, и смотрел на меня со странным выражением цинизма и ненависти. Я вернулся к себе, разбудил Н'Голу и дал ему поручение. Ночью он отправился в путь с той невозмутимостью, какая была ему свойственна.

## XXIII

Какое-то время я ничего не слышал о Минне. В ту самую ночь меня одолел жестокий приступ малярии, и я две недели провалялся в ознобе под москитной сеткой. Когда мне удалось приоткрыть глаза, я всегда видел над собой встревоженное лицо доктора Терро. Раза два мне казалось, что я вижу лицо Шелшера, хотя наши отношения вряд ли объясняли такую заботливость с его стороны. Потом лихорадка отпустила, но я знал, что в этом месяце мне грозят еще один или два приступа; они у меня постоянно повторяются. Но стоило мне, встав с постели, сделать первые шаги, как я наткнулся на адъютанта Шелшера, удобно расположившегося у меня на террасе с книгой в руках. Вид у него был несколько смущенный; он объяснил, что комендант сам хотел поговорить со мной, перед отъездом на юг, но врач запретил меня беспокоить; поэтому Шелшер поручил своему адъютанту задать мне несколько вопросов относительно Мореля. И вот уже три дня как он буквально не встает с этого кресла. Я заметил не без едкости, что проще было поставить у моей постели часового. И добавил, что уже рассказал все, что знал, а они придают до смешного большое значение столь незначительному происшествию. Он меня вежливо выслушал, держа руку в кармане, с той педантичностью и несколько нарочитой эlegantностью кавалерийского офицера, которому так идут стек под мышкой, белый доломан и красивый подбородок. Я его недолюбливал. Мне всегда хотелось сказать ему что-нибудь неприятное и несправедливое, хотя бы в противовес всему, что он должен был выслушивать из дамских уст. Лейтенант спускал мне мой дурной нрав с тем долготерпением, которое меня еще больше злило, ибо его питала только снисходительность к старому ворчуну, чьи годы и одинокая жизнь сделали его немного чудаковатым. Я не поставил его на место и, сохраняя хладнокровие, не напомнил, что волочиться за дамами куда как легче, чем спасать колонию от мухи цеце. Он мне сказал, что Французский союз переживает трудные дни; священная война докатилась до наших границ, и поэтому важно, чтобы ФЭА служила примером спокойствия и порядка. На нашей территории нет войск; можно пройти до самого Бельгийского Конго, не встретив ни единого жандарма. В подобных условиях даже хулиганская выходка может иметь невообразимые последствия. Лично он питает к Морелю скорее симпатию; к сожалению, этот человек не понимает, что сегодняшний мир уже не способен интересоваться слонами. У людей другие заботы. К их сочувствию взывает совсем другое, да и чувствительность у них порядком притупилась. Их теперь заботит только собственная шкура. Общественное мнение просто не желает верить в существование Мореля. Когда французские власти опубликовали официальное и вполне достоверное сообщение, оно поначалу вызвало даже растерянность и некоторое любопытство, но сейчас над ним просто потешаются, а в США говорят так: «Французы явно принимают нас за идиотов». Лейтенант сердито махнул рукой.

– Что поделаешь, приходится считаться с американским общественным мнением. Там убеждены, что французское правительство выдумало всю эту историю с Морелем, чтобы скрыть подлинную причину беспорядков, вызванных националистическими притязаниями коренного населения. К тому же Вашингтон безумно раздражает самый разговор о слонах; они говорят, что французы, вместо того чтобы работать, заняты всякой ерундой.

Он прикоснулся к усам кончиком стека. Правда, продолжал он, в Америке слонов нет очень давно, хотя, кажется, в эпоху миоцена они там водились. Поэтому важно поймать Мореля и отдать его под суд, хотя бы для того, чтобы показать, что он действительно существует. Иначе



американцев трудно будет разубедить. Вспомните, как Рузвельт ненавидел де Голля; ведь де Голль и в сороковом году и сегодня по-своему чуть-чуть похож на Мореля с его слонами. Ныне практичные демократы с трудом воспринимают настойчивые и бескорыстные призывы к чести и достоинству человека. А помимо того, сейчас было бы опасно обнаружить полное отсутствие наших воинских частей в Африке, показав, с какой легкостью один объявленный вне закона тип может от нас ускользнуть. На что я ему с едкой иронией заметил, что его политическая лекция была поистине блестящей, но мне смешно, когда яйца курицу учат – я отлично понимаю всю опасность этой истории и ему нечего о ней толковать.

– Вы несомненно знаете и то, – сказал он мне довольно сухо, – что известная вам девица, ну... та самая певичка из «Чадьена», вдруг исчезла, и у нас есть все основания предполагать, что она теперь у Мореля... Шелшер считает, что вы, месье Сен-Дени, можете сообщить на этот счет крайне интересные сведения, а также объяснить нам, что эта девушка делала у вас, в Ого, дней десять назад...

Он рассказал, что люди видели, как однажды утром Минна выехала в грузовичке с американским майором, будто бы на охоту, которая должна была продлиться несколько дней. Сначала никто не обратил на это внимания, но пустой грузовичок обнаружился в конце трассы, в самом сердце земель уле... Адъютант пристально смотрел на меня, подпирая стеком подбородок. Я поднял голову: «Продолжайте». Что ж, он вынужден мне припомнить, что, если верить Орсини, я был последним, кто имел длительное свидание с Минной перед ее отъездом. Орсини, видимо, живо интересуется этим делом, считая Мореля агентом иностранной державы, засланным в ФЭА, чтобы разжигать беспорядки и организовать партизанское движение в преддверии грядущей мировой войны, а эта девица Минна служит ему осведомительницей и... приманкой. Лейтенанту явно было неловко.

– Он и вас припутал, – добавил он как бы походя. – Утверждает, будто вы сочувствуете их идеям. Клянется, что вы втайне мечтаете о черной Африке, отрезанной от Европы, лишенной всякой связи с цивилизацией, которую ненавидите.

Он поднял руку, показывая, что возражать не стоит; он ведь только повторяет слова Орсини. У того, как видно, есть и другие причины интересоваться этой девицей: она довольно красива, вероятно, я тоже заметил. Я не дрогнул. И заявил ему довольно высокомерно, что, да, не отрицаю, я сыграл некоторую роль в этом деле, но девушка отправилась к Морелю с единственной целью убедить того сдаться, она хочет его спасти. По моему мнению, единственный наш шанс – дать ей эту возможность. Она приведет его к нам мирным как ягненок. Женщины, с горечью сказал я в заключение, обладают теми методами убеждения, какие недоступны самым лучшим полициям мира. Лейтенант слушал меня вежливо, как и положено молодому человеку, снисходящему к заблуждениям старика. «Но тогда вас несомненно удивит, – сказал он, – что, по наведенным нами сведениям, эта девушка повезла с собой в грузовичке целый арсенал – оружие и ящики с патронами, – достаточный для того, чтобы выдержать длительную осаду. Этим оружием воспользовались для того, чтобы напасть на поместье Вагемана, к востоку от Батанги-Фо, а потом сжечь все постройки. Париж приказывает очистить район, и мы, если нам повезет, надеемся выполнить приказ еще до дождей. Из чего следует, что она отправилась к Морелю вовсе не для того, чтобы уговорить его сдаться, а, наоборот, примкнуть к «человеку, который хочет преобразить род человеческий», желая помочь ему в его борьбе, снабдив оружием и боеприпасами, которыми явно запаслась загодя; поспешный отъезд говорит о том, что в ее поступке была насущная необходимость, – быть может, ей было кем-нибудь передано соответствующее сообщение». Лейтенант подпер подбородок кончиком стека и задумчиво уставился на меня.

## XXIV

Я напряженно раздумывал о своем друге Двале и обещании, которое он мне дал, а вернее, о сделке, заключенной между нами двоими. С тех пор прошло уже несколько лет, но я аккуратно каждую весну продолжал платить условленный взнос: корову и козу. Я вспоминал, какой у него был неприветливый вид, когда я пришел об этом поговорить, как долго пришлось упрашивать колдуна и как в конце концов я вынужден был рассердиться, пригрозить, что вздую его – это, он знал, были только слова, тем более что я целиком зависел от доброй воли Двалы. Он сидел на циновке, в углу хижины, маленький, голый, сморщенный и брюзгливый; в полутьме белела седина на черепе и на щеках. Он сказал, что у него болит живот и мне лучше прийти в другой раз; к тому же он вовсе не знает, сможет ли помочь: я белый и христианин, не из его племени, не живу на его земле и у него уже не хватит сил оказать услугу неверующему. Я припомнил все оказанные мною за время нашего знакомства услуги. Что же касается того, что я христианин и неверующий, я ему доверяю больше, чем многие молокососы из его племени, и он это отлично знает. Он продолжал твердить «тапгаја оуапа» – ступай к своим, но я знал, что он просто набивает цену, и он знал, что я это знаю. Тогда я стал ругаться, грозить, что, если он мне откажет, я проведу шоссе прямо через земли уле, да еще и через его деревню! Он знал, что я никогда ничего подобного не сделаю, но что это все же одно из условий торга. Он закричал, поднял вверх кулаки, поклялся, что никогда не делал такого ни для одного белого и будто до него никто вообще такого не делал; говоря тем самым, что согласен. Мы условились о цене, и он обещал выбрать для меня хорошее место. Но я уже давно знал хорошее место, я не один месяц его искал, примерялся, бродил по холмам, пробирался сквозь джунгли. Мне нужен был простор и в то же время я не хотел быть в полном одиночестве, мне требовалось, чтобы вокруг росли другие деревья. В конце концов я выбрал красивый холм с видом на широкое плато Уле, которое так любил – это сама Африка, со всеми своими стадами, которым еще долго можно было не бояться охотников. Нам потребовалось полтора дня, чтобы туда добраться, а придя на место, Двала снова стал чинить всякие препятствия, утверждая, будто тут слишком далеко от дома; он не уверен, что его сила подействует на таком расстоянии. Он предложил мне другое место, поближе к деревне, на земле его племени. Полузакрыв свой мутный глаз, и я сразу понял, что он просто хочет, чтобы я купил то место, тогда как я мог получить его даром. Я заявил, что подумаю, и Двала поглядел на меня с легким укором: чего же ты сердишься, казалось, спрашивал он, надо же мне поторговаться? Я указал ему точное место, которое выбрал. Он предложил другой холм, совершенно лишенный растительности, где мне будет просторнее. Но мне нравился именно этот вид, и чтобы по утрам на меня падало солнце, и я хотел хотя бы потом не быть одиноким; вокруг меня должны расти другие деревья. А тут стояли очень красивые кедры, и я показал ему один из них, чтобы он понял, чего именно я хочу. Он помотал головой, закричал, заставил себя снова уламывать и сказал, что, ладно, он попробует, но я должен попросить отцов-миссионеров и особенно отца Фарга пореже навещать в деревню; они его расстраивают, дурно влияют на духов и он вряд ли будет на что-нибудь способен, если они станут приходить слишком часто. Я обещал. Вот о чем я думал, сидя у себя на террасе и слушая лейтенанта. Я знал, что Двала может превратить человека, когда тот умрет, в дерево, и видел своими глазами деревья, которые мне показывал Н’Гола, деревья, бывшие когда-то людьми его племени. Н’Гола знал их имена и историю жизни и объяснял мне: «Вот

этого съел лев» или «Вот этот был великим вождем уле». Деревья все еще там, я теперь могу показать их вам, и вы убедитесь сами, что в колдовских способностях Двалы сомневаться не приходится, – в противном случае во что вообще можно верить? Но Двала должен был впервые употребить свою силу для белого, и он так беспокоился, какие последствия это будет для него иметь, что, вернувшись в деревню, напился до бесчувствия пальмовой водкой. И тем не менее стонал всю ночь и с ужасом озирался вокруг; я хоть и знал, что он часто напивается допьяна, все же думал, что он здорово рисковал рассердить своих духов, желая доставить мне удовольствие. Вот о чем я размышлял, в полном согласии с самим собой, пока лейтенант изощрялся в красноречии, вещал о том, что было настолько далеко, что словно давно меня не касалось.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## XXV

Они возникли, все трое, на гребне холма в высокой траве, сквозь которую, подняв кверху морды, медленно двигались лошади; Морель впереди – нос с горбинкой, широко раздутые ноздри – с неизменным портфелем, набитым бумагами и притороченным к седлу; за ним Идрисс; лошади с шелестом раздвигали боками ветки бамбука и *sissongo\**; быстрые и в то же время словно застывшие глаза Мореля, лишённые ресниц, всматривались в даль при малейшем шорохе, из-под белого шарфа, обернутого вокруг головы; в нем угадывалась давняя привычка к джунглям и ко всякому зверью; бывали минуты, когда даже Хабиб чувствовал себя беспокойно под этим старым многоопытным взглядом. Вот уже три часа как они спускались с горы к месту назначенной встречи, и капитан дальнего плавания с фуражкой, сдвинутой на ухо, и погасшей сигарой в зубах, в веревочных туфлях, вдетых в арабские стремяна, с трудом держался в седле, ему было неважно. Но Вайтари строго поручил не спускать глаз с этого сумасшедшего Мореля.

– Надо помешать ему сделать глупость. Он настолько уверен в поддержке общественного мнения, в своем оправдании и даже торжестве, что может сдать властям. Для нас он тогда потерян, все поймут, что это просто чудак, который верит в своих слонов. Морель ползет, пока он – легенда; как раз сейчас арабское радио провозглашает его человеком, вдохновленным идеей африканского национализма. Не попрекайте меня цинизмом, но у колыбели всякого революционного движения всегда стоят одержимые, путаники и идеалисты; деятели, подлинники созидатели, приходят потом, не сразу, но неуклонно. Все это я говорю, чтобы вы поняли, насколько необходимо не дать, чтобы он сдался... живым. Я его даже люблю, это чистая душа, но между тем гораздо лучше, если он исчезнет в сиянии славы, в ореоле преданий. Он останется в глазах потомков первым белым, отдавшим свою жизнь за независимость Африки... вместо того, чтобы разоблачать себя как рядового фанатика.

Он неопределенно взмахнул рукой.

– Вряд ли стоит объяснять, что я ни к чему вас не призываю.

Хабиб сделал все, чтобы никак не выказать своего удовольствия. У него была настоящая профессиональная страсть ко всем проявлениям человеческой природы. Он приобрел глубокое познание человека, которое чаще всего выражалось могучим, утробным смехом. Тогда он откидывал голову, глаза его превращались в щелки, борода тряслась, и он прижимал руки к груди, словно сдерживая переполнявшую сердце радость. Но, будучи торговцем оружием, он остерегался открыто веселиться перед «освободителями», «выразителями законных чаяний народа», «революционными трибунами» и прочими поборниками высоких бессмертных принципов вроде Мореля; они были его хлебом насущным. Он ожидал, куда останется один. А вот теперь, следуя за Морелем к месту встречи, он под шелест желтых трав, сквозь которые, порой беспокойно пофыркивая, пробирались лошади, дал волю веселью; правда, за спиной у своих спутников. Он представил себе командира без войска, который одиноко сидит у себя в пещере, положив могучие руки на карту «военных действий», и голосом трибуна призывает к созданию африканской федерации от Суэца до Кейптауна, воочию видя себя ее полновластным вождем. Эта мечта о величии и могуществе должна была разделить судьбу всех подобных мечтаний, исчезнув в пыли дорог. Он хотел, чтобы его молодой друг де Врис наслаждался всем комизмом этой ситуации, но тот валялся на циновке, страдая поносом, и

---

\*Дальбергия широколистная.

только мстительно поглядывал из-под бровей, разжимая губы лишь для яростных упреков, – он винил Хабиба в отчаянном положении, в которое они попали, словно кто-нибудь на белом свете, – удивлялся Хабиб этой наивности молодости, может быть виноват в том бедственном положении, в каком они очутились! Но де Врис с раздражением слушал цветистые речи ливанца, не обладая его выносливостью; измученному поносом и лихорадкой, мухами, москитами и часами, проведенными в седле, ему казалось, что он и правда вот-вот лишит Хабиба своего общества. В конце концов Хабиб даже встревожился. Он попытался убедить Вайтари, что им следовало бы поехать в Судан: поговаривали о Бандунгской конференции, где будут представлены все колониальные народы и особенно народы черной Африки, которыми до сих пор как-то пренебрегали. Надо на какое-то время прекратить открытую борьбу и предстать перед международным ареопагом, возвысить там свой голос. Горящие фермы, неуловимые партизаны, защищающие природные богатства Африки от колониальной эксплуатации, – вот та картина, которую надо там нарисовать. Вайтари тем легче было убедить, что он и сам был такого же мнения. Он стоял перед входом в пещеру, опираясь кулаком на карту, над которой, как он иногда мечтал, его когда-нибудь сфотографируют: «Главнокомандующий армией, борющейся за независимость Африки, на своем командном посту»; он помнил подобную фотографию Тито, сделанную во время войны. Но ему не хватало людей, партизан, – их могли выдвинуть лишь политически сознательные массы, а не первобытные племена, которые он презирал. Порой он чувствовал подавленность от одиночества. Вайтари редко выходил из пещеры, одного из четырех или пяти «опорных пунктов», которые смог тайком организовать во время недавних официальных разъездов, в предвкушении мировой войны, каковая, как он тогда считал, вот-вот грянет. В сроках он ошибся. Столкновения не произошло. И он остался один, без войска, отрезанный ото всех; три из пяти «опорных пунктов», где он копил оружие, были обнаружены и разграблены властями. Ему пришлось скрываться в Каире, где он уныло прозябал, пока до него не дошли слухи о «кампании в защиту африканских слонов». Он тут же сообразил, какую выгоду из нее можно извлечь. Это же пропагандистский лозунг, о котором можно только мечтать; легкий штрих, и беспорядкам будет дано нужное истолкование. Однако он столкнулся со стеной непонимания. Несмотря на все усилия арабского радио, мировое общественное мнение продолжало верить в Мореля и его слонов. Да, толпа верила, что где-то в джунглях Африки какой-то француз действительно защищает красоту природы. Такую версию, конечно, поддерживали колониальная пресса и власти, которые вовсе не желали придавать этой истории политический характер. Тяжело опираясь на карту, слушая доводы Хабиба, чье цветистое красноречие его только раздражало, Вайтари чувствовал себя одиноким и далеким от цели как никогда. В пещере пахло землей, гнилью, воздух был спертый, несмотря на два отверстия, откуда падал режущий свет, чтобы тут же потускнеть на лицах. У перегородки лежал надувной матрац, валялись груда одежды, керосиновая лампа, снятый с предохранителя автомат. Подальше стоял ящик с автоматами, но большинство патронов по калибру не подходили к оружию.

– В Каире только и ждут вашего выступления. А если вы здесь задержитесь, не разъяснив общественному мнению истинного смысла красивой легенды о Мореле и его слонах, она так глубоко укоренится в воображении массы, что вы уже не сможете истолковать ее по-другому. . .

Вайтари горько усмехнулся.

– Было бы все же забавно, хоть и страшновато, если бы французы выпутались из создавшегося положения при помощи нескольких законов об охране природы. . . А они на это способны. К тому же признаюсь, – если бы я не знал Мореля так хорошо, как знаю, я счел бы его агентом Второго Отдела, посланного прикрыть красивой дымовой завесой истинное

положение в колониях. . . Кажется крайне подозрительным, что столько людей и во Франции, и в других местах способны принимать близко к сердцу судьбу африканских слонов. . .

Хабиб целомудренно потупил глаза, чтобы скрыть насмешку. Вид этого негритянского Наполеона в военной блузе, наброшенной на плечи, перед своей жалкой «оперативной» картой, в пещере, затерянной в недрах гор Уле, – без оружия, безо всякой поддержки, без партизан, – обладавшего всего лишь глоткой трибуна, которую могли по достоинству оценить только во Франции, со своей тягой к величию и мечтой о роли в Истории с большой буквы, со сжатыми кулаками – символом могущества, которого тот жаждал, – от души его потешал. И теперь, когда он, двигаясь следом за Идриссом, глядел на горы, при мысли о негре, который дожидается, прячась в пещере, чтобы весь мир признал его власть, Хабиба то и дело обуревал могучий затаенный смех. Все они, как видно, кончат тюрьмой, но это не вызывало у него неприятных ощущений; он пережил в тюрьмах несколько счастливейших дней своей жизни, если брать ее сексуальную сторону. Хабиб обладал полнейшей уравновешенностью, моральной и физической; он даже чувствовал, как все его тело, всю кровь пронизывало удивительное ощущение бессмертия; вот тогда он выражал чувство полноты бытия, откинув назад голову и разразясь безмолвным хохотом – открытый рот, зажмуренные глаза, – эту гримасу никто толком не понимал, но она была просто проявлением его жизнерадостности, уверенности в том, что он в своей стихии. Ему и поручил Вайтари следить за Морелем, обеспечить «тем или иным способом», чтобы тот не попал живьем в руки властей, отправляясь на свидание, бывшее, вероятно, просто ловушкой; но Хабиб не имел дурных намерений в отношении к человеку, защищавшему красоту природы, наоборот, он весьма его забавлял. Ему хотелось присутствовать при том, как этот мечтатель получит свой неизбежный урок. В глубине души Хабиб был просветителем-моралистом, ему нравилось, когда тщета, ничтожность человеческих притязаний бывали поняты и разоблачены. При необходимости он был готов ускорить события, – только чтобы прочувствовать смак жизни. А пока следовало остерегаться Идрисса и его внимательного, застывшего взгляда, на который Хабиб предусмотрительно отвечал дружеским подмигиванием. Старый проводник был, несомненно, одним из лучших следопытов в ФЭА, и то, чего он не знал о джунглях, не стоило и знать. С ним надо было вести себя осторожно. Его давно уже считали покойником, и сообщение о том, что Идрисс, можно сказать, вернулся из загробного мира, чтобы присоединиться к «партизанскому движению» Мореля и защищать бок о бок с ним слонов, вызвало и на террасе «Чадьена», и в других местах яростные споры и возгласы недоверия. И в первую очередь у Орсини; сам Орсини клялся, что это невероятно, невысказано, Идрисс ведь служил у него, он своими глазами видел, как проводник хирел, старился, словно точимый какой-то злой немочью – «ведь все они сифилитики, не так ли?» – и в конце концов ушел в лес, как все одинокие старые звери в предчувствии смерти.

– А если предположить, что недуг, о котором вы говорите, был. . . чем-то вроде угрызений совести или тоски при виде земли, которая опустела, лишившись громадных табунов животных, которые он еще помнил?

В ответ на такое легкоеверие, глупость, на такое довольно типичное и довольно опасное непонимание негритянской души голос Орсини обретал свои самые звучные ноты. Вот оно, вот оно! – он узнает вас, сочинителей легенд! Не хватало только призрака Идрисса, вернувшегося на землю, чтобы защищать зверей от все более и более совершенного оружия. Он разразился коротким смешком – полувскриком, полупесней ненависти, выждал мгновение, а потом завел волюнку снова, с непреклонной уверенностью человека, всегда попадавшего в цель. Его просто поражает, до чего эти молокососы, только что приехавшие в Африку, ничего не смыслят в душе туземца, – выражение «душа туземца» в устах Орсини вызвало не только изумление присутствующих, но и немалое любопытство: что же по этому поводу мог

сказать Орсини? Для тех, кто уже почти сорок лет ежедневно изучает душу туземца, кто, в каком-то смысле, сделал это своей профессией, совершенно ясно, что слоны для черных – просто-напросто ходячее мясо, тухлятина – то, чем они, когда могут, набивают брюхо. Сама мысль о том, что профессиональный следопыт вроде Идрисса вдруг станет мучиться чем-то вроде романтического раскаяния, душевной смутой, тоской при воспоминании о животных, которых он выслеживал, – такая идея могла родиться только в головах слабоумных с изломанной психикой, а они источник всех наших бед и тут, и, между прочим, повсюду. Для Идрисса, как и для всех негров, каких он знал, – а он знал их немало, – слон прежде всего пять тонн мяса, да к тому же еще и слоновая кость, если есть возможность получить ее даром. Бредовая мысль, что Идрисс вернулся, чтобы бродить на месте своих преступлений, оплакивая гибель Африки, которую когда-то знал, – хорошо характеризует людей, отправляемых сегодня в Африку, и вообще причины того упадка, к которому мы пришли, – имеющие уши да услышат, особенно господин комендант, призванный следить за безопасностью колонии.

– Но в конце-то концов, – заметил кто-то, не столько по убеждению, сколько из желания заставить Орсини привести свои главные доводы, те, при которых он испускал самые пронзительные крики, демонстративно скрипел зубами и распевал песни злобы и ненависти – они отдавались неожиданным эхом в африканской ночи, – ведь у африканского охотника не в первый раз наблюдаешь душевный надрыв и угрызения совести, и если Идрисс действительно был выдающимся следопытом, разве нельзя предположить, что ему довелось испытать необычные переживания? А тогда стоит ли удивляться тому, что он оказался рядом с Морелем, желая защищать то, что, как видно, ему дороже всего на свете и что – нечего отрицать – быстро уходит в небытие в результате совместных усилий охотников и прогресса? Вдобавок жители деревень уле узнали Идрисса в свите Мореля: белая чалма и синий балахон; его узнали древние старики, которые разговаривали с ним, а потом уверяли, будто он ничуть не изменился, у него все то же лицо, лишенное возраста, отмеченное арабским происхождением, словом, что это на самом деле он; негры твердо стояли на своем. Но Орсини вовсе не желал вести себя так, как от него ожидали; он хорошо рассчитывал свои театральные эффекты: «Ну ладно, он и не утверждает, что Идрисс умер, – пускай он снова идет по следу, оберегая джунгли и последних слонов, сохраняет связь с животными, которые были ему столь дороги, борется с ограблением Африки или, вернее сказать, удачно питает легенду, – ведь все дело в том, чтобы окружить обычный маневр бунтовщиков и политических поджигателей легендарным ореолом; вот для этого-то призрак Идрисса и появился из потустороннего мира, чтобы пойти рядом с Морелем и помочь тому разжечь святой огонь борьбы за независимость Африки против ее постыдной эксплуатации, размахивая факелом свободы; что, конечно, придает Морелю неотразимый авторитет в глазах суеверных туземцев, нечто сверхъестественное к величайшей выгоде тех, кому он служит; легенда о возвращении Идрисса на землю имеет только эту цель. Что же касается его, Орсини д'Аквавивы, старого африканца из той породы людей, которые, кстати сказать, как видно, уже не нужны, то он, зная и негров, и слонов (у него на охотничьем счету пятьсот животных, и считал он только самых лучших), сейчас пойдет спать, надеясь, что его извинят, однако не желает, чтобы ему морочили голову и втирали очки, а поэтому позволит себе пожелать любителям легенд спокойной ночи, хотя и должен по доброте душевной их предупредить, чтобы они готовились к такому тяжкому пробуждению, которое им и не снилось, как это было в Кении». Орсини кинул деньги на стол, – тут были люди, от которых он не примет даже угощения, – и ушел; африканская ночь поглотила несколько самых звучных его выкриков. Но вовсе не призрак ехал сейчас за Морелем через заросли бамбука, а именно тот, кого старший из братьев Юэтт прозвал «величайшим следопытом всех времен», а в его устах это означало тысячу слонов, убитых за сорок лет. В



синем балахоне и белом шарфе, обмотанном вокруг головы, с гладким, если не считать двух глубоких морщин от горбатого носа до уголков губ, лицом, возраст которого мог определить разве что геолог, с неподвижным взглядом под веками, лишенными ресниц, Идрисс неотступно сопровождал француза и помогал ему пробираться сквозь чашу, вот почему тот так легко избегал преследователей. Взгляд Идрисса был устремлен вниз, на тропу, но Хабиб чувствовал на себе внимание араба. А между тем он вовсе не собирался убивать Мореля, чтобы тот не попался в руки властей. Его нисколько не увлекали честолюбивые замыслы Вайтари, он был всего лишь капитаном дальнего плавания, которого превратности бурной морской профессии закинули в эти беспокойные воды. Хабиб связался с Вайтари в ту пору, когда тот занимал официальное положение, и стал поставлять ему оружие для «опорных пунктов». Под угрозой ареста в Форт-Лами, после взрыва грузовика с гранатами, он пристал к партизанскому отряду только потому, что не смог сбежать в Судан. Его постигла серия неудач. Болезнь молодого де Вриса была одной из них, – ливанцу она очень досаждала и даже слегка тревожила. У него было ощущение, что подопечный ускользнет у него, так сказать, из рук и лишит одного из самых больших земных наслаждений. Требовались врач и уход, а он не был уверен, что де Врис дотянет до Хартума, даже если его тащить на носилках, что никак не облегчит дороги. Единственное, чего не мог понять Хабиб, как можно заболеть, потерять здоровье – физическое или душевное, усложнить себе жизнь. Он недоуменно прищелкнул языком, покрепче натянул на голову фуражку и ударил каблуком в бок лошади, чтобы не отстать.

## XXVI

Полуденный свет был настолько ярким, что все, на что он падал, теряло окраску; виднелись лишь черные или серые очертания трав, мимозы, термитников, холмов, бамбука, а дальше, в конце тропы – неподвижного стада слонов, дремавшего от дневной жары. Морель придержал лошадь и минутку постоял на пригорке, в царстве раскаленного пепла. Слабые порывы ветерка доносили с востока острые запахи пожаров, которые постоянно происходят в саванне; огонь живет в Африке своей жизнью – и царственной, и потаенной, вспыхивая в зарослях и деревнях каждое сухое время года, и эти внезапные вспышки словно потешаются над похвальбой человека, который якобы изобрел огонь. Над головой пролетел марабу, медленно описал круг, словно произвел разведку, а потом все живое вокруг почувствовало присутствие человека и стало обращаться в бегство, заражая ужасом друг друга. Как уже знал Морель, страх на десяток километров в окружности опустошит целый угол Африки от всего того, что имело возможность познакомиться с человеком, каков он есть. Он, как всегда, почувствовал жестокую обиду при мысли об этом бегстве, но тут же посмеялся над собой, вспомнив старую мечту стать у животных своим, быть ими принятым, допущенным, увидеть наконец птиц, которые не разлетаются при его приближении, газелей, которые продолжают мирно щипать траву на его пути, и стада слонов, спокойно разрешающих подойти так близко, что можно до них дотронуться. Хабиб за спиной крикнул своим низким голосом, который становился еще зычнее от сдерживаемого смеха.

– Чего же вы хотите, – вы один из нас, звери это знают и не предлагают вам: пожмите мою лапу. По месту и почет.

Морель начал испытывать к негодяю-ливанцу искреннюю симпатию; в его откровенном цинизме была какая-то убедительность; видимо, он обрел ее благодаря профессиональному постижению человеческой породы; и когда Хабиб, закинув голову к небу и зажмурив глаза, разражался хохотом, этот хохот выражал такое мнение о человеке, которое ничто не могло ни опровергнуть, ни поколебать. Морель кинул на него дружелюбный взгляд и пустил лошадь вперед, сквозь травянистые заросли, ставшие столь густыми, что животные вздергивали головы, чтобы не поцарапать ноздрей, и били копытами, чуя запах дикого зверя или его логово. Всадники обогнули бамбуковый лесок и выбрались на дно высохшего болота; дожди запаздывали, поэтому колодцы и источники на отрогах земель уле превратились в едва влажную глину, которая быстро твердела. Слева, метрах в ста, среди мимоз и шиповника, там, где начиналась саванна, тянувшаяся добрых триста километров, они увидели неподвижные фигуры слонов, похожих на гранитных идолов, оставленных поборниками какой-то исчезнувшей веры. Только два или три самца с огромными бивнями медленно кружили по растрескавшемуся дну болота, временами поднимая хобот и приносясь, в надежде почуять влагу, предвестье дождя. Морель знал, что болото – сезонная стоянка слонов, поднимающихся к озеру Мамун; их обычный маршрут в это время года – они шли от Мамуна к Южному Бюрао, Яте, Нгесси и Вагаге, где наверняка найдут воду, даже в самую большую сушь. Во время засухи 1947 года весь этот район был объявлен властями «заповедником»; в течение нескольких недель там наблюдали самые большие скопления животных, которые когда-либо видели люди, – в ту пору газеты называли это «зрелищем земного рая» – надо было лишь спокойно выждать у границы запретной зоны, чтобы обзавестись отборными трофеями. Туда съехались со всего мира любители удачных выстрелов, зная, что оправдают свои издержки; за пять месяцев насчитывалось

более пятидесяти экспедиций, стоило посмотреть на это сборище импотентов, алкоголиков и дамочек, которые эротически возбуждаются на бое быков и испытывают высшее наслаждение, когда держат палец на спуске ружья, нацелясь на стадо носорогов или на бивни прекрасного самца, – конечно, с профессиональным охотником за спиной – надо же подумать и о безопасности! Морель инстинктивно сжал кулаки и почувствовал, что у него от гнева раздуваются и бледнеют ноздри, как всегда, когда он терял самообладание; хотя сейчас бояться было нечего и ничто не предвещало беды. Случай с Орнандо имел благотворные последствия и любители мужественных забав теперь предпочитали другие места. Но по состоянию болота и нервозности вожаков стада чувствовалось, что засуха будет жестокой, быть может, даже необычайно жестокой: торчавший из высохшего дна голый, выжженный тростник показывал еще зеленой частью своих стеблей уровень ныне исчезнувшей воды. Испарение должно было происходить чрезвычайно быстро; Морель заметил, что вот уже два дня, как стадо слонов не высылает вперед своих дозорных, чтобы проверить дорогу и состояние полей, которые они намерены очистить. Казалось, что, наоборот, они движутся сплоченными массами без всякого ориентира. Он пытался себя успокоить, думая о том, что вода все же встретится животным по ходу их движения и что они смогут предаться празднеству на воде, которое он любил наблюдать сквозь заросли бамбука, – будут обливаться, перекатываться с бока на бок, опрыскивать друг друга из хобота или часами лежать в воде, томно шевеля хоботом и глубоко, удовлетворенно вздыхая. Он вынул из кармана табак и бумагу и, ласково шурясь и продолжая наблюдать за стадом, принялся свертывать сигарету. Ведь то, что он защищает, – это пространство, где все же отыщется место и для такой неуклюжей, громоздкой свободы. Увеличение площадей обрабатываемой земли, электрификация, строительство дорог и городов, исчезновение прежних пейзажей в результате поспешной, грандиозной деятельности человека, – последней, однако, полагалось бы остаться настолько человеческой, чтобы те, кто продвигается вперед, позаботились об этих нескладных гигантах, которым, по-видимому, в грядущем мире уже не останется места. . . . Неподвижно сидя в седле, он курил сигарету, умиротворенно любуясь животными, словно у него не было других забот. Стадо состояло голов из шестидесяти, а дальше, за бамбуковым лесом, на склонах горы виднелось другое. Пер Квист подсчитал, что в ФЭА и Камеруне живет не менее шестидесяти тысяч взрослых слонов из примерно двухсот тысяч составляющих поголовье африканского материка, – и надо учесть, что редко кто из них умирает от старости и не служит мишенью охотникам трижды, четырежды, а то и больше раз в своей жизни. Охрана полей и урожая – абсурдное оправдание, потому что достаточно взорвать несколько петард, чтобы слоны никогда больше не пришли на это место; что же касается охотничьих билетов, любой старший егерь подтвердит, что если договориться, то пятнадцать-двадцать животных могут быть, что называется, отстреляны контрабандой. Сведение счетов между людьми, измученными все более и более рабским подневольным существованием, и последним, самым величественным воплощением одушевленной свободы, которое еще существует на земле, каждодневно происходит в африканской чаше. Трудно требовать от африканского крестьянина, которому не хватает мяса, чтобы он оказывал слонам почет; его бедственное положение делает борьбу за охрану природы еще более неотложной. Но каковы бы ни были трудности и многообразны задачи, несмотря на любые препятствия необходимо возложить на себя и эту дополнительную нагрузку – заботу о слонах. Морель в этом деле не давал себе поблажки. Противник тотальной эффективности и абсолютной рентабельности, ненавистник жизненной системы, основанной на людском поте и крови, он сделает все от него зависящее, чтобы человек вставлял палку в колеса тем, кто признает только этот путь. Он защищал пространство, где то, что лишено высокой рентабельности и осязаемой прибыльности, могло бы обрести пристанище, защищал простор, неистребимая потребность в котором таится в душе

человека. Это он понял за колючей проволокой концлагеря, и это знание, этот урок ни он, ни его товарищи не способны были забыть. Вот почему он вознамерился столь решительно вести свою кампанию по охране природы. И результаты ее пока обнадеживают; о ней говорят по радио, по телевидению и в газетах; он стал популярным героем, возбудил общественный интерес и постепенно все поймут важность того, что поставлено на карту. Морель продолжал спокойно курить, не сводя глаз с измученных, дремлющих животных. Он уверен в том, что добьется своего. Нужно только терпение, которого всегда недостает. Не счесть раненых животных, которые иногда годами ведут мучительную жизнь, бродя с пулей в теле, с гангренозной раной, которая все больше ширится от размножающихся в ней клещей и мух, но достаточно поговорить с братьями Юэтт, Реми и Васселаром, чтобы узнать, что они об этом думают. Три дня назад Морель сам застрелил животное, у которого пуля выбила левый глаз; слон мучился от раны, обнажившей черепную коробку, – Морель обнаружил его в русле Ялы, где гигант тщетно пытался облегчить свои страдания, облепляя лоб влажной глиной. Морель знал, что последние великие охотники преследуют раненых животных для того, чтобы добить их, а не потому, что считают опасными. Он был уверен, что эти люди в душе сочувствуют ему и при необходимости придут на помощь, дадут спрятаться. Страсть любителей африканских «редкостей» и «сувениров» вызвала у него возмущенное недоумение. Несколько дней назад он напал на кожевенный завод одного из «специалистов» по выделке шкур в этом районе и сжег его; кожевенника звали герр Вагеман, завод находился в нескольких километрах к северу от Голы. У этого Вагемана была одна особенность, несколько отличавшая его от других – индийских, португальских и прочих – торговцев шкурами львов, леопардов и зебр, которых Морель преследовал с таким же упорством; герру Вагеману пришла идея, которой могли бы позавидовать изготовители абажуров из человеческой кожи в Бельзене. Он действительно придумал товар, о котором можно было только мечтать. Все очень просто, надо только иметь воображение. У слонов отрезали ноги, примерно на двадцать сантиметров ниже колена. И эти обрубки, хорошо обработанные, выпотрошенные и выдубленные, превращали либо в корзины для бумаг, либо в вазы, либо в футляры для зонтов и даже в ведерки для шампанского. Товар пользовался большим спросом, не так в самой колонии, где подобные украшения порядком приелись, как идя на экспорт. Герр Вагеман вывозил по несколько сот экземпляров в месяц, включая лапы носорогов и гиппопотамов, а также орангутангов, выделывая те под пресс-папье.

Когда Морель напал на склад Вагемана, он нашел там восемьдесят уже выпотрошенных и подготовленных слоновьих ног и такое же количество лап носорогов и гиппопотамов, поставленных стоймя в сарае и похожих на кошмарный сон, на видение исчезнувших животных, на стадо чудовищных призраков. Он поджег этот склад, отсчитал старому купцу двенадцать ударов хлыста, выбил ему в придачу кулаком несколько зубов и, наверное, убил бы, если бы его не удержал Хабиб, обладавший чувством меры. История наделала шуму и вызвала немало сочувственных откликов. Надо немного выждать, – под давлением общественного мнения новая конференция по защите африканской фауны непременно примет необходимые меры для охраны природы. Морель вспомнил слова, сказанные, когда он собирал подписи под своей петицией, Эрбье, начальником Северного Уле. Эрбье был человек спокойный, привыкший за долгие годы административной работы к нелегкой повседневности и склонный к обобщениям. Он надел очки, прочел петицию, аккуратно перегнул ее пополам и положил на стол.

– Милый друг, вы страдаете слишком благородным представлением о человеке. И в конце концов станете опасным.

Морель приподнялся в стременах, чтобы дать отдых натруженным ляжкам, оперся рукой о седло, докуривая сигарету, и продолжал наблюдать за стадом. Местные племена прозвали

его Убаба Гива, что означало «предок слонов», и если эта кличка и вызывала улыбку, он не пожелал бы лучшего прозвища. Надо защищать африканских слонов, и пусть люди, особенно французы, постараются понять значение его кампании. Он в них верил, ведь вопрос касался непосредственно людей, отвечал традициям. Морель затушил сигарету о седло и внезапно, к удивлению Хабиба, который, подняв голову, прищелкнул языком – у него даже слюна потекла при виде фанатической надежды, горевшей в глазах этого сумасшедшего француза, столь уверенного в себе, – что-то замурлыкал и, натянув поводья, пустил лошадь, чьи копыта поднимали с сухой земли клубы пыли, сквозь камыш на восток. Поднявшись на холм с другой стороны, он обернулся снова, чтобы с таким восторгом улыбнуться слонам, что ливанец почесал за ухом и выругался, выражая этим восхищение знатока перед таким безумием и такой убежденностью в своей непобедимости. Потом Хабиб ударил каблуком свою лошадь, чтобы – по выражению, которое он употребил в разговоре с де Врисом, – сопровождать «того, кто еще в это верит» к месту встречи.

Через два часа они въехали в деревню и стали пробираться между хижинами. Подбежало несколько ребятишек, но взрослые старательно избегали смотреть на незваных гостей, что указывало на страх и явное нежелание вмешиваться в дела, которые, как они считали, касались только белых. Это привело Мореля в дурное настроение; непонимание огорчало, ведь он хотел, чтобы африканцы встали на его сторону. Как правило, при появлении отряда деревни пустели, и он обнаруживал там только старух и матерей с детьми. Он не понимал причин такой враждебности или такого страха. Ведь он всегда платил за пищу, которую просил, и после нескольких эксцессов вначале внушил своим людям, особенно Короторо с его друзьями, что необходимо соблюдать дисциплину. Разве он не защищал самую душу Африки, ее целостность и будущее? А тем не менее он знал, что стоило ему отвернуться, как они принимались убивать слонов. Но он их не осуждал. Они не виноваты. Их толкала жестокая нужда в мясе, потребность в протеинах, в мясной пище; вот почему самой неотложной задачей, – и он не переставал это твердить в своих петициях, – оставалось повышение жизненного уровня африканских туземцев. Эта цель была частью борьбы, битвы за спасение слонов. С нее надо было начинать, если хочешь уберечь гибнущих гигантов. Однако Морель не мог забыть слов старого учителя-негра из Форт-Ашамбо, который с презрением отбросил его петицию:

– Ваши слоны – очередная выдумка сытого европейца, забота буржуа с набитым брюхом. Для нас слон – это ходячее мясо; когда вы нам дадите достаточно быков и коров, мы с вами поговорим и о слонах. . .

## XXVII

У них было четыре лошади, три из них нагруженные оружием, боеприпасами, а четвертая – виски; когда кончатся последний заряд и последняя бутылка, Джонни Форсайт не знал, что с ними будет. Как говорится, полная неизвестность. Он недоуменно почесывал щеку, мысленно взирая на это непредставимое будущее, и время от времени кидал взгляд на девушку, ехавшую следом за ним по раскаленной местности, где даже тени казались уставшими до изнеможения. Он не знал, что их ожидает у цели, но надеяться можно было на все что угодно. Он захохотал и помотал головой. Быть может, он кончит, как и многие другие, моля небо о помощи, которую никто еще не получал, по крайней мере если речь шла о бутылке хорошего виски. Впереди была тьма, в которой могли таиться и французская тюрьма, и пуля в живот, и огорченное, глубоко огорченное лицо американского консула в Браззавиле: «Не забудьте, что здесь каждый из нас отвечает за престиж своей страны». Джонни Форсайта крайне интересовало, что бы почтенный чиновник сказал сейчас. Хотя этот консул, несомненно, был лучшим представителем двуногих млекопитающих, которых ему приходилось встречать. «Человек – млекопитающее, стоящее на двух ногах» – такое определение он прочел однажды, перелистывая словарь, валявшийся у его друга, чернокожего учителя из Абеше. Форсайт снова хохотнул и мотнул головой.

– Вам надо поменьше пить, майор Форсайт, вы так долго не выдержите.

– Не бойтесь, я брошу пить, как только окажусь среди слонов. Пьянствовать меня вынуждает общество себе подобных. Я могу вынести одного из них утром, максимум двух в течение дня, но к четырем или пяти часам пополудни больше уже терпеть не могу и тогда напиваюсь.

С тех пор как они пустились в путь, он потребил такое количество алкоголя, которое убило бы человека менее выносливого или просто менее проспиртованного. На последнем отрезке дороги джип пришлось вести Минне, потому что Форсайт уже не мог держать руль. Им пришлось оставить машину в Ниамее и дожидаться проводника по имени Юсеф, которого послал Морель; этот юноша дважды приходил к Форсайту в Форт-Лами, чтобы наладить с ним связь. На месте ночлега, где Минна остановила джип, никого не было. Во время всего путешествия они не предпринимали никаких предосторожностей; их отделяло менее тридцати километров от дороги между Форт-Ашамбо и Форт-Лами, никто их пока ни в чем не подозревал, никто не знал, что они везут; их присутствие в этих местах не было чем-то необычным и не могло вызвать ни малейших подозрений. Когда они приблизились к условленному месту, вдруг наступила ночь, будто на землю набросили покрывало. Минна остановила автомобиль и вышла, а Джонни Форсайт остался, привольно развалившись, сидеть в машине. Вокруг раздавались все те же тревожные звуки; нескончаемый треск насекомых выделялся знакомой, обнадеживающей нотой. По ночам к Африке возвращается ее таинственность, слышатся разноголосые созвучия – крики, возгласы, смех, – а земля то и дело дрожит от топота проходящего стада. В свете фар тянулась пустынная дорога. Воздух, еще отдающий свежестью саванны, словно клубился от глухого биения земли, которое, казалось, заставляло громко дышать само небо. Вдруг, будто пробужденное гудением и треском насекомых, этим хором мелкоты, раздалось рычание, которое, откуда бы ни доносилось, всегда кажется близким; разъяренный зверь ревел во внезапно воцарившейся тишине и даже облака вокруг луны словно убыстрили свой бег. Сердце у Минны забилося, она судорожно сглотнула слюну и, дрожа от страха и восхищения, прислушалась к этому голосу, который единственный, не рискуя казаться смешным, мог возноситься к звездной беспредельности. Ей показалось, что рев приближается, она выбежала из

темноты и, присев на амортизатор машины, отгородилась от ночи светом фар. Потом открыла сумочку и, почти обезумев от ужаса, стала машинально делать то, что она всегда делала, чтобы придать себе храбрости: перекинула ногу на ногу, одернула юбку, взяла губную помаду, зеркальце и с вызовом накрасила губы. И тут же захохотала: каждый рык льва отзывался из джипа звучным храпом Форсайта. А потом снова наступила тишина и затрещали насекомые; Минна взяла шаль, закуталась и продолжала сидеть, дрожа от счастливого ощущения своей оторванности от мира, убаюканная синими, светящимися волнами ночи. Небо было таким ясным, что миллионы белых мотыльков, носившихся над дорогой, казались земным Млечным Путем, до которого можно достать рукой. Минна думала, разрешит ли ей Морель остаться с ним, чтобы и она могла помогать ему по мере сил в его борьбе. Он, конечно, потребует объяснений, а разве она сможет их дать? Она действовала по наитию, во-первых, потому, что так любит животных, а потом, хоть и сама не видит тут особой связи, из-за того, что часто ощущает себя одинокой и брошенной; наконец, из-за своих родителей, погибших в развалинах Берлина, из-за «дядюшки», из-за войны, голода, расстрелянного возлюбленного, из-за всего, что ей пришлось испытать. . .

– Ах, ведь я в сущности не знаю, почему я так поступила, – сказала она, пожимая плечами, Шелшеру и, взяв со стола бутылку коньяка, налила себе в рюмку: она выпила в первый раз с начала их беседы. – Меня все спрашивали, почему я приехала, и не верили, когда я говорила, что тоже хотела как-то помочь зверям. . . А потом, как же так, – надо ведь чтобы рядом с ним был кто-нибудь из Берлина – *es war doch ganz natürlich dass ein Mensch aus Berlin bei ihm war nichts?*

Минна поглядела в глаза Шелшеру, проверяя, все ли тот понял. Рюмка коньяка в одной руке, сигарета – в другой. . . она излучала такое простодушие, что это сбивало Шелшера с толку: шумиха, поднятая вокруг нее газетами, казалось, не очень-то ее трогала. Она рассказала Шелшеру, что они прождали на тропе, как ей казалось, несколько часов, и она уже начала дремать между двух полос света от фар, когда до ее плеча дотронулась чья-то рука и она увидела перед собой белый балахон Юсефа. Минна снова села за руль, а юноша устроился сзади. Они ехали до рассвета, потом бросили джип в чаще, где кончалась дорога и где Юсеф оставил лошадей. Там они немного поспали, а потом пустились дальше, теперь верхом, по направлению к холмам, и в конце дня в зарослях дальбергии увидели крупную фигуру на лошади – белый шлем, знакомое лицо, на котором запутались в рыжей бороде как в сетке солнечные лучи. Заметив их, отец Фарг не выразил особого удовольствия; он разговаривал с ними брюзгливо, немногословно, довольно равнодушно осведомился, что они делают в этих безлюдных местах. . . чуть было не произнес «Богом забытых», но вовремя опомнился и сам укоризненно покачал головой, осуждая невольное богохульство. Форсайт что-то путанно объяснял, сказал, будто они ехали на плантацию Дюпарка, который пригласил их недельку там погостить.

– Ага, вот оно что, – проворчал миссионер. – Но вы опоздали. Он сжег плантацию три дня назад. . .

– Кто?

– Да кто же, как не Морель! Они там как следует вздули Дюпарка и подожгли дом. . . Бедняга, кажется, позволил себе убить слонов двадцать в этом году – животные вытаптывали его посеvy.

– Значит, все продолжается? – весело спросил Форсайт.

Фарг кинул на него удивленный взгляд.

– Еще спрашиваешь. . .

Он пробормотал несколько слов, которые ловко затерялись в его бороде.

– Четвертый день подряд я трясусь в седле, рыскаю по горам, чтобы схватить эту свинью, Мореля, но при одном его имени черных одолевает такой страх и у них делаются такие тупые лица, что так и хочется кое за что их схватить и цапнуть зубами. . . Вы уж простите, мадемуазель, не обижайтесь на мои слова. Но я столько времени провел с военными, что и выражаюсь вроде них. . . Заночуйте в Аде, там миссия Белых Отцов. Вам туда по дороге, а у них есть овощи и земляника.

Миссия была им совсем не по дороге, но возражать не стоило. В тот вечер, опрокинув парочку стаканов столового красного вина, Фарг дал волю своей горечи.

– Я хочу ему внушить, этому остолопу, – бубнил священник, стуча кулаком по столу, словно и того хотел обратить в свою веру, – хочу внушить, что он застрял на полпути, что слоны – это прекрасно, но есть ведь кое-что и получше. Кое-что побольше, еще прекраснее, а он, видно, о том и понятия не имеет! Ведь в конце-то концов, спрашиваю я вас, как тогда быть с Господом Богом?

Он сердито колотил по столу, словно по живому человеку: трудно было поверить, что тот ничего дурного ему не сделал.

– Оставьте в покое стол, – посоветовал Форсайт, – ничего вы ему не втолкуете.

– Ну, знаете, когда я стучу, я уж стучу, – мрачно огрызнулся францисканец. – Признайтесь, есть от чего взбеситься. Когда такое человек носит в себе, ведь оно растет, является на белый свет, на слонах уже не остановишься. . . Тьфу!..

Он сплюнул так смачно, что с утоптанной земли поднялось облако пыли.

– И я вам вот еще что скажу: порой возникает ощущение, что этот тип целит лично в меня. . .

– Каким образом?

– А почему я знаю? Может, эта свинья права? Может, я что-то упускаю? Может, прокаженные и больные энцефалитом еще не все? Может, мне вдобавок надо пойти к слонам?

Джонни Форсайт, похоже, откровенно забавлялся.

– Послушайте, Фарг, вы долго не спали?

– Восемь ночей, – прорычал миссионер, ударив кулаком по столу с такой силой, что укрепил наверняка бы религию, будь стол головой какого-нибудь язычника. – Слоны так и шастают у меня перед глазами, с вечера до рассвета! Не поверите, но некоторые даже подают хоботом знаки!

– Какие знаки!

– А почему я знаю какие? Говорят своими хоботами: «иди, иди сюда, иди сюда» – и все!

Он изобразил согнутым пальцем этот жест и злобно подмигнул.

– Ну вы даете, отец, – сказал Форсайт, – ну вы даете!

– Если бы я только знал, откуда они берутся, эти слоны, – подавленно причитал Фарг. – Да откуда же мне знать! Кто хочешь может их подослать, а когда говорю: кто хочешь, – я знаю, о чем говорю!

– Ну, раз дело в слонах, – сказал Форсайт, – а не в волосатых негрятанках-фульбе. . .

– Ага, и вы в них верите? – отозвался Фарг. – Ну, откуда они-то берутся, это хотя бы известно. И когда ночью вдруг видишь перед собой их сиськи и как они вертят задами. . .

Он осекся. Форсайт слушал его с нескрываемым интересом. Фарг густо покраснел и снова принялся колотить по столу.

– Ну и что, если мне надо идти к слонам, я пойду к слонам! – рычал он, засучив рукава с крайне решительным видом. – Если там наверху считают, что я делаю недостаточно, что прокаженные и энцефалитики – этого мало, пожалуйста, пойду и к слонам! А если потом надо



будет пойти к крокодилам и к змеям, пожалуйста, пойду и к змеям и крокодилам! Плевал я на все! Я ни от чего не отказываюсь! Если считают, что я делаю мало. . .

Он с самозабвением колотил по столу.

– Перестаньте, – смеясь, сказал Форсайт и разлил по стаканам остаток вина. – Вы столько сил потратили на этот стол, дорогой отец, что их хватило бы, чтобы обратить в христианство целое мусульманское племя.

Фарг перестал стучать по столу.

– Верно, – признал он, – тут вы, пожалуй, правы. Надо, конечно, сдерживаться. Но я вам вот что скажу. . . – Он нагнулся к Форсайту, хитровато сморщил лицо и подмигнул – Меня, миленькие, не проведешь, – объявил он. – Нас так легко не объедешь, уверяю вас. Прежде чем к ним идти, хочу знать, откуда они берутся, эти самые слоны. Что за всем этим кроется? Если они – все, что еще осталось у Мореля, если они и правда последнее, во что он еще верит, если он – один из тех типов, которые останавливаются на полдороге, потому что у них не хватает духу, кишка тонка дойти до самого конца, если это очередная уловка, попытка сделать вид, будто Господа Бога уже не существует и вместо Него надо поставить кого-то другого, ну тогда, черт. . .

Он стиснул зубы и принялся так остервенело колотить по столу, что откуда-то издалека, из глубины ночи внезапно послышался звук тамтама. У Фарга был удивленный вид:

– Это еще что?

– Ничего, – спокойно заметил Форсайт. – Они вам отвечают. Вы же их, сами того не подозревая, вызвали своим тамтамом на священную войну, и завтра все мы будем уничтожены.

Фарг кинул на него мрачный взгляд, поднялся и, нетвердо ступая, вышел, пожелав им спокойной ночи. Форсайт засмеялся, потянулся и встал без малейших признаков опьянения; единственное, на что он был способен, – сохранять трезвость.

– Доброй ночи, отец мой, – крикнул он в темноту, – я сильно расстроюсь, когда вы наконец отправитесь на небо вместе с последними слонами, и я вас больше не увижу!

Форсайт вышел из хижины и минуту постоял, глядя на небо, словно отыскивая, кому или чему там наверху добрый францисканец мог в нужный момент дать тумака. На рассвете они снова тронулись в путь, верхом, по тропе между дальбергиями; стволы бамбука торчали над головами серых скал, а стебли молочая походили на дозорных; через два часа взобрались на вершину холма и увидели ожидавшего их человека в синем. Они находились в местах, которые прозвали горами Гейгера, в честь всех геологоразведчиков, которые бродят тут со счетчиками Гейгера. Урана не нашли, но любители чудес все равно убеждены, что где-то здесь, под нагромождением скал скрыты сказочные месторождения и в один прекрасный день они их обнаружат. Когда всадники поднялись на вершину холма, к первым хижинам деревни, они увидели Хабиба – своей веселой физиономией и расхристанным видом он напоминал моряка, который собирается приветствовать порт мощным залпом, и улыбающегося Мореля с обнаженной головой и кожаным портфелем, притороченным к седлу. Минна сразу его узнала. Он подошел к ней с протянутой рукой и с тем смешливым выражением лица, которое не могло не вызвать ответной улыбки.

– Все в порядке?

– Отлично.

Форсайт обернулся лицом к холмам и сделал им широкий приветственный жест – издевательский и слегка театральный; он был пьян уже с десяти часов утра.

– Минута прощания! Я отпраздновал это событие заранее. . . Когда покидаешь проклятое отродье, которое подарило одновременно «гениального отца народов», атомную радиацию,

научило «промыванию мозгов» и «чистосердечным признаниям», чтобы наконец-то зажить на лоне природы, можно себе позволить напиться. . .

Морель не слушал. Он взял руку Минны в свои и смотрел на нее с искренней добротой и нежностью во взгляде.

– Спасибо. То, что вы для нас сделали, очень смело, очень нужно. Два наших тайника с оружием обнаружены, у нас почти не осталось боеприпасов и. . .

Он улыбнулся.

– И вообще, добрые намерения стоят дороже чего бы то ни было. Но вам будет нелегко,

– Знаю.

– Потребуется какое-то время. . .

Он засмеялся.

– Охрана природы – не совсем то, что теперь занимает политиков. Но народ в ней заинтересован. Он горячо сочувствует тому, чего мы добиваемся, и, кажется, все газеты об этом пишут. Значит, цель будет достигнута. Новая конференция по охране фауны и флоры соберется через две недели, и я берусь привлечь самым. . . наглядным образом внимание к ней всего мира. Они там будут вынуждены принять необходимые меры. Не то нам придется по-прежнему. . . проявлять терпение. . .

– Я не тороплюсь.

– Имейте в виду, вы можете вернуться когда захотите. Они вам ничего не сделают. Не посмеют. Знают, что общественное мнение на нашей стороне.

Минна рассказывала о первых минутах их встречи так оживленно и радостно, что красноречивее всего говорило о том, что она тогда чувствовала. Прервав на миг свой рассказ, она поднесла к губам рюмку и сказала, опустив глаза и улыбаясь чуть загадочно:

– Он понял, что я люблю животных, может, не меньше, чем он. . .

В конце деревни стояла хижина просторнее других: утрамбованная площадка перед входом, различные пристройки. Дверь сторожил негр в шортах и рубашке защитного цвета, с фетровой шляпой на голове и автоматом в руках; он что-то нежно шептал автомату и тем слегка испугал молодую женщину. Морель, заметив, сказал:

– Он, в сущности, вор. Сбежал из тюрьмы в Банги, но мы с ним подружились. . .

В полутьме хижины без окна она увидела тучного, седоватого человека в полурасстегнутых брюках, который нервно обмахивался японским веером, не так для того, чтобы спастись от жары и от мух, как умеряя свой страх, который читался на его смуглом лице и во взгляде, полном мольбы. Увидев входящего Мореля, он замахал веером, как вентилятор крыльями, поднялся, из уважения к даме застегнул штаны и ничуть не удивился, узнав в ней барменшу из «Чадьена» – как видно, он уже не в силах был удивляться чему бы то ни было.

– Месье Морель, – сказал он, – дальше так продолжаться не может. Вот уже четыре дня, как вы меня держите узником в моем собственном доме, и я вынужден просить вас уехать. Я не хочу неприятностей с властями. Я не могу мириться с тем, что мой склад превращают в штаб бандитской организации. Черный, который стережет мою дверь, вооруженный, должен уточнить для порядка, автоматом, – один из самых известных негодяев в ФЭА и ведет себя со мной совершенно недопустимо. У меня прекрасная репутация, я один из тех, кто во время войны материально и морально способствовал присоединению колонии к союзникам. Я не желаю, чтобы обо мне говорили, будто я помогаю террористам, подстрекаю к бунту и потворствую иностранной агентуре, тем более что я араб и нас всегда обвиняют Бог знает в какой подпольной деятельности в Африке. Я прошу вас сейчас же покинуть мой дом.

Морель взял со стола кружку и выпил воды.

– Если во время войны ты был с союзниками, сейчас ты должен быть с нами, – сказал он. – Война продолжается. Должен ты хоть что-нибудь сделать для природы? Ведь это мы с тобой ее защищали во время войны, не так ли?

Веер лихорадочно заплясал над жирными щеками.

– Месье Морель, я не хочу с вами спорить, я не понимаю, каковы ваши намерения, и совершенно не в курсе того, что вы собираетесь делать, но вот уже четыре дня, как я вам твержу, что вы меня оскорбляете, считая, что я настолько наивен, чтобы поверить, будто суть тут в самом деле в слонах. Уверю вас, месье Морель, я не идиот, далеко не идиот, а трое моих сыновей в настоящее время получают в Париже самое лучшее образование.

– А в чем же, по-вашему, суть?

– Не знаю, месье Морель, в чем суть, и знать не желаю. Политикой я не занимаюсь.

– Конечно, не занимаешься, – сказал Морель. – Но тем не менее мы нашли под твоей крышей пятьдесят с лишним тонн слоновой кости, распиленной на кусочки, которые потом положат в горшки, контрабандой провезут через границу и погрузят на судно у берегов Занзибара.

– Эту слоновую кость мне принесли туземцы. Она была вполне законно спилена в лесу с павших животных. У меня есть люди, которые обыскивают лес в поисках мертвых слонов. Мы не охотимся. К тому же, месье Морель, я попрошу мне не тыкать.

– Ты меня обижаешь, – сказал Морель. – В ста километрах отсюда чаща буквально опустошена огнем на протяжении сорока километров, и я уверен, что ты тут ни при чем. Несколько ночей я не мог спать, такой адский шум подняли в русле Ялы обожженные животные, прежде чем сдохнуть. Если ты осмотришь, как это сделал я, дно Ялы, то увидишь, что оно перекопано слонами, которые катались по земле, чтобы меньше страдать от ожогов. . . Но это еще не все. . .

– Месье Морель, я снова прошу вас меня не оскорблять. . . Вы не имеете права. . .

– . . . Это еще не все. У меня в портфеле официальные отчеты следственных комиссий. . . Кое-что там должно тебя заинтересовать. . . Никто никогда не видел, чтобы твои носильщики возвращались в деревню, откуда их наняли. . .

Веер судорожно задвигался.

– Вижу, ты меня понял. Известно, что человек моложе сорока лет продается в оазисах, точнее говоря, на базаре в Лице, за полторы тысячи реалов, а паренек хорошего сложения лет пятнадцати, с девственным задним проходом может потянуть и на четыре тысячи реалов. . . Официальные цифры, добытые комиссией Объединенных Наций по борьбе с работорговлей. . . Ничего удивительного, что ваши парни так и не возвращаются домой. Вы отправляете их на ваших парусных лодках вместе со слоновой костью, – тем, кто из них мусульмане, сулите паломничество в Мекку. . . Разве это не дает мне право обращаться с тобой как с последним из мерзавцев, а?

Тут Минна впервые заметила в полутьме у глинобитной стены фигуру под белым покрывалом, – то укутывало шею и плечи; когда человек подбоченился и заговорил, гортанно и отрывисто, она увидела его желтоватое лицо с двумя полосками черной бородки, протянувшимися ото рта к подбородку. Слова, как видно, были руганью, потому что компаньон явно смутился и веер заходил еще быстрее в его руках.

– Что он сказал? – спросил Морель.

– Неважно, месье Морель.

– Что он сказал, ведь он не трус?

– Он посылает вас на съедение псам.

Морель улыбнулся.

– Вот это мило. Раз такой совет исходит от него, он мне наверняка когда-нибудь пригодится. Как его зовут?

– Изр-Эддин.

– Скажи ему, что каждый раз, когда я встречу паршивую собаку, я ей скажу, что меня к ней послал старейшина их племени Изр-Эддин.

– Месье Морель, – сказал делец, обиженно обмахиваясь веером, – у нас есть поговорка, что слова быстро вылетают, но медленно возвращаются.

Морель окинул проход довольно дружелюбным взглядом.

– Ладно, хватит. Я давно знаю, как человек ценит свое достоинство. Ты заплатишь носильщикам и отошлешь их домой. Между тем вели жене, чтобы она приготовила нам поесть. И ты скажи этому джентльмену, рожденному в песках, что если еще раз услышу, как какой-нибудь мальчишка орет ночью у него в хижине, я так оскорблю его достоинство в том месте, где оно находится, что домой он вернется, лишившись значительной тяжести. Мне на него жаловались деревенские женщины. Что ни ночь, слышно, как он надрывает сердце чьей-нибудь матери.

– Сухое и соленое мясо горячит кровь, – назидательно пояснил купец.

Он поднялся и вышел во двор, где дородная негритянка в синем ситцевом платье как раз нагнулась над каменным очагом. Компаньон вышел следом; благородство осанки подчеркивали развевающиеся над сандалиями ленты и гордо поднятая красивая голова. Минна и Морель остались вдвоем. В первый раз после встречи на террасе «Чадьена» Минна оказалась с ним наедине. Она призналась Шелшеру, что раньше видела его лишь мельком, но, часто думая о нем, представляла себе совсем другим. Во-первых, в его внешности не было ничего героического, как она прежде думала, а в лице – того необычайного благородства, каким его наделила. Лицо было простоватое, квадратное, не очень примечательное, кроме, пожалуй, глаз – очень красивых, чисто французских, насколько она могла судить по солдатам, с которыми встречалась в Берлине. Как только те двое вышли, Морель со смехом обернулся к ней:

– Видите, меня подают под любым соусом. . . Одни приписывают мне серьезные политические взгляды: оказывается, я – агент французской разведки, который пытается спутать карты и замаскировать нарастающее среди африканских племен возмущение; для других я – коммунистический агент, а для третьих – мне платит Каир, чтобы я раздувал националистический пожар. . .

Он пожал плечами:

– А ведь все настолько проще. . . К счастью, все же есть нечто, что зовется душой народа. И это не легенда, как думают, не только тема для песенок. . . Наше дело затронуть эту душу, вот чем мы сейчас заняты. Нам надо потерпеть еще несколько недель, если возможно, до сезона дождей, чтобы весы склонились в нашу сторону. Мы еще мало заставили о себе говорить, надо побольше гласности, чтобы о нас узнало как можно больше людей, тех, кто сразу поймет, о чем идет речь. . . Ведь охрана природы – первейшая забота человека. . .

Вот почему он так уверенно стоял на вершине холма – таким она часто потом видела его на рассвете: голый до пояса, с карабином в руках и слегка насмешливой улыбкой на губах, бдительный страж гигантов, которым грозила гибель.

## XXVIII

В середине XX века подобная попытка была как нельзя более трудной и неотложной, и в тех, кто порой позволял себе терять веру и надежду, слишком долго не получая одобрения, демонстративные действия Мореля вселяли поразительный оптимизм. По выражению одного из завсегдатаев «Чадьена», когда тебе говорят: «не все немцы такие, не все русские такие, не все арабы такие, не все китайцы такие, не все люди такие», этим, в сущности, сказано о человеке все, и тут уже можешь орать при свете луны сколько влезет: «А Иоганн Себастьян Бах! А Эйнштейн! А Швейцер!» – лунный свет все уже знает. Вдруг оказалось, что все разочарованные гуманисты, у которых нашлись деньги на билет, хотят прилететь в ФЭА, чтобы примкнуть к тому, кто стал символом неумирающей надежды. Но для того, чтобы попасть в ФЭА, нужна была специальная виза, и в Дуале, в Браззавиле, в Банги и Лами пришлось создать новые пропускные пункты, чтобы пресечь проникновение добровольцев, приехавших «вступить в ряды» сторонников Мореля. Среди них, как и полагается, были обычные маньяки, которым не терпелось поскорее полететь на Луну, но было там, по меньшей мере, одно «подкрепление», настолько значительное и сенсационное, что наделало не меньше шума, чем само дело Мореля. 15 марта американские газеты сообщили с огромными заголовками, что один из самых известных американских физиков и отцов водородной бомбы, профессор Остраш бесследно исчез. После истории с Понтекорво, опалы Оппенгеймера, бегства Берджеса и Маклина эта новость произвела ошеломляющее впечатление. Остраш не только располагал всеми данными о водородной бомбе, но и был полностью осведомлен о работах по созданию кобальтовой, над которой лучшие умы СССР и Америки трудились днем и ночью с той беспредельной самоотдачей, какой требовало это святое дело: создать такое оружие, которое уничтожило бы не только фауну, но и флору, а возможно, при дальнейшем усовершенствовании, могло привести и к полному разложению всей жидкой материи на земном шаре – от океанов до мельчайших источников. Вспомнили, что во время гражданской войны в Испании Остраш жертвовал деньги на поддержку семей бойцов интербригад и не раз пытался повлиять на своих коллег с целью ограничить разрушительное действие кобальтовой бомбы и сохранить на земле хотя бы первичные формы жизни, а именно – планктон, морскую флору и вообще морскую среду, где зародилась жизнь и где она, быть может, когда-нибудь, при более благоприятных условиях, возникнет снова. Комиссия по проверке его лояльности сняла с него всякие подозрения; что же касается его усилий сократить разрушительную мощь бомбы, то и следователи, и снисходительная пресса приписали их «наивному чудачеству, нередкому у великих ученых». Вот об исчезновении этого человека и узнал в одно прекрасное утро весь мир. В конце концов выяснилось, что он вылетел в Европу под чужим именем. Пятнадцать дней о нем не было ни слуху ни духу, и кое-кто считал доказанным, что он присоединился к группе советских ученых, чьи работы по созданию кобальтовой бомбы успешно продвигались. Но в начале мая вождь деревни Бача, к северо-востоку от Лаи, сообщил начальнику округа о присутствии на сороковом километре дороги иностранца, который, как видно, кого-то ждал, а Мореля видели как раз в этой местности. Иностранца, несмотря на его горячие протесты, схватили и доставили в Форт-Лами, где опознать профессора Остраша не составило особого труда.

Шум в Соединенных Штатах поднялся такой, что число наехавших в Форт-Лами репортеров за одни сутки утроилось. Остраш – молодой еще человек с длинной шеей и выпирающим

кадыком, короткими седеющими волосами и насмешливым взглядом, – казалось, был крайне удивлен бурей, которая вокруг него поднялась. После вежливого допроса, во время Г которого из него ничего не удалось вытянуть, кроме того, что он не пытался передавать слонам военные тайны, он принял репортеров на террасе «Чадьена». Нет, он не собирался примкнуть к Морелю. Он всего лишь хотел сделать несколько снимков животных на свободе, так как питает любовь к природе и охота с фотоаппаратом – одно из его любимых развлечений. Хотел ли он снимать слонов? Да, конечно, и не видит в том ничего зазорного. Знает ли он, что африканские коммунисты взяли слово «копун» – «слон» – как девиз для объединения Африки и символ борьбы с Западом? Нет, не знает. Не то он, конечно, не стал бы фотографировать слонов. Впредь он не будет иметь с ними ничего общего. Профессор утверждал это категорически и даже высокомерно. И, отерев пот со лба, заявил: «Христа ради, объясните вы им, что я мало смыслю в политике и хотел фотографировать слонов, не замышлял ничего дурного и даже не представлял себе, какие это может иметь последствия. Я в своей жизни никогда не был на виду и не привык рассчитывать свои поступки. Господи спаси, теперь я вспоминаю, что два или три раза водил своих детей в зоопарк в Бронксе, специально, чтобы показать им слонов, о чем забыл сообщить комиссии по проверке лояльности. Но я вам уже сказал, что плохо разбираюсь в политике, а потому не отдавал себе отчета в том, что в связи с моими исследованиями в области атомной энергии таких вещей делать не полагается. Я глубоко раскаиваюсь, в этом поступке. Но, с другой стороны, ведь не я же поместил в зоопарк этих слонов и считаю, что правительству не следует их там держать, если в них есть нечто подрывное для наших устоев. Господи Иисусе, право же, всего не предусмотреть». «Вы католик, профессор Остраш?» – спросил один из репортеров. «Нет, я иудей». «Так почему же вы все время поминаете имя нашего Господа?» Остраш как будто испугался. «Это еще что? Он тоже в этом замешан? Я хочу сказать, Он тоже там, со слонами. . . тоже занят подрывной деятельностью? Понимаете, у меня просто такая манера, можно ведь употреблять чье-то имя и не разделяя его образа мыслей. . . »

Хитрец делал вид, будто страшно испуган, но чувствовалось, что его обуревают бешеная, отчаянная веселость, которая, право же, была близка к подрывной деятельности, – Значит, он не пытался встать на сторону слонов, как Морель, из какого-то патологического отвращения к людям? «Ни в коей мере, смешно думать, что люди ему до такой степени противны». – Губы у него стали еще тоньше. – «Нет, люди ему не до такой степени противны. Иначе зачем бы он самозабвенно тратил лучшие годы жизни на то, чтобы снабдить их сначала водородной, а потом и кобальтовой бомбой?» Кто-то из журналистов хихикнул, и Шелшер снова увидел в глазах ученого то неистребимое веселье, которое только и помогает выжить. – Считает ли он, что слоны – единственный вид живых существ, которым грозит исчезновение? «Простите, – ответил Остраш, – но я не вправе обсуждать секреты, связанные с оборонной мощью моей страны». – Правда ли, что новые испытания атомного оружия и радиация могут причинить серьезные страдания человечеству и вызвать трагические последствия для будущих поколений? – Он еще раз должен повторить, что не имеет права обсуждать вопросы, связанные с обороной своей страны. Надо предоставить ученым спокойно продолжать работу в невозмутимой тиши лабораторий. «Да, но какую?» – закричал кто-то на краю террасы, почти с отчаянием. – Какую именно работу?» «Нам разрешено питать надежды, – с лучезарной улыбкой сказал Остраш. – Нельзя чинить препятствия чистым, бескорыстным исследованиям ученых, где важны не практические результаты, каковы бы они ни были, но торжество человеческого гения». «Другими словами, если ученый из-за несчастного случая в своей лаборатории взорвет земной шар, это тоже будет бескорыстным проявлением человеческого гения?» Он не разделяет столь пессимистический взгляд задавшего этот вопрос. Научное исследование должно быть очищено

от всяких опасений за его практические последствия. . . Остраш провел еще несколько дней в Форт-Лами, совершая прогулки в окрестностях, по всей видимости только для того, чтобы позлить местных чиновников; каждый раз его сопровождали целые караваны репортеров, не сомневавшихся в его намерениях, как, кстати, не сомневался в них и губернатор, который позаботился о том, чтобы ученого постоянно сопровождал эскорт, не спускавший с профессора глаз. И вот, восемь дней подряд каждое утро Форт-Лами покидал моторизованный караван, который двигался следом за невысоким насмешником и шутником, сидевшим за рулем пикапа; он таскал за собой свою свиту по самым непроходимым дорогам, иногда оборачиваясь, чтобы дружески помахать рукой проклинавшим его репортерам и полицейским. Если где-нибудь на его пути и дожидался посланник Мореля, никто об этом так никогда и не узнал. Но одно было ясно: Остраш пытался не столько улизнуть от репортеров и присоединиться к человеку, боровшемуся за охрану природы, сколько придать событиям тот резонанс, которого они заслуживали, и в том он отлично преуспел; потом он сел в самолет, дружелюбно простившись с измученными представителями прессы, едва верившими своему счастью, хотя они и видели в иллюминаторе невеселое, иронически улыбающееся лицо.

Да, Шелшер знал, что Морель не одинок, что к нему со всех сторон стремятся чудачки и просто сочувствующие, желающие примкнуть к нему и помочь. И в Форт-Лами, и в Банги почтовые отделения были завалены адресованными ему письмами и телеграммами, а губернатор получал их со всех концов земного шара почти на всех языках, где самая немыслимая ругань могла сравниться только с той, какую он в течение дня бормотал себе в бороду. У всех, кто пристально следил за происходящим и кому надоело быть смешной жертвой политических, военных, научных и прочих промахов, совершаемых от их имени, демонстративные действия Мореля задевали какую-то чувствительную струнку, отвечая не то негодованию, не то надеждам людей: читая о его подвигах, они испытывали глубокое облегчение, таким образом, для значительной части общества Морель стал чем-то вроде героя, однако трудно было отыскать кого-нибудь, кто восхищался бы им так, как эта девушка, несколько недель делившая с ним его судьбу и, стало быть, наблюдавшая за Морелем не из той прекрасной дали, которая почти всегда необходима для рождения легенды. Во время всего судебного процесса, когда поминалось имя Мореля, она поднимала голову, оживлялась и слушала с напряженным вниманием, забывая о публике, о судьях и о жандармах у себя по бокам. Когда плантатор по фамилии Дюпарк рассказывал, как Морель с бандой негров, осыпая ударами, поднял его с постели и привязал к дереву, в то время как другие поджигали имение, она вдруг резко поднялась со скамьи, глаза ее засверкали от гнева и она крикнула своим довольно вульгарным голосом, с сильным немецким акцентом:

– А почему вы не говорите всей правды, месье Дюпарк, ведь вам она известна не хуже моего? Вам стыдно в ней признаться, но я же знаю, знает и месье Пер Квист, и месье Форсайт, и другие, они же все тут!

Дюпарк в сердцах к ней обернулся.

– Я не вызывался давать свидетельские показания, – медленно произнес он. – Но собирался рассказать всю правду до конца, и мне не нужно, чтобы какая-то немка мне об этом напоминала.

Минна слышала об «истории с Дюпарком» с самого своего приезда; Хабиб не раз поминал о ней в присутствии девушки, причем всегда сопровождал свой рассказ приступом хохота, и в конце концов она не без опаски спросила Мореля:

– Что это за история с Дюпарком, над которой они так потешаются?

Морель сидел рядом с ней, полуголый, его торс блестел при свете керосиновой лампы, на плечах виднелись шрамы от ударов плеткой, полученных в немецком концлагере: Минна

погладила их кончиками пальцев, а потом долго прижимала ладонью, – вторая немецкая рука, которая к ним прикасалась.

– В ней нет ничего драматического, – сказал он, – наверное, у них есть все основания над нами смеяться. В лагере, в Германии у меня был товарищ, он звался в Сопротивлении Робером и был самым храбрым парнем, каких я когда-либо знал. Рыжий, могучий, с твердым взглядом и такими же кулаками – на него можно было положиться. Он был ядром нашего барака, вокруг него инстинктивно собирались все «политические». И при этом всегда веселый, как тот, кто проник в глубь вещей и обрел спокойствие. Когда силы таяли и все вокруг вешали носы и опускали руки, то стоило к нему подойти, как ты тут же приободрялся. Однажды, например, он вошел в барак, изображая мужчину, который ведет под руку даму. Мы жались по своим углам – грязные, полные омерзения, отчаяния; те, кого не чересчур сильно избили, охали, громко жаловались и изрыгали богохульства. Робер на наших глазах пересек барак, продолжая вести под руку воображаемую даму, потом жестом предложил ей сесть на его койку. Несмотря на всеобщую апатию, это вызвало кое-какой интерес. Ребята приподнялись, опираясь на локоть, и с изумлением глядели на то, как Робер ухаживает за своей невидимкой. Он то ласкал ее подбородок, то целовал руку, то нашептывал ей что-то на ухо и время от времени склонялся перед ней с медвежьей грацией; вдруг, заметив Жанена, который чесался, сняв штаны, он подошел к нему и резко накинул одеяло на задницу,

– Чего? – взвизгнул Жанен. – Еще чего? Уже и чесаться нельзя?

– Веди себя приличнее, черт возьми, – оборвал Робер. – У нас тут дама.

– А? Что?

– С ума сошел?

– Какая дама?

– Понятно, – сквозь зубы процедил Робер. – Ничуть не удивляюсь... Кое-кто из вас делает вид, будто не замечает ее, верно? Нравится, видно, валяться в грязи.

Все молчали. Может, он и сошел с ума, но кулаки у него были внушительные, завидя их, почтительно умолкали даже уголовники. Он вернулся к своей воображаемой даме и нежно поцеловал ей руку. Потом повернулся к совершенно оторопевшим товарищам, которые смотрели на него разинув рты.

– Ладно. Предупреждаю: с сегодняшнего дня все меняется. Для начала кончайте ныть. Старайтесь вести себя при ней, будто вы мужчины. Я подчеркиваю «будто» – это главное. Черт бы вас побрал, надо навести чистоту и сохранять достоинство, не то будете иметь дело со мной. Она не выдержит и дня в этом смраде, к тому же мы все-таки французы, должны быть галантными. И первый, кто окажет неуважение и хотя бы пукнет в ее присутствии, пусть пеняет на себя. . .

Все только молча на него глазели, разинув рты. Потом кое до кого из нас дошло. Послышались хриплые смешки, но все мы смутно понимали, что в нашем положении, если не сохранять хоть какое-то достоинство, если не прибегнуть к какой-нибудь выдумке, к иллюзии, совсем опустишься, пойдешь на поводу у чего угодно и даже станешь сотрудничать. И с этой минуты началось поистине удивительное: моральное состояние барака «К» поднялось на несколько градусов. Были даже попытки навести чистоту. Однажды Шатель, который уже дошел до ручки и был готов сдаться, накинулся на одного уголовника под предлогом, что тот «не оказывает уважения Мадемуазель». Объяснения, данные охраннику, потешали нас несколько дней. Каждое утро кто-нибудь из нас затягивал одеялом угол барака, где «одевалась Мадемуазель», чтобы скрыть ее от нескромных взоров. Пианист Ротштейн, хоть он и был самым изможденным из нас, тратил двадцать минут послеобеденного отдыха на то, чтобы нарвать ей цветочков. Интеллектуалы придумывали остроты и меткие высказывания,



чтобы блеснуть перед ней, и каждый из нас собирал остатки своей мужественности, чтобы не показать себя побежденным. Комендант лагеря скоро обо всем этом, конечно, узнал. В тот же день он в перерыве подошел к Роберу с одной из своих улыбочек на выбритом до синевы лице.

– Робер, говорят, вы привели в барак женщину?

– Разве вы не можете обыскать барак?

Вздыхнув, комендант покачал головой.

– Такие дела я, Робер, понимаю, – сказал он ласково. – Отлично понимаю. Я создан, чтобы их понимать. Это моя профессия. Потому я и занимаю столь высокое положение в партии. Я все понимаю, и мне ваши фортели не нравятся. Могу даже сказать, я их ненавижу. Поэтому я стал национал-социалистом. Я не верю, Робер, что дух всемогущ. Не верю в благородные соглашения, в миф о человеческом достоинстве. Не верю в силу разума, в превосходство духовной жизни. Эта разновидность жидовского идеализма ненавистна мне больше всего. Я вам даю время до завтра, чтобы вы убрали эту женщину из барака «К». И более того. . .

Глаз за моноклем сощурился.

– Знаю я этих идеалистов, Робер, этих гуманитариев. С тех пор как мы взяли власть, идеалисты и гуманитарии стали моей специальностью. Я занимаюсь «духовными ценностями». Не забывайте, что по сути своей наша революция носит материалистический характер. И потому. . . Завтра утром я приду в барак «К» с двумя солдатами. Вы выдадите мне невидимую женщину, которая так повышает ваше моральное состояние, и я сообщу вашим товарищам, что она будет отведена в ближайший бардак, чтобы удовлетворить *физические* потребности наших солдат. . .

В тот вечер в бараке «К» царил уныние. Многие из нас готовы были сдать и выдать женщину – это были реалисты, люди разумные, ловкие, предусмотрительные, те, кто умели приспособиться, прочно стояли на земле. Но они знали, что их не спросят, что вопрос будет поставлен перед Робером. И что он не уступит. Надо было только взглянуть на него, он торжествовал. Сидел счастливый, глаза блестели, и нечего было даже пытаться – он все равно не сдастся. Потому что если у нас не хватало сил и убежденности, чтобы верить в то, о чем мы условились, в нашу легенду, во все, что мы сами о себе рассказываем в наших книгах и в наших школах, он-то не желал отречься, и поэтому этот узник, находившийся в плену более мощной силы, чем фашистская Германия, наблюдал за нами своими маленькими смеющимися глазками. И потешался, просто подышал со смеху при мысли, что все зависит только от него, что эсэсовцы не могут силой изгнать невидимое существо из его сознания, что от него зависит, согласится ли он ее выдать или хотя бы признать, что она не существует. Мы смотрели на него с немой мольбой. Ведь в каком-то смысле, если бы он уступил, если бы подал пример покорности, всем стало бы гораздо легче, потому что дай только нам избавиться от наших условных представлений о собственном достоинстве, и будут позволены любые надежды. Не останется препятствий даже для вступления в их партию. . . Но стоило лишь поглядеть на его довольную физиономию, чтобы понять – нет, он не поддастся. . . Думаю, что в тот вечер уголовники из барака «К» решили, что мы и в самом деле свихнулись. Те из них, кто понимал, о чем идет речь, цинично гоготали, смотрели на нас снисходительно, как мудрецы, как люди опытные, реалисты, умеющие устраиваться, умно приспособляться к условиям этой жизни, – смотрели, как смотрит Хабиб. . .

– Что будем делать?

– Послушайте, у меня есть идея. А что, если ее завтра отпустить, а вечером снова вернуть?

– Она больше не вернется, – тихо произнес Ротштейн. – Или уже не будет такой, как была. . .

Робер молчал. Он внимательно на нас смотрел и слушал.

– Меня-то бесит, что они хотят загнать ее в бордель. . .

Маленький железнодорожник Эмиль, коммунист из Бельвиля, неодобрительно следивший за разговором, в конце концов взорвался:

– Ну, ты совсем с ума сошел, Робер, окончательно спятил! Неужели ты будешь цепляться за какую-то выдумку, за какой-то миф, шутку? Дашь посадить себя в карцер, пойдешь под суд? Для нас здесь важно одно: выжить, выйти отсюда живыми, чтобы все рассказать другим, чтобы это свинство не могло повториться, переделать заново мир, не цепляясь за мифы, за идиотские фантазмагии!

Но Робер лишь тихонько смеялся, и Эмиль забился в свой угол, повернулся к нам спиной, чтобы показать, что он уже не с нами. На другое утро Робер построил всех по стойке «смирно». Вошел комендант с двумя эсэсовцами, осмотрел нас сквозь монокль. Он улыбался кривее прежнего, его улыбка сильнее обычного наводила тоску; казалось, что монокль и тот издевается над нами.

– Ну как, месье Робер? – сказал комендант. – Как поживает ваша добродетельнейшая дама?

– Она останется здесь, – сказал Робер.

Комендант слегка побледнел. Монокль задрожал. Он понимал, что попал в нехорошую историю. Эсэсовцы становились свидетелями его беспомощности. Он был во власти Робера. Зависел от доброй воли заключенного. У него не хватало ни власти, ни солдат, ни оружия, чтобы без нашего согласия выселить из барака этот призрак. Офицер мог сломать зубы о нашу верность уговору – все равно, о чем бы ни был уговор, о вещах подлинных или вымышленных – раз он внушал нам чувство достоинства. Комендант помолчал, а потом, не желая дольше выступать посмешищем, попробовал выкрутиться.

– Ладно, – сказал он. – Понятно. В таком случае ступайте за мной.

Выходя, Робер нам подмигнул.

– Позаботьтесь о ней, ребята! – крикнул он.

Мы думали, что прощаемся навсегда. Но через месяц нам его вернули, исхудавшего, с приплюснутым носом, без нескольких ногтей и без тени смирения во взгляде. Он как-то утром вошел, прихрамывая, в барак, потеряв в одиночной камере не меньше двадцати килограммов, с лицом землистого цвета; однако в главном ничуть не изменился.

– Привет, детки! Месяц карцера – и к вашим услугам. Метр десять на метр пятьдесят, вытянуться нельзя, но тут ко мне как раз и пришла замечательная мыслишка. Дарю ее сразу, потому что вижу среди вас довольно вытянутые рожи и не спрашиваю отчего. Порой и мне было не лучше, хотелось биться головой о стену, чтобы вырваться на свежий воздух. Что уж говорить о боязни замкнутого пространства!.. Но в конце концов меня осенило. Когда вам уже больше невмочь, делайте как я: думайте о слонах, стадами гуляющих на воле, они бегут по Африке, сотни и сотни прекрасных животных, которых ничто не остановит – ни стена, ни колючая проволока; они несутся по открытым просторам, сметая все на своем пути, и пока они живы, ничто их не удержит, – вот это свобода, а? Но даже когда они уже мертвы, кто знает, быть может, они все еще бегут где-то там, на воле. Поэтому, когда у вас начинается клаустрофобия и вы страдаете от колючей проволоки, железобетона, в общем от сплошной материи, вообразите себе стада слонов на свободе, проследите за ними взглядом, пристаньте к ним, когда они бегут, и вот увидите, вам сразу полегчает. . .

И правда полегчало. Мы испытывали странный подъем, тая в себе этот образ одушевленной и всемогущей свободы. А кончилось дело тем, что мы стали с улыбкой смотреть на эсэсовцев, представляя себе, как в любой момент над ними пронесется эта лавина и от них не останется

и следа... Мы почти физически ощущали, как дрожит земля от приближения этой мощи, вырвавшейся из самого сердца природы, которую ничто не может остановить...

Морель помолчал, прислушиваясь, словно ожидал услышать в африканской тьме отдаленный грохот.

– После освобождения я потерял Робера из виду. А потом...

Нота горечи, тень, павшая на лицо, которая сразу изменила черты, самый голос, ставший суровее, резче, со сдержанным гневом, вдруг сделали его похожим на того, каким все его себе представляли: бродягой, человеком, которого одолел амок, ведь он вот уже полгода ведет вооруженную партизанскую войну из ненависти к человечеству и защищает слонов, потому что презирает людей.

– Существует закон, разрешающий перебить сколько угодно слонов, если они топчут ваше поле... угрожают урожаем и посевам. И доказательств не требуется никаких, вам верят на слово. Это завидное оправдание для наших стрелков. Стоит доказать, что хотя бы один слон прошел по вашей плантации, вытоптал посева тыквы, и вы уже вправе истребить целое стадо, устроить карательную экспедицию при полном одобрении властей. Нет ни одного начальника, который не знал бы, какой урон приносит подобная «терпимость» на протяжении многих лет. Нет ни одного инспектора по делам охоты, который не требовал бы более строгого контроля за этими карательными экспедициями... Вот я и стал мало-помалу заниматься этим делом. Хотел показать, что слоны не беззащитны, и привлечь внимание к злоупотреблениям, которые при этом происходят, взбудоражить общественное мнение накануне конференции по защите африканской фауны в Конго. Не так давно я узнал, что некий Дюпарк, владелец единственной хлопковой плантации на площади в двести километров, во время такой «карательной» акции перебил около двадцати слонов. Он это делал под тем предлогом, что его плантация находится на трассе сезонной миграции слонов: в засушливые сезоны они движутся вверх, к северу, и всегда следуют примерно по одному и тому же маршруту, пролегающему мимо водопоя, который они заранее себе наметили. Дюпарк жаловался, что во время миграции на север слоны, видно, избрали его плантацию местом сбора, словно надеясь на то, что здесь они в безопасности. За два года он погубил слонов двадцать. Короче говоря, в одну из лунных ночей я заставил вытащить Дюпарка из постели, – он спал с дверьми и окнами нараспашку, – а когда подъехал, Хабиб и Вайтари уже подожгли его дом. Самого Дюпарка в одной пижаме привязали к акации, и он с полнейшим изумлением наблюдал, как горит его имущество. Я подошел, чтобы, как это делаю всегда, объяснить, что мы действуем от имени всемирного комитета защиты слонов. Мы посмотрели друг на друга, и я узнал Робера...

Морель долго молчал. Минна не знала, раздумывал ли он или, наоборот, пытался не думать ни о чем. Теперь она поняла, почему так веселился Хабиб, почему его распирал добродушный смех, когда он вспоминал эту историю; Шелшер тоже вспомнил ливанца, стоявшего с двумя жандармами по бокам в загородке для обвиняемых; он опирался на барьер, с явным смаком давая свои показания, и то и дело взмахом руки, интонацией приглашал судей и дуб-лику вкусить всю прелесть того, что произошло.

– Никогда не видел, чтобы двое людей так ошалело глазели друг на друга. Оба участвовали в Соппротивлении и подружились в немецком концлагере. Лица их ярко освещало пламя, вырывавшееся из окон, – право же, стоило поглядеть на эти физиономии. К Морелю первому вернулся дар речи. «Ты? – заикаясь произнес он. – Если есть на свете человек, кому сам Бог велел быть с нами и защищать слонов, это же ты! И ты их убиваешь за то, что они топчут твое поле!» Дюпарк, у которого отвисла челюсть, тупо уставился на него: «Они вытоптали мою плантацию, – бормотал он, – в прошлом году причинили миллионный убыток, постоянно разоряют огороды моих крестьян... Я имею право себя защищать! И ты хочешь, чтобы я

поверил, будто тут дело в слонах!.. Только погляди, с кем ты снюхался!» Это про меня, – усмехнулся Хабиб. – Потом он начал дергаться с такой силой, что разодрал пижаму, а дерево дрожало, словно он хотел вытащить его с корнями. Ему, наверное, не терпелось побежать к своему дому с ведрами воды, а то и самому кинуться в пламя, – ей-богу, красивая смерть для идеалиста, – ведь после трех месяцев засухи полыхало на славу. Морель тоже двинулся было к дому своего бывшего товарища, но уже от беспомощности. Он опустил голову: «Ты не имел права охотиться на слонов, – твердил он. – Только не ты. Развяжите его...» А потом понурился и ушел.

Морель рассказал Минне эту историю спокойно, как что-то уже пережитое, а потом добавил:

– Вот как было дело. Но это ничего не доказывает. Бывают недоразумения, но люди в целом уже понимают, что к чему. Любой человек, испытавший голод, страх, принудительный труд, начинает понимать, что охрана природы – его личная забота... .

Минна видела плечи Мореля, изрытые шрамами, до которых дотрагивалась кончиками пальцев. В свете керосиновой лампы по глинобитной стене пробежала ящерица. Морель взмахом руки указал на зверька.

– Даже без этого... В Лаи есть инспектор вод и лесов, который отлично все это выразил, когда я пришел к нему с петицией... Он мне сказал, что год за годом подает докладные записки, чтобы добиться реальной охраны африканской фауны... Он сам негр, потому, наверное, понимает все это лучше других. Во всяком случае, он мне сказал: «В том состоянии, в каком мы находимся, при том, что мы изобретали и что узнали о самих себе, нам кровно необходимы все собаки, все птицы, все зверюшки, какие только есть. Людям нужна дружба».

Она повторила это слово валено, с каким-то торжеством, словно раз навсегда доказывала бессмысленность всех возводимых на Мореля обвинений, а потом, поймав взгляд Шелшера, произнесла со сдержанной яростью:

– Вот так, комендант. А его еще хотят выставить человеконенавистником, который презирает людей, в то время как он, наоборот, хочет их защитить, уберечь... .

Никто лучше Шелшера не знал, что такое пустыня, где он провел в одиночестве столько ночей на песчаных дюнах, освещенных светом звезд, никто лучше его не понимал той потребности в защите, которая порой сжимает сердце и вынуждает отдать какому-нибудь псу то, что вы сами отчаянно мечтали бы получить. И потребность эта никогда еще не была такой настойчивой, как теперь, в эпоху радиоактивной пыли, рака, гениального отца народов Сталина и телеуправляемых приборов, готовых уничтожить целые континенты под шапками чудовищных грибов, чьи «мирные» появления постоянно фотографирует пресса для просвещения народа. Крик, одновременно глумливый и яростный, который вдруг вырвался из самых недр Африки, получил незамедлительный отзыв, и это объясняло, почему Мореля, видимо, всегда предупреждали о попытках властей его захватить. Шелшер был уверен, что поймал во взгляде самого губернатора с трудом скрываемое удовольствие, когда пришел доложить ему об аресте всей «банды», за исключением главного зачинщика.

– Ага, значит, наш приятель снова ускользнул из рук? Все налицо, кроме него? Можно заподозрить, что у него весьма высокопоставленные дружки... .

– Да, об этом поговаривают. Лично я думаю, что если Морель так неуловим, значит, его уже нет... .

– То есть как?

– Значит, он стал жертвой сведения каких-то политических счетов... Получил пулю в спину из-за куста.

– Я в это ни на йоту не верю, – сказал губернатор.

Он сидел против Шелшера за письменным столом, с мокрым погасшим окурком, застрявшим в бороде, и смотрел на того глазами навывкате, покашливая, как неисправимый курильщик. Довольно типичный продукт Третьей Республики, очень деятельный член «Лиги прав человека», вероятно, франкмасон, антиклерикал, циник, человек разочарованный и при этом яростно преданный старым республиканским лозунгам, которые французы все еще пишут на своих знаменах.

– Вы, дорогой, чересчур торопитесь его похоронить. Думаете, небось, что так от него избавитесь, но это ошибка. Если Мореля действительно пристрелили националисты, – вот тут-то с ним и не оберешься хлопот. Легендарному человеку, который больше не может себя защищать, припишут все что угодно. . .

– Поэтому я и думаю, что мы больше не увидим его в живых. . .

Губернатор сердито посмотрел на Шелшера.

– Не знаю, к какому религиозному ордену вы собираетесь примкнуть, но могу догадаться. . . Не вижу в вас переизбытка доверия и симпатии к человеческой породе. Я лично уверен, что наш приятель по-прежнему жив-здоров и причинит нам еще немало неприятностей. . .

Это было произнесено с надеждой и почти с удовлетворением. Таково же было мнение и репортеров, которые слали телеграммы в свои редакции с самыми фантастическими сообщениями, полученными от «заслуживающих доверия» свидетелей; те утверждали, будто видели переодетого Мореля в десяти различных местах одновременно. Сам Пер Квист, после ареста, небрежно развалившись в кресле перед термосом с горячим чаем, с толстой сигарой в зубах, снисходительно и даже покровительственно уверял офицеров, толпившихся в кабинете коменданта военного поста Лаи:

– Напрасно, господа, портите себе кровь на его счет. . . Он парень упорный, знает, чего хочет, и, уж поверьте мне, еще задаст вам жару. . .

Да и Форсайт высказывался не менее определенно. Регулируя поворотом рукоятки громкость одолженного проигрывателя и постукивая ногой в такт джазовой мелодии, он только пожимал плечами, отрицая любую возможность того, что с Морелем могло что-нибудь случиться.

– Не знаю, где он сейчас, ведь мы несколько дней назад с ним расстались. Но я уверен, что он в порядке. И пока не будут приняты необходимые меры, он заставит о себе говорить.

Но один тревожный сигнал подтверждал мрачные предположения Шелшера: арабское радио сообщило, что Морель был убит «французскими колонистами» во время схватки в горном массиве Уле. Два, три и четыре раза Шелшер ходил к Вайтари, в палату военного госпиталя, куда того перевели, – бывший депутат от Сионвилля был совершенно здоров, но из Парижа поступило настойчивое указание: при его аресте избегать всяких строгостей. Вайтари принимал коменданта с той ледяной вежливостью, какая приличествует цивилизованным противникам.

– Я вам уже сказал все, что знаю. Мы расстались с Морелем дней за восемь до того, как он, по-вашему, исчез. Какой-то американский журналист следовал за ним, кажется, до конца – обратитесь к нему. Но так как вас, по-видимому, интересует мое отношение к этому делу, могу сообщить: живым Мореля вы больше не увидите.

– Вы в этом убеждены?

– Колонизаторы не могут допустить того, чтобы француз принял участие в борьбе против них за независимость Африки. Никто не отрицает, что Морель был оригиналом и даже чудачком, но его симпатии к нашему делу тем не менее не подлежат сомнению. Слоны для него были лишь символом могучей, исполинской свободы, нашей свободы. . . Можете делать все, что угодно, но этой истины, ясной как день, вам не затемнить. Это то, что на своем языке

– может быть, смешном, но чистосердечном, он называл «защитой великолепия природы». . . Он имел в виду свободу.

– Где-то там, в лесной глуши, думал Шелшер, догнивает труп человека, которому уготована судьба легенды, предназначенной придать видимость благородства враждебной ему, узкой и замкнутой идеологии. Он посмотрел на африканца в сером фланелевом костюме и вдруг подумал: а ведь он из наших.

– Говорят, что у вас с ним произошел разрыв. . .

– Да, кое-какие осложнения были. Мы не всегда соглашались в методах борьбы. . . в средствах. У вас возникали такие же разногласия во французском партизанском движении во время оккупации; есть они и сегодня у североафриканских феллахов. . . Но он был на нашей стороне.

– Даже после того, что произошло на Куру? Я, как вы знаете, тоже там побывал. Я видел. . .

– Я же вам говорил, что Морель был чудак, но это нисколько не мешало его искренней преданности делу африканской независимости, хотя и осложняло наши с ним отношения. . . Мы не раз сталкивались лбами и довольно яростно. Но могу вас заверить, что когда дело касалось свободы, мы были заодно. . .

И Хабиб, который шагал в наручниках между двумя солдатами, все еще уверенный, несмотря на посыпавшиеся дождем требования о выдаче, – одно из них за торговлю наркотиками, – что его старый сговор с жизнью так или иначе поможет выкарабкаться, добродушно заявлял:

– Чего вы хотите, я же всегда был филантропом. Для законных чаяний народа нужны взрывчатые вещества, а для законных потребностей человеческой души нужны наркотики. Как видите, я всегда шел в первых рядах благодетелей человечества.

. . . А девица теперь повторяла с возмущением:

– Когда подумаешь, что на суде его пытались изобразить мизантропом, человеконенавистником, его, кто, наоборот, хотел сделать все, чтобы людям помочь. . .

– А он вам рассказывал, при каких обстоятельствах у него родилась идея этой знаменитой кампании по защите природы?

Да, конечно, рассказывал. Дело началось не со слонов. А с собак. После прихода американских войск Морель вышел из лагеря довольно растерянный и даже слегка утративший мужество, – он ей в этом признался, смущенно, со смешком, словно хотел попросить прощения за то, что хотя бы на миг пал духом. Он не очень хорошо знал, что ему делать, с чего начинать, за что взяться, чтобы прошлое никогда не повторилось, – плохо себе это представлял, и задача порой казалась ему непосильной. Он прошел всю Германию, бродяжничал, жил как миллионы других перемещенных лиц и беженцев, скитавшихся по дорогам. Как-то вечером, в одном из городов, проходя мимо бывшего Гамбургского банка, от которого остался один фасад, он заметил на тротуаре девочку. Она была без пальто и плакала. Прохожие кидали на нее неодобрительные взгляды: какой стыд, оставить девчонку в такой холод на улице без пальто!

– Не плачь. Ты же видишь, что все на тебя сердятся!

Девочка перестала плакать и уставилась на Мореля. Она явно не понимала, с кем имеет дело.

– Вам не нужна собачка?

Беленький щенок сидел в луже и дрожал – у него тоже, видно, не было пальто.

– Мы не можем его держать. Маме надо работать, денег у нас нет. До войны она не работала, у нас, кажется, даже был автомобиль.

У щенка было черное ухо. Вроде фокстерьера, а вообще Бог знает что за порода. Но собака, наверное, существо полезное, серьезно рассуждал Морель. Может охранять дом, фруктовый сад, спать у ваших ног в гостиной подле большого камина, после трудового дня. . . Она может вас согреть, если будет спать рядом, махать хвостом, когда вас увидит, и тыкаться мордой вам в руку. . . Короче, может вам составить компанию. Он взял щенка за шкуру, посадил мокрым задом себе на руку.

– Мальчик?

– Разве не видите, что она девочка?

Он кинул на ребенка недовольный взгляд. Это обстоятельство все меняло. В той жизни, какую он вел, сука могла стать большой помехой. Она, конечно, каждые полгода будет приносить приплод. После войны так оно всегда и бывает. Природа пытается восполнить хотя бы с одной стороны то, что потеряла с другой. Нет, сука явно не подойдет.

– Ладно, я ее возьму, – тут же сказал он. – Ну а ты беги домой. Скажешь матери, что она – шляпа. В такую погоду нельзя выпускать детей на улицу без пальто.

– Она не виновата. Она ведь работает и не может за мной следить.

– Беги!

Девочка прижала щенка к груди, потом отпустила и, вся в слезах, убежала. Мореля охватило уныние. Нельзя было поддаваться искушению. Он почувствовал, как собачка дрожит мелкой дрожью. Посадил ее в карман куртки и придержал рукой холодный, мокрый комочек; щенок постепенно отогрелся и перестал дрожать. Вот так он приобрел товарища. Они вместе странствовали по дорогам, встречали других собак и других людей – прибалтов, поляков, чехов и русских, немцев, украинцев, все заблудшее человечество, которое бродило в поисках крова, куска хлеба и угла, где можно почувствовать себя как дома. Он внимательно их разглядывал, спрашивая себя, что может для них сделать. Щенок сидел у него в кармане, он чувствовал под рукой теплую голову. Но требовался совсем другой карман, побольше, и другая рука, более могучая, чем его. Ему казалось недостаточным заниматься беженцами или политикой для того, чтобы бороться с нищетой и угнетением, – нет, этого мало, надо пойти дальше, объяснить людям, что происходит, в чем суть дела, но он не знал, как за это приняться. Он часто усаживался на обочину дороги, раздумывая, с чего начать, а рядом была собака. Надо заявить громогласный протест, такой, чтобы его услышали и на краю земли. Надо идти к главной цели, не расплываться, проникнуть в самую суть проблемы. Он сидел на корточках, жуя соломинку и поглаживая собачонку, и раздумывал. Как-то утром собака убежала в поле и к вечеру не вернулась. Не вернулась она и на следующее утро. Сгинула без следа. Морель обегал всю округу, расспрашивая встречных, но в то время людей мало интересовали пропавшие собаки. В конце концов кто-то посоветовал ему сходить на живодерню. Он пошел. Сторож его впустил. Это была площадка метров пятьдесят на десять, огороженная рядами проволоки. Внутри – сотня собак, в основном дворняжек, каких он видел повсюду на дорогах, беспородных щенков. . . Они смотрели на него, не сводя глаз, с надеждой, если не считать тех, кто уже совсем отчаялся и даже не поднимал головы. . . Но остальные – надо было видеть этих остальных, тех, кто еще надеялся, что за ними придут.

– Что вы с ними сделаете, если их никто не попросит?

– Тут их держат восемь дней, а потом отправляют в газовую камеру. Обдирают шкуру, а из костей варят мыло и желатин.

Морель замолчал. Минна не видела его лица, только в полутьме блестели потные плечи со следами ударов плетки.

– Вот, наверное, там на меня и нашло наитие. . . Во-первых, я чуть было не пристукнул сторожа, а потом сказал себе: нет, не с ходу, не так. Я как следует на них нагляделся,

на этих собак, из которых сделают желатин и мыло, и сказал себе: погодите маленько, вы, негодяи, я научу вас уважать природу. Разделаюсь с вами и с вашими душегубками, с вашими атомными бомбами и вашей потребностью в мыле... В тот же вечер я собрал на дороге двух-трех ребят – парочку прибалтов и одного польского еврея, и мы устроили небольшой налет на живодерню, слегка покалечили сторожей, освободили собак и пустили «петуха» на барак. Вот с чего я начал. И понимал, что ухватился за нужную ниточку. Теперь надо было тянуть дальше. Бесплезно защищать что-то или кого-то в отдельности – людей, собак, нужно подходить шире: защищать природу вообще. Начинают, к примеру, разговор с того, что слоны-де чересчур громоздки, слишком много занимают места, сбивают телеграфные столбы, топчут посевы, что они – анахронизм, пережиток, а кончают тем, что то же самое говорят о свободе: в конце концов свобода и человек тоже оказываются чересчур громоздкими... Вот как я к этому пришел.

... Пер Квист, который смотрел в открытое окно, вдруг воскликнул, сверкнув глазами:

– Мусульмане называют это «корнями неба», а индейцы Мексики – «деревом жизни»; и те и другие падают на колени и воздевают к небу глаза, в муках колотя себя в грудь. Потребность в защите живого, которую упрямы вроде Мореля пытаются утолить воззваниями, комитетами борьбы и обществами охраны природы, эти люди хотят насытить сами, нуждаясь в справедливости, свободе, любви – в этих корнях неба, так глубоко вросших им в сердце...

... А эта девушка, сидевшая напротив, перекинув ногу на ногу – нейлоновые чулки, сигарета во рту, взгляд, в котором можно прочесть ту же одурь, ту же мольбу, что и в глазах собак на живодерне, взывавших о помощи к человеку, который вот-вот войдет... И багровый от ярости отец Фарг сел за руль своего джипа и отправился на поиски того, кого он звал «самым отчаянным язычником, каких видели в ФЭА со времен губернатора Конде» – этот губернатор Конде сократил дотации христианским миссиям и требовал медицинских дипломов у сестер милосердия. Со своей пылающей на солнце рыжей бородой, пронзительным марсельским акцентом и задранной до пояса сутаной, из-под которой виднелись шорты, провожаемый восхищенными взглядами слуг и сестер милосердия, он, казалось, отправился в крестовый поход, – но все, что в нем было смешного и суетного, не лишало его того достоинства, которое придает любовь к людям. Шелшер нередко спрашивал себя, почему церковные власти терпят язык Фарга и его манеру делать добро, словно он силой вливал касторку в горло строптивому ребенку, – но ответом служила та прямодушная вера, которая, казалось, была источником физических сил монаха.

– Я-то вам его сыщу, – рявкнул отец Фарг, нажимая на акселератор. – Когда я подумаю, что этот сукин сын, может быть, сидит сейчас где-то на пригорке и бесится из-за своих слонов, хотя стоит ему поднять глаза, и он увидит нечто куда более величественное и прекрасное, я просто готов ему морду набить. Охраной природы я давным-давно занимаюсь – делаю все, что могу, и знаю не хуже его, что охранять ее надо, но для этого мало распространять воззвания и созывать митинги. Надо еще попросить помощи у того, у кого следует...

Из миссии выскочила сестра, подхватив юбки и держа под мышкой забытый им трезник. Он сунул его в карман.

– Я-то знаю, где его найти. Надо следовать за слонами, он там суетится возле них; в это время года стада топчутся поблизости от воды, к югу от острова Мамун у Ялы, он повсюду за ними бродит с карабином в руках, стережет, словно какой-нибудь пастух. Я-то понимаю, что его точит. Но если Морель воображает, будто Господь Бог вылезет из своего логова, словно какой-нибудь дикий зверь из джунглей, специально для того, чтобы доказать ему, что Он есть и беспокоится об их милости, даже по головке его погладит и скажет: «Ах ты, мой маленький!», он попал пальцем в небо, это я вам говорю!..



Он изо всех сил нажал на акселератор; автомобиль рванулся вперед, за клубилась пыль, а Шелшер, который пришел к Фаргу, чтобы допросить его о свидании с Минной и Форсайтом, потому что монах был последним, кто их видел, дружелюбно следил за этим богатырем; вся его мощь была ничто по сравнению с жившей в нем верой. Вернувшись в Форт-Лами, комендант нашел губернатора в особо подавленном настроении; тот мрачно взирал на машинописную страничку.

– Боевой приказ, – сказал он. – Распоряжение войскам прочесать земли уле при помощи вертолетов, огнеметов и прочих прелестей... Удивительно, что мне еще изволят об этом сообщать... Наверное, военная хитрость.

– Насколько вы можете задержать операцию?

Губернатор косо на него взглянул.

– Должен вам сообщить, Шелшер, хотя мне это очень неприятно, что ваша просьба пока не удовлетворена. Вам придется выждать несколько недель, прежде чем вы сможете, наконец, удалиться от нашей суеты и воспарить к звездам. А пока вы еще носите мундир и служите охране порядка, а не делец божественной любви или христианского милосердия. Я и правда начинаю думать, что республика учредила эскадроны мехаристов и военные посты в пустыне только для того, чтобы наши офицеры могли впадать в мистический экстаз. Да, отец Фуко дорого нам обошелся, пришлось поплатиться нашими отборными офицерами. Небеса уже не просто вербуют отдельных рекрутов в окрестностях Сахары, а забирают всех подряд. Если я правильно понимаю, вы пытаетесь завербовать Мореля в свой тайный легион.

– Вы могли бы им объяснить, что начинать операции по прочесыванию земель уле за две недели до сезона дождей не слишком разумно.

– Париж, видимо, не слишком заботят тропические ливни. Наверно, там, в министерствах не мокнут... Я только что принял курьера Боррю, присланного специально сообщить, что полковник делает все, что может...

– И военные операции в самом мирном районе Африки придадут этому делу несвойственный характер...

– А именно?

– Политический, – сказал Шелшер.

Губернатор терял терпение.

– Послушайте, старина, это уже слишком. Вы знаете, как использует это дело арабское радио. Знаете, что творится в Тунисе, в Марокко, в Алжире. Вот ваш бесноватый и выбрал этот момент, чтобы нападать и поджигать фермы в горах Уле в сообществе с широко известным панафриканским экстремистом. И после этого вы хотите убедить Париж, что тут нет никакой политики? Я знаю, что в том, весьма... отчужденном мире, в каком вы живете, не очень-то придают значение человеческим делам, но имейте в виду, наш век видел победу доктрины, завоевавшей половину земного шара, а она утверждает, будто люди занимаются всегда и везде только политикой...

– То, что происходит, не подтверждает подобной точки зрения.

– До сих пор нам везло. Воображение народа воспламенила эта история со слонами, да и газеты очень помогли, – короче говоря, люди в нее поверили. Но правительство не верило ни минуты. Оно ? помалкивает, потому что эту версию нельзя опровергнуть, не предложив вместо нее другой, а враги наши тем временем потирают руки. Но имейте в виду, – в Париже не верят ни единому из моих объяснений. Там считают, что я изобрел хитроумный трюк, который мне удался, – вот почему я еще занимаю свой пост. Представьте себе, там меня считают необычайно ловким...

Он вздохнул и покачал головой.

– Но если вы читаете газеты, то должны знать, что там пишут о секретном учебном лагере армии африканского освобождения и что лагерь этот будто бы находится на землях уле, а начальник «партизан» – Вайтари. Добавляют, что Морель просто агент Коминформа, а слоны – пропагандистская уловка, вроде бойкота табака в Северной Африке. Мы-то с вами знаем, что это ложь, но у нас психология африканцев, а там образ мыслей европейский, и когда оттуда приезжают в Африку, то привозят свой багаж. . . Но Вайтари существует. Да, знаю, у меня есть донесение Эрбье; Вайтари, как видно, в Судане. Что означает только одно: он будет вещать по арабскому радио, созывать пресс-конференции, тянуть одеяло на себя, вволю используя идиота Мореля и его манию, он-то уж придаст этой истории нужный ему политический смысл. . . Кстати говоря, со стороны Эрбье было крайне любезно сообщить мне, как Вайтари со своим отрядом перешел границу, следуя по тропе контрабандистов, но было бы лучше, если бы он захватил их по дороге, раз настолько осведомлен. . .

– Эрбье на площади в двести квадратных километров располагает тремя охранниками, – заметил Шелшер.

– Ладно. Все работают не покладая рук. Прямо сердце радуется. Удивляюсь только, почему Париж не шлет нам каждый день поздравлений. . .

Он поднял карандаш.

– Между прочим, по какому-то совпадению, где проходил Вайтари, зашевелились племена уле. Вы же это знаете. Правда, примерно то же происходит каждый год, во время празднеств, посвящения в воины. Но так далеко дело еще не заходило. Эрбье чуть было не закидали камнями. . .

Шелшер промолчал. Губернатор знал не хуже его, почему каждый год, в одно и то же время, уле, как он выразился, «начинают шевелиться». К середине сезона засухи стада начинают свою миграцию к источникам воды. Слоны вторгаются в деревни и словно насмежаются над самыми страстными охотниками во всей Центральной Африке. Три четверти традиций уле относятся либо к войне, либо к охоте, но первая стала невозможной, а вторая почти запретной и во всяком случае ограниченной строгими административными правилами. Губернатор постоянно получал ходатайства, составленные в возвышенных и трогательных выражениях о выдаче пороха и оружия для охоты, о разрешении свободно добывать мясо слонов, проходивших у негров перед носом; получал он и протесты против конфискации слоновой кости, изымаемой потому, что животные были убиты якобы за то, что вытаптывали посадки тыквы; если бы не эти конфискации, то охота всеми способами, в том числе при помощи огня, которую и так вели нелегально в больших масштабах, быстро бы покончила со слонами. Когда количество слонов во время их миграции в засушливые сезоны становилось особенно вызывающим, люди уле теряли голову и даже восставали против властей или кидались на громадных животных с копьем по обычаю своих предков. Им кружил голову вид мяса, и они были не в силах преодолеть зов крови. Но самым важным было то, что во всех магических обрядах главную роль играли половые органы слона, и юноши, способные добыть эти трофеи, могли занять место рядом со взрослыми мужчинами на совете племени. Каждый год, в период посвящения в воины, юношей так мучило ощущение утраты мужественности, что они доходили до подлинного отчаяния или до массового безумия. В этом году, и верно, подобные вспышки были особенно серьезными.

– Знаю, – устало сказал губернатор, словно отвечая на невысказанные мысли Шелшера. – Все это я знаю. . .

Он обернулся к двери.

– Но попробуйте объяснить это им. Попробуйте доказать, что уле выступили не для того, чтобы завоевать политическую или национальную независимость, а чтобы добыть слоновьи

яйца. Попробуйте. . . А потом сообщите мне результаты.

Дверь открылась, и в комнату вошел полковник Боррю с посетителем – весьма самоуверенным молодым человеком во фланелевом костюме, который словно желал показать, что слишком занят, чтобы переодеться в одежду, подходящую для тропиков. В руке он держал солнечные очки. Губернатор встал и представил присутствующих друг другу. Посетитель сразу же кинулся в атаку:

– Я сказал полковнику, что если дожди пойдут через шесть недель, это только доказывает, что операцию по наведению порядка следует начать немедленно. Если шести недель мало, чтобы арестовать кучку террористов, то, во всяком случае, вполне достаточно, чтобы не дать движению распространиться вширь и захватить соседние племена. . .

– Племена тут ни при чем, – сказал губернатор. – Что касается жителей, то во всем округе царит полное спокойствие. Вся эта история их совершенно не занимает. Можете сами с ними поговорить, допросите их. Для них – это ссора белых между собой. Если Мореля до сих пор не поймали, то не потому, что племена оказывают ему поддержку, а, наоборот, потому, что туземцам плевать на наши заботы. Они считают, что все это их не касается. Конечно, подключилась политическая пропаганда, – тут уж поработал Вайтари. Кстати, я первый просил подкрепления для полиции. Но не полторы тысячи людей на гусеничных транспортерах, с вертолетами и пушками. Двадцати отрядов по дюжине солдат, правильно рассредоточенных по деревням уле, хватило бы с избытком.

– В Индокитае тоже поначалу не хотели пускать в ход ударные военные силы. . . Политика микродоз привела к катастрофе. . .

Губернатор старался сохранять любезность.

– Месье, – произнес он, – хотите верить, хотите нет, – я признаю, что поверить в это нелегко, но в горах Уле действительно есть человек, который вбил себе в голову, что надо защищать африканских слонов от охотников. С ним находится натуралист-датчанин, которого сорок лет назад уже сажали в тюрьму у него на родине за то, что повел своих учеников в атаку на помещение синдиката китобоев в знак протеста против истребления китов в Северном море. С тех пор он принимал участие во всех подобных баталиях. Как только дело заходит о защите природы, он тут как тут. Вот они-то вдвоем с Морелем, при помощи еще нескольких свихнувшихся, ранили трех или четырех охотников и подожгли несколько складов слоновой кости и две или три плантации. Я не преуменьшаю масштабов их преступной деятельности. Но нам далеко до Индокитая. Повторяю, в этом деле замешаны – они, кажется, уже перешли границу Судана – политические агитаторы, которые пытались раздуть пламя из любой искры, в надежде, что оно разгорится. . . Я этого не отрицаю. Вайтари – один из них, и я убежден, что он делает все, чтобы загребать жар чужими руками. . . Он был членом одной из наших политических партий; той же, насколько я знаю, что и ваш министр, во всяком случае в начале ее существования. Его честолюбию тесно в рамках парламентской системы. Он грезит о власти, о могуществе, одним словом о колониализме, по сравнению с которым наш покажется детской сказкой, а ведь Богу известно, что и на нашем солнце есть пятна. . . Среди них есть и торговец оружием, уголовный преступник, обыкновенный авантюрист; в последнее время он служил наемником у Мусульманских Братьев потому лишь, что там платили. Один или два бывших легионера, из тех дезертиров, что бросаются вплавь при проходе наших судов через Суэцкий канал. Пресса раздула эту историю до неправдоподобия. . .

– Но в отряде есть женщина, не правда ли? И американец? Они совсем недавно преспокойно выехали из Форт-Лами, чтобы присоединиться к этим людям? Память мне не изменяет?

– Нет. Уехали прямо от меня. Но право же, не стоит искать тут политической подоплеки. Газеты подняли вокруг этой истории такую шумиху, что все встало вверх дном. А при

том человеконенавистничестве, в какое впали люди вследствие чудесных научных открытий, полученных благодаря замечательному соперничеству американцев с русскими, а может, и общим условиям нашего существования, история со слонами для многих стала завидным способом самовыражения. . . Мы видели в Форт-Лами кое-кого из них, начиная с профессора Остраша. . .

Молодой человек взмахнул рукой.

– Господин губернатор, вы с самого начала сумели так ловко представить все прессе, что мы были просто восхищены. Но полагать, что Морель действительно одержим красотой природы. . . как бы это сказать? несколько наивно. Мы знаем, кто он и откуда. Он не зря принимал активное участие в Сопротивлении и два года просидел в немецком концлагере, – разговоры о том, что он не самый обычный профессиональный агитатор на содержании у Коминформа, кажутся нам просто нелепыми. Повторяю, мы отлично понимаем, что вас заставляет поддерживать эту версию. . . но было бы опасно питать какие-то иллюзии. . . надо знать, откуда идет колокольный звон. Зачем обманывать себя?

Губернатор явно впал в уныние. Он кинул на Шелшера мрачный взгляд, словно говоря: «Видите, я же вам объяснял – они приехали с готовым решением». Даже когда кикую из Кении, которых ограбили, отняв у них африканских богов, утешаются магическими обрядами, где непременно участвуют мужское семя и мозг ребенка, в том видят лишь стремление удариться в политику и нежелание отставать от Запада с его священными традициями. Он опустил голову, чтобы спрятать ироническую усмешку, которую мог дурно истолковать посетитель. А тот продолжал спокойно разглагольствовать – с почтением, приличествующим рядовому чиновнику министерства по отношению к высокопоставленному лицу, однако в голосе юноши слышалась настойчивость, которая явно свидетельствовала об уже сложившемся мнении, и не только его собственном.

– Подробности этой истории настолько ясны и взаимосвязаны, что мы не можем скрывать их от публики, да, впрочем, подобного намерения у нас и нет. . . Тут имеется подпольная организация торговцев оружием, ее представляет тот агент, о котором вы говорили. Тут живет американец, изгнанный из армии своей страны за то, что он перекинулся в Корею на сторону Красного Китая, а здесь лишь продолжает свою деятельность. Тут подвизается немка, которая была любовницей русского офицера в Берлине; она сбегает в джунгли вместе с грузом оружия и боеприпасов. . . И наконец, тут орудует бывший депутат племени уле, чьи взгляды, заявления и возвания тоже широко известны. Я не высказываю своего личного мнения, однако должен заявить, что легкость, с какой эта женщина обманула бдительность полиции. . .

Он сделал паузу.

– Наблюдения за нею не было, – сказал Шелшер. – Поскольку не имелось никаких причин.

– Перед моим отъездом из Парижа была получена ваша телеграмма о восстании племен уле. . .

– Ни о каком восстании не может быть и речи, – заявил губернатор. – Если бы вы прочли и ту телеграмму, которую я послал в это же время в прошлом году, – папку никогда не просматривают целиком, – то нашли бы там сообщение о подобных выступлениях, тоже предусмотренных заранее. Деревни племен уле расположены на трассе сезонной миграции слонов к водопою. В сухое время года там собираются самые большие стада во всей Африке. Несколько лет назад я видел, как слоны часами бушевали вокруг деревни, где мы находились, и мы были бессильны против них, несмотря на оружие. Мы ждали, что вот-вот, с минуты на минуту они нас растопчут вместе с хижинами. Это было во время засухи сорок седьмого года. В нынешнем году нам угрожает не менее жестокая засуха; в районе Горнона, в деревнях, на дне водоемов уже обнаружены животные со сломанными позвоночниками. . . В это время года

до колонизации юноши уле, после ритуальной церемонии посвящения, отправлялись в лес с копьем в руках, и если они возвращались оттуда с половыми органами слона, их посвящали в воины и давали право жениться. Мы все это пресекли, чтобы защитить слонов и людей. В таких схватках раньше погибал каждый третий подросток. А в результате юношей уле теперь уже не посвящают в мужья по обычаю предков. Они, конечно, женятся, что тут говорить, но все равно им чего-то не хватает, и если можно искоренить магическую традицию, то весьма трудно заполнить ту необычную пустоту, которая остается после в том, что у нас принято называть первобытной психикой. . . и что я зову человеческой душой. А кончилось тем, что каждый год, во время прохода слонов, уле теряют голову и выражает свою обиду, как умеют, в этом году более бурно, чем в прошлом. . .

– Быть может, проще было бы разрешить им охотиться на слонов месяц или два в году? Я поговорю в Париже. . .

– Тут мы связаны международными договорами, – довольно сухо заметил губернатор.

– Ну, это можно уладить. Лучше слегка смягчить правила, чем каждый год терпеть беспорядки, которые за границей используют в известном вам направлении.

Шелшер передернулся, – ему в голову пришла шальная мысль. Ну не прелестно ли, если действия Мореля завершатся еще большим ослаблением законов об охоте, которые, как известно, и так недостаточны для сохранения африканской фауны вообще и слонов в частности! Даже теперь, по прошествии многих месяцев, он, вспоминая о своих мыслях, не мог удержаться от улыбки.

– Чиновник Эрбье встретил вас в тридцати километрах к югу от Голы с бандой уле, которая только что сожгла передвижной профилактический отряд. Тут я чего-то не понимаю – они с воплями требовали права свободно охотиться на слонов. А между тем в своем отчете Эрбье утверждал, что возглавляет эту банду, несомненно, Морель, что черные восторженно его приветствовали и он, казалось, был с ними заодно.

Да, Минна отлично все помнит, потому что впервые тогда увидела Мореля растерянным. Вайтари и Хабиб расстались с ними две недели назад, отправившись в Судан в сопровождении двух контрабандистов, знавших, где можно перейти границу, и носильщиков, которые тащили на носилках полумертвого де Вриса. По дороге, на привалах Вайтари устраивал в деревнях форменные политические сходки, объясняя туземцам, что они должны восстать, чтобы добиться удовлетворения своих законных требований. Он говорил о Мореле, который даст им «свободу», то есть в основном право охотиться столько, сколько они пожелают, и тем самым добывать столько мяса, сколько хотят. Поэтому всякий раз, когда Морель появлялся в какой-нибудь деревне уле, юноши сопровождали его с танцами и радостными криками, несмотря на то что старейшины призывали к осмотрительности, будучи куда менее доверчивыми ко всяким посулам, от кого бы те ни исходили. Молодежь нельзя было утихомирить. Это было время посвящения в мужчины, юноши опьянели от пальмового вина, обезумели от громкого треска деревьев в джунглях и вида слоновьих стад, бегущих от засухи к озеру Куру. Морель не сразу понял, что происходит, и, обернувшись к Перу Квисту, с удовлетворением сказал:

– По-моему, они постепенно расстанутся со своим равнодушием по отношению к нам.

В это время они уходили из деревни Лдини, потому что над ней упорно кружил вертолет, и направлялись к одной из двух пещер, оборудованных в горах, откуда Морель, впоследствии устроил знаменитый «партизанский налет» на Сионвилль, наделавший столько шума. Датчанин, как видно, был полон сомнений; он внимательно вслушивался в крики плясавших вокруг молодых негров. Глаза-льдинки, казалось, выражали утрату каких бы то ни было иллюзий и пристально смотрели вокруг. Рядом стоял Джонни Форсайт – шелковый платок в красный горошек вокруг шеи, летный китель со следами споротых нашивок, надетый на го-

лое тело, многочисленные веснушки, весело пляшущие на лице; он со смехом приветствовал негров, подняв соединенные руки, как боксер, победивший в матче, в то время как испуганные лошади стояли, сбившись в кучу, и трясли удилами.

– Ага! – воскликнул Форсайт. – Наконец и я обрел популярность, правда, с некоторым опозданием. Такого интереса ко мне не проявляли с самого возвращения из Кореи. . . Либо я ошибаюсь, либо я первый джентльмен-южанин, которого так радостно встречают африканцы. Что они там поют?

Пер Квист промолчал и, кинув на Мореля пронзительный взгляд, погнал лошадь вперед. Минна заметила, что Морель, который сначала слушал пение с удовольствием, вдруг растерялся, взгляд его стал неподвижным, лицо застыло. И лишь когда они выехали из деревни, датчанин перевел ей то, что пели молодые негры, скандируя сквозь зубы:

Мы убьем большого слона  
Мы съедим большого слона  
Мы вспорем ему брюхо  
Съедим его сердце и печеньку  
Мы не будем голодать  
Пока стоят горы Уле  
И есть слоны, которых можно убивать.

Джонни Форсайт затрясся от смеха и чуть не свалился с лошади.

– Честное слово, настоящий гимн свободе! – воскликнул он.

Минне показалось, что Морель сейчас кинется на американца. Она вдруг увидела Мореля таким, каким его изображали: одичалым безумцем со сжатыми челюстями, ненавидящим взглядом и сведенными мускулами лица, напряженного, как кулак.

– А ну заткнись, Джонни! Грязный цинизм, конечно, удобен: твоя подлость утешительно тонет во всеобщем свинстве; гораздо легче, чем добывать виски, и стоит дешевле. Если эти люди все еще так думают, то потому, что, запретив охотиться, им ничего не дали взамен. Когда видят, как они днями напролет просиживают у дверей своих хижин, говорят, будто негры лодыри и ни на что не годны. Когда у людей отнимают прошлое, ничего не давая взамен, они тянутся к этому прошлому. . . Знаешь, приятель, хочется тебе помочь. . .

Впервые с тех пор как Минна узнала Мореля, в его голосе прозвучала злоба.

– Может, тебя это утешит. После того как поползал на пузе там, в Корее, ты, видно, решил, что ты и есть типичный образчик всего человечества. Конечно, это было бы омерзительно. Но я тебя успокою. Есть ведь и другая возможность, – вдруг ты вовсе и не образец, а просто первостатейная сволочь, и к другим то, что ты сделал, никак не относится, другие тут ни при чем, и даже в том, что сделали с тобой, люди не виноваты. Может, люди вообще ни в чем не виноваты, что бы ни происходило, что бы ни творили от их имени. В таком случае нечего особенно переживать. Думаю, что рассуждение мое должно показаться тебе утешительным и будет на пользу. Быть может, перестанешь напиваться как свинья. . .

Форсайт дружелюбно поглядел на Мореля. Потом нагнулся, выхватил из притороченного к седлу мешка бутылку виски и швырнул во француза.

– Держи, – крикнул он. – Тебе она нужнее, чем мне.

Морель схватил бутылку на лету и вдребезги разбил о скалу.

– Черт! – сказал Джонни Форсайт. – Последняя. . .

На всем протяжении пути от Мато до Валэ в деревнях их встречали восторженно. В Валэ минут двадцать не давала прохода пляшущая и орущая толпа: то и дело звучали вокруг торжествующие выкрики «котоп» – слон; несколько юношей, как оказалось, пришли из соседней

деревни, где принимали участие в разгроме профилактического поста, учрежденного в районе по случаю эпидемии энцефалита; они поколотили санитаров и подожгли склад медикаментов. С пением, толкая друг друга, негры неслись по тропе к Морелю и его спутникам, иногда забегая от возбуждения вперед. Однако в соседней деревне Мореля с компанией встретили молчаливо. Хижины выглядели пустыми и покинутыми. Лаяли лишь желтые псы, и у входов в конические жилища возле лесной опушки на них глазели детишки со вздутыми животами. Едва лошади вступили в деревню, как навстречу, с противоположного ее конца, показался европеец, как видно, поджидавший отряд на пустынной площади. Белый крепко держал в руках карабин, а рядом шли два черных солдата с ружьями. Служащий администрации Эрбье объезжал район; ему было давно известно, какие настроения обуревают район уле во время ритуальных празднеств, а теперь избитые, насмерть перепуганные санитары профилактической службы, которым все же удалось спастись, донесли ему о происшедших беспорядках. Эрбье спешно направился в Голу со своим «отрядом» – двумя окружными охранниками из племени масаи, которые служили под его началом уже три года. Когда он увидел группу всадников, въезжавших в деревню в сопровождении толпы молодых негров, которая растянулась километров на двадцать, потрясала копьями и то и дело с воплями подпрыгивала вверх, то взял винтовку и пошел навстречу, держа палец на спусковом крючке и направив дуло на пришельцев. За ним с непроницаемым видом, сжимая в руках ружья, следовали масаи. Увидев Эрбье, Короторо с радостным выражением лица взял чиновника на прицел и держал его на мушке все время, пока они не проехали мимо. Эрбье, со своими усиками щеточкой и круглым животиком, ни внешностью, ни осанкой не соответствовал должности, но нельзя было не восхищаться его отвагой. Некоторые из молодых негров разразились угрожающими воплями, но быстро умолкли и предпочли укрыться за крупами лошадей.

– Надеюсь, Морель, ты не питаешь иллюзий насчет того, что тебя ожидает, – сказал Эрбье. – Думаю, правда, что тебе плевать. Когда играешь ва-банк, всегда веришь, что выиграешь. Ты и выиграешь. Продырявят тебе шкуру, и все дела.

– Что ж, – ответил Морель, – шкура для того и существует, а?

– Не будь у меня жены и четырех детей, – воскликнул Эрбье, – я бы нажал курок и дело с концом! И радовался бы, что принес Африке хоть какую-то пользу. Но у меня ребятишки. Поэтому я должен себя сдерживать.

– Да ведь и нам не легче, – с улыбкой заметил Морель. – Зря угрызаешься. Мне тоже приходится себя обуздывать. Ограничиваюсь защитой слонов. Я человек скромный.

– Трус ты, – сказал Эрбье. – Пользуешься обстоятельствами. Знаешь, что мы не хотим применять силу, чтобы в мире не подумали, будто в стране уле начинается политический бунт и мы прибегли к репрессиям. . . Тебе, верно, платят, чтобы ты создавал такое впечатление. Поначалу я верил, что ты человек искренний. А теперь думаю, что тебя дергают за веревочку из Каира, а может, и еще откуда-нибудь. . .

– Вам не к чему применять силу, – дружелюбно возразил Морель. – Я готов сдать. Вы знаете мои условия. Вам достаточно запретить охоту на слонов в любой форме и принять необходимые меры для охраны африканской фауны. И я буду готов предстать перед судом. Хотя интересно знать, где вы найдете такой французский суд, который сочтет меня виновным. . .

Эрбье захохотал. Смех, быть может, был и не совсем натуральным, но чиновник очень старался. Затем его лицо вновь исказила ярость. Он жестом показал на молодых негров из Голы.

– А ты знаешь, чего они требуют? Ну-ка, спроси их. Пусть скажут. Ну же, говорю тебе, спрашивай!

Он крикнул юношам несколько слов на языке уле. Какое-то время те продолжали прятать-

ся за лошадьми, потом стало слышно, как они заспорили. Один из них, с бритой головой, явно моложе двадцати лет, выступил вперед и подошел к Морелю. По телу негра струился пот, кожа посерела от пыли; он встал перед Морелем и, постукивая дротиком о землю, быстро заговорил. Чувствуя, что его слушают, он все больше увлекался своей речью, даже подбросил босой ногой облако пыли в сторону инспектора. Эрбье мрачно слушал, не опуская карабина и не двигаясь. Иногда он кидал быстрые взгляды на Мореля, словно желая удостовериться, что тот понимает речь уле. Молодой негр говорил, что вот уже многие годы он и его соплеменники хотят добиться справедливости, но что теперь, благодаря Убаба Гива, благодаря Вайтари, они отвоюют свои права. Французы мешают им свободно охотиться и накладывают суровые штрафы на тех, кто нападает на слонов. Администрация не снабжает их нужным количеством пороха, им приходится самим отливать пули, и, когда они убивают слона, вытапывающего посева, у них забирают бивни. Это несправедливо. Он и его соплеменники – великие охотники, никакое другое племя – ни бонго, ни сара – не может с ними сравниться, но правительство вынуждает их томиться в деревнях, словно они женщины, и запрещает помериться силой со слонами. Они вынуждены сидеть сложа руки, пока грабители крейхи спокойно приходят из Судана и убивают столько слонов, сколько хотят, а потом отправляются восвояси, унося мясо, бивни, насмехаясь над уле, и никто им не перечит. Молодые воины уле уже не могут доказать, что они мужчины. На празднествах посвящения им приходится довольствоваться половыми органами буйволов, к величайшему стыду усопших предков, чем и объясняется такая низкая рождаемость в племени и то, почему среди новорожденных больше девочек. Скоро вообще не будет земель уле, ведь кто же не знает, что горы Уле – это стада слонов, убитых охотниками племени, на которых выросла трава. Он говорил отрывисто, чеканно; в конце речь его стала напевной, гнев утих, словно он его весь истратил, вместо гнева зазвучал пафос, с которым негр вызывал в памяти слушателей предание о рождении гор Уле. Но скоро, – заключил юноша, снова показывая пальцем на Мореля, – наши воины смогут порадовать духов предков, добавив к горам Уле много новых гор, которые протянутся до самого горизонта поверх убитых слонов. Он совершенно забыл о своем гневе и, упоенно витийствуя, возвысил голос, лицо его было исполнено важности; трудно было не верить, что страна Уле возникла не так, как он рассказывает, и Морелю пришлось встряхнуться, чтобы не подпасть под магию очарования слов, вот еще один будущий народный трибун!

– Ну как? – с удовлетворением произнес Эрбье. – Тебе объяснили?

– Я знаю обо всем этом уже много лет, – сказал Морель. – Я не расист и никогда не считал, что есть какое-то решающее различие между черными и белыми. Но это не причина отчаиваться. . . А теперь, папаша, ступай-ка ты отсюда, не то тебя переедут.

Они пустили лошадей вскачь, оставив инспектора и двух масаи в казалось бы вымершей деревне. Но вечером к Морелю вернулись и веселость, и оптимизм, и когда остановился на опушке бамбукового леса, – у его ног раскинулась беспредельная цепь холмов Уле, – он, окинув взглядом огромное окаменелое стадо, которое порою оживало и начинало двигаться, подошел к Минне и, расставив ноги, с улыбкой поглядывая на только что свернутую сигарету, стал говорить о том, что они видели вокруг себя, изредка взмахом руки показывая на пейзаж, где, казалось, присутствовало все, что радует душу. В голосе Мореля звучало удовлетворение и даже какое-то самодовольство, – он явно рассчитывал, что его «хитрость» поможет ему достичь цели.

– Понимаешь, если я просто скажу, что они мне отвратительны, что пора уже жить по-другому, уважать природу, понять наконец, как обстоит дело, и сохранить какое-то пространство для человечества, где найдется место даже для слонов, это их не очень-то проймет. Они лишь пожмут плечами и скажут, что я одержимый, юродивый, слащавый гуманист. Поэтому



надо вести себя хитро. Вот почему я не мешаю им думать, что слоны – лишь предлог, что за всем этим кроются политические соображения, которые их прямо касаются. И тогда они не смогут не озаботиться, не встревожиться, поймут, что необходимо действовать и воспринимать меня всерьез. А мудрее всего будет отнять у нас предлог, то есть полностью запретить охоту на слонов. Что и произойдет на конференции в Конго. Я ведь только того и хочу, А потом. . .

Он махнул рукой.

– Всегда надо с чего-то начать. . .

. . . А отец Фарг уже столько недель ездил по горам Уле в поисках нечестивца, желавшего, чтобы человек сам был своим защитником и покровителем и считал себя настолько великим и могущественным, что готов был взять на себя эту задачу, думая, что не нуждается ни в ком:

– Мне бы его найти, друг мой, я ему так врежу, что искры из глаз посыпятся, и он, может, прозреет при их свете; я научу его, к кому надо обращаться со всякими петициями и воззваниями!

. . . А Пер Квист после ареста сидел очень прямо перед чашкой горячего чая и резкие морщины на лице больше говорили о его силе, чем о прожитых годах;

– Я – старый натуралист. Защищаю все корни, которые Бог посадил в землю, а также те, которые он навечно внедрил в человеческую душу. . .

. . . А полковник Бэбкок лежал на койке в военном госпитале Форт-Лами, часовой-сенегаец стоял у дверей на веранду – словно вооруженный солдат мог помешать готовящемуся бегству. Войдя, Шелшер поразился безукоризненно расправленным одеялу и наволочке, что красноречивее говорило о полном истощении пациента, чем о хлопотах сиделки. Полковник Бэбкок уже не скрывал чувства юмора – единственная попытка непослушания, дозволенная офицеру ее величества:

– Достоинство, вот что он защищал. Он хотел, чтобы с человеком обращались пристойно, чего до сего времени не случалось нигде, – конечно, кроме Англии. Это была великолепная форма протеста, к которой человек из хорошей семьи не мог остаться равнодушным. . .

Он перевел дыхание. В комнате послышался сухой треск, исходивший из картонной коробки, стоявшей у изголовья постели. Коробочка была открыта. Внутри находился стручок мексиканского кустарника, который иногда чуть-чуть подпрыгивал. И полковник тогда на него дружелюбно поглядывал. Все в Форт-Лами знали его маленькую блажь; он повсюду таскал с собой одно из этих мексиканских зернышек, внутри которых живут червячки, что пытаются судорожными рывками сбросить с себя стесняющую оболочку, заставляя стручок подпрыгивать. Всякий раз, садясь за столик на террасе «Чадьена», полковник Бэбкок первым делом открывал свою коробочку и ставил перед собой. Иногда он знакомил с ее содержимым присутствующих:

– Meet my friend Toto\*, – говорил он, и стручок выбирал как раз этот момент, чтобы подпрыгнуть. Тогда полковник заказывал стаканчик виски для того, кого как-то назвал «своим товарищем по несчастью». В «Чадьене» уже никто не обращал внимания на эту невинную прихоть; тут видали и не такое.

– Конечно, в его поступках не последнюю роль играет одиночество. Я могу утверждать это со знанием дела, ведь только в последнее время мне повезло, и я обрел настоящего, верного друга. . .

Стручок в коробке чуть-чуть подскочил, и полковник улыбнулся. Исхудалое лицо, внеш-

---

\*Познакомьтесь с моим другом Тото (англ.).

ность испанского гранда, седая бородка, неподвижно лежащие руки – он вовсе не походил на террориста, хотя им-то как раз и был: юмор – бесшумный, вежливый динамит, который позволяет взрывать ваше положение всякий раз, когда оно вам уже невтерпеж, но весьма незаметно, не оставляя грязных пятен.

– Бедный Тото, – сказал полковник. – Из-за меня портит себе кровь. Его беспокоит мое сердце. До чего же приятно сознавать, что кто-то будет по тебе тосковать. Если то, чего он боится, произойдет, могу я попросить, чтобы вы его опекали? Ах да, ведь сами вы уже пристроены, – говорят, хотите уйти в монастырь?

В черных глазах Бэбкока светилась такая доброта, что на слова его нельзя было обидеться.

– Думаю, Морель защищал свое понятие о человеческом достоинстве, то, как с нами здесь, на земле, обращаются, его возмущало. В нем жил англичанин, хотя он сам того не сознавал. Короче говоря, мне казалось совершенно естественным, чтобы английский офицер принял участие в этом деле. . . В конце концов, наша страна славится любовью к животным. . .

Тото подскочил, ему, видно, стало смешно.

– И поэтому однажды утром я взял свой пикап, взял Тото, – у него ведь тоже благородная душа, – оружие и боеприпасы и направился к горам Уле, где, как говорили, находится этот француз с еще несколькими непокорными. . . Но, как вам известно, уехал не слишком далеко. Уж не знаю, виновато ли тут волнение или же просто пришло время для того физиологического недоразумения, которое зовут смертью, но поблизости от Голы со мной случился тяжелый сердечный приступ, и я в итоге оказался тут, с часовым у двери, чтобы не смог бежать. Прокурор сообщил, что меня будут судить за соучастие в преступлении. . .

Но, поговорив с врачом, Шелшер больше не думал, что полковнику придется подвергнуться такому испытанию. Он и правда через несколько дней умер, и его последняя воля была скрупулезно выполнена, несмотря на откровенное неудовольствие английского консула, специально приехавшего из Бразавиля, чтобы присутствовать на похоронах. Он счел вполне естественным, что гроб полковника покрыли британским флагом, но то, что на флаг положили стручок, который во время всей церемонии не переставал чуть-чуть подпрыгивать, показалось почтенному чиновнику верхом дурного вкуса, – вот прямое свидетельство того, к каким пагубным последствиям приводит жизнь среди французов некоторых личностей, не сумевших зацепиться за спасительные правила своей древней родины.

. . . А Хаас, наконец-то выйдя из тростниковых зарослей Чада и узнав, что решено организовать экспедицию против Мореля, заявил, что непременно примет в ней участие.

– Если он и впрямь защищает слонов, я сниму шляпу и пойду за ним. Но если он ими пользуется для политических целей или просто лукавит, если это какой-то трюк, пропаганда, – я хочу участвовать в облаве, чтобы научить его не пачкать последнюю чистую идею, которая еще живет в людях. . .

Но если разные люди по-разному объясняли то, что произошло, те, кто пережили это рядом с Морелем, единодушно заявляли, что им руководила только одна мысль: уберечь слонов. Он проводил целые часы, укрывшись за деревьями и наблюдая этих гигантов на воле, и его глаза светились радостью; Идриссу часто приходилось хватать Мореля за руку, чтобы он не подходил чересчур близко к животным. По вечерам, вернувшись в лагерь, он садился у огня, зажав коленями карабин и сдвинув на затылок шляпу, и заводил речь с тем выговором человека из предместья, который всегда звучал отчетливее, когда он бывал счастлив или чем-то растроган.

– По существу, я хочу, чтобы когда-нибудь чернокожим детишкам внушали в школах, что это француз Морель спас слонов и заставил уважать природу Африки. Я хочу, чтобы об этом говорили так же, как и о том, что Флемминг изобрел пенициллин. Видишь, и у меня есть

своя корысть. Может, я когда-нибудь и Нобелевскую премию отхвачу, если учредят такую, за гуманизм. . .

Он воображал себя человеком популярным, окруженным всеобщим сочувствием и всегда разговаривал так, будто в мире живут миллионы чудил, которым только и дела, что восхищаться красотами природы. Всякий раз, когда он смотрел, как стадо антилоп скачками несется сквозь желтые травы, глаза его блестели от удовольствия; чувствовалось, что он счастлив. . . Минна даже улыбнулась воспоминанию, а потом слегка задумалась и вздохнула. Должно быть, он изрядно настрадался в плену, на этой «живодерне», как он выражался. Вот, видно, в чем дело. Как-то вечером они заметили, что горизонт заволокло дымом, и поймали жителей одной деревни на том, что те возвращались с охоты, на которой подожгли саванну, – пожар продолжался несколько дней и опустошил целый район. Мореля обуяло бешенство, и он приказал сжечь хижины всех старейшин деревни. . . Минна подняла голову и посмотрела на Шелшера.

– На суде говорили об этом как о примере его «помешательства». . . Я пыталась объяснить, но меня не стали слушать. Этим людям не приходилось пускать пузыри, разве им понять?.. Хотели доказать, что отряд состоял из нигилистов, только о том и твердили. И вопросы мне задавали для того, чтобы доказать, будто я какая-то заблудшая девка, злая на весь свет и вот пожалуйста. . . Им надо было отвечать только «да», «нет», «да», «нет»; и в конце концов я пожала плечами и позволила говорить все, что им вздумается, понимаете, мне уже было безразлично. . .

. . . В зале уголовного суда жужжание вентиляторов будто озвучивало жару.

– Значит, вы присоединились к Морелю исключительно из любви к природе?

– Да.

– Чтобы помочь ему в его кампании по защите природы?

– Да.

– И у вас не было никаких других мотивов?

– Никаких.

– Имели вы половые сношения с Морелем?

– Да.

– До или после того, как вы за ним последовали?

– После.

– Вы были в него влюблены?

– Я. . .

– Говорите, мы вас слушаем.

– Не знаю. Все было не так. . .

– Все дело было в вашей любви к природе?

– Да.

– Правда ли, как сообщает немецкая полиция, что после освобождения вы работали, если можно так выразиться, в публичном доме?

– Я. . .

– Отвечайте: да или нет.

– Да.

– В течение какого времени?

– Когда брали Берлин, русские солдаты заперли нас в одной из вилл Остерзее. И там изнасиловали. Мы находились на этой вилле несколько дней. Потом, когда прибыла военная полиция, нас назвали проститутками, чтобы скрыть случившееся.

– После того как вы покинули эту... как вы выражаетесь, виллу, вы возвратились к вашему дяде?

– Нет, какое-то время я пролежала в больнице.

– Вы были больны?

– Да, у меня была венерическая болезнь и начало беременности.

– У вас был ребенок?

– Больничные врачи сделали мне аборт.

– По вашей просьбе?

– Да.

– Сколько вам тогда было лет?

– Семнадцать.

– Вы, вероятно, питали ненависть к мужчинам?

– Я была очень несчастна, но не питала ненависти ни к кому.

– Ни на кого не были в обиде?

– Ни на кого.

– И вскоре после выхода из больницы даже стали любовницей русского офицера?

– Да.

– И долго вы с ним прожили?

– Три месяца.

– А потом?

– Он дезертировал, чтобы остаться со мной. Дядя донес на Игоря, и больше я его не видела.

– Вы подбивали его на дезертирство?

– Нет.

– Вы были в него влюблены?

– Да.

– И ваш дядя на него донес?

– Да.

– Офицер был арестован?

– Да.

– По вине вашего дяди?

– Да.

– И вы остались совсем одна?

– Да.

– И что вы стали делать?

– Вернулась к дяде.

В зале все замерло. Председатель помолчал, чтобы усилить впечатление от слов Минны.

– Значит, вам было безразлично, что он донес на человека, которого вы любили?

– Нет, мне это не было безразлично.

– И все же вы к нему вернулись?

– В то время в Берлине трудно было найти жилье.

– Вы когда-нибудь слышали о русских нигилистах?

– Нет.

– Значит, вы вернулись жить к своему дяде?

– Да.

– Вы имели с вашим дядей половые сношения?

Защитник в негодовании вскочил.

– Господин председатель, подобные вопросы не делают чести французскому правосудию.

– Я требую, чтобы обвиняемая ответила на мой вопрос. У нас имеется отчет берлинской полиции и заверенные свидетельства межсоюзной контрольной комиссии. Находились ли вы в половой связи с вашим дядей?

– Он не был моим настоящим дядей, – ответила Минна, голос ее слегка дрожал. – Он был мой свойственник. . .

– Вы имели с ним половые сношения?

– Мои родители погибли во время бомбежки, когда мне было пятнадцать лет, и он меня подобрал. И тогда же силой заставил меня вступить с ним в половые сношения.

– И вы не пожаловались в полицию?

– Нет.

– Почему?

– Мне было стыдно.

– Вы предпочитали половые сношения с вашим дядей жалобе в полицию?

– Да. И потом. . .

– Что, «потом»?

– Это не имело такого уж значения. Погибли миллионы людей. . . Весь город в развалинах, дети умирали на улицах. Важно было совсем другое.

– Сексуальное поведение людей не имеет для вас никакого значения, не так ли?

– Важно совсем не это, – упрямо повторила она.

– А потом вы. . . голая выступали в берлинском ночном кабаре?

– Да.

– Вам приходилось вступать в половые сношения с клиентами?

– Да.

– За деньги?

– Да.

– И вы этому не придавали никакого значения? Ни во что не ставили?

Она с отчаянием озиралась вокруг, словно искала кого-то, кто ее поймет и возьмет под защиту. В зале сидел Шелшер, который, положив на колени кепи, дружелюбно поглядывал на Минну. Сидевший между двумя белыми священниками Сен-Дени вскочил, а потом снова сел с бледным как мел лицом. На скамье подсудимых Пер Квист скрестил на груди руки – вид у него был спокойный и суровый, а Хабиб, по-видимому, от души веселился. Форсайт опустил голову. Только Вайтари и сопровождавших его молодых людей все это, как видно, ничуть не трогало, и они, казалось, даже не слушали, о чем шла речь. Им явно было все равно. Минна еще немного поискала сочувствия; потом на ее щеках заблестели слезы.

– Тем не менее вы утверждаете, будто присоединились к Морелю с оружием и боеприпасами, не испытывая никакой особой вражды к людям?

– Я хотела все бросить. . . Хотела ему помочь. . .

– И для того присоединились к Морелю? Чтобы ему помочь?

– Да.

– И уверяете, будто не питали ни к кому зла?

– Я хотела помочь ему защищать слонов.

– Вы были в него влюблены?

– Не знаю.

– Вы хорошо знали Мореля?

– Нет. Я видела его только однажды.

– Чего оказалось достаточно, чтобы пуститься в авантюру, последствия которой вы, несомненно, могли предвидеть?

Она помолчала, ухватившись руками за загородку, яростно мотая головой, словно стремясь отряхнуться от вопросов. И все же последнее слово осталось за ней. Минна оглядела судей с тем упорством во взгляде, которое присутствующие уже заметили, и сказала:

– Морель верил во что-то чистое.

... В двухстах метрах оттуда купец Араф Ирнит из Кано, неспешно продав свою партию мирры, уселся под акацией, рядом со своим ослом и с книгой в руках решил передохнуть; губы его безмолвно шевелились, произнося суру: *«Я поверил в вечно Живого, Кто не умирает. Слава Господи, у которого нет потомков, нет совластителей в Царстве Его и кому не нужны пособники. Да возгласим величие Его. Ты здесь лишь временный жилец. Слава Тому, кто был сокровищем сокрытым и дал познать Себя, и создал все сущее...»* Губы его шевелились, взгляд, озирая пустынную площадь, задержался на осле, проследил за тремя женщинами в черных покрывалах с кувшинами масла на плече; губы зашевелились быстрее, Араф прикрыл глаза и уперся кулаком в грудь. *«Нет другой Кровли, нет другой Двери, нет другой Красоты, нет другой Нежности. Войди, Желанный, в сердце мое, в глаза мои, в мои уста. Ты, кто подъемишь камни...»* Он на минуту задумался, не продешевил ли с ценой, сразу же, легонько покачиваясь, ударил себя в грудь, потом снял очки и вытер глаза. *«Благодарю Тебя за то, что Ты – это Ты, Ты богат, а создание Твое – нище. Ты пресветел, а создание Твое подло. Ты безграничен, а создание Твое презренно. Ты велик, а создание Твое ничтожно. Ты всесилен, а создание Твое жалко. Я благодарю Тебя, что Ты – это Ты...»* Он распевал, время от времени поглядывая то на тень акации, которая на площади становилась все длиннее, то на всадника из племени гола, проезжавшего по площади, с лицом, закрытым синей тканью, то на стайку ребятишек, возившихся в вечерней пыли; а когда внимание Арафа несколько отвлеклось, снова заколотил себя в грудь, возвел глаза к небу, возвысил голос и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Когда почувствовал, что совсем отдохнул, он положил книгу в футляр, спрятал под бурнус, влез на осла, ударил того пяткой и двинулся по дороге, спрашивая себя, не рискованно ли поступает, отправляясь вечером в путь со столь крупной суммой, ведь все гола – воры, кто этого не знает. В тот же час, но немного южнее женщина из племени фулбе по имени Фатима, чей муж был стрелком в Феззани, сидела у дверей своей «handja» и принимала поздравления и подарки от соседней.

Внутри лежало тело мертвого ребенка, и Фатима улыбалась, дотрагиваясь до рук тех, кто принес провизию на дорогу младенцу, так рано ставшему избранником. Караван верблюдов, навьюченных кожаными тюками с солью, возвращаясь из Мурдука в Феззан, остановился в ста километрах восточнее первого источника – колодцев Сары, и пятьдесят человек в голой пустыне, в том числе знаменитый Камзин, который успешно провел пятьдесят караванов с автоматами к границам Алжира, опустили в своих белых бурнусах на колени и прижались лбами к песку, а Камзин – бельмо на глазу и изъеденный волчанкой нос – бормотал при каждом поклоне: *«Баракатум ил Хадици, ла Илахи, м'ана Тадхур Илахи... дел Кадхир, о Господи! Пребуди с нами, о Господи! Пусть Бараки д'Уваир, Барака властителей наших пребудет с нами...»* Полуприкрыв глаза, Шелшер мысленно видел всех тех, кто дал ему возможность закалить в исламе христианскую веру. В душе он посмеялся над своей убежденностью. Но знал, что тщетно протягивать руку тому, кто слишком далек от тебя. С чуть-чуть жестокой иронией он снова протянул Минне пачку сигарет. Она вдохнула дым, вновь натянула на колени юбку и озорно потрянула волосами. Ах, да она вовсе и не сердится! Их ведь тоже надо понять. Морель снова выскользнул из рук, вот они и отыгрываются на тех, на ком могут. Есть от чего прийти в бешенство, – разве люди не болтают, что Морель готовит налет на суд в самый раз-

гар заседания, что его узнали, переодетого купцом-арабом, что он организует «десант», чтобы освободить обвиняемых и отхлестать судей, – от того, кому удалась сионвилльская авантюра, всего можно ожидать! Власти никак не могут переварить того, что произошло в Сионвилле; восемь дней газеты не писали ни о чем другом, а ведь именно это и было целью налета, тем, из-за чего Морель на него и отважился. Новая конференция по защите африканской фауны должна была открыться в Конго, и Морель решил нанести, как он выражался, «увесистый удар», чтобы повлиять на делегатов и таким сенсационным образом привлечь к их работе внимание общества. Он со своими людьми находился тогда в пещере на опушке тропического леса, который поднимался из нагромождения камней, непроходимых зарослей бамбука и колючих кустарников на откосы Уле. В первый вторник июня за «партизанами» должен был приехать с противоположного склона массива Уле, по дороге из Лати в Сионвилль, грузовик; после налета четверо его участников: Морель, Форсайт, Пер Квист, Короторо и трое студентов с грузовика должны были добраться до суданской границы и Хартума, где Вайтари вел переговоры с представителями Насера. Идрисс должен был провести их к грузовику, потом вернуться в пещеру, а оттуда отправиться с Юсефом и Минной к озеру Куру, где Вайтари оборудовал так называемый опорный пункт. В некоторых газетных статьях этот пункт уже определяли как «центр подготовки армии освобождения Африки», и журналисты, по мере своего воображения, размещали его в двадцати различных районах Экваториальной Африки. Обе части отряда должны были соединиться у озера Куру и на грузовике проделать пятьдесят километров, отделявшие их от суданской границы. По выражению Форсайта, у которого перед дерзкой отвагой этого плана вдруг проснулась осмотрительность бывшего военного, отряд имел «почти такие же шансы добиться успеха, как я быть избранным президентом США вместо Айка». Между местом, где их должен был ждать грузовик, и Сионвиллем, в семи часах езды оттуда, были расположены административные центры двух округов. Даже если операция пройдет гладко, их непременно задержат на обратном пути. Он высказал свои соображения Морелю, который ответил, продолжая спокойно чистить винтовку:

– Беда твоя в том, что ты совсем не доверяешь ближним. Конечно, им дадут знать. Ну и что? Они постараются смотреть в другую сторону, только чтобы не заметить, что мы едем мимо. И все. А потом скажут, будто нас не видели. Уж ты мне поверь, людям тошно, будь они окружные чиновники или просто шпаки. Они читают газеты, знают, что творится на свете, и готовы нам подсобить. Сами они, быть может, на риск не пойдут, но радуются, когда кто-то пытается защитить природу. Зря сомневаешься.

Джонни Форсайт почесал голову, тщетно пытаясь поймать во взгляде Мореля хоть тень издевки, – тот был абсолютно серьезен. Единственное, что его смущало, – это близость сезона дождей. Пустынный район *waterless track* по дороге к Судану тянулся на восток от Уле до озера Куру, – эти сто пятьдесят километров красной пыли, камней, молочая и скал без единого источника воды становились непроходимыми после нескольких часов дождя. Так как сейчас было только начало июня, с неба не упало еще ни капли. Вся Африка истомилась от суши. Когда спросили совета у Идрисса, тот долго отмалчивался, только поглядывал по сторонам прищуренными глазами; широко вырезанные ноздри подрагивали, словно пытались вдохнуть малейшие следы влаги, которая еще сохранилась в воздухе; потом он произносил: «Засуха продолжается». В лесу исчезли даже признаки жизни, звери убежали к источникам, которые, как они надеялись, не высохнут; тонкие струйки Гале давно испарились в своем каменном ложе. Отряду пришлось добывать себе воду в деревенских колодцах за пять километров от стоянки. Стада слонов изменили обычные сезонные маршруты и направились в Куру, воды которого никогда не высыхали. Но до озера было сто пятьдесят километров безводного пространства, и только взрослые животные могли на это отважиться. Идрисс бурно

жестикулировал, голая рука высунулась из завернувшегося на плечо рукава; он с непривычным жаром утверждал, что такой засухи на памяти людей еще не бывало, – слова в его устах обретали весомость, которую никто не смел оспаривать. Рябое лицо араба выражало суеверный страх, принявший форму крайнего благочестия. Он долго твердил молитвы, упершись лбом в землю; трогательно было видеть самого знаменитого проводника в ФЭА молящимся о спасении животных, которых помогал убивать всю свою жизнь. Чувствовалось, что он страдает, потрясен размерами предстоящего бедствия; отбивая поклоны, Идрисс время от времени брал щепотку земли, которая текла у него между пальцами как песок, и молча качал головой. Все они чувствовали, что самый воздух вокруг насыщен гнетущим страхом. Голоса джунглей смолкли; на рассвете на землю не выпало ни капли росы. Ветви, казалось, лишились своих соков и ломались от малейшего прикосновения. Животных совсем почти не было – ни буйволов в тех местах, где их постоянно видели тысячами, ни куду на холмах, ни кабанов, ни дикобразов в подлеске; у подножия деревьев начали попадаться дохлые павианы. Как-то раз они заметили старого слона, который в одиночку брел по руслу Гале, но в тот же вечер нашли труп животного, – стадо покинуло собрата, чересчур старого для такого перехода. В тот год на прибрежных песках Мозамбика обезумевшие от многодневной жажды слоны спускались к морю и через несколько часов дошли, упившись соленой водой; павианы с визгом кидались в деревенские колодцы и тонули там целыми гроздьями; урожай сгорел на корню по всей Центральной Африке, вплоть до Индийского океана, слово «вода» стало всеобщей и нескончаемой мольбой. У Мореля поубавилось уверенности и он подолгу вглядывался в небо, словно искал в нем хоть тень милосердия. Форсайт наблюдал за ним с легкой иронией, не решаясь насмеяться в открытую; только раз, положив руку на старый кожаный портфель, который Морель повсюду с собой таскал, на неизменный портфель, набитый воззваниями и прожектами, он сказал:

– Теперь уж и не знаешь, к кому со всем этим надо обращаться. . .

Морель кивнул:

– Несомненно. Но у нас есть поговорка, народная мудрость, может, она в ходу и в Америке. . . Мы говорим: делай, что можешь, и будь что будет. . .

На следующий день с рассветом маленький «десантный отряд» из четырех мужчин углубился в чащу, чтобы совершить то, что должно было стать самой сенсационной выходкой человека, защищавшего слонов, и вызвать новый громкий отголосок во всем мире.



## XXIX

Форсайт потом утверждал, что три дня и две ночи похода через горы Уле, там, где верховая езда была невозможна, показались ему едва ли не более мучительными, чем знаменитый «марш смерти», который пришлось совершить пленным американцам по приказу корейского командования во время отступления от Сеула. Но рассказывал он об этом сразу же после ареста с удовольствием и даже не без самолюбования, явно подхлестнутого чтением газет, сообщавших об их налете на Сионвилль в самых восторженных тонах, – казалось, в глазах журналистов, воспевавших героизм и бескорыстие этой «горстки людей, которые, будучи отрезанными от всего мира в джунглях, доказали, что несмотря на самые жестокие испытания, выпадающие на нашу долю, мы все еще способны позаботиться о других особях и об охране природы, способны на великодушие и бескорыстие», блестят слезы умиления. – Что не мешает тем, кто это сочинял, – присовокупил Форсайт, – преспокойно просиживать штаны и ни во что самим не вмешиваться. . . Заметьте, они видят бескорыстие в том, что люди из кожи вон лезут, защищая природу, из чего явно следует, что эти молодчики хотят подчеркнуть разницу между человеческой породой и природой. Они еще не успели осознать, что когда защищают одно, то защищают и другое, – короче говоря, ни черта не поняли в том, что делает Морель. Ну и ладно. С их стороны очень мило считать нас героями, и я им благодарен. Должен вас заверить, что трехдневный переход чуть меня не доконал, тем более что за последние два года я потребил довольно солидное количество алкоголя и те дни стали для меня весьма мучительным лечением от алкоголизма. Бывало ощущение, что каждый кровавой шарик в моих жилах рычит от жажды и требует своего привычного рациона. Но я выдержал. Помню, раз, когда я уже не смог подняться после пятнадцатиминутного отдыха, Морель подошел ко мне с флягой виски в руке, – этот человек успевал обо всем подумать! К собственному моему удивлению, – себя ведь толком и не знаешь, – я отказался. Дал своим кровавым шарикам выть сколько влезет, – можно сказать, так и видел их воочию с разинутыми ртами – целые миллионы шариков, – встал и зашагал дальше под одобрительным взглядом Пера Квиста. Несмотря на негнущееся колено, эта старая скотина не проявляла ни малейших признаков усталости; я наблюдал, как он неумоимо карабкается, вверх и вниз по лесным прогалинам, по скалам и бамбуку, через заросли тростника и груды камней, пробирается сквозь чащу, в которой чередовались свет и тень, с почти сверхъестественным упорством, негибамый, словно бессмертный, за ним брел Короторо; неся на перевязи пулемет, локтем опираясь на ствол и время от времени скаля мелкие, великолепные зубы, чтобы нас подбодрить; сзади шагал Идрисс, чей синий бурнус так и мелькал среди деревьев, а замыкал шествие Морель, который сжимал свой неизменный портфель, набитый воззваниями и петициями, – для меня этот портфель стал просто символом его безумия. . .

Мы прибыли на место встречи в пять часов утра и увидели грузовик. Идрисс, не говоря ни слова, снова углубился в чащу. У костра сидели три молодых негра; увидев нас, они разом вскочили и схватились за пулемет. Морель подошел к ним.

– Лентяи! – бросил он. – Никто вас не знает, никто вас не подозревает, а вам надо, чтобы непременно заметили. Ну-ка, давайте сюда ваши поливалки.

Трое молодых людей озирались, кого-то высматривая, и один из них произнес наконец имя Вайтари. Морель объяснил, что их начальнику пришлось отправиться в Судан раньше, чем предполагалось, и что он перепоручил ему руководство экспедицией. Юноши были обескуражены. Чувствовалось, что они безраздельно преданы своему вождю, готовы пойти за ним

в огонь и воду и, если нужно, умереть с ним рядом. Его отсутствие их беспокоило, лишало уверенности в своих силах и сбивало с толку. Одного из них звали Маджумба; этот парень с могучими плечами был из племени уле и прятал свою нервозность под насуспенной миной; даже его голос, сообщавший французскому языку, которым он прекрасно, до тонкости владел, быстрый гортанный ритм родной речи, всегда звучал запальчиво. У второго, Ингеле, было тонкое, нежное лицо; мечтательная красота и застенчивость свидетельствовали о сентиментальном характере и утонченных чувствах, которые от столкновения с действительностью вылились в некое тайное устремление; он мало интересовался политикой и смущался, когда его друзья заводили на эти темы спор; казалось, он примкнул к ним, как те романтические юноши, которые когда-то шли умирать рядом с Ипсиланти; к тому же, обладая почти женственной грацией, он старался всячески доказывать свою мужественность. Самый доброжелательный из троих, самый образованный и, быть может, по природе своей самый храбрый, он был в полном подчинении у своих товарищей, особенно у Маджумбы, за которым слепо шел, даже охотнее, чем за Вайтари, – того он видел всего раз и, как скоро выяснилось, знал главным образом по пламенным рассказам других. Он лучился той чистотой, которая придает юности редкостную власть над людьми; Морель мгновенно проникся к нему симпатией, быть может, распознав в нем то же воодушевление, какое обуревало кое-кого из его сподвижников. Третий, Н'Доло, сын одного из самых богатых купцов Сионвилля, чей грузовик, правда без ведома владельца, обслуживал экспедицию, был мозговым центром троицы; выразительное, подвижное лицо пыталось изобразить отчужденность и хладнокровие; он явно сознавал, что людей его расы упрекают в излишней возбудимости; это был тип первого ученика, который решил перейти от слов к делу и от теории к практике; он рассказал Морелю, что и он, и его товарищи образование частично получили во Франции, «потому что были детьми привилегированных родителей». Поговорив с ними несколько минут, Морель явно огорчился, нахмурился и в ответ на недовольную гримасу Форсайта пробормотал:

– Ну да... им еще и двадцати-то нет...

Потом он влез на грузовик рядом с сидевшим за рулем Н'Доло. Всю дорогу студент не переставал его о чем-то спрашивать, не ожидая ответа, стараясь скрыть за своей болтовней неуверенность подростка, желающего вести себя на равных с сорокалетним мужчиной. В его словах чувствовались враждебность и раздражение, вызванные, надо думать, отсутствием Вайтари, и неловкость в обществе человека, которого он считал одержимым, чьи цели должны были казаться ему на редкость наивными, не имеющими ничего общего с его собственными. Он не уставал вновь и вновь это подчеркивать, уставившись на узкую дорогу, обрамленную бесконечными рядами деревьев, иногда снимая руку с руля, чтобы поправить на носу совершенно не нужные ему очки; для него слоны были лишь средством пропаганды, образом наступательного могущества Африки, которую отныне никто не в силах задержать. Слоны были великолепным оружием в политической борьбе, поводом громко высказать гнев африканских народов против эксплуатации местных природных богатств иностранным капиталом. В Африке не забывают, что колониализм насаждали для того, чтобы грабить слоновую кость, прежде чем кинуться на более прибыльную добычу. Лично ему от слонов ни тепло ни холодно. Они ведь в сущности анахронизм, обуза для современной Африки, для ее индустриализации и электрификации, – пережиток темного родового строя. Он обернулся к Морелю, который, ничего не говоря, спокойно смотрел вперед. Н'Доло поправил на носу очки и чуть было не посадил грузовик в глубокую рытвину. Борта машины царапали кусты; дорогу неспешно и даже не повернув головы, пересек леопард. Перед грузовиком сваливались с деревьев и кидались прочь бабуины, – самка хватала цеплявшихся за ее шерсть детенышей, самец, издавая воинственные возгласы, бежал сзади, и вся семья с визгом скрывалась в чаще.

– С нас хватит, – сказал Н’Доло, кивнув в сторону животных, – мы больше не желаем служить для всего мира зоопарком; мы хотим иметь фабрики и трактора вместо львов и слонов. Для того чтобы добиться этого, нам надо прежде всего покончить с колониализмом, который является причиной экзотического загнивания, полезного ему главным образом тем, что поставляет дешевую рабочую силу. Надо избавиться от пережитков прошлого, чего бы это ни стоило, а потом с той же энергией и столь же непреклонно вести пропаганду в массах; стереть из памяти племенное прошлое, всеми средствами вбивать в головы, отупевшие от примитивных представлений, новые политические понятия. Конечно, диктатуры на какой-то период не избежать, ведь массы еще не готовы для самовластия; действия Ататюрка в Турции и Сталина в России исторически оправданны. . .

Морель слушал невозмутимо; он давно уже не питал иллюзий насчет того, что ждет Африку. Вдобавок следовало учитывать молодость и нервное состояние этого одинокого и не уверенного в себе юнца, который перед ним куражился. Пламенные речи были чем-то вроде громкого пения в ночном лесу, чтобы придать себе храбрости. Жаль, подумал Морель, что такому юному пареньку так мало надо. Когда ты молод, нужно смотреть на мир по-крупному, выглядеть щедрее, непримиримее, не идти на компромиссы, на ограничения. . . Но попробуй объясни этим узколобым юнцам, что мало самим идти вперед, надо взвалить себе на плечи еще и слонов, привесить к ноге такую гирю, – тебя сочтут за ненормального, что, в общем-то, так и есть. Вздернут плечи, почтут за маньяка, одержимого идеализмом, – а это понятие куда старомоднее, чем слоны – отсталое, отжившее, анахроничное. Не поймут. Быть может, потому, что они еще не нюхали концлагеря, этой вершины утилитаризма на пути вперед. Не поймут, до какой степени защита человеческого пространства, достаточного, чтобы вместить даже слонов, может стать единственной достойной задачей цивилизации, каковы бы ни были политические системы, доктрины или идеологии, которые прокламируют люди. Эти юноши провели несколько лет в Латинском квартале, но им следовало бы получить другое образование, а его ни школы, ни лицеи, ни университеты дать не могут; им надо научиться человечности. В один прекрасный день, когда у него будет небольшая передышка, он постарается все это объяснить, – ну а пока надо довольствоваться тем, что они предоставили грузовик. Конференция по охране африканской фауны состоится в Букаву через восемь дней; как правило, ее решения никак не освещаются в печати. Но на этот раз он постарается, чтобы было по-другому. . . Морель с удовлетворением вздохнул, сунул пальцы в кисет и принялся сворачивать сигарету. Грузовик вдруг резко затормозил, и Морель стукнулся о ветровое стекло. Суматошно вспорхнули красные куропатки, шарахнулся прочь дикобраз, задрожали и пригнулись от оглушительного грохота дерева – из чащи медленно вышло около двух десятков слонов, которые загородили дорогу. Отряд находился на границе национального парка Биунди, и животные, как видно, чувствовали себя тут в безопасности, а может быть, засуха внушила им равнодушие ко всему, что не стало их первостепенной заботой; на грузовик они, во всяком случае, не обращали никакого внимания. Лишь один слоненок из всего стада повернулся к ним с надеждой и готовностью пошалить, но мать тут же призвала его к порядку. Великаны какое-то время шагали вдоль дороги, а потом свернули направо, оставив после себя вороха сломанных веток, а также пригнутые к земле или вывороченные с корнем деревья. Н’Доло беспомощно взмахнул рукой.

– Ну, как вы хотите со всем этим построить современное государство? – спросил он, повернувшись к Морелю.

Француз, уминавший, когда грузовик затормозил, пальцами табак, сидел неподвижно; листок папиросной бумаги прилип к нижней губе, карие глаза смеялись, лицо выражало такое удовольствие, что студент только с досадой махнул рукой и замолчал; да он и вправду сла-

боумный, никак не очухается после концлагерей. Вайтари прав, пытаюсь использовать его манию в своих целях, но разговаривать с ним серьезно – пустая затея.

Сидя за складным столом перед соломенной хижиной, где он разместил свой операционный пункт, начальник медицинской службы Секкальди рассеянно слушал отца Фарга, изливавшего на него потоки негодования, скопившегося за неделю тщетных странствий по землям уле в поисках Мореля, при отсутствии других слушателей, кроме коня Бютора. Секкальди не без опаски наблюдал, как бочкообразная фигура монаха переваливает через холм, и решил пожертвовать своим кратким отдыхом между двумя операциями. Францисканец, сияя на солнце тонзурой, – правда, всего лишь потный, – грозно обличал эту «свинью», «преступника», «богохульника», которого он так неутомимо преследовал, чтобы научить уму-разуму. Чернокожие крестьяне в белых рубашках сидели на земле перед походной операционной, ожидая своей очереди с терпением, которое питала, быть может, надежда, а быть может, безнадежность. Вспыхнувшая в ФЭА эпидемия онхоцеркоза заставила власти предпринять решительные меры. Военные вертолеты, выделенные для этой операции в Оресе, беспрерывно опрыскивали с воздуха болота и реки, где водились мошки, вызывающие эпидемию; однако болезнь уже согнала с места целые поселения; девяносто тысяч гектаров возделанных земель были покинуты; в некоторых деревнях ослепла половина жителей. Секкальди вырезал кисты по сути дела безостановочно, с начала кампании спал не больше трех часов в сутки. Естественно, его мало интересовал Морель со своими слонами и гораздо меньше – бывший депутат Уле и пресловутая «армия африканской независимости», о которой тоже упорно говорили. Однако отец Фарг давно сражался со злом во всех его проявлениях, поэтому врач слушал монаха со всем вниманием, на какое еще был способен.

– Дюпарк уверяет, будто эта мания возникла у него в нацистском концлагере. Там они изобрели способ бороться с замкнутым пространством барака и колючей проволокой, воображая громадные стада слонов, бегущих по вольным просторам Африки... С тех пор все и пошло.

Секкальди смотрел на длинную вереницу крестьян, которые шли по деревне. Он подсчитывал в уме число безнадежных больных: тех, кого вели или кто опирался на палку. Спрашивал себя, почему слепые всегда смотрят в небо. Правда, число неизлечимых за неделю все же уменьшилось.

– Возможно, – рассеянно произнес он. – Он, в сущности, мог заболеть тем, что мы на нашем медицинском жаргоне зовем навязчивой идеей.

– Ну и что? – закричал Фарг. – Думаете, что только он один мечтает о полной свободе? И мы тоже! Но пусть ведет себя как все, запасется терпением, и она придет, надо только обождать. У всех у нас боязнь замкнутого пространства, всем нам тошно в камере... в каменной клетке!

Он яростно стукнул себя кулаком в грудь.

– Все мы живем в этом бардаке, не он один! Нет ни одного настоящего христианина, который не мечтал бы обрести свободу. Но позвольте, не так-то все просто! Надо встать в очередь, как все люди, подняв глаза кверху на Того, кто создал душу и ее тюрьму, кто запер одну в другую! А?

– Конечно, конечно, – с изысканной вежливостью отозвался Секкальди.

Он встал.

– Прошу извинить, но у меня на руках вся деревня... .

Явно довольный своим мощным богословским экскурсом, Фарг тоже поднялся.

– Пошли, – сказал он. – Я ведь приехал, чтобы вам подсобить.

В кузове грузовика Джонни Форсайт сидел между Ингеле и храпевшим у него на плече Короторо и был вынужден выслушивать длинную обличительную речь Маджумбы о негритянской проблеме в США. Студент располагал на удивление подробными данными и без устали приводил цифры и факты. Линчевание, сегрегация, экономическое положение негров на юге и в больших городах; пока грузовик катил по узкой дороге через леса уле, молодой человек излагал ему все это с негодованием, чуть было не приписывая Джонни личную ответственность за все безобразия. Форсайт узнавал в речи молодого негра дословные выражения из обличительных речей против расизма в Америке, которые, когда он был в корейском плену, ему приказывали вещать по радио.

– Да, – сказал он. – Знаю, тут многое правда. Я в свое время целую речь произнес по этому поводу. . . Вокруг нее даже поднялся шум.

Он попытался прогнать воспоминание, разразившись смехом, в котором не было и тени веселья. Доброго Ингеле успокоил примирительный тон американца. Форсайт не мог понять, что среди них делает этот застенчивый юнец со своей хрупкой внешностью, длинными ресницами и тонкими чертами лица, дышавшими благородством, которое, быть может, было всего лишь красотой. . . В этой красоте не было женственности, но, как и большинству юношей его лет с такой мягкой внешностью, Ингеле нередко приходилось выслушивать оскорбительные шутки, и, быть может, его участие в этом безумном предприятии, обреченном на провал, рядом с двумя оголтелыми националистами только тем и объяснялось, – идеи тут играли минимальную роль по сравнению с пламенным юношеским желанием доказать свою отвагу, хотя бы и ценою жизни.

– Вы поразительно осведомлены, – сказал Форсайт. – Не сомневаюсь, что учились вы во Франции?

– Да, я действительно получил хорошую политическую подготовку в Париже, – ответил Маджумба. – Тут меня воспитывали священники, но разве у них чему-нибудь научишься? Это ископаемые, пережитки ушедшей эпохи. . .

Он замолчал, смущенно покосился на Пера Квиста, а потом опустил глаза на карманную Библию, которую держал в руках датчанин. Но старый авантюрист его не слушал. Положив на колени Библию, он дремал. Он не спал по ночам больше одного-двух часов и по этому признаку понимал, что постарел, хотя других симптомов старости ни в сердце, ни в характере не замечал; теперь он все чаще пребывал в состоянии полубодрствования, где-то между прошлым и настоящим, отдавался воспоминаниям о пейзажах, животных, лесах, заповедниках; иногда мелькали лица давно исчезнувших людей, злобные, глумливые или глупые, – встречные, попавшиеся ему на пути, от которых ничего не осталось. Глаза ученого были полуоткрыты, ресницы застыли в неподвижности, хотя он и видел, как поднимается бледное солнце над оленьими стадами в Лапландии, в тайге Дальнего Севера, где даже холод серо-голубого цвета. Потом видение сменилось другим: перепуганные физиономии мальчишек, которые живо отскочили от дерева, когда он, в возрасте девяти лет, впервые замахнулся на них дубинкой и, защищая птичье гнездо от малолетних грабителей, проявил тот дурной характер, которым прославился. Затем возникали леса Финляндии, которые мало-помалу приносят в жертву бумажной промышленности; он сперва боролся за них с царскими чиновниками и, поскольку все призывы остались втуне, вместе с несколькими студентами организовал летучий отряд, который напал на лагеря лесорубов. Стали, конечно, поговаривать, что он преследует политические цели и что леса – только повод, чтобы вырвать Финляндию из рук царского правительства; дело и правда кончилось тем, что он стал бороться за свободу Финляндии, – одно было связано с другим. Нет, он никогда не шел ни на какие сделки, когда это касалось его принципов как натуралиста и хранителя животного мира – единственное официальное

звание, которое он не презрел, работа стоила ему побоев, увечий, врагов, оскорблений и издевательств, высылка из страны и сидения в тюрьмах, – память не могла удержать, сколько дней он там провел. Датчанин оперся на борт грузовика, сцепил громадные мозолистые руки на Библии, – жидкие седые волосы прилипли к вискам под лоснящейся фетровой шляпой, карабин зажат в ногах, а ресницы застыли над двумя щелочками выгоревшего за столько лет голубого цвета; он видел Северное море с его китами, спасенными и благодаря тому, что в один прекрасный день он разграбил помещение китобойного синдиката; гримасу медвежонка коалы, спавшего, вцепившись в его руку, словно в ветку, и лицо Фритьофа Нансена, – то был не только великий полярный исследователь, но и человек, обуреваемый глубочайшей любовью ко всем живым корням, которые всемогущая сила внедрила в землю и сердца человеческие; он так же, как и Морель, защищал человеческое пространство, которое всю жизнь отвоевывал у правительств, у политических систем, у тоталитарных режимов; он приехал навестить Пера Квиста в тюрьму и грустно ему сказал: «Пер, старина, тебя считают мизантропом, но ты моложе меня, проживешь еще долго, и когда-нибудь тебе придется встать на защиту другой породы животных, которой все больше и больше грозит гибель, – нашей породы. . . » Нансен посвятил этому делу последние годы жизни, именно он заставил утвердить паспорт для лиц, не имеющих гражданства, добился признания всеми странами их прав; Нансен верно предвидел: пришла пора, когда Перу Квисту пришлось проявить в полной мере свой дурной характер, чтобы бороться против лагерей смерти и принудительного труда, против водородной бомбы и скрытной, но уже видимой угрозы медленно скапливающихся на земле, в воздухе и в глубинах морей отходов мощных ядерных реакторов; пришлось громко кричать, участвовать в манифестациях против преступного равнодушия и пагубной уступчивости Физического конгресса в Женеве, готового «заплатить за прогресс» несколькими миллионами раковых заболеваний, – эту борьбу он вел с той же яростью, с какой когда-то защищал птиц. И он видел лицо своего друга, пастора Кая Мунка, расстрелянного нацистами за то, что он защищал один из самых крепких корней, которые небо пустило в человеческих сердцах, – свободу. Она подобна прикосновению божественной длани; он видел на рубеже веков индейцев из Вайоминга, которых еще можно было спасти, но их предпочли оставить в резервациях на произвол алкоголя, сифилиса и чахотки; видел коралловые рифы Австралии, куда поехал, чтобы дать отдых глазам и вернуть себе бодрость, ибо человек еще не успел замахнуться на эти две тысячи километров кораллов, полных жизнью сказочной и почти первобытной; вел борьбу против эрозии почвы, загубленной интенсивной обработкой; Пер Квист, изгнанный из одного места, нежелательный гость в другом, исключенный из такого-то института, из такой-то академии, а потом, десять лет спустя, когда факты доказали его правоту, приглашенный снова занять свой пост, правда, слишком поздно, – словно официальное признание могло искупить совершенное преступление (лишь преклонные годы и эксцентричность обеспечивали ему теперь некоторое снисходительное признание). Старый упрямец, Пер Квист, эта свинская рожа еще заставляет о себе говорить. . . Сколько драк, сколько усилий – и по-прежнему приходится защищать живые корни, эти ветви, поразительные по своему разнообразию и жизнестойкости, оберегать их без отдыха и срока. . . Даже Всемирная ассоциация по защите фауны и флоры и та не желает о нем слышать, пришлось покинуть ее руководящий орган, где дурно отнеслись к его «методам»; упрекали не только в чрезмерных крайностях как естествоиспытателя, но и в постоянном вмешательстве в политическую борьбу. . . И это было верно. Корни бесчисленны, красота их бесконечна и разнообразна, и некоторые так глубоко вросли в человеческую душу: беспрестанное, мучительное стремление ввысь и вперед, потребность в бесконечном, жажда, предчувствие чего-то иного, безграничное ожидание, – все это, сведенное к человеческим масштабам, есть потребность в собственном достоинстве. Свобода, равенство, братство,

достоинство. . . Нет корней более глубоких и при этом более хрупких. Пер Квист всегда непреклонно выполнял свою миссию натуралиста, и все те, кто пытался вырвать из земли корни, постоянно сталкивались с ним. Забот до сих пор предостаточно, а он так стар. . . «Однако злость, кажется, питает силы, – подумал он. – По-моему, у меня их еще на какое-то время хватит. . . »

Квист почувствовал на своем плече чью-то руку,

– Да?

– Я пытаюсь объяснить этому молодому человеку, что мы здесь делаем. В слонов он не верит. Не верит, что они нас действительно интересуют, что остальное нам не важно. Он говорит, что, может, для Мореля это и так, он ведь сумасшедший, но что, право же, есть более насущные задачи, что надо защищать другое, например законные потребности народов. Я объяснил: что касается меня лично, то я удрал к слонам только потому, что больше не знал, куда деваться. А ты?

– Ну, а мне, – сказал Пер Квист, как всегда серьезно и протяжно, так что трудно было заподозрить шутку, – было дано задание Музеем естествознания в Копенгагене. Вот и все.

Незадолго до захода солнца они увидели шедший им навстречу грузовик, и Морель вылез, чтобы помочь Н'Доло разъехаться на узкой дороге. Они не боялись, что их узнают: старые фотографии с удостоверений личности, которые были разосланы повсюду, имели мало общего с нынешним обликом партизан. Водитель грузовика оказался португальцем по фамилии Саншили. Он возвращался домой и рискнул поехать по дороге, которую двухчасовой дождь сделал бы совершенно непроезжей, как раз тогда, когда власти готовились укреплять запруды, – торопился к жене, которая рожала в Нгуеле, где у него склад. Это будет десятый ребенок. Они покурили и договорили, стоя посреди дороги; португалец жаловался на плохие дела. . .

– Я экспортирую слоновую кость, – сказал он. – Ну, сами понимаете, при всех этих пластмассах. . .

Морель, почесывая щеку, внимательно его разглядывал.

– Что же, – сказал он, поколебавшись, – желаю вашим десятерым детям и последующим, чтобы вы не встретили на своей дороге Мореля. . . Он вам кое-что поукоротит. . .

Маленький португалец затрясся от смеха.

– Здорово сказано. . . Непременно жене расскажу. Признаюсь, мне вовсе не улыбается его встретить. . . Вы же понимаете, я самый крупный торговец слоновой костью в районе. Ну, рад был познакомиться. Возьмите, вот моя карточка, если когда-нибудь проедете через Нгуеле. . .

– Не премину, – сказал Морель. – Обещаю. Говорите, склад ваш там?

– Ну да, как раз на повороте дороги. Не ошибетесь, там указано мое имя. Добро пожаловать. Всего хорошего и, может быть, до скорой встречи.

Морель поглядел ему вслед, а потом забрался в грузовик.

**XXX**

Около десяти часов вечера они проехали через Сионвилль, покатали вдоль реки, между манговыми деревьями, потом свернули на дорогу, по которой сделали еще пять километров, и наконец остановились на пригорке против имения Шаллю. Морель спрыгнул на землю. Спустилась ночь, тяжелая, со своей шумной жизнью; можно было вдохнуть ее испарения, ощутить близость; в гуще сада хор насекомых напоминал учащенное биение пульса, темнота подобно плоти вздрагивала, учащенно дышала; теперь, когда двигатель грузовика умолк, Морель слышал вокруг себя эту жизнь; как далеко до Сахеля и его пустоты! Кто-то тронул Мореля за плечо: Н'Доло.

– Я пойду с вами. . .

– Не может быть и речи. Останешься за рулем, как уговорено; если у тебя нервы недостаточно крепкие, чтобы вынести ожидание, надо было думать раньше. . .

Студент вернулся к грузовику. Морель взял свой набитый бумагами портфель и двинулся к решетке. Остальные уже ждали. Он единственный не был вооружен. В саду стояло в ряд полдюжины американских автомобилей. Этого они не ожидали.

– Проколоть шины?

– Нет. Если кто-нибудь захочет уехать, пусть едет. . . Если обнаружат дырявые шины, поднимется тревога. Впрочем, потом будет видно.

Приближаясь к вилле Шаллю – владельца газеты и одного из самых крупных горнопромышленников в районе, они увидели освещенные окна и услышали музыку. К террасе вело крыльцо с двойной лестницей; сквозь открытые окна виднелись танцующие пары. Короторо на миг приостановился.

– Ишь, откалывают, – сказал он, улыбаясь во весь рот.

Морелю пришлось стукнуть Короторо по плечу, чтобы он шел дальше. Но его насмешило, что этот негритос, не бывавший нигде кроме трущоб и африканских тюрем, вдруг заговорил на парижском жаргоне. Вот уж поистине чудо ассимиляции. Они оставили Пера Квиста и Ингеле в кустах перед домом, а сами пошли по аллее к типографии, помещавшейся под навесом в глубине сада. Морель вошел первый. Очередной номер газеты как раз готовили к печати. Двое негров в шортах играли в углу в шашки. Третий – старый седой печатник – сверял текст.

– Привет, ребята.

Игроки в шашки подняли головы. Лица у них оставались бесстрастными, но видно было, что они изучают пришельца. Печатник спокойно глядел на него поверх очков.

– Добрый вечер, – сказал он.

Двое негров словно застыли; рука одного будто приклеилась к шашке, которую он собирался двинуть. Форсайт дружелюбно справился:

– Кто выигрывает?

Послышался рокот автомобильного двигателя, скрип тормозов и голоса. Маджумба повернулся лицом к саду и взял пулемет на изготовку.

– Это, малыш, всего-навсего гости, – сказал старик. – Сюда они никогда не заглядывают. Морель, не торопясь, порылся в портфеле, вынул лист бумаги и положил на стол.

– Поместить на первой странице. . .

Печатник нагнулся над текстом, держа в руке карандаш:



«Всемирный комитет по защите слонов сообщает. Против охотников, не подчинившихся требованиям Комитета, были предприняты следующие санкции: ловец слонов Хаас, охотники Ланжевьель и Орнандо, застигнутые на месте преступления, подверглись телесному наказанию. Имущество охотников Саркиса, Дюпарка, склад слоновой кости Банерджи и дубильная мастерская Вагемана, который изготавливает вазы, корзины для бумаги, ведерки для шампанского и прочие декоративные предметы из слоновьих ног, были сожжены. Торговец слоновой костью Банерджи получил десять ударов плетью. Мадам Шаллю, «чемпионка» охоты на крупных животных, наказана публичной поркой. Чтобы развеять враждебные слухи, Комитет напоминает, что не имеет отношения к политике; всякие политические вопросы, все, что касается идеологических доктрин, партий, рас, классов и национальностей, ему совершенно чуждо. Он преследует исключительно гуманитарные цели и обращается к чувству собственного достоинства каждого человека, без всяких различий, не движимый ничем, кроме желания охранять природу. Комитет поставил перед собой точную и ограниченную задачу – охрану природы, а для начала – слонов и всех животных, которых в школьных учебниках всего мира называют друзьями человека, и полагает, что все люди, кем бы они ни были и где бы ни родились, могут и должны об этом договориться. Речь ведь идет о том, чтобы признать существование той области человеческой жизни, которую все правительства, партии, нации и люди вообще обязуются уважать, какова бы ни была неотложность и важность их дел, стремлений, созидательной работы или борьбы. В тот момент, когда в Букаву собирается новая конференция по защите африканской фауны и флоры, Комитет считает необходимым привлечь внимание мирового сообщества к трудам подобных конференций, которые зачастую вершатся в атмосфере всеобщего безразличия. Делегаты должны работать под пристальным наблюдением мирового общественного мнения. Комитет торжественно заверяет всех, что он прекратит свою деятельность, как только будут приняты необходимые меры.

От имени Комитета: (подпись) Морель».

Печатник как будто и не удивился. Пока он читал, Морель не без тревоги наблюдал за ним.

– Ну как? Что думаешь? Согласен?

– Сказано-то хорошо.

У Мореля был довольный вид.

– Тогда валяй.

– Наверно, лучше поместить в середине страницы, в рамке? – серьезно поглядев на Мореля, осведомился печатник.

– Делай как лучше.

– Красным?

– Давай красным. Надо, чтобы бросалось в глаза.

Печатник принялся за работу. Двое игроков не шевельнулись. Короторо подошел к ним и, усмехнувшись, рукояткой пулемета смешал шашки. Они испуганно завращали глазами, запрыгали кадыки, лица разом вспотели, но они по-прежнему хранили молчание. Форсайт заволновался.

– Тут у вас выпить нечего? – спросил он.

Старик сунул карандаш за ухо.

– Нет, но если хотите, я схожу на кухню за бутылкой пива.

– И предупредишь хозяина? – бросил Маджумба. – За кого ты нас принимаешь?

Старик не обратил на него внимания и обернулся к Морелю. Тот в это время скручивал сигарету.

- Ступай, – спокойно сказал Морель,
- С ума сошли! – закричал Маджумба. – А если у них есть телефон?
- Есть, – подтвердил печатник.
- Ступай, – повторил Морель, не поднимая головы.

Старик вышел. Форсайт сел на табуретку и, посасывая цветок, иронически покачал головой,

– Очень красиво, – сказал он. – Приятно видеть человека, который так верит в людей. . . Правда, иногда я тебя все же не понимаю. . .

– Ничего страшного, – шутливо утешил Морель.

Время тянулось медленно. Лицо у Маджумбы было замкнутым, враждебным. Он стоял неподвижно, с пулеметом в руке и глядел на белых презрительно и в то же время вызывающе. Он никак не мог понять, что заставляло Вайтари оказывать поддержку этому сумасшедшему, который тут стоит со своим портфелем, набитым «гуманными» воззваниями и манифестами, и так спокойно склеивает языком сигарету, словно находится на профсоюзном собрании в предместье Парижа. Однако Маджумба всегда беспрекословно подчинялся своему вождю, и теперь, как видно, должен расплачиваться за свою преданность. Объяснения Н'Доло после приезда Юсе-фа убедили его лишь наполовину. «Надо использовать любые беспорядки, каковы бы они ни были, – многословно объяснял Н'Доло. – Даже пьяную драку, даже семейную ссору; каждый разбитый стакан. Надо, чтобы говорили, будто за всем этим стоит партия. Только так расширяют свою базу. Вас считают большой силой, а тем самым делают еще сильнее. История с Морелем – редкостная удача. Нельзя ее упустить. В стране слишком спокойно, все чересчур размякли. Племена плюют на независимость, они понятия не имеют, что это значит, даже слова такого в языке нет. Нельзя поднять массы, пока они ничуть не лучше дикарей, надо поверх их голов взывать к тем, кто может нас понять, к внешнему миру, к общественному мнению развитых стран. Устраивать манифестации, объединяться с такими же движениями во всем мире, доказывать, что мы существуем, что готовы приложить еще больше усилий, если нам помогут; надо дать повод заговорить о нас каирскому радио, позволить нашим друзьям за рубежом объявить, что нас угнетают. Рядовых бойцов не существует, массы еще не имеют политической организации, поддержки нет, – из пятидесяти уле, получивших образование, сорок идут на поводу у администрации. Почему? Потому что, получив образование, они ощущают себя ближе к французам, чем к своему племени, которое намного опередили. Необходима спайка. Начнем доказывать, что национализм у народа уле существует. Каков бы ни был пожар, надо разжечь его сильнее. Вот почему необходимо присоединить к нашему делу Мореля, использовать тот интерес, который он возбуждает. Повторяю, такой случай упустить нельзя, Вайтари знает, что делает. . . »

Маджумба подчинился. Но по крайней мере рассчитывал на серьезное, героическое дело, а не на подобие стачки с занятием помещения. Ему хотелось сбросить хотя бы нервное напряжение, избавиться от желания кого-нибудь убить или быть убитым самому, выкрикнуть во все горло свое имя, – в конце концов, в нем течет кровь африканских воинов, которые веками властвовали над здешними местами. А взамен – бесконечное ожидание и этот счастливый кретин, уверенный, что с ним ничего не может случиться, воображающий, будто окружен всеобщей симпатией. Старик, лакей колонизаторов, их непременно предаст, и они будут перебиты как крысы. Маджумба не выпускал пулемет из рук, решив, что живым не дастся. . . Зашуршал гравий. Старик вернулся с тарелкой бутербродов и двумя бутылками пива. Он кинул на Маджумбу уничтожающий взгляд и принялся за работу. В углу лежала пачка старых французских газет, и Морель с любопытством стал их перелистывать. «Вот уже несколько недель, как газеты Атлантического блока выливают на своих читателей ушаты

сенсационных сообщений о том, что называют «необыкновенными приключениями человека, который отправился в Африку защищать слонов». Этому мифическому персонажу, чье существование, надо сказать, более чем сомнительно, посвящены статьи с громадными заголовками. Все средства хороши, чтобы отвлечь внимание общественности от подготовки к атомной войне, которая весьма деятельно осуществляется. . . » Но то были давнишние газеты. Он поискал номер посвежее. «Вооруженная попытка добиться независимости земель уле уже не вызывает сомнений. Надо только приглядеться к жалким потугам прессы скрыть истину за дымовой завесой якобы гуманистической кампании в защиту африканской фауны. . . » Вот еще более свежий номер: «Слон навсегда останется эмблемой африканского пролетариата в борьбе против капиталистической эксплуатации». Морель был явно доволен; читая, он иногда одобрительно кивал. Всякий раз, когда попадалась посвященная ему статья, он старательно вырывал страницу и клал в портфель. Перелистав газеты, он отложил несколько номеров в сторону, а дотом протянул их Форсайту.

– Прочти, тут опять о тебе. . .

Форсайт скорчил гримасу.

– Да я и отсюда вижу. . .

Потоки грязи, которые изливались на него после возвращения из Кореи и «позорного увольнения» из армии, должны были хлынуть снова. . . Он попытался состроить циничную гримасу, но все же развернул газету: «Я ждал чего угодно, только не этого, – признался он Шелшеру во время первого допроса. – Ни единого разоблачения или ругательства. . . Наоборот, оказалось, что я стал весьма популярен в Штатах. Все почему-то начали гордиться тем, что среди «благородных авантюристов» есть американец, который пошел партизанить, защищая африканских слонов. Люди, которых я и в глаза не видел, утверждали, что никогда во мне не сомневались. Там была напечатана беседа с моим отцом, который сказал, что он будет горд обнять меня, и другая беседа – с бывшей невестой, она от меня отреклась во время корейской истории; та сказала, что молит Бога, чтобы я скорее вернулся. Ну и шлюшка – реклама для нее все! Конечно, сразу чувствовалась рука Орнандо: он писал для сорока миллионов слушателей и читателей, которых ненавидел, каждый вечер посвящал мне целую минуту в своей телепрограмме, сыпал комплиментами, утверждал, что я – самый благородный американец после Линдберга, перелетевшего через Атлантический океан, и требовал пересмотра моего дела; по его словам, оно было *frame up* – т.е. подтасовано. Как говорится, тут и в самом деле было от чего лопнуть со смеху. . . Но даю вам слово, мне было ничуть не смешно. Я просто заболел. Выл огорчен или растроган – трудно сказать. . . но просто заболел. Ведь те же люди, те же самые люди, когда я вернулся из Китая, плевали мне в лицо, чтобы не сказать больше. . . Орнандо перевернул их как блины на сковородке при помощи прессы и телевидения и теперь они говорили обо мне с дрожью в голосе, – я словно слышал их наяву. Не знаю, поймете ли вы меня, но клянусь, что никогда еще не испытывал такой любви к слонам, как в ту минуту. Я был готов подписать обязательство остаться с ними до конца моих дней и, если понадобится, среди них и ради них же подохнуть. Морель наблюдал за мной с улыбкой: «Твои акции, как видно, поднимаются», – сказал он. «Да, – попытался я пошутить, чтобы не менять традицию. – У нас ведь все так. Взлеты и падения. . . »

Около полуночи три тысячи экземпляров газеты были отпечатаны. Когда мы выходили из мастерской, старый печатник подошел к Морелю и протянул ему руку.

– Желаю удачи, – сказал он. – Жаль, что я слишком стар и не могу как следует вам помочь. . . Но я расскажу о вас своим внукам. . . Я много читал и понимаю, о чем идет речь.

Они перетасили газеты в грузовик. В саду торжествующе стрекотали цикады. Н'Доло скорчился за рулем и, замирая от ужаса, повел грузовик прочь. Вдруг он обернулся к Морелю;

лицо юноши блестело от пота, его панический страх внезапно слился с гулким прерывистым зудением насекомых.

– Теперь уже недолго, – сказал Морель. – Минут десять. Спусти шины. Ты ничем не рискуешь. Все в порядке.

– Приехала машина. Меня ни о чем не спросили, но...

– Знаю, знаю. Ступай.

Они вернулись в сад и присоединились к стоявшим перед виллой Перу Квисту и Ингеле. Изнутри доносилась музыка, и в открытом окне, что выходило на террасу, виднелись танцующие пары.

– Это напоминает мне мой первый бал, – серьезно сказал Пер Квист.

Они поднялись по лестнице и все вместе вошли в зал. Там было человек десять, белые смокинги, ведерки со льдом для шампанского, пти-фуры, кресла, обитые шкурами зебры, леопарда, антилопы, – шкуры были повсюду, а в углах комнаты висело несколько великолепных бивней, рога куду, окапи – отборные экземпляры. Испуганно вскрикнула женщина, послышался звон разбитого стекла, а потом наступила тишина, в которой продолжал монотонно звучать вальс «Голубой Дунай»; Маджумба прикладом сбил иглу с пластинки. Тишина стала почти мертвой, только лихорадочно позвякивали бокалы на подносе в руках перепуганного слуги в белых перчатках. Форсайт подошел к нему и ласково обнял за плечи.

– Пойдем, красавчик... Давай-ка займемся телефоном.

Вот как описывал потом эту сцену один из гостей, доктор Гамбье, не пытаясь скрыть своего тогдашнего удовольствия: «Морель стоял чуть впереди остальных, с окурком, прилипшим к нижней губе, и внимательно всех нас поочередно разглядывал. В руке он держал набитый портфель, он единственный не был вооружен. Рядом с ним стояли два молодых негра, которые мне показались особенно опасными, потому что не убрали пальцев со спусковых крючков; третий встал у нас за спиной, на нем была фетровая шляпа с разорванной тульей, и он горстями запихивал в рот пти-фуры. С ними был еще этот сумасшедший старик Пер Квист, – большинство из нас его знало, а я даже принимал у себя, – стяжавший плачевную славу американский дезертир. Он продался коммунистам в Корее, был выгнан из армии в своей стране, не смог устроиться в Чаде и, как видно, оставшись без средств, сперва поступил инструктором на службу к египтянам, как и некоторые наши дезертиры из Иностранного Легиона, сбежавшие вплавь с кораблей в Суэцком канале, – так у нас, по крайней мере, говорили. Он смеялся и явно не воспринимал происходящее всерьез; лицо у него было довольно приятное, из-под распахнутой кожаной куртки, надетой на голое тело, виднелась рыжая шерсть на груди; в громадных ручищах он сжимал винтовку. Но главным был Морель. Совсем не похож на свои фотографии в газетах, но ошибиться в том, что это именно он, было невозможно, и я услышал, как чьи-то прелестные губки рядом прошептали, словно издавая предсмертный вздох, но не без сладострастия: «Это Морель...» Он обвел взглядом кресла, обтянутые звериными шкурами, стены, украшенные слоновьими бивнями, и проблеск веселья у него в глазах сразу погас. Он вдруг разъярился и даже стал агрессивен, стиснул зубы, выплюнул окурочек и растер его сапогом. Морель тут, больше чем в тысяче километрах от гор Уле, где, по слухам, прятался. Никто из нас не шевелился, мы помнили, что произошло с Хаасом, Орнандо и кое с кем еще. Я был встревожен не меньше прочих, что не мешало мне присматриваться к Морелю с крайним любопытством. Вот уже несколько месяцев как разговоры шли только о нем, и тем не менее в его существование нелегко было поверить, – оно слишком обросло легендами; многие из нас были убеждены, что власти все выдумали – и Мореля со всеми потрохами, и его слонов, – чтобы отвлечь внимание от Вайтари, хотя то, что он затевал, не имело никакого значения, ему приписывали ответственность за недавние беспорядки в племенах уле. Я говорю «многие из

нас», хотя сам-то никогда не был в их числе. Я верю в то, что Африка полна чудес, здесь все может быть и всегда будет возможно; ее авантюристы еще не сказали своего последнего слова, а эти искатели приключений не всегда рыщут вокруг африканского золота, алмазов и урана. Я верил, что Африка способна на нечто большее, – и она доказывала это у меня на глазах. Не забудьте, что после всей той шумихи, которую желтая пресса подняла вокруг Мореля, он для очень и очень многих действительно стал народным героем. Ему верили. Верили и в него, и в его слонов. Шаллю, конечно, первый овладел собой, – и не удивительно, такого человека, как говорили, нелегко смутить. . . «Что все это значит?» – прорычал он. Морель посмотрел на него довольно дружелюбно. «Против вас мы ничего не имеем, – сказал он. – Но нам надо сказать пару слов мадам Шаллю. Комитет охраны природы помнит, что она поставила женский рекорд охоты на слонов. Насколько я знаю, на ее счету сотня убитых животных. . . » В голосе его звучал сдержанный гнев. Потом он не спеша расстегнул портфель, вынул лист бумаги и зачитал немыслимый документ, нечто вроде манифеста, который вам известен и который мы назавтра увидели напечатанным в газете. . . Должен сказать, впечатление было ошеломляющее. Когда он дошел до абзаца, гласившего: «Мадам Шаллю, «чемпионка» охоты на крупного зверя, наказана публичной поркой», – послышались ахи и охи и все взгляды обратились на жертву. Мадам Шаллю побледнела. Вы ее знаете, – маленькая, энергичная, хорошенькая в свои сорок лет, несмотря на некоторое мужеподобие в голосе и жестах, – она явно была последним человеком, которого осмелились бы подвергнуть подобному обращению. Мадам Шаллю повернулась к мужу. «Ты не позволишь им этого сделать!» – закричала она. Насколько я знаю, она впервые обратилась к нему за помощью и защитой. . .

Шаллю шагнул вперед. Человек сильный и грубоватый; несмотря на белый смокинг, в нем чувствовался бывший горняк с Севера, бывший золотоискатель, он любил с гордостью повторять: «Я добился всего сам». Он набылся и даже голос у него стал низким, словно исходил из самых глубин его оскорбленного нутра.

– Слушай, Морель, если поднимешь на нее руку, я сдеру с тебя шкуру, даже если потом поплачусь всем, что имею. Я ведь знаю, на кого ты работаешь. Такие песни мы слышали. Говоришь, слоны. . . Но ведь охотничьи ружья есть практически только у европейцев, как и возможность получать лицензии на охоту. Ты хочешь сказать, что одни мы пользуемся природными богатствами Африки и их истощаем? Я эти причитания слышу с тех пор, как сюда приехал, а правда заключается в том, что эти богатства используются недостаточно, без нас ими вообще бы не пользовались и даже не знали бы, что они есть. . . Без нас не открыли бы ни одного месторождения ископаемых и население за двадцать лет не увеличилось бы вдвое. Когда я сюда приехал, тут были только сифилис, проказа и слоновая болезнь; своих негров я лечил, кормил, одевал, дал им работу, жилье и желание, потребность жить, как мы. Такие люди, как я, – дрожжи, на которых поднимается Африка. Ты и твои соратники называют то, чем мы занимаемся, «постыдной эксплуатацией природных богатств Африки». А я – строительством Африки на благо всем, и в первую очередь африканцам. И потому, что мы одни владеем оружием и правом на спортивную охоту, ты решил всех перехитрить, сделав охоту на слонов символом «капиталистической эксплуатации природных богатств Африки». . . Я все это читал в ваших коммунистических газетах. Мне даже не требовалось твоих пояснений. Я все понял сразу. . .

– Гм-м-м. . . – произнес Морель.

По его довольному виду было заметно, что такое толкование ему по вкусу. Позднее он скажет Перу Квисту: «Это была превосходная мысль. Я бы сам до нее не додумался. А Шаллю до нее дошел в два счета. Знает кошка, чье мясо съела. И все же рехнуться можно, до чего они твердолобые. Им не понять, что кто-то просто-напросто плюет на их делишки

и занят чем-то более важным, более масштабным. Они в это поверить не могут. За всем, что мы делаем, должна крыться какая-то хитрость, уловка, что-то трусливое, подленькое, им доступное. Их-де не проведешь. Они так привыкли обнюхивать свое дерьмецо, что когда у кого-нибудь возникает потребность глотнуть свежего воздуха, заняться чем-то по-настоящему важным, можно даже сказать, великим, тем, что надо во что бы то ни стало спасти, уберечь, – это выше их понимания. Что ж, конечно, жаль. . . » Говорил он спокойно, сидя у окна, с полной искренностью. Пер Квист с трудом поборол раздражение. Он уже открыл было рот, чтобы сказать, что нечего-де хитрить, он-то прекрасно знает, что на самом деле защищает Морель, но, встретив внимательный и чуть-чуть насмешливый взгляд своего начальника, проглотил крепкое скандинавское проклятие, завернулся в москитную сетку и повернулся спиной.

– Я отлично понимаю смысл вашей выходки, – прорычал Шаллю. – Ладно. А теперь можешь убираться, пока в один прекрасный день мы не повстречаемся снова. Но если посмеешь хотя бы пальцем тронуть мою жену. . .

Губы Мореля растянулись в довольно-таки сальной усмешке. Он, видимо, смаковал что-то очень забавное.

– Мы и не собираемся, – сказал он. – Но кое-чему поучим. И, уважая приличия, поручим это самому старому из нас, чтобы ни у кого не возникло задних мыслей.

Он сделал знак датчанину. Пер Квист невозмутимо вышел вперед и приблизился к мадам Шаллю.

– Не прикасайтесь ко мне! – взвизгнула та.

«. . . Трудно было удержаться от улыбки, – рассказывал потом доктор Гамбье, – несмотря на ярость Шаллю и вопли его жены. Пер Квист хлестал, конечно, не сильно, но серьезность, с какой он выполнял задание, была гомерически смешной. Так как он один из самых старых людей, каких я знаю, его седая борода и суровый вид лишали картину неприличия, зрелище же, которое представляла собой маленькая, дрыгающая ножками Аннета Шаллю, кверху задом, по которому шлепала рука этого патриарха, было невыносимо смешным. А ведь между нами, маленькая Шаллю и верно перегнула палку. Думайте что хотите, но женщина, для которой самое большое удовольствие – убивать слонов, все-таки немножко противна. Есть же и другие способы получать удовлетворение. . . или заполнять пустоту. Я как врач-практик не люблю вдаваться во всякую там психологию, но мне кажется, что она отыгрывалась на этих слонах-самцах в отместку за что-то или за кого-то. . . Короче говоря, не я один чувствовал, что ее проучили заслуженно. И та серьезность, с какой старый скандинав выполнял свое поручение, еще , больше убеждала, что Аннете преподан хороший урок. Да, несмотря на все, что по этому поводу можно сказать, я-то думаю, что Морель был абсолютно искренним. Понимаете, ведь настоящие охотники, охотники старого закала уже давно и всеми доступными им средствами пытаются сократить «убой» и не скрывают своего отвращения к сафари. . . »

Когда карательная экспедиция покидала виллу, на террасе, держа в руках карабин, появился Шаллю; его фигура отчетливо вырисовывалась на фоне стены. . . Маджумба нацелил на него пулемет, но Морель толкнул юношу в плечо.

– С кем же вы, месье Морель? – крикнул юноша. – С нами или с ними?

– Можно найти и другое место, малыш, – ответил Морель. – Есть поле на странице, край. . . И вот там-то я и хочу быть. Учись обуздывать свой нрав. Когда станешь начальником, сможешь убивать сколько хочешь, и своих, и чужих. А пока начальник здесь я.

Они влезли в грузовик, и тот рванул с места.

– Потихе. Торопиться нечего. . . Ты поработал над их шинами?

– Да.

Они бросили пачки газет у дверей отеля, где их в пять утра заберут по дороге на базар мальчишки-разносчики. Когда они проезжали через район, застроенный хибарками из досок, толя и гудронированного картона, который тянулся вдоль реки на километр к востоку от Сионвилля, фары высветили странную фигуру, стоящую на дороге с поднятыми руками. Это был негр уле ростом под два метра; он опирался на палку и был одет в черный костюм, рубашку с крахмальным воротничком, тропический шлем и белые парусиновые туфли. Позади него, в облаке поднятой ветром пыли, виднелись еще две или три неподвижные фигуры в шортах. Н'Доло резко затормозил. Человек подошел к машине.

– Привет, товарищи, – сказал он. – А мы уже забеспокоились. У нас мало времени, но будьте уверены, что газеты мы разнесем. Позвольте вас поздравить. Это была прекрасная мысль. У меня есть опыт политической борьбы, и я могу смело сказать, что придумано было отлично. Даже наши неграмотные товарищи, у которых нет марксистской подготовки, поняли, когда мы им объяснили, что означают слоны. И пособники монополистов, империалистов, поджигатели войны, их политические лакеи тоже поняли, когда на стенах их домов начали писать слово *komou* – то есть слон. Недаром полиция теперь стирает надписи. Партия окажет вам всяческую поддержку. Это была замечательная политическая акция, товарищи, и мы сумеем ее использовать.

Он резко поднял кулак.

– *Komou!*

– *Komou*, – дружелюбно ответил Морель и тоже поднял кулак.

Короторо скинул последний тук газет к ногам негра, который так и остался стоять в африканской тьме, опираясь на палку и поднимая кулак.

Мореля не огорчали такие недоразумения.

Пока защита слонов была только гуманной задачей, пока дело касалось лишь человеческого достоинства, благородства, настоятельной потребности сохранить жизненный простор, то как бы ни велась борьба, она не рисковала зайти слишком далеко. Но как только эта борьба грозила принять характер политический, она становилась взрывоопасной; власти будут вынуждены отнестись к ней серьезно. Ее нельзя пустить на самотек, позволить кому-то ею воспользоваться, обратить ее против человека. Придется немедленно принимать меры, чтобы она прекратилась. И лучший выход – самим взяться за дело. Иначе говоря, заняться охраной африканской фауны по-настоящему, запретить охоту на слонов в любом виде, окружить этих громоздких великанов всяческой заботой и симпатией. Морель был уверен, что правительства в конце концов его поймут и выполнят свою задачу, – ведь он больше ничего и не хочет. Но не мешает лишний раз позволить себе кое-какие уловки. Он вытащил свой кисет и папиросную бумагу, несмотря на темноту и тряску, свернул самокрутку и закурил.

– Что-то вид у тебя больно веселый, – заметил Форсайт.

Спичка погасла.

## XXXI

Занимался день, с востока наступали горы; Сен-Дени казалось, что они слушали его всю ночь, а теперь собираются вокруг, чтобы задать вопросы. Видел он теперь и лицо собеседника, тоже выступившее из темноты; следы бессонной ночи слились на нем со следами прожитых лет.

– Вот и ночь прошла, а я, кажется, больше вспоминал, чем рассказывал. Вы говорили, что рассчитываете сегодня же утром поехать назад, на место ваших раскопок, и я, наверно, так и не узнаю, что вы искали в этих горах. Я не смогу вам рассказать того, чего бы вы уже не знали, сорок лет копаясь в земле, отыскивая следы того, чем были люди миллион лет назад; их первобытное оружие уже говорит о мужестве, о той борьбе за свое существование, которую они вели на заре предыстории. Мужество – истинный смысл случившегося, бунт против жестокого закона, навязанного нам испокон века. Стоит только взглянуть в жалкий обломок каменного орудия, вытесанного первыми людьми, чтобы услышать из глубины ушедших геологических эпох героический гимн, к которому Морель и его соратники добавили лишнюю ноту, новое звучание. Но быть может, это только повод, чтобы приехать меня повидать, и вы просто соскучились по обществу. Правда, в этом смысле, отец мой, вы хорошо обеспечены и вам, конечно, не придет в голову искать убежища среди слонов. Однако если вы проехали более пятисот километров только для того, чтобы поговорить о деле Мореля и об этой девушке, этой немке, которая так его понимала, то, может быть, вдруг почувствовали, – вы тоже, – с какой-то необычайной пронзительностью, что все мы нуждаемся в защите и все наши молитвы, которые мы возносим, начиная от первобытных магических ритуалов пещерного человека, все наши мольбы не дали желаемых результатов. И может быть, вы не так уж порицаете тех, кто столь отважно пытался взять в свои руки судьбу живых существ и сделать для них все, что было можно. Вот, наверно, как надо понимать Мореля. Его мужество, непоколебимость, отказ идти на уступки. И эту девушку, которая осознала в развалинах Берлина, что природа больше не может обойтись без нашей защиты, и последовала за Морелем интуитивно, словно движимая инстинктом самосохранения. С тех пор как правительство поручило мне заботу об этих горах, о последних больших стадах африканских животных, они всегда со мной, и у меня создалось ощущение, что я присоединился к сторонникам Мореля. Многие говорят, что Мореля больше нет, что он убит одним из своих спутников по политическим причинам. Я в это несколько не верю. Нет никаких доказательств ни того ни другого; и лично я уверен, что он все еще где-то здесь, в горах. У Мореля было много друзей, и вокруг него постепенно образовалось нечто вроде щита соратников, поэтому его трудно представить себе побежденным. Для меня он все еще тут и вот-вот снова начнет свою кампанию по защите африканской фауны; короче говоря, он своего последнего слова еще не сказал. Он часто видится мне – со своим дурацким портфелем, раздутым от надежд, напечатанных на машинке, – насмешливо говорит с парижским акцентом, таким странным здесь, в этих краях: «Право же, собак нам уже недостаточно. Люди чувствуют себя до смешного одинокими, им надо с кем-то общаться. Требуется что-то более крупное, более могучее, более стойкое. Нет, собак уже мало, нам, по крайней мере, нужны слоны». А Шелшер, который шагал по базару под любопытными взглядами тамошних завсегдатаев своей элегантною, мужественною поступью, в белом кителе, с тросточкой, в небесно-голубом кепи, с лицом, полным такой безмятежной уверенности, что на душе у него, казалось, царит абсолютный покой, а вокруг столько друзей, сколько душа



пожелает, – он теперь в монастыре у траппистов\*, в Шовиньи; а в «Чадьене» этот поступок объясняют по-разному, упуская самое очевидное. Возможно, немалую роль в столь внезапной вспышке религиозности сыграло его близкое знакомство с исламом – ведь он провел в здешних местах много лет. Думаю, что решение созревало постепенно – от общения с пустыней и с теми, кто ее населяет, от общения с землей Африки. Это такая земля, которая быстрее, чем любая другая, принимает в свое лоно опавшие ветви, людские чаяния, стремления и самих людей. Это земля, которая по самой своей сути – лишь временное пристанище, призрачная стоянка, отрезок пути, где даже деревни кажутся раскинутыми наспех и готовыми сгинуть. Каждый из нас получил тут урок своей ничтожности, а Шелшер был отзывчивее, внимательнее других, вот и все. Да мне иногда и не требуется никаких усилий, – просто ночь светлее обычного и чувство одиночества вдруг пронзит особенно остро, и я вижу их всех вокруг, слышу их голоса: Минну, упрямо мотающую головой, как тогда, на суде, когда ее спрашивали, пошла ли она за Морелем потому, что была в него влюблена, а она только и твердила, пытаясь переубедить судей: «Я пошла ради себя самой. Хотела ему помочь. Хотела, чтобы с ним был кто-то из Берлина. . . » По существу, отец, чтобы их понять, особого ума не требуется: надо только что-то как следует выстрадать. Она не была чересчур умной и уж во всяком случае – образованной, но в лице ее ощущалась некая загадочность, в нем порою сквозил юмор, нечто вроде отчаянной иронии, когда она, закинув ногу на ногу, сидела между двумя жандармами, смотрела на судей и встряхивала головой, увенчанной шапкой белокурых волос; однако она достаточно настрадалась, чтобы сразу, не колеблясь, понять, о чем идет речь. Судьи поначалу пытались ей помочь, протягивали палку, чтобы она могла выплыть, особенно после моих показаний: я сказал, что она поехала с моего ведома, а если и повезла Морелю оружие и боеприпасы, то лишь для того, чтобы завоевать его доверие, – ее истинной целью было заставить его отказаться от своего безумного предприятия и сдаться властям. Но она с возмущением оттолкнула протянутую руку. «Я хотела хоть что-нибудь сделать для него, помочь ему защищать природу», – вот и все, чего они смогли от нее добиться, что обошлось ей в шесть месяцев тюрьмы. Она до самого конца отрицала, будто была в него влюблена, – гневно, как если бы у нее что-то хотели отнять, умалить то, что она совершила, – даже в ответ на свидетельства, казалось бы, явно доказывавшие, что она, пользуясь тамошним жаргоном, имела с ним «половые сношения», она только пожимала плечами и спокойно, повторяла свое: «Да, я хотела ему помочь». И Пера Квиста, державшего в руке свою карманную Библию; он подтвердил перед судом свое намерение продолжать борьбу, не отрекаться от защиты тех бесконечно разнообразных корней, которые небо пустило на земле, а также и в глубине человеческих душ, – они оплели эти души и живут там, как предчувствие, высокая потребность, неутолимая жажда справедливости, достоинства, свободы и любви. И даже Форсайта, – он в конце концов понял, что человеческая натура – это не что-то тошнотворное, она просто нуждается в защите; я читал в газетах, что, выйдя из тюрьмы и вернувшись в Америку, он был встречен там триумфально, как герой, и с тех пор ведет страстную борьбу за охрану природы у себя на родине. И Хабиба, когда его вели после суда в наручниках к грузовику, – вид у него был, как всегда, свойский, – грязноватая фуражка капитана дальнего плавания сбита набок – он с интересом поглядывал на одного из жандармов, уж очень смазлив был этот охранник; Хабиба, который во время процесса откровенно потешался, не пропуская ни единого слова из того, что говорилось, над потугами всяких разных дуралеев преобразить то, в чем он, Хабиб, был как рыба в воде; он кинул мне на ходу с ободряющим смешком: «Я еще поплаваю!» И не ошибся: ему удалось бежать, когда его переправляли в Дуале, при пособничестве одного из

---

\*Религиозный монашеский орден, основанный в 1140 г., с крайне суровым уставом.

охранников, которого он сумел соблазнить, – говорят, что теперь он занимается контрабандой оружия в восточной части Средиземного моря и, по его словам, по-прежнему готов оказывать услуги «законным устремлениям народов и человеческой души вообще». Я никогда не мог побороть в себе симпатии к нему – до того он был на своем месте во всей этой истории! Но не стоит забывать Орсини. . .

Сен-Дени помолчал и повернулся лицом к горам, таким близким, сосредоточенным, молодевшим в лучах утренней зари. Сейчас было достаточно светло, чтобы заметить в руках иезуита четки; черные зерна медленно скользили в пальцах; Сен-Дени молчал, чтобы не нарушать, как он предполагал, молитвы, но иезуит, поймав его взгляд, улыбкой предложил продолжать, он давно уже перестал исполнять положенные ему рутинные обряды, четки давали работу рукам и помогали поменьше курить.

– Не надо забывать Орсини – он нам этого не простит. Вся его жизнь была долгим бунтом против собственной малозначительности; это, наверное, и заставляло его убивать столько великолепных животных – самых красивых и самых могучих тварей. Как-то раз мне в пьяном виде исповедовался один американский писатель, который постоянно наезжает в Африку, чтобы застрелить свою порцию слонов, львов и носорогов. Я спросил, откуда у него такая потребность, а он выпил достаточно, чтобы ответить откровенно: «Всю жизнь я подыхал со страху – перед жизнью, перед смертью, неизбежной старостью, боялся заболеть, стать импотентом. . . Когда страх становится невыносимым, он весь воплощается в носорога, который вдруг выскочил передо мной из травы и бросается на меня, или в бегущего в мою сторону слона. Мой ужас тогда становится чем-то осязаемым, чем-то таким, что можно убить. Я стреляю и на какое-то время спасен, в моей душе покой; застреленный зверь со своей смертью уносит все накопившиеся во мне страхи, на несколько часов я от них свободен. За шесть недель я прохожу курс лечения, которое действует потом несколько месяцев. . . » Нечто вроде этого несомненно испытывал Орсини, но в нем главным образом говорил яростный протест против человеческого убожества и беспомощности, убожества личности самого Орсини. Он убивал слонов и львов, чтобы справиться с ощущением собственной неполноценности. Поэтому не стоит забывать Орсини, это было бы жестокой ошибкой. Я вижу его воочию у порога моего повествования. Истерзанная душа просится войти, бунтует против недостатка внимания к себе, хочет, чтобы ей дали слово, услышали ее голос. Он ведь тоже был человеком, не любившим чувствовать себя в одиночестве, но для того, чтобы ему быть сведенным к самому маленькому общему знаменателю, этот знаменатель должен подходить ему по росту, не быть чересчур высоким. Вот, наверное, почему он всю жизнь ненавидел то, что могло придать человеческому существованию слишком возвышенный или слишком благородный смысл. Такая шкала требований, как у Мореля, выводила его из терпения. Он ощущал себя уязвленным. Требовать от людей широты взгляда и великодушия, настаивать, чтобы они соглашались взваливать на плечи еще и слонов, – вот что уязвляло Орсини прямо в сердце, при том, что он достаточно хорошо себя знал, при его-то комплексе неполноценности. Думаю, что все политические движения, направленные против прав личности, против возвышенных представлений о ее достоинстве, порождены подобным желанием самоутвердиться – у тех, кто, ощущая себя неспособным на что-то великое, заглушает обидное чувство собственного ничтожества яростной ненавистью к упрямам, которые, как говорят их врачи, – и с каким презрением! – «питают себя иллюзиями». Все, кто видел Орсини на террасе «Чадьена» после налета на Сионвилль, ощущали, что он «не примирится», «примет вызов», – вот какое он внушал нам впечатление. Однако он резко изменился. Никто больше не слышал его голоса, он ни с кем не разговаривал, а когда кто-нибудь подсаживался к его столику, делал вид, будто не замечает, и продолжал сидеть, в своем белом костюме, вздернув нос с горбинкой и закинув голову, словно

символ оскорбленного ничтожества. Никто не смел к нему обратиться, хлопнуть его по плечу; казалось, ты прервешь немую молитву, полную ненависти, которую он возносит. Что за мысли роились в этой голове, под элегантной панамой, мы узнали лишь много времени спустя, чересчур поздно, уже после того, как он стал созывать людей на секретное собрание «в наших общих интересах». Он разослал свое таинственное приглашение самым известным охотникам в ФЭА, и кое-кто из них откликнулся, главным образом, потому, что побаивался Орсини и не хотел, чтобы он действовал от их имени, не зная толком, что он затевает. Они собрались в его бунгало, из которого были тщательно убраны всякие следы африканского быта, – там стояла добротная европейская мебель, на стенах не висело никаких трофеев, – он ведь не из тех, кто украшает стены «падалью». Орсини молча встретил приглашенных, крепко пожал им руки, пристально поглядел в глаза как товарищам по оружию, потом отослал слугу и запер двери. Поистине конспиративная сходка, все сразу это почувствовали. Были братья Юэтт, хотя они редко заглядывали в Форт-Лами, – жили со своими женами и черными детьми на севере Камеруна; был Боннэ – краснокожий толстяк, с коротко остриженными седыми волосами, золотыми зубами и пустым рукавом, опущенным в карман, – он потерял руку в первой мировой войне, но всем, у кого их было две, казалось, что калеки – скорее они; был Годэ, для которого охота на крупного зверя являлась лишь главой в бурной биографии, та началась среди подонков на рю Фонтен, затем знаменитая «частная армия» Попского, воевавшего против Роммеля в Ливийской пустыне; был Гойе, вместе со старшим Юэттом переживший эпоху почти неограниченной профессиональной охоты за слоновой костью и до сих пор, поскольку нуждался в деньгах, бравшийся водить на охоту туристов, хоть и питал к ним нескрываемое отвращение. Орсини переходил от одного к другому, наполняя стаканы, потом выпрямился, обвел всех взглядом и заговорил. Иногда бывает, что обычные методы становятся недостаточными, тогда надо взять правосудие в свои руки. Такой час настал, – ему вряд ли стоит об этом распространяться. Вот уж полгода, как в ФЭА не приезжают иностранные туристы, чтобы поохотиться. Винить их трудно: разве станут они рисковать своей шкурой ради такого незамысловатого удовольствия? Действия Мореля постыдно раздуты прессой, чтобы увеличить тиражи, и вся эта кампания привела к тому, что самая идея охоты на диких зверей поставлена под сомнение и считается чуть ли не позорной. Короче говоря, их профессия – одна из самых прекрасных и благородных профессий в мире – рискует быть ошельмованной навсегда. Политиканы проявляют по отношению к Морелю преступную слабость, просто потому, что они в сговоре с Вайтари и, как и тот, на откупе у Арабской Лиги, которая сделала из убоя слонов символ «эксплуатации» белыми Африки. Надо покончить с этим раз и навсегда. Есть только один способ: выкурить Мореля из его логова. Вот что он предлагает. . . Охотники слушали молча. Первым заговорил Боннэ:

– Нет, дружище, я на такое не пойду.

– По-моему, это большое свинство, – пробурчал Гойе. – Если Морель попадет мне в руки, я ему морду расквашу. Но не пойму, почему должны расплачиваться слоны. . . Ведь по существу он прав: их постреляли порядком. А туристы что – пусть охотятся с фотоаппаратом. . .

Годэ посасывал сигару, насмешливо косясь на Орсини. Трое братьев Юэтт стояли у камина, не выражая ни малейшего интереса. Орсини побледнел.

– Иначе вам Мореля не поймать, – сказал он дрожащим от возмущения голосом. – Есть только один способ заставить его выйти из укрытия – перебить столько слонов, чтобы он прибежал им на помощь. Я знаю, что это противозаконно, но бывают обстоятельства, не предусмотренные законом, когда надо творить суд своими руками. . .

Годэ вынул изо рта сигару.

– Словом, ты хочешь послать ему свою визитную карточку?

– Пожалуй, что так.

– Странная манера расписываться. . .

Боннэ отбыл первым, за ним последовали братья Юэтт, которые за весь вечер так и не открыли рта. Потом поднялись и Годэ с Гойе.

– Если у вас кишка тонка, буду действовать сам, – кинул им вслед Орсини. – Бойтесь штрафа? Шаллю заплатит за вас с удовольствием.

– Не люблю нападать из-за угла, – сказал Годэ. – Сам когда-то был уголовником, но даже урки соблюдают правила драки. . . Я в своей подлой жизни загубил немало зверья, а если припомнить, то, пожалуй, и людей. . . Память у меня, правда, короткая. Если у тебя свои счеты с Морелем, валяй, сдери с него шкуру, но целой шайкой не наваливайся. А хочешь моего совета, брось это дело. Ты причинишь нам куда больше вреда, чем пользы. . . О Мореле скоро говорить перестанут. Забудут. Люди забывают быстро. . .

– Пойду сам, – повторил Орсини. – Не сдамся.

Должен сказать, что он и впрямь не сдался. Новости о триумфальном шествии Орсини по джунглям дошли до нас в Форт-Лами дней через десять, и так как все происходило в подведомственном мне округе, меня попросили пресечь его подвиги. Это не составило труда: он делал все возможное, чтобы знали, где он находится. Тамтамы оповещали о его передвижении от деревни к деревне, а любители мяса повсюду устраивали ему торжественные приемы. Орсини спустился по Яле, убивая всех слонов, которых обнаруживал у водопоев, без разбору, – самцов и самок с детенышами; он рассчитывал, что шум, который поднял, достигнет ушей Мореля. В общем, хотел приобрести известность. Он не пропускал даже заповедников и взял с собой из попутных деревень двух или трех хороших стрелков; во всей округе говорили только о нем. Он стал общепризнанным героем, раздатчиком мяса, добрым кормильцем, щедрым благодетелем; за несколько дней его слава, – вполне земная, – совсем затмила славу Мореля. Те, кто с ним сталкивался во время победного шествия, – Родригес в Уассе, – пытались его образумить, и мне рассказывали, что он был просто невменяем, словно одержим, – щеки ввалились, заросли грязной щетиной; ночами не спал, глядел с высокомерной улыбкой, как в деревне до рассвета пляшут в его честь, а на заре снова пускался преследовать слонов, которых засуха загнала в легкодоступные места; казалось, что между ним и этими гигантами действительно есть личные счеты. Через четыре дня после отъезда Орсини из Форт-Лами, в семь часов утра, когда после полудня я думал добраться до последней его стоянки, а накануне вечером наконец хлынул дождь, вознаграждая за задержку потоками воды, я впереди на дороге увидел странную процессию, которая вышла из зарослей дальбергии. Сперва я узнал знакомую фигуру в белом шлеме и порыжевшей сутане – отца Фарга, за ним шли двое носильщиков с носилками, а позади двигалась группа негров с насаженными на ветки кусками еще кровоточащего мяса. Фарг, не говоря ни слова, пожал мне руку, и я подошел к носилкам. Лицо, видневшееся из-под одеяла, действительно принадлежало Орсини, но заросло бородой до самых костлявых скул, и только глаза, выражавшие отчаянную муку, подсказали мне, кто передо мной. Я приподнял одеяло, но тут же накинул снова; Фарг спросил, нет ли у меня морфия, но я оставил свою аптечку в джипе, в двадцати километрах отсюда. «Правда, у него почти не осталось того, что может болеть, – проворчал Фарг. – Прошло уже без малого шестнадцать часов с тех пор, как над ним поработали. . . Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так цеплялся за жизнь». «Что произошло?» – спросил я скорее машинально, чем из любопытства: мне достаточно было одного взгляда, брошенного под одеяло. «По нему прошлись слоны, – сказал Фарг. – Как рассказывают слуги, они оказались в ста метрах от стада. Орсини поставил двух стрелков, а сам прошел немного вперед, чтобы подкараулить еще двух или трех животных, когда те начнут разбегаться. Остальное я знаю от него самого, – может,

это бред, потому что он уже много часов находится в таком состоянии, с тех пор как его ко мне принесли, – я ведь уже два дня его ищу, – и он сам не понимает, что говорит. Во всяком случае утверждает, будто, выйдя на полянку, почувствовал, что за кустами его подстерегает какая-то опасность, и, повернув голову» увидел метрах в пятидесяти от себя Мореля. Он клянется, что это и в самом деле был Морель, он стоял неподвижно, один, с ружьем в руках, словно всегда был там, словно давно поджидал. Орсини поднял ружье и выстрелил. Он промазал, – с пятидесяти метров, заметьте, это само по себе поразительно для одного из наших лучших охотников на крупного зверя и только подтверждает мое предположение, что он стал жертвой галлюцинации, вызванной нервным переутомлением и навязчивой мыслью о Мореле, донимавшей его денно и ночно. Он мне сказал, что стрелял снова и снова, и все время мимо. И вот тогда слоны, обезумев от стрельбы или, если верить словам этого несчастного, «прибежав на помощь Морелю», – кинулись на него и затоптали, – видите, вот результат; не самое приятное зрелище, какое мне приходилось видеть. . . » – Я подошел к Орсини. Мне ведь придется давать отчет, а в Форт-Лами как раз шли споры, жив ли еще Морель или убит, как кое-кто утверждал, своим приятелем по политическим мотивам. Я нагнулся к раненому. «Орсини, – спросил я, – вы твердо уверены, что видели Мореля?» Черные от запекшейся крови губы шевельнулись. «Уверен, – прошептал он. – Но. . . » Это «но» все ставило под сомнение. «Попытайтесь ответить». – «Я столько о нем думал. . . Даже во сне. . . Видел его все время. . . » Свидетельство не было достоверным. Я вдруг почуял запах кровоточащего мяса, которое негры несли к себе в деревню. Орсини перевел взгляд на отца Фарга, губы его зашевелились, чтобы произнести последние слова, – самые ужасные, самые чудовищные, самые страшные: «Хочу жить!» – прошептало то, что осталось от человека. Даже отец Фарг и тот вздрогнул, «Свинья!» – буркнул он, – у него перехватило дыхание. Он закрыл Орсини глаза. Вот вам и все об Орсини. Но как я уже сказал, его свидетельство не показалось мне убедительным: мысль о Мореле была до такой степени навязчивой, что тот просто мог ему привидеться. С другой стороны, я никогда не верил тем, кто считал нашего друга умершим только потому, что какое-то время о нем не было слышно. Вокруг этого француза было слишком много людей доброй воли, – наши современники не могли его не понимать и не оказывать ему содействия. . . Поговаривали даже, что и вы сами, отец, какое-то время прятали Мореля там, где ведете свои раскопки, но я вижу по вашей улыбке, что это поклеп, – вы не поехали бы в такую даль, чтобы узнать у меня новости и потом передать их ему. . . Пособничество со всех сторон – факт, начиная от радио, которое никогда вовремя не передавало сообщений о том, где находится Морель, до моего соратника и друга Серизо, чей ставший широко известным поступок только укрепил бытующее за границей мнение, будто государственные служащие в Африке не подчиняются приказам, а, как говорится, «делают свою политику». На мой взгляд, это типично французский и вполне понятный поступок, и Серизо не упустил случая громко высказать собственное мнение, когда грузовик Мореля проезжал по центру его округа после вылазки в Сионвилль, обстоятельства которой вы знаете. . . »

От Сионвилля до Янго шесть часов езды на грузовике, если делать в среднем по сорок километров в час. Комендант округа Серизо в пять часов утра получил извещение по радио о «нападении террористов на типографию сионвилльской газеты» и приказание принять «все меры, какие сочтет нужными, чтобы любым способом на обратном пути задержать Мореля и шестерых участников его банды». Времени оставалось в обрез. Серизо – мужчина кругленький, нервный, вспыльчивый, полный энергии и доброжелательности, – держался всегда очень прямо, вероятно, из-за своего отнюдь не гигантского роста. Он аккуратно и даже не без некой торжественности сложил полученную радиограмму. Ему казалось, что вот наконец случай, которого он так давно ждал, быть может, всю жизнь. Лично он не был уверен, что

у Мореля хватит дерзости ехать через Янго, вероятно, тот бросил свой грузовик при выезде из Сионвилля, но если настолько уверен в своих силах, что этого не сделает, его встретят как положено. Серизо побежал домой и с трудом, рискуя задохнуться, натянул мундир лейтенанта запаса. Потом мобилизовал все свое войско в количестве трех гвардейцев, радиста и восьми местных жителей, отслуживших в армии, роздал им ружья и расставил вдоль дороги. Сам стал во главе «отряда», лихо сдвинув на ухо кепи. Весь предыдущий день он провел за чтением газет и журналов, которые дважды в месяц получал из Франции, и находился как раз в том расположении духа, какое надлежит иметь для достойной встречи с человеком, «желавшим изменить природу сущего». Особенно растрогала его реабилитация в странах народной демократии некоторых политических деятелей, которых сначала повесили, а теперь те же, кто вешал, объявили невинными. Открытие, что Сталин страдал манией величия, сделанное теми же, кто в течение двадцати лет объявлял маньяка «гениальным отцом народов»; смерть последнего японского рыбака – жертвы «мирных» атомных опытов и сообщение о новых экспериментах; очередные убийства французских детей во имя священного права народов распоряжаться своей судьбой; расизм белых, черных, желтых или красных, а к тому же еще и молниеносное распространение по всему миру раковой болезни, – это хотя бы показывало, что не только человек обращается с природой жестоко и неуважительно. Он уже давно ждал случая облегчить душу. Серизо пару раз обошел свой отряд, строго выговаривая за отсутствие выправки, и провел небольшое учение, проверяя быстроту рефлексов. А когда наконец увидел на краю дороги, между огромными деревьями, грузовик того, кто так отважно вел борьбу за защиту природы, его лицо дрогнуло от волнения. Он обернулся к своему отряду:

– Смирно!

Грузовик прибавил скорость. Из кабины высунулось дуло пулемета.

– К ноге!

Грузовик на полной скорости пронесся мимо двенадцати человек, отдававших ему честь, и начальника затерянного в джунглях поста, маленького французского офицера, который застыл по стойке «смирно». Морель, ничуть не удивившись, окинул строй одобрителем взглядом.

– Люди доняли, – спокойно сказал он. – Я же всегда говорил, что не надо отчаиваться.

Радист в Банги получил сообщение в ту же минуту, что и его товарищ в Янго. Он бесстрастно поглядел на листок, держа в руке карандаш. Это был негр из Убанги, который отслужил уже десять лет и немало передумал. Дорога проходила прямо под окном поста. Он долго просидел над листом бумаги, время от времени поглядывая на дорогу. Ждать пришлось часа два. Когда грузовик проехал, он нагнулся к аппарату. «Прошу повторить последнее сообщение. неполадки с приемом». Потом снова расшифровал радиограмму, выругался и понес ее коменданту.

Они ехали, останавливаясь только для того, чтобы наполнить канистры горючим и маслом. При каждой остановке в пути трое молодых людей тихонько совещались, изредка бросая на Мореля возмущенные взгляды. Наиболее враждебно держался Маджумба. Его превосходство над остальными было скорее физическим; он не был так умен, как Н'Доло, и уж тем более как Ингеле, слишком деликатный, чтобы самоутверждаться. Но от Маджумбы исходила какая-то необузданная плотская сила, он видел, что самый его голос выражает ту обнаженную страсть, которая могла подстегнуть товарищей. Морель не обращал на юношей внимания, но Пер Квист искоса за ними наблюдал. Он не понимал причины их глухой неприязни, но предвидел возможную вспышку. Утром, после долгого, с самого рассвета, пути через джунгли, на втором привале, сделанном, чтобы залить горючее и согреть кофе, Н'Доло подошел к блед-

ному, осунувшемуся Морелю, который, пыхтя, копался в перегревшемся двигателе. Поправив на носу очки, студент произнес:

– Мы требуем объяснений. . . Мы считаем, что вы нас надули. По какому праву вы заявили в манифесте, что ваши действия не имеют политического характера? Кто вам разрешил? Почему вы не представили нам текст до его публикации? Помощь вам была оказана без предварительных условий, но вы не имели права искажать в глазах общества цели нашего движения. . .

Морель кинул на него усталый взгляд»

– Ну и что? – спросил он.

– Эта декларация явно направлена против нас. Совершенно незачем было делать такую оговорку. Вы нас предали. Мы – политическая организация. И представляем собою отряд освободительной армии. А вы в последний момент подорвали нашу операцию, лишили ее какой бы то ни было политической окраски.

Морель поднялся и отер лоб. Он был мрачен.

– Послушай, малыш, – раздраженно произнес он. – Ты еще молод, и мне бы полагалось высказать все Вайтари, но раз уж ты завелся. . . Единственное, что меня интересует, – защита слонов. Я знаю, тебе моя затея не нравится, но мне в конце концов плевать, раз дело обстоит именно так. Я с самого начала ясно сказал, чего хочу и что защищаю. Вы сами пожелали ко мне присоединиться. Ладно. Заявили, что защита слонов интересует и вас. Ладно, идет. Предложили мне помощь, не ставя никаких условий, без всякой задней мысли. Большое спасибо, прекрасно, я согласился. Вы сделали доброе дело. Я ни от чьей помощи не отказываюсь. У вас, конечно, были свои мотивы, я это отлично понимал; я ведь не такой болван, каким выгляжу. А у меня – свои. . . Они вам не мешали действовать с нами сообща, потому что мы были заодно, когда речь шла о непосредственных задачах. . . Но не забывайте, что вы пришли ко мне, я ничего не просил и вас не искал. Вы без конца кричали, что помогаете мне потому, что любите слонов, тоже их любите; они – это Африка. Вы даже говорили, что в тот день, когда станете хозяевами страны, объявите охрану слонов делом священным, включите в свою конституцию. Я дал согласие. Но если природа вас не так уж интересует, если вас вполне удовлетворяют националистические интересы, если все, что вам нужно, – независимость, и пусть онидохнут, эти слоны! – только добиться бы независимости, – надо было сказать раньше. Я политикой не занимаюсь. Защищаю слонов, и все. Однако можешь утешиться. Волноваться не стоит. Они там сварганят политическое дело. Можешь на них положиться. Они никогда не признают, что тут произошло нечто, не имеющее отношения к политике. Сделают все как надо. Поэтому огорчаться не стоит.

– Вы за или против права народов самим распоряжаться своей судьбой? – закричал Н’Доло.

Морель был искренне удручен. Он повернулся к Перу Квисту.

– Что поделаешь, раз он не желает понимать?

– Вы – противник независимости Африки, – заявил студент. – Вот в чем суть.

– Послушай, неужели я говорю недостаточно ясно? Да или нет? – воскликнул Морель. – Единственное, что меня интересует, – защита слонов. Я хочу, чтобы они были живы и сыты и чтобы их можно было видеть. А кто мне поможет – Франция, Чехословакия или папуасы – какая разница, лишь бы получилось. Но было бы еще лучше, если бы мы навалились всем миром, может, тогда что-то и выйдет. Я послал свою петицию во все страны мира, а сверх того – в Объединенные Нации, повсюду, где есть почта. В ближайшее время созывается международная конференция, и я обращаюсь к ней, говорю делегатам: вам надо договориться, это очень важно. Может, они сделают то, что надо, а если к тому же захотят создать какие-то новые государства, новые нации – африканские и любые другие, – я согласен, если буду

уверен, что они в самом деле намерены защищать слонов. Я должен быть в этом уверен. Должен убедиться. Меня столько раз надували, меня и моих товарищей... Идеологий я в принципе побаиваюсь, они, как правило, поглощают все, а слоны – животные большие, занимают много места, кажутся бесполезными, особенно когда спешишь. Что же касается национализма, который занят только собою, как мы видим сейчас повсюду, и который плевать хотел на слонов, это – одно из «с величайших свинств, какие выдумал человек, а он мастер выдумывать всякие свинства. Ну вот, теперь я высказался напрямик и если ты успокоился, можешь помочь мне с канистрами.

Когда Н'Доло отошел, Морель повернулся к Перу Квисту:

– Ну как, все ясно? – спросил он.

– Да, – с легкой грустью ответил датчанин. – Конечно. Но его не убедишь. Бесполезно и пытаться. В Финляндии, когда я встал на защиту леса и русские чиновники мне терпеливо объясняли, что древесная масса для бумаги все же куда важнее деревьев – там ведь было то же самое... Поняли только тогда, когда свели почти все леса. Все повторяется. И китобой объясняли мне, что китовый жир – необходимый товар, что он гораздо важнее живых китов... .

С этой минуты трое молодых людей больше не разговаривали с Морелем и не скрывали своей враждебности. Лицо сидевшего за рулем Н'Доло выражало злобу, а когда Морель ловил его взгляд, читал в нем вызов и презрение. Однажды, после двухчасового молчания, студент злобно поглядел на Мореля и заявил:

– Я вам скажу, что такое ваши слоны. Уловка, чтобы отвести душу. Помогает совесть успокоить. Дымовая завеса, понятно? А за ней вы преспокойно играете на руку колонизаторам... .

Морель спокойно кивнул:

– Может случиться и так.

– Черт бы вас побрал! – закричал выведенный из себя студент. – Хоть разок-то можете прямо ответить, а не увиливать? Вы за свободу народов или против?

Морель открыл было рот, чтобы ответить, но вовремя сдержался. Зачем? Если они до сих пор не поняли, значит, действительно не способны понять. В человеке либо есть такой дар, либо нет. И не у них одних он отсутствует. – «Да, еще не настал тот день, – невесело подумал он, – когда народы всего мира выйдут на улицу, чтобы потребовать от своих правительств, каковы бы те ни были, уважения к природе. Но из-за этого не стоит падать духом, в конце концов, Африка всегда была страной искателей приключений, горячих голов и первопроходцев, которые оставляли тут свои кости, пытались идти все дальше и дальше, – вот и давай-ка поступать, как они. А что касается конечной победы... . Не надо отчаиваться. Надо продолжать, испробовать все средства. Раз люди не способны хоть немного ужаться, потесниться, если у них настолько не хватает великодушия, если – какие бы цели ни преследовали – они не желают уступить место слонам, если упорно считают, что этот символ свободы – ненужная роскошь, – что же! дело кончится тем, что человек сам превратится в бесполезную роскошь». Лично ему это решительно безразлично. Ведь его нелюбовь к людям широко известна и официально признана. Морель выпрямился, отер лоб и веселый огонек в глазах, который никогда не прятался слишком глубоко, засверкал ярче прежнего, он знал, что ни Пера Квиста, ни Форсайта улыбка не удивит, а что до остальных, да и всего мира в целом, – его ведь и так давно считают сумасшедшим.

На следующем перегоне трое молодых людей держались обособленно, даже ели отдельно. Они не расставались с оружием и вели себя так, словно в любую минуту ожидали выстрела в спину. Пер Квист смотрел на них снисходительно. Он привык иметь дело с молодежью и понимал их дурное настроение, но вот кто не спускал с них глаз – это Короторо. Он сидел, нахлобучив засаленную фетровую шляпу на лоб, держа на голых коленях снятый с



предохранителя пулемет, и, махнув рукой в сторону студентов, мрачно сообщил Форсайту:

– Готовят какую-то пакость.

Тогда же, на последнем перегоне Форсайт чуть поближе сошелся с Короторо. Между американским офицером, выходцем из старой семьи южан, и черным бродягой, чью фетровую шляпу и просиженные штаны повидали все африканские тюрьмы, возникла инстинктивная симпатия, хотя бы потому, что оба подвергались преследованиям и опыт рождал у них сродство душ. Они часто спали бок о бок и на дружеское похлопывание белого чернокожий отвечал своей чуть-чуть жестокой, но сияющей улыбкой. И в гот вечер, когда они сделали привал среди кустиков молочая, а вокруг всю ночь разносилась переключка бредущих к водопою стад, Форсайт увидел Короторо при свете луны, – негр сидел на земле, держа на коленях пулемет, как гитару, на которой сейчас заиграет. И Джонни Форсайт впервые задумался над тем, что влечет этого проходимца к Морелю, за которым он так преданно следует.

– Скажи-ка мне, Коро. . .

Улыбка Короторо была заметна даже в темноте.

– Вот уже год, как ты с ним повсюду. . . Ты так уж любишь слонов?

– Да плевать я хотел на слонов!

– Тогда почему? Ты – за независимость Африки? Тоже феллах, как те трое?

– Да плевать я хотел. . . – Он сплюнул и с гордостью произнес: – Я ведь дезертировал из французской армии, я-то уж разбираюсь. . .

Ответ был не слишком вразумительным, но в нем звучало чувство превосходства, слова сопровождал презрительный взмах руки в сторону троицы возле грузовика.

– Понятно. Но почему ты примкнул к Морелю?

Короторо снова сплюнул.

– У меня никого нет, – кратко пояснил он.

Вот и весь сказ, – и если это было признание в дружеских чувствах к Морелю, право же, лучшей причины для его присутствия здесь не придумаешь. Именно Короторо они были обязаны тем, что на этот раз избежали беды. Пристальный взгляд грозы базаров и сирийских лавок, который замечал каждое движение троих заговорщиков, несомненно, помешал им раньше привести в исполнение свой замысел. Форсайт горько себя попрекал, что не обращал на них должного внимания, которого они, однако, требовали, на которое притязали всем своим поведением, – как все очень молодые люди, они не выносили, когда их не принимают всерьез. Убежденные в том, что преданы, оскорбленные тем несколько отеческим пренебрежением, которое им выказывали, – а в нем они усматривали только презрение, – юноши отважились на полный разрыв и даже на то, чего поначалу вовсе не предполагали. Форсайт признался Шелшеру, что и не подозревал, что они замышляют.

– Я не обращал на них никакого внимания. Отлично видел, что они недовольны, но это вызывало у меня скорее улыбку. А потом, надо сказать, мысли мои были заняты другим. В Сионвилле я, как говорится, испил из ядовитого источника: из источника надежды. . . Мысль, что я могу наконец вернуться в Штаты, так сказать, с поднятой головой, что мои соотечественники хоть что-то поняли и, услышав то, что я пытался им прокричать из дебрей Африки, готовы встретить Джонни Форсайта как героя, после того как сами же оплевали, меня совершенно опьянила. Я возвращался оттуда, где был, поднимался, если можно так выразиться, с самого дна, и, согласитесь, мне было о чем подумать. Я лежал на песке, глядя на звезды, и, клянусь вам, видел, что в небе их больше, чем раньше. Никогда еще ночь не казалась мне такой прекрасной. По-моему, я даже запел, короче говоря, был безмерно далек от того, чтобы заниматься этими молодыми головорезами. В конце концов я задремал и вдруг услышал рокот двигателя; подняв голову, я увидел грузовик, который полным ходом рванул в темноту,

увидел, как Коро пробежал несколько шагов, поднял пулемет и стал стрелять. В ответ из грузовика раздался залп; Коро завертелся на месте, выстрелил снова, а потом упал, не выпуская пулемета из рук. Помню, как его шляпа покатила по земле; первое, что сделал Морель, когда мы поняли, что Коро убит, – подобрал шляпу и надел ему на голову. Шляпа была из коричневого фетра – эмблема городской цивилизации. Коро ею очень дорожил, испытывал явную приязнь. Ведь привязываешься иногда невесть к чему. . . Мы так его и похоронили, в шляпе, выкопав руками яму в песке. Потом поглядели друг на друга. До озера оставалось еще километров двадцать, но мы понимали, что бдительность Коро нас, по-видимому, спасла. Он так неусыпно следил за этими тремя горячими головами, что они не смогли раньше осуществить свой замысел. Если бы они сбежали на предыдущем привале, нам пришлось бы топтать лишних пятьдесят километров и мы бы пропали без воды, пищи и оружия. Коро буквально всю дорогу продержал палец на гашетке, но минуты на две заснул, а те только того и ждали. Мы ведь, видите ли, их предали. Позволили провозгласить на весь мир, что наша борьба не имеет никакой политической подоплеки. Вот они и порвали с нами, ринулись прямо к границе Судана, чтобы пожаловаться своему возлюбленному вождю. Они желали построить новое государство; то, что пытался спасти Морель, им казалось просто смехотворным, потешным, плодом расстроенного воображения. . . Должен сказать, что физиономия у Мореля была довольно кислая. . . И конечно, угнетала его не перспектива пешего перехода в двадцать километров без воды по waterless track. Обо всем этом – о трудностях, напряжении сил, опасностях, – могу вам поклясться, он и не думал. Но очень любил Коро, они уже давно были вместе, и хотя этот негодяй однажды украл у него часы, – Морель его обыскал и часы отнял, – они были друзьями. . . Но огорчало его еще и другое: тройка студентов. По-моему, Морель воображал, что раз они воспитывались во французских школах и университетах и проходили там, как вы выражаетесь, «гуманитарные науки», то обязаны понимать, что он пытается сохранить, в чем его подлинная цель. Но ведь таким вещам в школе не научишься. Их изучаешь на свой страх и риск. Надо много страдать, чтобы понять, что такое уважение к природе. А эти парни, несмотря на все свое образование, мало чего стоили. Короторо даже читать не умел, но, видно, интуитивно понимал, что к чему. . . Больше ценил дружбу, чем все остальное. Он-то в жизни помаялся, а это вырабатывает инстинкт самосохранения, потребность в чьей-то защите. Морель в конце концов довольно ясно высказался на сей счет, когда мы собрали наши пожитки, чтобы как можно дальше уйти до наступления дня вместе со слонами, бизонами и антилопами, которые появились с рассветом и стали видны на высоких красных обрывах, тянувшихся к горизонту. «Раз эти трое молокососов не желают, если потребуется, пожертвовать жизнью в защиту природы, значит, они не хлебнули горя. Я даже подозреваю, что колониализм не был для них достаточно суровой школой, ничему их не научил; видно, французский колониализм все же относился к природе с неким почтением. Им еще многому надо научиться, а французы такого урока не дают. Учителями будут люди из местных. Когда-нибудь у них объявятся свои Сталины, Гитлеры и Наполеоны, свои фюеры и дуче, тогда-то кровь закипит у них в жилах, требуя уважения к природе, тогда-то они поймут. . . »

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## XXXII

Щелканье янтарных бус в руке собеседника стало раздражать Вайтари еще больше, чем небрежность, с какой тот слушал, утонув в кресле. Янтарные четки томно свисали с пальцев над ногой, закинутой на другую, сухие щелчки отсчитывали фразу за фразой, которые вот уже час произносил Вайтари. Лицо – усталое, умное, черты резкие, но тонкие; губ, когда он улыбался, почти не было видно, и, не считая фески на седеющих волосах, одет он был по-европейски в хорошо сшитый костюм. Вайтари видел его впервые. Несмотря на все заверения Хабиба, устроившего эту встречу, он сомневался, имеет ли его собеседник тот вес, какой приписывал ему ливанец. Он пытался это установить из беседы и манер посетителя, что ничуть не облегчало положения. Вайтари слышал, что имя этого человека в политических кругах Каира, после падения Фарука, когда могущество Мусульманских Братьев казалось обеспеченным и нерушимым, произносилось со страхом. Но каково его теперешнее влияние, ведь партия разгромлена Насером? Хабиб уверял, будто все в порядке, мол, тот по-прежнему имеет вес, особенно в том, что касается распределения денежных средств и оружия, но следовало убедиться самому, и Вайтари пока еще не терял надежды, что отказ, который он получил, не обязательно исходит от Комитета в Каире. Присутствие этого человека в Судане в тот момент, когда вспыхнули беспорядки на юге, где должно было выковаться нечто вроде союза с Египтом, казалось, подтверждало заверения Хабиба. Рядом сидел молодой человек, коренастый, с могучей шеей, которую открывала рубашка защитного цвета; усы щеточкой и коротко остриженные волосы придавали ему вид типичного египетского офицера. Он мог присутствовать и в качестве эксперта, и для того, чтобы наблюдать, а может, для того и для другого, но его появление все же настораживало. За все время встречи он не произнес ни слова, но чувствовалось, что он уже высказался раньше. Солнце жгло парусину навеса над внутренним садиком отеля «Нил» в Хартуме, где происходило свидание. Посредине садика на голубые и зеленые изразцы фонтана вяло падала вода. По обеим сторонам лестницы неподвижно, словно статуи, стояли слуги в белых рубашках и тюрбанах с серебряными блюдами под мышкой. Вайтари почувствовал, как в нем поднимается раздражение. Им вдруг овладело отвращение ко всей этой восточной неге, где всякая мысль о деятельности казалась насмешкой.

– Значит, таково ваше последнее слово? – спросил он грубо.

Собеседник поднял руку.

– Дорогой, вы же знаете, что в политике последнего слова не бывает. Скажем, что в настоящий момент нам очень трудно оказать вам активную помощь. У нас чересчур много забот в Тунисе, Алжире и Марокко, где, как вы сами понимаете, нам необходимо добиться положительных результатов. Я с вами откровенен. Распылять наши силы в данный момент было бы чистым безумием. Мы вас ценим весьма высоко, тем более что, говоря откровенно, вы совершенно или почти совершенно один. Но такое положение не дает оснований для помощи людьми, оружием и боеприпасами в тех размерах, каких вы требуете. В крайнем случае мы могли бы взять на себя обучение ваших кадров, если у вас, конечно, есть люди, которых надо обучать. Думаю, что пока это не так. Время наступит, но оно еще не настало. На вашу беду, вы из той части Африки, которая... не вполне готова. В настоящее время каждая пуля и каждый доллар, которыми мы располагаем, могут быть гораздо более эффективно использованы в других местах. И мы отнюдь не заинтересованы в том, чтобы разжигать в ФЭА мелкие беспорядки, которые лишь выявят нашу неподготовленность. Лучше, чтобы общественное

мнение подозревало, что наши силы накапливаются, чем обнаружить их отсутствие. Мы не можем действовать повсюду разом. Вот чем объясняется наш отказ. . . на данном этапе. Время наступит, уверяю вас. . .

По лицу говорившего пробежала легкая дрожь, которая будто эхо отразилась в голосе. У Вайтари хватило самообладания, чтобы отдать дань этому проявлению гордости: каково бы ни было положение его собеседника в самом Египте, в делах арабского мира власть свою он сохранял. Но Вайтари знал, какие противоречия существуют между консерваторами, поборниками священной войны, и сторонниками современного экономического и политического прогресса, чтобы не уколоть в больное место.

– Насколько я понимаю, вы преданы прежде всего своим религиозным убеждениям, – медленно произнес он. – А в Каире мне часто говорили о праве народов самостоятельно вершить свои судьбы. . .

Собеседник кивнул:

– Ислам – могучая закваска, но нужно время, чтобы началось брожение. . . Мы вынуждены в первую очередь защищать ислам от материалистического варварства, которое хлынуло с Запада. . . – Он уставился на свои янтарные четки, губы стали тоньше прежнего: он улыбался. . . – Для нас, кстати, вы должны это учесть, марксизм – западная доктрина. . .

Вайтари знал, что его недавние связи с коммунистической партией не составляют секрета; он всегда голосовал вместе с коммунистами после разрыва с центром, от которого первоначально был избран.

– Не вижу, какое это может иметь отношение к делу, – холодно возразил он. – Что до меня лично, то я не пойму, почему мне следовало отказаться от поддержки коммунистов в области сугубо ограниченной. . . Вы же принимаете оружие от народных демократий. . .

Усталый взмах рукой; в отличие от руки Вайтари, эта была само бессилие, утонченность, трепетность. . .

– Давайте не будем спорить о подобных вещах. Я хочу вам внушить только одно: нужно терпение. Сперва необходимо подготовить почву. Так называемая черная Африка будет с нами. . . Ислам, – вы знаете, – быстро распространяет свое влияние. Наша религия моложе, пламеннее, у нее подвижность и мощь ветров пустыни, в которой она родилась, – она победит. . . Африка, завоеванная исламом, восторжествует над миром. И это свершится. . .

Лицо собеседника Вайтари снова оживилось; в нем проскальзывало какое-то почти потустороннее волнение. Едва заметное. . . Но Вайтари были знакомы эти лица, равнодушные, даже когда чувства рвутся наружу: покров остается непроницаемым, а кровь под ним кипит от страсти; да, это холодный как лед фанатик, более того – фанатик религиозный; теперь он уже не сомневался в словах Хабиба: несмотря на разгром Мусульманского Братства, Комитет по освобождению Африки – движение в основном религиозное. Тонкие пальцы вновь принялись перебирать бусины.

– Пока учитесь себя ограничивать. Распространение нашей веры южнее экватора озадачивает христианских миссионеров. Школы по изучению Корана – в авангарде нашей борьбы. Остальное придет само собой. Должен добавить, что, если бы ваша недавняя акция вызвала хотя слабый отклик, мы могли бы подойти к вопросу несколько иначе. . . в пределах наших нынешних возможностей.

– Но вы ведь читаете газеты? – спросил Вайтари с высокомерием, за которым, – и он чувствовал, что собеседник это понимает, – пытался скрыть свою слабость.

Ответом были все та же тонкая улыбка и легкий наклон головы.

– Читаю. И даже вожу с собой. . . Видите?

Вайтари пододвинули пачку английских и французских газет, тех же самых, что были у него в номере; но он-то подразумевал арабские! Он обозлился на себя, – этот довод стоило приводить меньше всего. В газетах писали только о Мореле. Он сделал вид, будто просматривает заголовки: «Чудак из Чада до сих пор неуловим. . . », «Самое удивительное происшествие на свете, наш специальный корреспондент в ФЭА рассказывает о безумной выходке француза, который защищает слонов от охотников». Вайтари не мог скрыть своего раздражения: желтая пресса, не заинтересованная в законных чаяниях народов, сводила на нет все попытки использовать Мореля. Тот превращался в плотную штору, которая скрывала Вайтари от людских взглядов, в дымовую завесу, которую надо было любыми средствами поскорее рассеять. Он презрительно отодвинул газеты.

– Неудивительно, что пресса колонизаторов представляет все под таким углом зрения, – сказал он.

– Да. Как не надо удивляться и тому, что арабская пресса представляет события в выгодном для вас свете. . . Мы вам никогда не отказывали в моральной поддержке.

Вайтари внезапно понял, что выбрал неверный путь. Главное ведь не в том, чтобы получить оружие и «добровольцев», главное – заставить говорить о себе, придать своей персоне международный масштаб. Это все, на что он пока мог надеяться, даже если бы ему и удалось совершить в ФЭА несколько удачных набегов. Заставить заговорить о себе, назначить срок, стать для внешнего мира заметной фигурой, без которой не обходятся переговоры, – вот единственная цель, возможная в данное время. Он понимал как никто, что в обозримом будущем немисливо превратить ФЭА в самостоятельное государство, не входящее в крупную африканскую федерацию, где его собственная роль далеко не гарантирована. Пока уважают их обычаи, племена еще долго будут довольствоваться свободой, позволяющей жить как им нравится. Он выдвинул лозунг независимости в тот момент, когда явная неизбежность оккупации Европы Красной Армией и конфликта с Америкой открывала совершенно новые перспективы и, можно сказать, безграничные возможности. Перейдя к открытому расколу, он предполагал назначить срок восстания, а самому стать посредником будущего победителя, кем бы тот ни был. Он, видно, плохо рассчитал, – совершил ошибку в timing, как говорят англичане. И все, что теперь оставалось делать, – приобретать вес, положение. Надо выглядеть в глазах всего мира выдающейся личностью на политической карте Африки, – подняться на те высокие международные трибуны, где никто уже не спросит, пользуется ли он всенародной поддержкой и каковы его реальные возможности, где в расчет будут приниматься только его талант, красноречие и убеждающая сила голоса. Это пока единственный выход из политической изоляции, да и просто из одиночества. Надо, пользуясь парламентским жаргоном, «определиться» во времена кризиса, определиться в международном масштабе. . . Вайтари заговорил и говорил долго. Он был доволен, что разговор ведется по-французски, – только на этом языке он мог показать себя во всем блеске. Когда он кончил, то не получил ни оружия, ни денег, ни «добровольцев», но уже не сомневался в исходе беседы: собеседники уходили, уверенные в том, что этот человек с медью в голосе, облакавший африканскую страстность в хорошо скроенную одежду французской логики – новая звезда взошедшей на политическом небосклоне Африки. Вайтари посидел минуту-другую, вытирая лоб. Теперь он не сомневался в произведенном впечатлении. К несчастью, эти двое – лишь ничтожная частица той аудитории, которую предстояло завоевать. Задача по-прежнему оставалась нерешенной. Скоро в Бандунге соберется первая конференция колониальных народов, организаторы которой не сочли нужным его пригласить. Он уж постарается, чтобы подобное упущение – подобное оскорбление – не могло повториться. Надо любой ценой завоевать себе положение, и терроризм, пусть мнимый, пусть не имеющий реальной цели, – единственное, что может обеспечить ему политическую репу-

тацию в международном масштабе. О том, чтобы поднять восстание племен, не могло быть и речи, вожди и колдуны относились к Вайтари враждебно, их разделяла непреодолимая стена невежества, суеверий и первобытных обрядов. Но в два или три приема можно подбросить газетам кое-какие сенсационные заголовки, они сперва открывают вам ворота тюрьмы, а потом и двери министерских приемных. . . Все опять упиралось в одно. Надо, чтобы его заметили, надо любой ценой добыть оружие, набрать хорошо оплачиваемых добровольцев, провести несколько набегов в глубь французской территории, Следовательно, необходимы деньги, а в сложной расстановке сил на африканском континенте и во всем мире – это цель достижимая, в чем он не сомневался, быть может потому, что не сомневался в своем будущем. Это будущее он ощущал в мощи собственного голоса, силе рук, в мере своего одиночества, которое сможет утолить только безраздельная власть. Необузданные стремления, порой не дававшие спать, были порождены памятью и волей, – памятью о предках, десяти поколениях вождей уле, и желанием поднять Африку из племенной тьмы до своего уровня. Тут не было и речи о «вере в свою звезду», Вайтари был далек от подобных суеверий, верил в силы интеллектуальные, моральные и физические, которые в себе ощущал.

Вайтари резко поднялся и пошел к лестнице, но его молча остановил слуга и подал на серебряном блюде визитную карточку. Вайтари не смог сдержать горделивого трепета: «Робер Дажон, депутат». Он на мгновение замер и улыбнулся, держа карточку в руке. Ага, подумал он, вот политические круги и заволновались. . . То, что к нему тайком отправили в Хартум такого эмиссара, даже если тот и не из Убанги, уже кое-что значило. Следом за слугой Вайтари направился в указанную комнату на первом этаже.

### XXXIII

Дажон принял его в пижаме.

– Я подумал, что тебе будет приятно, если нас не увидят вместе.

Вайтари поразило, как он разволновался от этого принятого в парламентских кругах обращения на «ты». Его вдруг охватила мучительная тоска по буфетам в коридорах и даже по долгим ночным заседаниям, после которых они отправлялись на Рынок есть луковый суп. Ему пришлось изобразить излишнюю, почти враждебную холодность, чтобы справиться с внезапным наплывом воспоминаний. Дажон был человеком солидным; в прошлом врач – в Убанги, которое с конца войны представлял в палате. Оба они входили в одну и ту же партию центра, вместе обедали, голосовали и совершали политические турне. В палате его уважали за серьезное знание африканских проблем, за страстную, запальчивую защиту интересов своей территории и понимание необходимости ее ускоренного развития. Вайтари считал его человеком искренним, но не слишком умным, неловким и неприспособленным, из-за своего упрямого прекраснодушия, игнорирующего препятствия.

– Я здесь неофициально. . .

Вайтари слегка усмехнулся:

– Не сомневаюсь.

Они обменялись рукопожатием.

– Садись.

Сам Дажон уселся на кровать, под вентилятором. Вайтари пренебрег креслом и сел на стул.

– Видел в Париже твою жену и сынишек. . .

– Спасибо, я часто получаю от них приветы.

– Ладно, – Дажон перешел к делу. – Я приехал, узнав, что ты здесь. Никто меня сюда не посылал. По собственной инициативе, без мандата. Ни от правительства, ни от партии, ни от губернатора, ни от кого. Если ты полагаешь, что дело обстоит иначе, разговор бесполезен.

– Я ничего не предполагаю, – сказал Вайтари. – Ты здесь. Прекрасно. Дальше?

– Я прошу тебя все бросить и вернуться к нам.

– Вот как? А я-то думал, что партия тут ни при чем. . .

– Не в партию. А ко всем нам. К французам и африканцам, которые пытаются создать что-то вместе.

Вайтари помедлил с ответом. Сердце гулко застучало. Три удара. Нахлынули воспоминания. . . Он был уверен, что его лицо ничего не выражает.

– Слишком поздно, – произнес он.

– Из-за истории с Морелем? Ерунда. Все можно уладить. . . – Дажон засмеялся. – Можно даже изменить положение об охоте на диких зверей. . .

Вайтари раздраженно передернул плечами.

– Дело вовсе не в том, – сказал он. – Морель сумасшедший. Какое он имеет значение? Но вы упустили время. Поезд ушел. Его уже не догонишь.

Дажон наклонил голову. За двадцать лет, которые провел в Африке, всякий раз, когда вопрос заходил о политических реформах, он слышал хор голосов, твердивший либо «слишком рано», либо «слишком поздно».



– Чепуха! – грубо возразил он. – Журналистские штучки... Для умеренности и золотой середины никогда не поздно, именно они обеспечивают прогресс...

– Ну уж извини, – перебил Вайтари. – Ничего они не обеспечивают. Быть может, прогресс заканчивается умеренностью, после нескольких исторических эпох, но начинается не ею... Я провел с вами три года, почти полный избирательный срок... Но когда потребовалось дать министерский портфель африканцу, вы дали его Боданго...

– Дакар важнее – и политически, и экономически, чем Сионвилль, – сказал Дажон. – Дело не в личностях, и ты это знаешь.

– Я рассуждаю не с личной точки зрения, – высокомерно отозвался Вайтари. – Но если говорить по существу, что вы сделали для политического воспитания масс в ФЭА?

– Ну, дорогой... Ты знаешь не хуже меня, в чем тут суть. Нельзя добиваться политического, да и какого угодно воспитания масс без попутного экономического, культурного и социального строительства. Надо одновременно создать привилегированный слой и рынки сбыта, профессиональное движение и промышленность. Создавать одно без другого – ковать народные бедствия. Политическая независимость должна идти в ногу с независимостью экономической, не то последствия будут ужасными. Мы были вынуждены действовать медленно. До начала атомной эры не существовало, да и теперь не существует национальных или интернациональных ресурсов, позволяющих решать обе эти задачи одновременно... И все же мы добились жизненно необходимого минимума. Это больше того, чем могут похвастать кое-какие «независимые» государства...

– Русским удалось осуществить такой трюк, не дожидаясь атомного чуда, – вставил Вайтари.

– Да, но какой ценой? Мы ведь тоже сделали такую попытку. Конго-Океан. Все силы направили на гигиену, питание, рождаемость. Основа для дальнейшего движения заложена. Это уже что-то.

– Затея с Конго-Океаном была преступлением против человечества, потому что командовали там вы, европейцы, а мы, африканцы, мерли тысячами, – спокойно заметил Вайтари. – Если бы построить железную дорогу решили сами африканцы, хозяева своей земли, тогда, хотя жертв и было бы вдвое больше, Конго-Океан превозносили бы как достижение прогресса и цивилизации.

Дажон смотрел на него, разинув рот.

– Надо вытащить Африку из первобытной дикости, – говорил Вайтари, – и только сами африканцы имеют право требовать от своих народов таких усилий и миллионов человеческих жертв, в какие это обойдется. Чтобы вырвать Африку из племенной тьмы, необходима хватка, которой не поможет никакая атомная энергия, – а эту хватку честным путем не приобретешь... Поэтому с вами нам грозит застой. Под предлогом уважения к обычаям, к человеческой жизни... Но – застой. А вот если развязать мне руки... – Он показал свои широкие ладони. – Вы увидите, как полетят к чертям собачьим все эти нравы и обычаи, как запляшут колдуны, тамтамы и негритянки с корзинами на голове... Я их заставлю строить дороги, рудники, заводы и плотины. Уж я-то сумею. Потому что я сам африканец, знаю, что делать, и знаю, чего это будет стоить. И готов заплатить такую цену. В России ее заплатили. И поглядите на них сегодня.

Дажон побагровел.

– Ты отлично знаешь, что сперва надо изменить самое природу здешних людей и режим питания, не говоря уже о климате, и лишь потом у тебя появится право требовать от африканских крестьян таких усилий... Они будутдохнуть как мухи.

– Черные рабы обустроили весь Юг Соединенных Штатов, а мой дед говорил, что мы продавали им самых хилых, – сказал Вайтари.

– Ну знаешь... Там ведь речь шла только о работе на плантациях. А не на заводах, плотинах и в рудниках... И не о стахановском движении.

– От всего, что ты говоришь, несет расистским запахом, – с усмешкой заметил Вайтари. – Черные не способны приноровиться к требованиям современной техники... Русские могут, а вот негры... Ну да, они будутдохнуть. Русские тоже дохли. Но когда речь идет о будущем народа, целого континента и о его величии, миндальничать нельзя...

Дажон молчал. Он думал о том ощущении безысходности и одиночества, которое, как видно, породило такую волю к власти. К тому же не стоит забывать, что в одном из потомков великих вождей уле говорит атавизм... Ему хотелось сказать, что во всех рассуждениях Вайтари упущено одно – понятие человеческого достоинства, уважение к человеку, – но язык почему-то не поворачивался...

– Я все же не понимаю, чего ты ждешь и от кого, – сказал он наконец.

Вайтари встал.

– Во всяком случае, не от вас. Мое почтение.

Он направился к выходу, оставив Дажона понуро сидеть под вентилятором.

Вайтари вошел к себе в номер, снял пиджак и растянулся на кровати. Дажон действовал исключительно по своей инициативе, это ясно, и к тому же вполне в его духе. Он насквозь пропитан сюсюкающим прекраснотушием и считает, что все можно уладить путем уступок. Золотая середина... Вайтари с раздражением махнул рукой. Значит, отсюда ждать нечего. Он взглянул на часы, – в пять у него свидание с Хабибом. Тот знает всех торговцев оружием на Среднем Востоке, и через него, быть может, удастся получить кредиты. К несчастью, непонятно, какие он может предложить под них гарантии. И «добровольцев» не найдешь под векселя на будущее... Вайтари с досадой поглядел на гравюры на стенах, изображавшие всадников; чуть ли не единственное напоминание о пребывании в Судане англичан... Его лицо исказила капризная гримаса, поднятые над подушкой руки вцепились в прутья кровати: то была одна из тех минут, когда Вайтари казалось, что он умрет от нетерпения. Контраст между ощущением своих возможностей и политической изоляцией становился все более и более невыносимым. Вся воля была направлена теперь только на борьбу с отчаянием. Лишь во Франции его могли понять и оценить; тут, в сердце Африки, среди колдунов и фетишей, он чувствовал себя потерянным. Сознал, что одареннее, умнее и образованнее девяти французов из ста: доктор права и лицензиат филологии, автор привлечших внимание трудов.

Но он сознательно отрезал себя от Франции, – сперва ошибся в расчетах, а затем главным образом потому, что политическая система Франции, ее учреждения и консервативные традиции не уживались с его честолюбием, с любовью к власти и желанием оставить в истории неизгладимый след. Но Вайтари ощущал, что чужой и для африканских племен, потому что был живой угрозой обычаям их предков, олицетворял революционные перемены. С этой стороны он ничего достичь не мог; надо идти обходным путем, заручиться поддержкой мирового общественного мнения. Но когда он попытался сыграть на безумной затее Мореля, придав той политическое содержание, широкие массы в Европе и Африке приняли эту смехотворную защиту африканской фауны всерьез, страстно встали на защиту слонов и не обращали внимания ни на него, ни на борьбу за независимость Африки, которую он воплощал. Надо любой ценой покончить с Морелем и его гуманистическим мифом, предстать, наконец, перед миром в качестве настоящего разжигателя беспорядков в Африке... Вайтари все еще

размышлял, когда в дверь постучали, и он с удовольствием встретил Хабиба, как всегда веселого и уверенного в неиссякаемых возможностях жизни на земле, если умеешь искусно по ней шагать. Эту уверенность выработало долгое общение с людьми и вещами; когда Хабиб смотрел на кого-то, казалось, он видит тебя насквозь, что ему заранее известно все, что только можно предположить. Да, он уже осведомлен о неудачной встрече с представителем Каирского комитета. И этот провал нельзя воспринимать трагичнее, чем он того заслуживает. Им придется пересмотреть свою точку зрения, достаточно доказать, что мы способны добиться практических результатов. Быть может, и найдется способ выйти из положения. Он пришел с небольшим проектом, который зародился в гениальном мозгу его друга де Вриса, пока тот скучал в больнице – да, теперь совсем поправился, слава Всевышнему. – Надо сказать, для нас это удача, ее словно добрым ветром надуло. Видно, нам вправду помогают силы небесные, и это не просто к слову сказано, ведь засуха и впрямь страшная, – дожди подзадержались во всей Восточной Африке. . . Если повезет, миллионов двадцать взять можно. Хабиб готов организовать экспедицию, – с помощью де Вриса, он-то прекрасно ту местность знает. Всегда готов оказать услугу приятелю, да и комиссии возьмет не больше двадцати процентов, всего на десять процентов выше обычной цены, но дело ведь рискованное, а он берется добыть нужный транспорт и людей. Только благодаря его репутации там согласятся не требовать денег вперед. . . Рассказывал Хабиб со вкусом и, несмотря на требование комиссионных, Вайтари чувствовал, что им движет не столько страсть к наживе, сколько подлинная любовь к приключениям, а может и дьявольский соблазн немного проучить идеалистов, показав, как делаются здесь дела. . .

– Ну, а конкретно, конкретно? – не церемонясь, перебил его Вайтари. – Избавьте меня от своих разглагольствований. . . Мы не первый день друг друга знаем. О чем речь?

Хабиб вынул из кармана карту и разложил ее на кровати.

– Тут, – сказал он, ткнув огромным пальцем в голубое пятно. – Называется Куру. . . Озеро. Единственное во всем округе, где еще есть вода.

Вайтари сидел на кровати, курил и внимательно слушал. Он сразу же подверг сомнению сногшибательную прибыль, которую ливанец собирался извлечь из экспедиции, – для него она играла второстепенную роль. Хабиб предлагал рейд в глубь французской территории, о чем Вайтари сам давно мечтал. Это предприятие давало ни с чем не сравнимую возможность навсегда покончить с Морелем и мифом о слонах, скрывавшим от глаз общества восстание африканцев, – он иногда даже задавался вопросом, не является ли Морель агентом французской контрразведки, получившим спецзадание создавать эту идеалистическую дымовую завесу, прикрывая ею все попытки восстать и подлинное лицо колониализма. Сожженные фермы, вооруженные налеты – все подавалось обществу как безумные похождения мизантропа, вбившего себе в голову, что должен защищать африканскую фауну. Если в результате того, что предлагал Хабиб, недоразумение будет устранено, дымовая завеса, скрывавшая от всего мира его, Вайтари, и то дело, которое он олицетворяет, развеется. Уже ради одного этого стоило соглашаться. Вдобавок операция могла принести несколько миллионов, чем в теперешнем положении он пренебрегать не смел. Но если повезет, они могли рассчитывать на стычку с французскими войсками и на сообщение в печати о «повстанцах, рассеянных на границе с Суданом» – что было важнее всего. За такую рекламу Вайтари был готов сесть в тюрьму и тем самым напомнить о себе «шишкам» в Бандунге, забывшим пригласить его на конференцию. . . Он затушил сигарету.

– Интересно, – бросил он невозмутимо. – Но должен вас предупредить, что у меня едва хватает денег, чтобы расплатиться в отеле.

## XXXIV

22 июня, около полудня самолет, на борту которого американский репортер Эйб Филдс снимал необычное скопление слонов у озера Куру, летел в нескольких метрах над водой, чуть ниже скалистой гряды, у которой на западе начиналось озеро, раскинувшееся на площади в двести квадратных километров; песчаные отмели, скалы и родники. . . Самолет поднялся в воздух ранним утром, пилот уже собирался сесть в Эль-Гарани, к югу от Бар-эль-Газалья, заправиться горючим и снова взмыть в небо. Лежа на животе в носовом отсеке самолета, Филдс снимал кадр за кадром, один из самых драматических репортажей за всю карьеру. Пустынная местность от озера кишела либо издыхающими животными, либо теми, кто еще мог добраться к воде Куру. Сто пятьдесят километров *waterless track*, единственной дороги, наполовину засыпанной песком, были усеяны трупами животных, и когда самолет шел на бреющем полете, следом поднимались сотни грифов, чтобы тут же вновь тяжело упасть на добычу. Многочисленные стада буйволов неподвижно застывали в красной пыли; животные едва поднимали головы, чтобы взглянуть на самолет, а потом брели дальше, всякий раз оставляя за собой свалившихся на землю собратьев, которые больше не могли идти, но все же пытались подняться, судорожно, словно в агонии, дергая копытами; дорогу испещряли бурые пятна, и повсюду, начиная от высохших болот Бар-Салама – обычного убежища в сухие сезоны – стадами тянулись к Куру слоны; они то и дело замирали, ибо теряли последние силы. Облако поднятой еще способными двигаться животными знаменитой красной пыли иногда становилось настолько густым, что от него отражались солнечные лучи, отчего работа фотографа становилась особенно трудной. Филдс ничего не понимал в африканской фауне и едва мог отличить буйвола от тапира, но знал, что публику всегда трогают страдания животных, и радовался, что у него в руках такой прекрасный материал. Чтобы объяснить читателям причину гигантского нашествия зверей на Куру, он снял русла всех протоков и озер в окрестностях, растрескавшееся дно Мамуна, Иро и болотистые места Бар-Салама, обнажившие на десятки километров геологическое нутро, что вызывало в воображении красную планету, к которой у публики такой живой интерес. Над высохшим Бар-эль-Дином самолет спустился как можно ниже, чтобы Филдс мог снять сотню кайманов, вытянувшихся на земле или перевернутых животом кверху, изрывших дно Бара в предсмертных конвульсиях. Что касается самого озера Куру, вода в нем сохранилась только посередине, километров на двадцать в окружности, около красных скал, покрытых землей и тростником. В воде и тростниках застыли изваяниями несколько сот слонов, а в еще влажном болотном иле, полоса которого тянулась к северу, копошились птицы, но снять это не представлялось возможным, потому что стоило самолету снизиться, как он попадал в живое облако, из которого надо было поскорее выбираться, чтобы не потерять винт. Филдсу пришлось удовольствоваться фотографией с высоты в двести метров, откуда птицы выглядели огромным цветным ковром. Эйб Филдс поснимал на своем веку немало, начиная от прошитых пулеметными очередями дорог Франции до разрушений, принесенных ураганом «Хейзел» в Карибском море, не говоря уже о пляжах Нормандии и французских солдатах, подорвавшихся на минах в Индокитае, и многом другом, но подобного зрелища ему видеть еще не приходилось. Он не питал никаких иллюзий относительно чувств, которые оно в нем вызывало, те были чисто профессиональными, нацеленными на тот единственный в своем роде репортаж, который он готовил, оставив далеко позади возможных соперников. Он давно на все реагировал именно так, ибо слишком многое повидал на своем

веку, и если бы позволил себе воспринимать не только зрительно, но и эмоционально все, что ему приходилось снимать в качестве охотника за картинками, давно бы спился. (Филдс признавал, что он и так злоупотребляет спиртным.) Панцирь, которым, как считал, он оброс, оберегал его от потрясений и обеспечивал место в первых рядах, где не было недостатка в опытных руках и ко всему привыкших глазам.

Невысокий, суетливый, с трудом пробивший себе дорогу, Филдс во время гражданской войны поехал в Испанию, отчаянно решив либо сложить там голову, либо вернуться с поистине сенсационным репортажем; ему удалось сделать с расстояния в несколько метров два знаменитых снимка: республиканцы, скошенные пулеметной очередью во время первой атаки на Гвадалахару; он приобрел известность. (Сам тоже получил пулю в руку, но от возбуждения этого даже не почувствовал.) Единственное, чего он не сумел снять, – гибель собственной семьи в Польше, но враги утверждали, будто это произошло не по его вине: Филдса просто там не было. Он был близорук; грустные глаза раз навсегда приучились глядеть на мир так же невозмутимо, как объектив фотоаппарата. В последнее время ему не везло – он упустил резню в Северной Африке и приехал в Чад с надеждой сделать репортаж о Мореле, но у него, как и у двадцати других журналистов, сменявших друг друга в Форт-Лами, ничего не вышло; потом он отправился в Хартум, поверив слухам о якобы готовящемся восстании, во время стычки между сторонниками и противниками союза с Египтом, но к его приезду взбунтовавшиеся войска уже уладили. Он, конечно, знал о том, что дожди запоздали и стоит страшная сушь, но отнесся поначалу к происходящему довольно безразлично; только в Хартуме он услышал об агонии полчищ слонов, обезумевших от жажды и кинувшихся в океан с берега Мозамбика, а потом о массовой миграции животных к последним водохранилищам. Он почуял что-то интересное и решил взглянуть на все своими глазами. Филдс нанял самолет; с первого же вылета он понял, какую удачу сулит поездка. Сейчас он работал всюду и благодарил небо за счастливую мысль. Единственный самолет, какой он смог раздобыть, был старенький, брошенный англичанами «бленхейм», на котором его владелец, лейтенант авиации Дэвис, в прошлом офицер королевских ВВС, обучал «добровольцев» для всех беспокойных точек Среднего Востока; Филдс нанял и пилота. Самолет, казалось, был не способен оторваться от взлетно-посадочной полосы, но, как всегда, репортеру требовалось попасть на место первым, что не позволяло думать о безопасности. (Филдс не боялся несчастных случаев; они частенько давали ему возможность сделать самые лучшие снимки.) К тому же в нем присутствовала непонятная, но твердая уверенность, что умрет он не от несчастного случая, а от рака простаты или прямой кишки. Филдс сам не понимал, откуда берется такая уверенность. Быть может, от невеселых раздумий о человеческой жизни. Он сделал еще несколько снимков, а потом сел рядом с летчиком и опустил колпак, чтобы тот его слышал.

– Никак не пойму, что они жрут. Вода-то есть. Но вокруг голая земля.

– Тростник, – отозвался багроволицый Дэвис. – Сколько хочешь. Слоны во всяком случае его обожают. . .

Во время войны у Дэвиса был отличный послужной список. Однако возраст не позволил ему дольше служить в военно-воздушных силах, и, так как не летать для него было невозможно, он стал одним из летучих обломков, готовых на все, лишь бы оставаться в своей стихии, способных жить где попало, лишь бы на тысячу футов над землей. С 1945 года он шатался по всем барам от Александрии до Хартума, громко изъясняясь на старомодном авиационном жаргоне и шевеля усами, громадными как велосипедный руль, обуруваемый неутолимой тоской по летному делу. До прихода немцев он служил инструктором в египетской авиации, потом перевозил оружие в Триполи и Судан, пока наконец не очутился вместе с одним «бленхеймом» и одним «бичкрафтом» в услужении у клиентов неподалеку от аэродрома Гордон-Три, где

когда-то знавал лучшие дни. Не считая уроков пилотирования, он обслуживал самые дальние уголки, куда охваченные ужасом пилоты солидных транспортных компании отказывались даже заглядывать.

– Они питаются тростником. Говорят, тростник очень вкусный, особенно корни. . .

Левый двигатель зачихал, самолет завибрировал, в тот же миг заглох правый. Филдс схватил свою сумку с негативами и повесил вместе с двумя фотоаппаратами на шею. (У него уже выработалась привычка к авариям и вынужденным посадкам, он был всегда к ним готов.) В ту минуту они находились в пяти метрах над стадом. Дэвис поискал, нет ли поблизости пустой песчаной отмели, и увидел ее как раз впереди, – оттуда поднялась туча птиц. (На страховку он сумеет купить две машины в приличном состоянии.) Самолет прошел прямо над группой стоявших в воде слонов, но в тот миг, когда он садился на брюхо, у левого крыла вдруг появились два слона, лежавшие на боку наполовину в воде; самолет повернулся вокруг своей оси, ударился хвостом о скалу и развалился надвое. Филдса выбросило из кабины, он плюхнулся на песок; сумка с негативами и аппараты уцелели каким-то чудом. Он сразу же встал, надел очки, нацелил объектив, снял самолет со слонами на заднем плане и сделал парочку снимков с Дэвиса, рухнувшего на руль, который вдавился пилоту в грудь. Потом огляделся.

С земли озеро выглядело куда более обширным, а стадо – многочисленным: слоны окружали репортера почти со всех сторон. Филдс немного испугался, но животные были настолько обессилены, что падение самолета в самую середину стада не вызвало у них никакой реакции, лишь взлетели в воздух птицы, среди которых Филдс распознал только марабу и множество гигантских ябиру, да и то лишь потому, что каждое утро видел их из окна отеля в Форт-Лами. . . Птицы, убедившись, что им ничто не угрожает, мало-помалу опускались наземь; маленькие цапли, некоторые устраивались на спинах и на боках слонов. К востоку, на фоне высокого красного откоса, виднелась плотная живая рыжая масса, – Филдс решил, что это антилопы, неподвижно застывшие в зеркальных отблесках воздуха, воды и красных скал, и что он может, ничем не рискуя, пересечь озеро по дну; песчаный берег был от него метрах в ста, там виднелись соломенные хижины, правда, полуразвалившиеся и как будто заброшенные. Хижины тянулись вдоль всей отмели, длина которой составляла около двух километров. У ее северной оконечности, там, где песок упирался в заросли камыша, Филдс заметил человеческую фигуру, бежавшую к самолету. Он осторожно двинулся навстречу, подняв над головой сумку с пленкой и аппараты, но обнаружил, что вода нигде не глубже метра. Он спокойно добрался до берега, где его встретил человек, оказавшийся белым: крупный, рыжий, голый до пояса парень с белым платком в красную горошину вокруг шеи, завязанным сбоку узлом; лицо, покрытое веснушками, показалось Филдсу знакомым.

– Кто-нибудь еще был на борту?

– Да, но он мертв, – ответил Филдс, коверкая французские слова. Он пытался вспомнить, где видел это лицо. Потом вынул из кармана рубашки сигареты и машинально протянул пачку незнакомцу. Веснушки вдруг засияли от радости, явно превосходившей, как казалось Филдсу, восторг изголодавшегося курильщика.

– Американские! Первые с тех пор. . .

Филдс его не слушал. Он узнал эти веснушки. Они, если можно так выразиться, мозолили глаза на первых полосах американских газет во время войны с Кореей, были своего рода позорным клеймом.

Потом они надолго исчезли, но недавно снова засверкали на первых полосах газет, уже в другом качестве: когда Филдс уезжал из Парижа, отправляясь в Чад, они стали почти героическими. И тут репортер наконец понял, куда привела его счастливая звезда. То, что

десятка два журналистов тщетно пытались найти несколько месяцев подряд, обычная и столь удачная авария кинула ему, что называется, прямо под объектив.

– Оставьте себе всю пачку. Надеюсь, что марка не вызовет чересчур мрачных воспоминаний о нашей стране.

Форсайт засмеялся, чтобы скрыть смущение. Они обменялись несколькими фразами о причинах аварии, а вокруг словно тонули в зное, в дрожащем от жары воздухе, где множили их до бесконечности миражи, птицы, буйволы и неподвижные слоны. (Филдс подсчитал, что количество слонов в Куру к моменту его появления составляло от одной до двух тысяч голов. Когда пленка, снятая с воздуха, была проявлена, число слонов, собравшихся в то утро на озере, определили примерно в пятьсот голов.) Он отступил на несколько шагов и сфотографировал Форсайта. Потом они зашагали к хижинам. Позднее Филдс говорил, что с этой минуты им владело только одно желание: добраться до Мореля. Он держал аппарат наготове и был так взволнован, что у него дрожали колени. (Филдс мысленно прикинул, что этот репортаж может принести ему не меньше пятнадцати тысяч долларов.) В то же время в его душе заговорило чувство гораздо более глубокое и естественное, в котором он не решался признаться далее самому себе. Поступки Мореля затронули в нем какую-то тайную струну; нельзя провести двадцать пять лет на авансцене мировых событий, чтобы негодование «человека, сменившего лагерь» не отозвалось в тебе – почва была подготовлена. При этом он испытывал некоторое беспокойство: ведь не исключено, что Морель – просто умелый политический агитатор на службе у Каира или Коминформа, а может и у обоих. В душе Филдса сомнения боролись с надеждой, что выражалось в крайнем возбуждении: он озирался по сторонам в ожидания увидеть фигуру, которая представлялась ему могучей, легендарной, ждал, что она вот-вот обозначится на фоне неба, с карабином под мышкой, но видел он только множество слонов, которые интересовали его гораздо меньше. На вопросы Форсайта он отвечал рассеянно. С профессиональной точки зрения это был явный просчет – Форсайт возбуждал в Америке жадный интерес. Но с Форсайтом все было понятно, встреча не сулила никаких неожиданностей. А вот Морель открывал еще не изведанные горизонты, у этого человека могли быть устремления, очень близкие сердцу Филдса. Тем не менее репортер подтвердил Форсайту то, что тот уже знал после экспедиции в Сионвилль: для американской публики он стал героем дня, чем-то вроде Дэви Крокета, Чарльза Линдберга и летающей тарелки вместе взятых и приобрел к тому же ореол мученика. Тут произошел один из тех переворотов в общественном сознании, которые свойственны широкой публике, – они давно уже не удивляли Филдса. Да, корейское прошлое Форсайта вспоминали только для того, чтобы найти оправдание; то, что он не усомнился в достоверности «данных» о рассеивании американской авиацией зараженных мух над корейской территорией, которые ему сообщили враги, объясняли теперь наивной чистотой души. А что касается выступлений по радио, говорили, что он лишь поддался негодованию, вполне понятному у молодого идеалиста, перед которым внезапно выложили «доказательства» применения бактериологического оружия армией его страны. И когда он наконец раскусил этот гнусный обман, его охватило такое омерзение, что он ушел жить среди слонов в африканские дебри, чтобы с оружием в руках бороться с тем, с чем теперь не желал иметь ничего общего. Все это было так романтично, так трогательно, что всем ужасно хотелось сделать хоть что-нибудь для этого несчастного парня; короче говоря, для журналиста тут была просто золотая жила.

– С недавних пор они горячо интересуются вашими похождениями, за что вам надо благодарить Орнандо, хотя он и не для вас старался: он любит вертеть толпой, словно подбрасывает блины на сковородке – от ненависти, которую к ней питает. Во всяком случае теперь «они» целиком за вас.

Филдс не стал уточнять, кто такие «они», для него это слово не нуждалось в определении. В нем наконец снова заговорил профессиональный инстинкт, который напомнил, что вот готовенькая тема для репортажа; он сделал еще парочку снимков Форсайта и начал задавать тому вопросы. Форсайт отвечал довольно нервно:

– Вы знаете, что я отказался остаться в Китае и потребовал, чтобы меня репатриировали. . . И знаете, как меня встретили. Не было ни одной газеты, не напечатавшей моей фотографии с теми самыми комментариями. . . Меня с позором выгнали из армии, и я укрылся в Чаде, чтобы обо мне забыли; к тому же мне пришлось выехать нелегально через Мексику, потому что мое государство, отринув меня, отказывало даже в паспорте, необходимом, чтобы покинуть его пределы. Большую часть времени я пьянствовал. Классическое падение, как видите, все ниже и ниже. . . Я не сгущаю краски. Отец выплачивал небольшую сумму с условием, чтобы обо мне больше не было слышно; у нас на Юге сильно развито чувство чести. В Форт-Лами жить тоже было не очень приятно: как-то раз пришлось двинуть в морду молодчику, предложившему мне выпить, чтобы «забыться». . . Потом настал день, когда тот же тип снова предложил меня угостить, правда, молча, с улыбкой, и я согласился; денег на выпивку не хватало. Добрыми были только черные, они смеялись, но не надо мной, просто у них такое отношение к жизни. Короче говоря, дела мои были плохи. И вот тогда Морель пришел ко мне со своей петицией. Да как же было не подписать! Разве кто-нибудь на всем белом свете мог понять его лучше, чем я? Легче всего сказать, что меня обманули коммунисты и что стоит только избавиться от коммунистов, как. . . и так далее. Там, в Корее побывала ученая комиссия, сотни людей с международной репутацией, разного возраста и из разных стран, доказавшая как дважды два офицеру двадцати пяти лет от роду, каким я тогда был, что его армия распространяла среди мирного населения чуму и халеру, – вот вам в доказательство зараженные мухи. . . У них были человеческие лица – честные, открытые, с человеческими морщинами, и человеческие глаза смотрели на меня и просили, чтобы я выполнял свой человеческий долг, обличив это преступление. . . А, пускай будут коммунисты, фашисты, демократы или Бог знает кто еще. . . Это были люди. Я сказал по радио то, чего от меня хотели. А когда вернулся в Штаты, мне доказали как дважды два, что во всем том не было ни слова правды. Пропаганда, «холодная война». . . Я должен был знать, что армия, в которой служу, не способна на подобную низость. И снова передо мной были человеческие лица, суровые, достойные; ученые с мировой репутацией, международные ареопаги. . . Но странное дело, меня это уже не трогало. Виноваты ли американцы или коммунисты, – какая разница? Главное, что опозорен, вымазан с головы до ног грязью человек. Началось все давно, и конца пока не видно. Не лучше и не хуже, чем мо-мо или Гитлер с евреями, то же самое, те же дела человеческие, которым не видно конца. . . Да, я отлично понял, что хотел крикнуть Морель. Я ему помог. Когда стало ясно, что даст его петиция, то есть абсолютно ничего, всеобщее насмехательство, мы стали копить оружие. . . Что было дальше, вы знаете. . . А теперь мы тут. . .

Филдс кивнул, показывая, что все понял. Он обшарил карманы в поисках сигарет, но вспомнил, что отдал их Форсайту, жестом попросил у Форсайта одну; тот даже заподозрил, что Филдс его не слушал. Бывший летчик испытывал к журналисту инстинктивное почтение, этот человек только что пережил страшную авиационную катастрофу, а он видел, как тот спокойно возится со своими очками и камерой, пробираясь между слонами, словно переходит улицу. Правда, его, вероятно, закалила профессия. Чего только этот человек не рассмотрел! Наверное, еврей, решил Форсайт, украдкой разглядывая лицо репортера. И выражение глаз какое-то необычное. Внезапно ему подумалось, что возле Мореля с самого начала не было ни одного еврея. Он рассказал журналисту, что они тут, на Куру, уже десять дней, после



вылазки в Сионвилль, организованной с целью привлечь внимание всего мира к конференции по защите африканской фауны в Букаву, живут в пустых соломенных хижинах рыбацкой деревни племени каи, которую жители оставили во время наводнения 1947 года; им помогли устроиться на возвышенности в западном конце озера. Морель два дня назад отправился в Гфат, где сходятся верблюжьи тропы между Чадом и Суданом по ту сторону границы. Единственный торговец в тех краях, говорят, имеет радио, и Морель надеется хоть что-нибудь узнать о результатах только что закончившейся конференции.

– Он убежден, что там примут необходимые меры, а если так и будет, намерен сдать-ся властям. И уверен, что французский суд его с триумфом оправдает. Вероятно, он себя обманывает. Не знаю.

Форсайт помолчал, а потом не без смущения добавил, что лично он рассчитывает вернуться в Соединенные Штаты, как только будет возможно. Филдс и на сей раз воздержался от замечаний. Они дошли до противоположного края отмели, и Филдс издали узнал женщину, ожидавшую за хижинами, возле лошадей. Он остановился и, прежде чем подойти, сделал снимок. Он много слышал о Минне в «Чадьене» и с любопытством разглядывал любительские фотографии, сделанные местными, которые они охотно показывали; в общем, она возбуждала в нем живой интерес, но сейчас он почувствовал себя обманутым. Эта женщина была довольно красива, но красотой скорее банальной, только линии плотно сжатых пухлых губ выражали что-то трогательное и страдальческое; в ней трудно было предположить такую злопамятность или человеконенавистничество, которые заставили бы ее везти оружие и боеприпасы тому, кого окрестили «врагом рода человеческого». Она сказала Филдсу, что видела с отмели, как самолет потерпел аварию, но у нее не хватило мужества подойти. Она думала, что все, кто там был, погибли сразу, и покачала головой, глядя на Филдса с каким-то недоверием, словно сомневаясь, что он действительно невредим. Филдс объяснил, что пилот погиб, а сам он не пострадал. (Рентген в больнице Форт-Лами показал, что у него сломаны три ребра.) Он говорил с ней по-немецки, все время высматривая выгодную точку для фото; попросил снять фетровую шляпу на ремешке у подбородка и сделал снимок; фоном служили неподвижно стоявшие в огромном зеркале миражей слоны, скалы с торчащими тростниками и белые аисты. . . «Сойдет», – подумал он, вставляя новую пленку. Пока он работал, Минна с жаром и глубоким сочувствием рассказывала о страданиях животных, и Филдс удивлялся, как эта девушка не ощущает всей необычности их встречи посреди первобытного пейзажа, при том, какое любопытство вызывает ее поступок во всем мире: позже он скажет, что ни минуты не чувствовал себя в обществе террористов, они казались ему членами какой-то мирной научной экспедиции, озабоченными только своей миссией.

– Пожалуй, надо заняться вашим товарищем, – сказал Форсайт. – В такую жару. . .

Филдс пообещал помочь, как только сделает еще несколько снимков. Он умирал от желания добраться наконец до Мореля, но ему пришлось запастись терпением; он с радостью согласился на предложение Минны поздороваться с Пером Квистом и пытался припомнить все, что слышал о датском натуралисте, чей широко известный дурной характер и мизантропия на сей раз нашли удобную отдушину в защите слонов. Отзывы о том были самые разные, одни предполагали, что под внешностью патриарха скрывается душа дешевого комедианта, жаждущего популярности, другие считали датчанина человеком искренним, но сумасшедшим; третьи вспоминали, что он был одним из главных инициаторов Стокгольмского воззвания о запрете атомного оружия, участвовал в войне в Испании, а потом был посажен в тюрьму Гитлером, – эти люди видели в нем только пособника коммунистическим проидам. (Позднее Филдс имел возможность задать Перу Квисту вопрос по поводу подписи под Стокгольмским воззванием. Натуралист ответил, что им двигал ужас перед последствиями влияния радиации

на флору и фауну. И дело не только в ядерном оружии, но и в «отходах» служивших мирным целям атомных реакторов, которые – отходы – неопределенно долгий срок сохраняют свои губительные свойства в воздухе и в морской воде, грозя гибелью морской фауне и птицам.)

Пока они шли по песку к соломенной хижине датчанина, – Филдс заметил, что эти люди, видимо, предпочитали селиться на расстоянии друг от друга, что показалось ему странным. – Минна объяснила, что в такую сушь вода испаряется настолько быстро, что в озере будто происходит отлив. Выходишь утром, а впечатление такое, как если бы тростники, отмели и скалы словно выросли за ночь. Стоит взглянуть, какими измученными приходят животные к Куру, – несколько дней они даже двигаться не могут и ничего не едят, – чтобы представить себе, что делается в других местах. . .

– Schrecklich! – воскликнула она. – Schrecklich!\*

Филдс произнес несколько подходящих слов. Он не мог сказать, что питает такое уж пристрастие к животным. Ему иногда хотелось купить собаку, но забота о той никак не сочеталась с непоседливой репортерской жизнью; как-то раз, в Мексике во время боя быков, он вдруг горячо пожелал смерти матадору, так его возмутил вид заколотого шпагой быка. Он редко в своей жизни глубоко сочувствовал кому или чему бы то ни было, но в тот раз его пробрало, – он встал на сторону быка. Нет, он не изменил профессии, – держал в руках фотоаппарат, но закрыл глаза. «Поглядите-ка, зажмурился! – сказал кому-то сидевший рядом американец. – А вы знаете, бык – просто ходячее мясо!» Филдс холодно поглядел на говорившего: из Бронкса, решил он, несмотря на яркую рубашку и ковбойскую шляпу, которая шла тому как корове седло: «Трудно определить, что именно можно назвать ходячим мясом», – сказал он откровенно неприязненным тоном. Эйб Филдс не ощущал особой нежности к животным и был несколько ошарашен, когда девушка заговорила об африканской фауне так, словно ничего кроме нее на свете не существовало. Это оскорбляло его нравственные понятия: в мире, где шестьдесят человек из ста дохнут с голоду и даже слово «свобода» кажется им бессмысленным, право же, кое-кто нуждается в защите больше, чем природа. Но эта мысль вдруг породила в его сознании неожиданный отклик, он спросил себя, а нет ли у Минны и у Мореля задней мысли, что, если под охраной природы, которой требуют с таким шумом, с такой настойчивостью, прячется глубочайшее сострадание ко всему живому, далеко превосходящее ту видимую и наивную цель, какую они преследуют? Он почувствовал дрожь, которая нападала на него всякий раз, когда перед ним маячил какой-то необычный сюжет. Филдс попытался побороть профессиональное возбуждение, – ведь если ему даже и открылась истина, что с того, раз ее нельзя сфотографировать? А эта несчастная девушка, наверное совсем необразованная, типичное порождение берлинских ночных кабаков, право же, за ее довольно банальной и даже несколько вульгарной внешностью, за пронзительным и словно страдальческим взглядом голубых глаз вряд ли может скрываться подобное проникновение в самую древнюю и притом насущную проблему человека в его неуверенном движении вперед; право же, невозможно предположить, что она способна доносить подобные вещи; она, должно быть, просто доверчиво верит в то, что француз защищает только слонов и ни в чем неповинных зверей, а может, попросту в него втюрилась, вот и все. Но когда Минна вдруг остановилась и взглянула на сотни и сотни усеявших отмель и стебли тростника птиц, озаренных лучами клонящегося к закату солнца, Филдс увидел у нее на лице такое счастье, что машинально схватился за аппарат.

– Как вы сюда попали? – все же спросил он, для очистки совести и даже грубо: он всегда предпочитал делать моментальные снимки.

---

\*Ужасно! (нем.).

Минна отвела взгляд, и у Филдса создалось впечатление, что она хотела спрятать ироническую улыбку.

– Вас это удивляет? Во время войны и... после нее я кое-чему научилась...

– Не вижу связи.

– Естественно. В Форт-Лами я прочла петицию, которую распространял мсье Морель, и мне захотелось тоже что-нибудь сделать для защиты природы... Вас мое поведение поражает главным образом потому, что я немка, и вы думаете...

– Ничего я не думаю. Какое это имеет отношение к делу? Как объяснить, что вы рисковали головой, повезли оружие и боеприпасы человеку вне закона, который убедил себя, что должен защищать слонов?..

– Я из Берлина, – повторила она с неким упрямством. – Мы в Берлине много чего навидались... Ох, не знаю, как вам объяснить. Ты либо чувствуешь, либо нет. Думаю, в одну прекрасную минуту мне просто стало невмоготу. Вдруг понадобилось... Что-то другое.

Она пожала плечами. Ясное дело, подумал Филдс. Он понимает. Другое... Что-то непохожее. Чего постоянно требуют редакторы газет. И они правы. На этот раз он им выдаст дьявольски шикарный, классный репортаж... Они с Минной дошли до конца отмели, и девушка показала ему на крайнюю хижину, стоявшую чуть поодаль.

– Вон там.

Датчанин спал, устроившись на разостланном на земле одеяле, Филдс никогда раньше не видел Квиста, но читал статьи, вдобавок журналы наперебой печатали его портреты. Да и ничего удивительного: это был завидный материал. Лицо, на котором лежала печать глубочайшей старости и какой-то аскетической жесткости, – во всяком случае на взгляд европейца. (Филдс видел такую же или даже ярче выраженную у китайцев и индийцев. Такое лицо можно было бы еще сравнить с лицами некоторых белых миссионеров в Азии, но последние потеряли всякую схожесть с европейцами и даже глаза у них стали раскосыми.) Филдс нагнулся, чтобы поглядеть, что за книга лежит возле спящего; оказалось, Библия. С такой внешностью, подумал Филдс, визитной карточки не требуется. Он сделал снимок, на котором хорошо видна была книга. Датчанин открыл глаза и пристально поглядел на подошедших, но Филдс почувствовал, что он еще далеко и все еще видит то, что недавно покинул. Репортер рассказал Квисту об аварии самолета, объяснил, кто он и что делает в этих местах. Они разговорились, и Минна оставила их вдвоем.. Пер Квист сказал, что такой задержки дождей, насколько он помнит, еще не бывало и что последствия для Африки будут весьма пагубными. Он говорил с таким фанатическим пылом, что Филдс понял: его слова продиктованы не просто тревогой натуралиста, а душевным волнением.

– Да, – помолчав, сказал датчанин, – бывают такие минуты, когда можно подумать, что небо вдруг решило вырвать из земли самые прекрасные корни...

Филдс пробормотал что-то невнятное. Он не верил в Бога.

Репортер попросил разрешения сделать несколько снимков, и произошло забавное недоразумение. Филдс, как и полагалось, просил разрешения снять самого старого авантюриста, но тот его не понял.

– Пожалуйста, – сказал он, по-хозяйски разводя руками, – снимайте сколько хотите. Сюда ведь слетелось столько птиц, сколько человеческому глазу уже давно не приходилось наблюдать. Если сможете прислать мне потом в Данию фотографии для моей коллекции, я буду весьма признателен.

Филдс охотно обещал. Датчанин поднялся, взял Библию и сунул в карман. Пока они шли по отмели, Филдс спросил, при каких обстоятельствах он сошелся с Морелем.

– Можно смело сказать, что эту миссию мне поручил Музей естественной истории в Копенгагене, – с насмешливым огоньком в глазах ответил датчанин.

Он, как видно, не слишком жаловал официальные учреждения. Но Филдс настаивал на ответе, и Пер Квист в конце концов объяснил, что был одним из первых, к кому попала петиция Мореля. Тот просил мобилизовать общественное мнение Скандинавии на защиту слонов. В письме, приложенном к воззванию, Морель назвал Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию странами «которые в значительной мере решили у себя проблему охраны природы, а теперь должны помочь разрешить ее во всем мире».

Пер Квист немного помолчал.

– В какой-то степени он, вероятно, прав... Я и не подумаю говорить это своим соотечественникам, – они и без того чересчур самодовольны, а я терпеть не могу им угождать, но у нас и правда существует инстинктивный пиетет по отношению ко всем явлениям природы.

Получив воззвание Мореля, он прежде всего обратился к Комитету в Женеве, – но там отнеслись к тексту с благоразумной сдержанностью... К тому же он с ними поссорился. Совсем недавно они отказались поддержать его протест против баз с установками для телеуправляемых ракет на двух островах в южной части Тихого океана, – единственном месте отдыха для тысяч редких птиц во время перелета в Арктику.

– Испугались обвинения в том, что вмешиваются в политику.

В конце концов он не смог с собой совладать и сел на самолет. Морель был еще в Форт-Лами, разгуливал там со своим портфелем, набитым статистическими данными.

– Он изложил мне свои планы... Нельзя сказать, чтобы я его расхолодил. Позади меня пятьдесят лет подобной борьбы, и я знаю, что в таких случаях прежде всего следует разжечь любопытство и заинтересовать толпу... К тому же Морель не из тех, кто дает себя расхолодить... Однако я упорно твердил о трудностях. А он мне говорит: «Знаете, я человек привычный. Раз я уже сделал нечто в этом роде... Самая страшная битва, какую я выдержал в жизни, случилась из-за майских жуков...»

Пер Квист, как видно, намеревался рассказать историю с майскими жуками, но Филдс вежливо вернул его к прежней теме.

Майские жуки и острова Тихого океана не слитком интересовали репортера. Старик явно отличался словоохотливостью. (Через несколько лет, когда Филдс встретил Пера Квиста в Швеции, незадолго до смерти ученого, тот, неотвязно преследуемый воспоминаниями, все же рассказал историю о майских жуках, и тогда Филдс понял, что проморгал, несмотря на свои прекрасные снимки, настоящий репортаж о Мореле!)

Филдс прервал датчанина как можно тактичнее; Пер Квист замолчал и поглядел на журналиста с иронией.

– Ну да, – сказал он. – Вижу, что из-за меня вы теряете время. Приехали-то, чтобы фотографировать... А не выслушивать мои разглагольствования. К тому же можете расспросить самого Мореля. Он вот-вот должен вернуться.

Филдс увидел за тростниковыми зарослями длинную вереницу рыбаков-каи, голых, с корзинами на спине; они входили в воду по пояс и через каждые два шага опускали в озеро свои дротики, распевая хором какую-то отрывистую песню, прерывая ритм выкриками, что сопровождали движения рук. Пер Квист объяснил, что таким образом они убивают до трех сомов одним ударом дротика. Поначалу кай занимались и тем, что надрезали мышцы ног у обессиленных слонов, – с гораздо большей отвагой этой охотой занимаются верхом на лошадях суданские крейхи, нападая на стада слонов в Бонго. Но Морель, приехав, отучил кай от этого занятия. В ту минуту, когда они огибали заросли тростников, Филдс увидел, как вверх поднялась плотная туча птиц; потом она упала вниз и рассыпалась на разноцветные осколки,

словно низвергнутые какой-то неумолимой силой, А затем, в облаке красной пыли, которую сметали с боков тростники, появилось пятеро слонов, тесно прижавшихся друг к другу, – едва очутившись в воде, они разошлись; двое – те, что шагали посредине, буквально свалились в озеро и замерли в неподвижности, на боку, а остальные пошли дальше, туда, где поглубже.

– Поддерживали тех, что упали, – сказал Пер Квист. – Один Бог знает, сколько времени они вот так шли. С тех пор как мы здесь, их приходит каждый день от пятидесяти до ста.

Филдс не успел снять появление слонов и опустил аппарат на грудь. (За три месяца до этого кончился срок договора с одним из американских журналов на монопольное право печатать его репортажи. Он образовал в Париже свое собственное агентство. Репортаж о Куру должен принести более ста тысяч долларов, самую крупную сумму, какую он когда-либо зарабатывал.) Следующие два часа он потратил на цветные фотографии птиц, которые десятками тысяч усеивали болотистое дно, – медленное движение бело-черно-красно-серо-розовой пелены, то единой, а то разбивавшейся на громадные пятна разных цветов; настоящая живая плантация, водная фауна, которая, казалось, возникла скорее из земных недр, чем упала с неба. (Филдс всегда испытывал какую-то неприязнь ко всякой красоте. В ее присутствии он чувствовал себя еще более одиноким. Характер у него был скорее мягкий, он испытывал потребность в гармонии, в согласии, но не любил ощущать себя фальшивой нотой в мировом созвучии. Ему пришлось делать репортаж о фресках Карпаччо, и он вернулся больным. Такое чувство вызывали в нем величественные пейзажи, он предпочитал тесный, продымленный бар, где он был как дома.) Пока он работал, Пер Квист с гордым видом владельца называл имена птиц, но Филдс и не старался их запомнить; он не хотел отвлекаться, гораздо проще показать потом фотографии специалисту, который даст подтекстовки. (Эксперт Музея естественной истории в Нью-Йорке распознал на снимках двадцать семь видов птиц, – половина из них прилетела из Европы.) Он сделал тайком несколько снимков и с датчанина. Старый часовой с ружьем, пронзительно глядевший из-под широкополой южноафриканской шляпы; страж природы, одна из самых трогательных фигур, какие Филдсу приходилось снимать. Горячность и сноровка, с какими работал репортер, по-видимому, произвели на Пера Квиста хорошее впечатление. На обратном пути он стал приветливее и Филдс почувствовал, что чуть-чуть завоевал его уважение. Он этим воспользовался, чтобы расспросить о кампаниях, которые датчанин вел в защиту природы, и был весьма удивлен, когда тот, перечислив множество животных, за которых вел борьбу, – этот список, казалось, включал всю живность, населявшую Землю, – резко добавил:

– А за свободу – повсюду! – и тут же погрузился в угрюмое молчание, словно вспоминая прошлые бои. Филдс начинал понимать характер своего спутника и поэтому не стал нарушать его задумчивость; они молча дошли до края отмели, где Минна готовила еду; стоявший рядом Форсайт отпускал всякие шуточки, замолкая, когда нанизывал на нож и отправлял в рот очередную порцию содержимого банки с американскими консервами. (Филдс тут же отметил, что Морель загодя и очень тщательно подготовил свою операцию. Большое разнообразие консервов, ящики с оружием, санитарные пакеты, походное снаряжение; экипировка свидетельствовала о подготовке, может быть, и немудреной, но никак не соответствовавшей представлению о «безрассудстве» какого-то «нелюдима», как почти повсюду позволяли себе называть Мореля. В действительности он появился здесь тогда, когда зародыш организации был создан Вайтари, который незадолго до того, как он откололся от своей партии, принялся оборудовать на Куру учебный лагерь будущей армии независимой Африки. О существовании этого лагеря в ФЭА постоянно сообщали газеты, но эти сведения опровергались властями. Вайтари начал создавать опорные пункты для своего «партизанского движения» с 1948 года, в тот момент, когда третья мировая война казалась неизбежной, когда совершал свои послед-

ние поездки по ФЭА в качестве депутата Национального собрания, перед тем как укрыться в Каире и произнести оттуда по радио свою знаменитую речь о разрыве с Францией. С помощью Хабиба он сумел организовать для будущих партизан три базы, поначалу довольно убогие, и собирался со временем оборудовать их как следует. Однако вожди племен, которые прислушивались к нему, пока он обладал официальным положением, выдали тайные убежища Вайтари властям. Не сделал этого только старый Гхалити, вождь одной из деревень на Куру и один из самых уважаемых контрабандистов.

Сгущались сумерки, с озера доносился рев слонов, слегка оживших с наступлением вечерней прохлады; у Филдса началась лихорадка, болели бока, он почувствовал, как на него навалилась усталость от всего, что он пережил за день. Он едва притронулся к консервам и рыбным клецкам с просяной мукой; извинился, возвратил Минне котелок и вытянулся на песке. Заснуть мешала мысль, что он должен успеть снять Мореля, если тот появится до ночи. Филдс спросил у Пера Квиста, питает ли он большие надежды на конференцию в Букаву.

– Думаю, что они наконец примут нужное решение, – сказал ученый. – Весь мир требует, чтобы они договорились. . . К тому же мы, как вы знаете, довольно шумно привлекли к этому собранию общественное внимание.

Немного погодя Форсайт заговорил с репортером о летчике:

– Нельзя было оставлять его в кабине. Я решил, что, пожалуй, лучше пока опустить его в воду. . . – Он вернул Филдсу пачку сигарет. – Взял у него.

Филдсу стало неприятно, он совершенно забыл о Дэвисе.

– Я посадил его между двумя скалами на глубине в два метра, чтобы не потоптали слоны. Вещи я отнес к вам в хижину; вон в ту, на случай, если вы захотите переслать их его семье.

– Понимаете, я же очень мало его знал, – сказал Филдс.

Едва он это произнес, как на вершине отделились появились три всадника. Один из них был белый. Филдс вскочил и схватил аппарат. Всякая усталость исчезла без следа, и он сделал первый снимок Мореля меньше чем через тридцать секунд после того, как его увидел. Прикинул, что в запасе у него не больше пяти-десяти минут хорошего освещения, и постарался их использовать. Фотограф уже давно не испытывал такого профессионального возбуждения, точнее говоря, с первых часов после освобождения Парижа (Филдс не очень жаловал французов, но обожал Париж). Он отснял половину пленки, прежде чем завязал знакомство с Морелем. Двое сопровождавших того африканцев смотрели на журналиста не слишком доброжелательно, но Морель, казалось, весело выслушал то, что сообщил ему Форсайт. Он передал уздечку своего коня подростку в широкой белой рубаше, сел на песок и стал с аппетитом есть, довольно охотно, как показалось Филдсу, позволяя себя фотографировать. Более высокий, старший на вид африканец довольно сильно смахивал на араба: нос с горбинкой, две тонкие ниточки седых волос – над губой и над подбородком. Филдс вспомнил, что в Форт-Лами легкость, с которой Морель укрывался от властей, приписывали помощи его спутника – одного из лучших следопытов ФЭА, которого, правда, давно считали покойником. Это был, по-видимому, он. Другой африканец, юноша с хмурым и настороженным лицом, производил странное впечатление: в нем чувствовались одновременно горячность и сдержанность, – ярость, скрытая неподвижностью черт. Филдса сразу заинтересовали этот тайный жар души, ум и выработанная в себе невозмутимость, причину которой, он, правда, тут же разгадал. Но драматические события, которые произошли на Куру, заставили его забыть о многом, и только во время суда он узнал, сколь роковую роль молодой негр играл в деле Мореля. Но даже и тогда никто не мог с уверенностью сказать, вышел ли француз победителем в этом поединке или улыбчивая и спокойная вера в человеческую порядочность вынудила его окончить свои дни в каком-нибудь затерянном углу экваториальных дебрей, где одни муравьи знают, что

последнее слово остается за ними. Во время еды Морель рассказывал о результатах своей поездки в Гфат. У тамошнего торговца – забавный тип, себе на уме, – действительно есть радио, но в двух передачах из Бразавиля, которые он смог послушать, ни слова не было сказано о заседании конференции по защите африканской фауны. Зато ему удалось купить табак, кое-какую провизию, рубашки и шорты. Самое лучшее – присоединиться, как было договорено, к Вайтари в Хартуме; если организации, представленные на конференции, приняли нужное обязательство – тем лучше; если же нет, надо продолжать делать то, чем они занимаются. Во всяком случае, оставаясь на Куру, нельзя ни в чем разобраться. Прежде всего надо уяснить себе, велико ли сочувствие общественного мнения. Тогда можно решать, как действовать дальше. Внимательно слушая его рассуждения, Филдс чувствовал, что совершенно сбит с толку. В Мореле проглядывали простодушие, прямота, говорившие о здравом смысле и практической сметке. Правда, это было только первое впечатление, но Филдс привык делать моментальные снимки. У Мореля был уверенный вид человека, спокойно делающего свое дело. Внятная речь, интонации выходца из предместья, лицо с правильными чертами напоминали Филдсу рабочие кварталы Парижа; странно было видеть такого человека здесь, среди африканских слонов. Наиболее характерной особенностью его лица было упрямство в линии лба и губ, которое разительно контрастировало с веселой иронией в глазах. Филдс решился наконец задать несколько вопросов, которые мысленно заготовил еще днем. (Он не привык брать интервью. Когда в репортаже требовался текст, что случалось не часто, к нему подключали какого-нибудь журналиста. За эту работу брались неохотно: Филдс пользовался репутацией репортера, чьи фото всегда заставляли бледнеть любой текст.) Он пустился рассказывать Морелю о том любопытстве, какое вызывают его персону и воззвание, под которым стоят сотни тысяч подписей. . .

– Вам приписывают скрытые политические намерения. . . Говорят, будто слоны для вас – символ независимости Африки. Националисты заявляют это открыто и оказывают вам поддержку. . .

Морель кивнул:

– Угу. Все считают, что я хитрю, пришив к делу слонов, но никто ради них и пальцем не двинет. А всякий сторонник слонов, – если в нем есть что-то порядочное, – мне подходит. И плевать, кто он – коммунист, титовец, националист, араб или чехословак. . . Меня это не касается. Если они согласны со мною в главном, значит, годятся. Я защищаю жизненное пространство, хочу, чтобы государства, партии, политические системы слегка потеснились, оставили место для чего-то другого, для свободы, которой ничто не должно угрожать. . . Мы заняты вполне определенным делом, защитой природы, и начинаем эту защиту со слонов. . . Глубже копать не стоит.

– Вот уже несколько месяцев, как вы ведете партизанскую борьбу. Как вы объясните ту легкость, с какой вам удается ускользать от властей?..

Морель захохотал:

– Да просто люди желают мне добра!..

– Вы ранили охотников, сжигали фермы. Но ни разу никого не убили. Случайно?

– Я целился очень аккуратно.

– Чтобы не убить?

– А разве человека чему-нибудь научишь, если убьешь?.. Наоборот, у него совсем память отшибет. Верно?

Он, как видно, гордился своим объяснением.

– Власти, да и охотники утверждают, будто вопреки вашим заявлениям слонам не угрожает истребление. Они фактически обеспечены необходимой защитой.

– И что, можно по-прежнему их убивать?

Филдс не нашелся, что ответить.

– Есть целые области, где слонов уже не существует, – снова заговорил Морель. – Весь мир о них знает, они нанесены на карту. И занимают на ней самое большое место. . . Но и в других регионах слонам грозит смертельная опасность. Я знаю, существуют заповедники, но когда ими начинают хвастаться, становится ясно, что творится во всех прочих местах. Могу назвать вам территории площадью в пять-шесть раз больше Франции, где уже два поколения не видели слона, хотя местное начальство заверит, что те повсюду, живут свободно и благополучно, а вы – маловвер, не хотите их видеть.

В первый раз в его голосе прозвучал гнев. Сердце Филдса тревожно забилося. Он не чувствовал себя на высоте положения, хоть и понимал, что суть происходящего – вот она, под рукой, что достаточно задать надлежащий вопрос. . . Но сумел произнести только:

– Я был бы признателен, если бы вы еще раз уточнили, каковы ваши связи с националистами. . . Нас в Америке этот вопрос очень интересует.

– Буду рад всякому, кто захочет мне помочь. А национализм, знаете ли. . . Будь то белые охотники или черные, бывшие или нынешние. Я буду на стороне всех, кто примет необходимые меры для охраны природы. Расы, классы, государства, – тьфу! Если бы, уйдя из Африки, Франция могла обеспечить уважение к слонам, это означало бы, что Франция навсегда останется в Африке. . . Меня бы это, правда, немного удивило, но я только этого бы и хотел. – И словно мимоходом добавил: – Во время оккупации я участвовал в Сопротивлении. И не столько ради того, чтобы защищать Францию от Германии, сколько чтобы защищать слонов от охотников. . .

Филдс сжимал в руках аппарат. Это было чисто нервное. Он и не собирался делать снимки. К тому же стало чересчур темно. Он едва видел Мореля, тот превратился в тень на песке. Филдс пытался что-то разглядеть своими близорукими глазами при свете звезд. Сам он тоже сидел на песке, раскинув ноги. Прячась от солнца, он покрыл голову носовым платком с четырьмя узелками, который потом забыл снять. Хотя репортер уже не видел Мореля, но слышал его отлично. Постепенно он стал различать звезды.

– К политике меня никогда не влекло. Я не одобрял даже политических стачек. Когда бастуют рабочие «Рено», они поступают так не по политическим причинам, а для того, чтобы жить по-человечески. . . По существу они ведь тоже защищают природу. – Морель помолчал. – А что же касается национализма, ему давно пора проявляться только на футбольных матчах. . . То, что делаю здесь, я мог бы делать в любой стране. . . – Он засмеялся. – Только разве что не в Скандинавии. Мне, пожалуй, надо бы поглядеть на нее своими глазами. Они всегда в стороне. . .

Филдс обдумывал, какой задать вопрос. Он чувствовал, что хватило бы нескольких слов, чтобы все прояснить. Эти слова вертелись на кончике языка. . . Но он опасался за свой французский: мол, его словарь слишком беден. Так сказать, подыскивал себе оправдание. А может, мысль была недостаточно четкой и потому не поддавалась выражению. Филдс ограничился вопросом:

– Видимо, вы ополчаетесь главным образом на охотников-европейцев, на плантаторов, любителей сафари. Но по тому, что мне рассказывали в Форт-Лами, я понял, что слонов убивают в основном туземцы.

Морель кивнул:

– Точно. Около пяти тысяч в прошлом году только в Конго. Цифра официальная, что означает, что ее надо до крайней мере удвоить. . . А если взять Африку в целом. – Глядя на Филдса, он раскурил сигарету. – У негров имеется веская причина: они никогда не едят



досыта. Им нужно мясо. Эта потребность у них в крови, и пока тут ничего не поделаешь. Вот они и убивают слонов, чтобы набить живот. Выражаясь научным языком, утоляют потребность в протеинах. А какая из этого мораль? Необходимо такое количество протеинов, чтобы они могли себе позволить роскошь беречь слонов. Сделать для них то, что мы делаем для себя. Вот видите, в сущности и у меня политическая программа: поднять уровень жизни африканских негров. Это неотъемлемая часть защиты природы. . . Дайте им достаточно пищи, и вы сможете внушить им уважение к слонам. . . Набив брюхо, они все поймут. Если мы хотим, чтобы на Земле обитали слоны, чтобы они всегда, пока существует мир, были с нами, надо, чтобы люди больше не умирали с голоду. . . Одно неразрывно связано с другим. Это вопрос человеческого достоинства. Теперь ясно, а?

Он встал и ушел, его фигура затерялась среди звезд. У Филдса создалось обо всем довольно точное представление. Но сможет ли он написать? Он снова почувствовал боль, которая пронизывала бока при каждом движении; возбуждение улеглось и больше не поддерживало. Репортера уже заботило, как побыстрее и побезопасней переправить интервью и снимки в свое парижское агентство. Коммерческая стоимость репортажа была ему далеко не безразлична, его донимал обычный страх, что с пленками что-нибудь случится. Лучше всего было бы связаться с Хартумом. Морель собирался туда сам, но еще не знал когда, и Филдс решил, что для него лично предпочтительнее отправиться в Хартум не мешкая. Тем более что пятьдесят километров, которые надо пройти до грунтовки на Гфат, где, по словам Форсайта, он может рассчитывать на встречу с караваном, который доставит его хотя бы до дороги в Эль-Фашер, требовали таких усилий, что следовало выходить именно сейчас, пока боль не слишком мучительна, а дело явно шло к тому, что она станет невыносимой. (Филдс никогда еще не делал долгих переходов верхом.) Тем не менее он решил остаться, отлично понимая, что движут им соображения отнюдь не профессиональные – просто не хотел расставаться с Морелем.

## XXXV

Грузовики ехали медленно, что словно еще более подчеркивало трудность затеянного предприятия, жару и беспредельность пейзажа Бар-эль-Газалья – а колючки, пучки сухой травы, камни, среди которых облако пыли, поднятое пробежавшей гиеной, – уже целое событие. Дорога казалась Вайтари иллюзией: чуть меньше травы – и все отличие.

– Вот будет дело, если пойдет дождь, – сказал он.

– Метеосводка дождя не предвещает, – сказал Хабиб. – Но поглядим, что будет, insh'Allah!

Де Врис вел машину уже четырнадцать часов. Вайтари искоса поглядел на него: осунувшиеся черты, мелкие, резко очерченные, какие-то звериные; прилизанные волосы, блекло-голубые глаза, устремленные на дорогу. Хабиб сидел между ними, с погасшей сигарой в зубах; ее холодная вонь окончательно выводила Вайтари из себя. Кабина перегрелась до того, что накатывавший волнами запах пота и тот приносил облегчение. Вайтари нервничал, изнуренный тряской, ослепший от солнца пустыни, от которого совершенно отвык, и злился на самого себя за то, что не догадался взять солнцезащитные очки. Каждый раз, косясь на де Вриса, он удивлялся, как тот может до белизны прозрачными глазами столько часов подряд находить раскаленную дорогу – самому Вайтари приходилось только угадывать ее среди камней. По мере того как они приближались к цели, успех операции казался ему все более сомнительным. Его успокаивали только заверения де Вриса, – тот изображал мастака в подобных делах и, кажется, в самом деле знал здешние места, – и оптимизм Хабиба, – впрочем, для того оптимизм был второй натурой. Однако время сомнений миновало. А если бы все пришлось начинать сначала, он, вероятно, поступил бы так же, это ведь был единственный способ добыть приличную сумму денег. И если даже попытка провалится, остается шанс напороться на французский патруль; лучше всего было бы встретиться с отрядом вооруженных людей в военной форме и на грузовиках. Тогда последовало бы замечательное сообщение о том, что «наши войска атаковали группу повстанцев». Чего следовало избегать любой ценой – это быть принятыми за «грабителей», перешедших суданскую границу, однако он затем и находился тут, чтобы поставить все на свои места, а остальное сделает каирское радио... К несчастью, Вайтари отвык от таких физических нагрузок. Не считая нескольких предвыборных турне, он двадцать лет прожил в городах, – по которым теперь отчаянно скучал. Больше всего на свете он любил публичные диспуты, народные сборища, где мог заставить людей прислушаться к своему голосу, силу которого сознавал, мог воззвать к ним с трибуны – этого трона демократии. Он тосковал по Парижу, по обедам, приготовленным женой, по атмосфере политических сборищ, где его черное лицо сразу привлекало внимание. Быть может, он совершил ошибку. Но жребий брошен. Ведь новый мировой конфликт казался таким неизбежным, когда он принимал свое решение; теперь легко говорить, что он был не прав. Вайтари подвели обстоятельства. К тому же его все равно прокатили на выборах, под тем предлогом, что он вышел из партии за два года до конца депутатского срока, чтобы примкнуть к крайним левым. О месте в Париже не приходилось и мечтать. Оставались лишь международные организации, и в эту минуту он выбирал к ним наиболее короткий путь. Тем более что игра шла не столько вокруг национального самосознания народа уле, которому пока что нужны были только собственные колдуны и фетиши, сколько вокруг национальных поползновений Америки, Индии и Азии. Ведь и во французском парламенте Вайтари выступал проповедником не демократических чаяний племен уле, а воззрений французов на демократическое будущее. И

когда речь заходила о прогрессе, она велась о прогрессе не Африки, а других стран. Посему требовалось заговорить громко, с пылом; тогда его услышат повсеместно. И задача состояла в том, чтобы с ходу взойти на международную трибуну, пробиться в высшие международные органы. Надо просто-напросто перескочить африканский этап, достичь руководящих высот националистического интернационала, чей расистский и религиозный характер обеспечит ему прочное положение, а уже оттуда, обладая завоеванным авторитетом, спуститься к африканским массам. Ждать подъема национального самосознания в племенах уле означало оставить все на откуп потомкам, то есть отказаться от собственной судьбы. Уле, масаи и го не знают, что такое «нация»; стены между племенами стоят до сих пор. И языковые преграды тоже: в политической деятельности Вайтари самое видное место занимала пропаганда французского языка; он призывал уничтожить диалекты и открыть широкую дорогу столь необходимой борьбе за национализм и единение. Это был важнейший способ воспитать массы и пробудить в них дух протеста. До сих пор ему кое-как удавалось вызвать возмущение среди уле, только когда речь заходила о недостатке мяса – о наследственной потребности в мясе африканца да и всякого человека вообще. Эта потребность была глубже, насущнее, чем необходимость в новом политическом устройстве. В молодости он часто видел, как жители деревни убивали животное и тут же его пожирали; самые ненасытные съедали до десяти фунтов мяса вприсест. От Чада и до Кейптауна жадность африканца к мясу, вечно возбуждаемая недостаточным и неравномерным питанием, – вот то общее, что роднит всех жителей континента. Это их мечта, неутолимое желание, физиологический зов организма, более сильный и возбуждающий, чем половой инстинкт. Мясо! Влечение к нему – самое древнее, самое сокровенное и универсальное у всего человечества. Вайтари подумал о Мореле и его слонах и горько усмехнулся. Для белого человека слон долгое время был лишь слоновой костью, а для черного – только мясом, самым обильным количеством мяса, какое мог добыть ему счастливый удар отравленным дротиком. Представление о «красоте» и «благородстве» слона возникло у человека пресыщенного, питавшегося в ресторанах два раза в день, посетителя музеев абстрактного искусства; оно родилось в упадочном обществе, которое прячется от уродливой социальной действительности, будучи не в силах ей противостоять, в возвышенных облаках красоты и возбуждает себя туманными понятиями «красота», «благородство» и «братство» просто потому, что поэтическое отношение к жизни – единственное, что позволяет ему история. Буржуазные интеллигенты требуют отдвигающегося вперед общества, чтобы оно взяло на себя заботу о слонах только потому, что так они надеются избежать собственной гибели. Они сами ощущают себя столь же нелепым и громоздким анахронизмом, как эти доисторические животные; всего-навсего вызывают о жалости к самим себе, умоляют, чтобы их пощадили. Вот так обстоят дело и с Морелем, типичный случай. Куда удобнее сделать из слонов символ свободы и человеческого достоинства, чем выражать свои идеи политически, придавая им конкретное содержание. Да, это действительно очень удобно: во имя прогресса требуют запретить охоту на слонов, а потом толпа ими любит издали; совесть успокоена тем, что каждому возвращено чувство собственного достоинства. Бегут от активного действия, прячась за пустыми жестами. Это классическое поведение идеалиста, и Морель тому разительный пример. Но для африканца вся красота слона воплощена в количестве его мяса, а что касается человеческого достоинства, то оно заключается прежде всего в набитом животе. С этого момента оно и появляется. Когда у африканца будет набитый живот, тогда, может, и он станет интересоваться эстетическими достоинствами слона и предаваться сладостным размышлениям о красотах природы. А пока что природа рекомендует ему вспороть слону брюхо, вгрызться зубами во внутренности животного и жрать, жрать до одурения, потому что неизвестно, когда он добудет следующий кусок. Но обо всем этом ни в коем случае нельзя говорить открыто. Пока даже марксизм –

недопустимая роскошь. Новые националистические движения пока могут победить только за счет упадочного буржуазного сентиментализма, где решающим фактором часто бывает «красота идеи», а отнюдь не на основе исторического материализма, нацеленного в самое нутро буржуазии. Вот он, Вайтари, и делает все, чтобы приспособить к своим целям охрану слонов, «уважение» к ним и действия Мореля. Однако сентиментальность западной толпы превзошла даже его ожидания, поэтому надо устранить двусмысленность, скрывающую от глаз мирового сообщества, кто такой Вайтари. И к тому же добыть средства, необходимые для создания серьезной организации. На трех грузовиках у него двадцать вооруженных и полностью экипированных человек, но никому из них не заплачено. Если экспедиция окончится провалом, он окажется в безвыходном положении. Все, что он сумел оплатить, благодаря одному хартумскому дельцу, согласившемуся дать аванс, – это военное обмундирование, – обноски английской армии, бранные ее остатки. Он целиком в руках Хабиба и де Вриса. Странно, что все великие начинания человеческой истории в какой-то момент зависят от обычных негодяев. Торговцы оружием, шпионы, провокаторы, темные дельцы – все они тесно связаны с самыми благородными достижениями человечества. Но их присутствие, к несчастью, вовсе не гарантирует успеха.

Он повернулся к Хабибу и поймал его насмешливый взгляд, устремленный на кепку, лежавшую у Вайтари на коленях: старое кепи небесно-голубого цвета, форменный головной убор лейтенанта запаса французской армии, которую Вайтари тщательно берег из сентиментальных побуждений. Только снял лейтенантский галун и заменил его пятью генеральскими звездами. Не золотыми, как во французской армии, а черными, которые заставил вышить на лазоревом фоне. Ну да, генерал без армии, подумал Вайтари, увидев насмешливый взгляд Хабиба. Однако армия существует – в Индии, в Азии, в Америке и даже в самой Франции. Стоит ему возвысить голос, и его услышат.

– Армия мне не нужна, – сказал он. – Идеи не нуждаются в войсках, они сами прокладывают себе дорогу. Но если произойдет стычка, надо быть в военной форме, иначе пресса нас попросту не заметит.

Хабиб подумал, что Вайтари совершенно не понял, что означал его восхищенный взгляд. Он продолжал как зачарованный коситься на небесно-голубое кепи с черными звездочками. Снова почувствовал безмерную благодарность к жизни, так щедро дарящей бесценные наблюдения. Кепи чисто французское, а пять черных звездочек вместо лейтенантского галуна постоянно доказывают все, что угодно, – прежде всего до чего может дойти человек в своем одиночестве.

– Очень верная мысль, – сказал Хабиб.

Лично он категорически отказался надеть мундир и избавиться, хотя бы на время, от морской фуражки. Он всегда плавал под собственным флагом – по крайней мере за собственный счет – и не собирался менять своих убеждений. Хабиб был прирожденным искателем приключений, не примыкавшим ни к какому движению; если его и вдохновлял какой-то идеал, то это было лишь желание испробовать все чудесные возможности жизни. И попутно обеспечить своему молодому, забавному другу кое-какие спортивные развлечения, желательные в его возрасте, и одновременно позволить тому свести личные счета.

– Стычек не будет, – сказал де Врис. – Я эти места знаю. Единственный военный пост – у границы, в двухстах километрах к северу, там шесть человек. . .

– И дождя не будет, – сказал Хабиб. – Можете на меня положиться. У меня багажи.

Форсайт начинал терять терпение. Он не понимал, почему Морелю так откровенно не хочется покидать Куру. Что они выиграют, оставаясь на озере? Пускай Морель сколько угодно

твердит, что в этих местах нет войск, но он допустил промашку, отправившись в Гфат, – всем известный пункт следования караванов с контрабандой, который держат под надзором; это не имело бы значения, если бы они в разумные сроки ушли с озера, но Форсайт готов был держать пари, что известие об их местонахождении уже дошло туда, куда нужно. Они рисковали попасться самым глупейшим образом, как раз тогда, когда он мог вернуться в Америку и начать жизнь заново! Результаты конференции в Конго, без сомнения, известны в Хартуме, и сам Морель признавал, что им надо заглянуть туда, прежде чем они решат, что делать дальше. Форсайт не сомневался, что, если делегаты в Букаву и примут нужное решение, Морель все равно весь остаток своей жизни проведет среди слонов. Так как у него нет ни гроша, то когда эфемерная слава улетучится, он превратится в один из тех африканских обломков кораблекрушения, которых видишь повсюду; они являются в бар, а кругом с жалостливой улыбкой, даже не понижая голоса, рассказывают свои истории. «Смотрите, это же Морель! Я-то думал, он давно умер. А ведь, вспомнить, сколько о нем было разговоров. . . Да, как говорится, у него был свой звездный час». Затем длинный рассказ, вызывающий у собеседника неопределенные восклицания; кто-то говорит: «Ага! Конечно, помню. . . Человек, который защищал слонов. . .», сопровождая свои слова насмешливым и слегка сочувствующим взглядом, очень довольный тем, что он-то сам всегда занимался своим делом. . . Форсайт горько усмехнулся, он знал все наизусть и повторять не собирался. Он, конечно, мог оставить их тут, уехать один, но опыт, приобретенный в Корее, породил в нем чуть ли не болезненную потребность сохранять верность. К тому же здесь была Минна. Напрасно он пытался разобраться в ее отношении к себе, в полном равнодушии к тому, что он ей говорит. Она только улыбалась, и все. Да и встречались они редко. В этом тоже было что-то удивительное: все четверо жили в отдельных хижинах, каждый в своем углу, и кроме как за совместной трапезой, которую готовила Минна, друг с другом не разговаривали. Форсайт, у которого, как и у всех его соотечественников, был очень развит стадный инстинкт, нуждался в общении и в конце концов вознегодовал. Четыре чудовищных одиночества, которые отказывались знаться между собой, чувствовать локоть приятеля! Даже Идрисс и Юсеф держались особняком, они тоже жили отдельно и почти не общались. Морель все дни проводил на озере, среди своих слонов. Пер Квист пропадал на болотах, вероятно, занятый подсчетом десятков тысяч птиц, снедаемый опасениями пропустить хотя бы одну. Только Минна оставалась на отмели, она сидела у края воды и глядела на слонов с такой радостью, что Форсайт нередко приходил в раздражение, которое ему, однако, приходилось всячески подавлять. Он снова оказался один. Раньше он посчитал бы, что все в порядке, поскольку и сам не особенно радовался обществу людей. Но теперь психологическая нить, связывавшая его с тремя другими, вдруг порвалась. Ему казалось, что упрямство Мореля, Пера Квиста и Минны перешло всякие границы, что их прямолинейность, непримиримость приняли немислимый характер и что они скоро совсем заблудятся в каких-то недоступных его пониманию высях, не имеющих ничего общего с земной жизнью. Как-то утром он попытался убедить Минну, что им больше нельзя оставаться на этой по *map's land\**, на которой они находятся.

Она разговаривала с двумя кай, которые, как и каждое утро, принесли рыбные катушки, один вид которых вызывал у Форсайта тошноту. Он не знал, что они обсуждают, каждый из них выражался на своем языке: Минна разговаривала по-немецки, а негры отвечали ей на языке кай, кивая в знак согласия головами и выразительно жестикулируя; это продолжалось по четверть часа каждый день, после чего собеседники, по-видимому, крайне довольные друг другом, расходились, улыбаясь во весь рот. Форсайт сказал девушке, что им совершенно

---

\*Ничейная земля (англ.).

незачем здесь оставаться, это становится опасным, они сделали для Мореля и его слонов все, что могли, и он теперь намерен отправиться в Хартум. К вящему его удивлению, Минна полностью одобрила его решение.

– В Гфате вы, может, поймаете грузовик, – сказала она. – Кажется, они иногда там проходят.

– А вы? – с негодованием спросил он.

– В каком смысле?

– Вы не поедете?

– Куда вы хотите, чтобы я поехала?

– Со мной. . .

– А куда вы хотите, чтобы я поехала с вами, майор Форсайт? Вы что, предлагаете мне выйти за вас замуж?

– Конечно, – ответил он, пытаясь обрести прежний развязный тон. И тут же добавил: – Имейте в виду, я серьезно.

Она ласково улыбнулась:

– Спасибо. Но я не выйду за вас замуж только потому, что не знаю, куда мне деваться. . . Кстати, майор Форсайт, любовь, она ведь существует. . .

– Морель? – тихо спросил он.

Минна покачала головой:

– Нет, не Морель. Морель может быть что-то большее, но не это. . . Нет, не Морель. . . Теперь. . . уже никто.

Она резко повернулась и ушла. Форсайт смотрел, как она идет по отмели в направлении низкой линии горизонта над тростниками. Он вспомнил, что ему говорили в Лами – рассказывали о трагическом романе Минны с русским офицером, которого позднее расстреляли. Наверное, все дело в этом, – решил он, глядя, как она удаляется прочь, и внезапно всем своим сердцем захотел оказаться на месте того офицера.

– На Куру? – повторил губернатор. – Почти и не у меня. . .

Но это было еще у него, как, впрочем, и всегда. Все неприятности выпадали только на его долю. Когда какое-нибудь племя решало, что больше никак не может обойтись в своих колдовских обрядах без половых органов слонов, и принималось крушить все вокруг потому, что им не разрешали вырезать их столько, сколько им хотелось, это непременно оказывалось племя уле на его территории, а не в Чаде, где уле тоже сколько угодно. Когда люди-леопарды забирали в голову, что о них слишком давно не говорят, и за один месяц раздирали когтями на части пятерых деревенских жителей, это должно было произойти тоже у него. Когда таинственно исчезал покойник, как раз перед тем, как его собирались раскрасить в зеленый, синий и желтый цвета, – по обряду, цель которого состояла в том, чтобы сделать тело неприкасаемым и сохранить для духов, – и когда в конце концов находили лишь начисто обглоданные кости, надо было, чтобы и это случилось у него и чтобы случайно проезжавший журналист оказался как раз в том месте и сунул туда нос, хотя подобных случаев людоедства не бывало уже лет пятнадцать. Да я вообще, когда какой-нибудь журналист совал во что-нибудь нос, все всегда происходило у него. Когда на Африку обрушилась засуха, обязательно, давая представление о размерах бедствия в печати, приводили в пример его плантации и национальные парки. И когда свихнувшийся мизантроп решил «выбрать слонов» – опять же у него, в его столице он совершил свою самую сенсационную выходку. Ведь мог же отправиться к Дю Ниарку, у того и джунгли более густые и непроходимые; было бы совсем неплохо и у Бадассье, у которого под толстой задницей сто тысяч километров весьма привлекательного

пространства, если не считать мухи цеце, слоновой болезни и самого широкого распространения трихоцефалеза в Африке. Или чем ему не угодил Вандарем, где тоже имеется все для полного счастья? Но нет, Морелю надо было объявиться именно тут. В общем, губернатор ждал неприятностей с самого начала. С тех пор как услышал о первых похождениях Мореля в Чаде, он почувствовал беспокойство и даже тревогу: «Эге, – сказал он себе, – а почему это не у меня? Как такое может быть?» Здесь явно было какое-то недоразумение. Морель должен был исправиться. И вот, решив устроить демонстрацию силы посреди какого-нибудь города, он выбрал Сионвилль, а когда почувствовал потребность развлечься и высечь чью-нибудь задницу, то остановился на крошке Шаллю, приняв, естественно, во внимание политические связи ее мужа. И последствий долго ждать не пришлось. Говорили, будто его преемник уже взял билет на самолет; тем не менее губернатор Уле ни за что не отдал бы по собственной воле ни своей должности, ни своего округа. Вот такая она, Африка, в ней всегда происходит что-то неожиданное. Ее можно тихонько повести по новому пути, но она по-прежнему будет удивлять, поражать чем-то необычайным, немыслимым и если есть еще на свете земля, где человек может стать легендой, то лишь тут, в Африке. Морель, вероятно, будет стоить ему отставки, но он на него не в обиде. С тех пор как он начал досаждать властям, губернатор стал испытывать к нему даже какую-то симпатию. Этот авантюрист достоин Африки, под стать ее суевериям, сказкам и нелепицам. А после появятся другие искатели приключений – белые, красные, черные, желтые, – потому что в Африке фантастике никогда не будет конца. Этот человек ему по душе. . . Что же касается преемника. . . Может, удастся еще что-то уладить. Он улыбнулся. Губернатор Уле был человек молодой, энергичный, с веселым лицом и без боя не сдавался. Он повернулся к Боррю. Того прислали из Чада как раз из-за Мореля, – последний действовал именно здесь, а Боррю занимался им с самого начала. Что лишний раз доказывает, думал губернатор, что у военных вожжи покрепче, чем у гражданских.

– Ну?

Боррю провел пальцем по карте.

– Голубое пятнышко, которое вы видите, оно, как вы справедливо заметили, находится не у вас, а в Судане, – источник Гфат. . . Там перекресток караванных дорог, имевший важное значение во времена работоторговли. Он не потерял его и сейчас, хотя товары пошли другие. Дорога из Эль-Фашера проходит много севернее, но для тех, кто старается проскользнуть незамеченным, этот перекресток не имеет цены. Поэтому мы забросили туда лазутчика. Он продержится столько, сколько удастся, потому что рано или поздно, с уходом англичан и разговорами насчет объединения. . . У него большие требования, но он того стоит. . . Морель явился в лавку четыре дня назад. Вошел как ни в чем не бывало, заявился напрямик из пустыни, в сопровождении двух негров, – очевидно, один из них Идрисс, но я хотел бы в этом убедиться, ведь Идрисс давно должен был умереть, – пошел прямо к радиоточке и пять часов слушал новости. Как все страдающие манией величия, он жаждал услышать, что о нем говорят. . .

Губернатор молча слушал. Он только что вернулся с полугодовой конференции в Браззавиле, где все на него глядели либо с иронией, либо сочувственно. . . Коротышка Санте, эта вонючая псевдо«шишка», даже похлопал по плечу и спросил: «Ну как, старина, ваш протез?» Коллеги обращались с ним как с тяжелобольным или с легко бьющимся предметом. . . Были среди них и такие, кто продолжал утверждать, будто слоны – миф, а Морель – иностранный агент, поскольку же он настаивал на противоположном, большинство ополчилось против него. Но все были согласны в одном: эту выдумку ни в коем случае нельзя развеивать, потому что в нее верит весь мир, хотя сами они убеждены, что тут замешаны панафриканские националисты, поиски которых вдобавок не имеют под собой ничего конкретного. И они были

правы, говоря, что общественное мнение у Мореля «на поводу», что народ верит в него и его слонов. Телеграммы и петиции в его защиту тысячами поступали со всех концов света. Для обывателей Морель был героем движения, никак не связанным ни с нациями, ни с политическими идеологиями, ни с Африкой как таковой; происходящее явно задевало людей за живое потому, что все они питали тайное недовольство жизнью, а еще, быть может, и потому, что все люди более или менее осознанно мечтают когда-нибудь преодолеть тяготы человеческого существования. Они требовали простора и верили в человека. Губернатор тоже верил. Ведь человек появился именно в Африке миллионы лет назад, что весьма и весьма характерно, недаром ведь он вернулся именно в Африку, чтобы с величайшей яростью бороться против самого себя. . .

– Хорошо, а дальше?

– Морель купил сигареты и сто пачек табака для наших проводников караванов. Потом отправился назад, к Куру. Наш друг послал человека проследить за ним до поворота на тропу. Никаких сомнений быть не может.

– Чад что-нибудь предпринял?

– Выслали взвод на верблюдах из Афны. С ними поехал Шелшер.

– Верблюды на Куру?

– Да, понимаю. . . Но пятьсот километров в окружности других войск нет. Момент как раз неудачный. Изучается план реорганизации охраны суданской границы. . . Там больше сорока лет хозяйничали англичане. Поэтому полиции было в два раза больше. И защищать границу требовалось только от крейхов, которые грабили слоновую кость, устраивая набеги на Буги. А теперь необходимо охранять около тысячи трехсот километров новой границы. . .

Полковник провел пальцем линию на карте.

– Самое важное – помешать Морелю укрыться в Судане. А тогда схватить его будет проще простого. . . Двое суток, и все.

– Как же!

Взгляд полковника выразил досаду.

– Я ведь не скрываю, что у меня отлегло бы от сердца, если бы с Морелем было покончено, – уже более дружелюбно сказал губернатор. – Он стал слишком популярен. . . Может коротать время в тюрьме за чтением писем. А вообще-то я думаю, что его признают не отвечающим за свои поступки. Кстати, вам известно, что мой преемник уже, так сказать, намечен?

Боррю соорудил подобающую физиономию.

– Сайяг. . . Не понимаю, что его сюда влечет.

– Он знаменитый охотник, – проговорил Боррю. – Приезжает в Африку охотиться не реже раза в год. . .

Губернатор явно заинтересовался.

– Хороший стрелок?

– О, у него мировая репутация. . . Двадцать или тридцать лет назад он был одним из самых знаменитых профессиональных охотников за слоновой костью.

Лицо губернатора заметно просветлело. Он чрезвычайно ласково проводил Боррю до двери. Когда полковник ушел, губернатор заглянул в соседний кабинет и пригласил к себе управляющего делами.

– Скажите. . . Остались еще тут какие-нибудь репортеры или все разъехались?

– Двое или трое пока здесь. Сейчас вместе с ними будем завтракать.

– Отлично. Вы знаете Сайяга?

– Познакомился в прошлом году у вас. Он приезжал поохотиться. . .



– Да, вспоминаю. Дело в том, дорогой мой, что он, как видно, займет мое место. Можете сообщить репортерам, это уже не секрет. Скажите, что он барин и прекрасно знает Африку. . . Каждый год приезжает охотиться. Постарайтесь их заинтересовать. Оказывается, он самый знаменитый охотник на слонов у нас во Франции. На его счету не меньше пятисот голов. . . Да, можете идти. Объясните им, что на посту губернатора он лучше всякого другого сумеет помочь развитию охотничьего туризма. . . Поняли мою мысль? Скажите, что при его содействии мы наверняка окажемся лучшей территорией для сафари, отодвинем на задний план Кению. Вот-вот, вижу, вы меня поняли. Ступайте. . .

Он вернулся в кабинет, сел за стол и задумался. Потом его разобрал смех.

Это была лучшая пора суток. Солнце еще не припекало, перья птиц, что парили над стадами животных, отсвечивали всеми оттенками зари. Тысячи голенастых марабу и американских аистов бродили вокруг по песку и скалам, а у пеликанов едва хватало места, чтобы разогнаться перед взлетом. С каждым утром из воды выступало все больше красной земли; обычно поросшие травой скалы, тростники и стаи птиц представляли островками на озерной глади, а сейчас обнажилась полоса скалистого дна шириной чуть не в пять метров; озеро можно было перейти, не замочив ног. За ночь животных еще прибавилось. Те, что пришли последними, иногда не выходили из воды по двое суток и совершенно не спали. Тут, несомненно, сказывалось не только физическое изнурение, но и нервная реакция на пережитое; Морель знал, что слоны приходят в себя медленнее других животных. В своих статьях Хаас, который провел среди слонов двадцать пять лет, бродя от Кении до Чада, писал, что видел, как самка, у которой он отнял детенышей, после нескольких часов бешенства и яростных поисков внезапно утратила всякую энергию и рухнула на землю, другие животные из стада тщетно пытались заставить ее подняться. Он уверял, что мог подойти к одной из таких матерей, покинутых выбившимися из силы собратьями, и погладить ее по хоботу, не вызвав ни малейшей реакции. «Погладить ее по хоботу» – так выразился этот замечательный человек. Что не мешало ему и дальше отнимать у слоних детенышей и посылать тех в неволю. В неволю! Слоны в неволе. . . Морель почувствовал, как кровь бросилась ему в голову, и стиснул карабин, полный непримиримой злобы ко всем ловцам на свете. И когда ему удалось всадить Хаасу пулю в задницу, он почувствовал, что жил даром. Потом он подошел к голландцу, чтобы тот знал, кто в него стрелял. Слуги оставались под акациями, держались на почтительном расстоянии. «Я читал вашу статью о тех, кого вы поймали, – проговорил он. – И сказал себе: я должен внести кое-какую поправку в авторское право. . . » Хаас усмехнулся; усмешка сразу же сменилась гримасой боли. Потом он приподнялся, опираясь на локоть. «Пожмите мне руку, если я вам не очень противен».

Слон лежал на левом боку, на другом виднелась красная пыль пустыни; между ногами животного расхаживали две цапли. Сперва Морель подумал, что слон мертв, но когда вышел из тростников, заметил легкое подрагивание уха, первый рефлекс тревоги, увидел, как приоткрылся глаз. Морель потрогал пальцем пыль: у животного не было сил даже облиться водой. Глубина болота составляла всего сантиметров тридцать, кое-где вспучивалась жидкая грязь; вокруг стоял сухой, непрерывный треск, словно без конца рвались хлопущки; из озера, отталкиваясь хвостовыми плавниками, выпрыгивали рыбы. Он в первый раз видел, чтобы они передвигались днем; обычно рыбы дожидались ночи. Морель недоумевал: куда они надеются попасть и почему так долго ждали этого момента? Рыбы могли преодолеть расстояние в десятки километров, но на сей раз и такого расстояния было мало. Тем не менее Морелю редко попадалась мертвая тинная рыба. Он сел на камень, положив карабин на колени; запах тины и гнилых растений бил ему в нос, а перед глазами роились насекомые. Однажды он поймал

каи на том, что они перерезали связки у лежавшего в сторонке слона. После выговора, надо надеяться, они больше не станут этого делать. Что же, ему остается только сторожить, ведь в сущности он для того и приехал. . . Через полчаса слон поднял голову и вяло обрызгал себя водой. Морель подмигнул.

– Так-то, дружок, – сказал он. – Никогда не надо отчаиваться. Наоборот, лучше быть безумцем, ведь первое пресмыкающееся, которое, не имея легких, выползло из воды, чтобы жить на суше, и пыталось дышать, тоже сошло с ума. Но это не помешало в конце концов появиться человеку. Всегда пытайся сделать больше, чем можешь.

Он не был уверен, подумал или высказал мысль вслух, а потому повернулся к Юсефу; за тот год, что они провели вместе, юноша наверняка перестал удивляться чему бы то ни было.

– Выйди оттуда, – сказал Морель, – там крокодилы.

Юсеф медленно выбрался из тростников.

– Юсеф!

– Да, миссье.

– Когда хозяином будешь ты, тебе придется заняться слонами. . .

– Хорошо, миссье.

Но слоны Юсефа не интересовали. Он на них даже не смотрел.

Морелю казалось, что он их презирает. Но при этом сам, по собственной воле, примкнул к борьбе в защиту африканской фауны. В один прекрасный день он молча вышел из леса и с тех пор повсюду следовал за Морелем с пулеметом в руках, как черный ангел-хранитель. У Мореля на его счет иногда возникали разные предположения. И тогда он разглядывал Юсефа вот как сейчас – внимательно, насмешливо и дружелюбно. В этом лице не было и тени угодливости, а в глазах светилась такая потаенная страсть, что ее нельзя было не заметить. Вот уже скоро год, как они живут вместе, едят и спят рядом; однажды Морель услышал, как юноша разговаривает во сне. Это случилось в Сахеле, в голубом сумраке ночи; Морель остановился возле Юсефа, спавшего на боку, прижавшись щекой к земле. Юноша произнес несколько слов, и тогда Морель понял, с чем он столкнулся; ему хватило этих нескольких секунд, чтобы узнать, какие силы борются за душу Африки, но он, не колеблясь, доверился лучшей из них. С тех пор присутствие Юсефа ежеминутно напоминало ему, что игра идет серьезная и на карту поставлена не только его жизнь.

– Тебе еще не надоело болтаться у меня за спиной?

– Нет, миссье.

– Ты ведь не желаешь мне зла, верно?

На лице юноши появилось легкое беспокойство, появилось – и сразу исчезло. Морель открыл было рот, чтобы сказать, что догадывается, точнее, знает, но вовремя сдержался. Это ни к чему не привело бы. Короткого пути не существовало. Юноше следовало самому пройти по дороге жизни, победить или потерпеть поражение. Морель верил в Юсефа. Почему бы тому проиграть? Морель улыбнулся:

– Ты боишься, что со мной что-нибудь случится?

Юноша опустил глаза. На его лицо легла легкая тень внутренней борьбы, – только вырез ноздрей выдавал кровь первых арабских завоевателей.

– Я с тобой пойду туда, куда ты пойдешь.

Пер Квист сказал о нем: это высочайшее доверие Африки. У Вайтари было другое определение: патернализм. Преданность слуги своему хозяину. Морель нагнулся над слоном, потрогал безжизненный хобот, улыбнулся видневшемуся из-под складок кожи глазу.

– Не горюй, слышишь, их проймет, – сказал он слону. Всех проймет до костей. И белых, и черных, и серых, и желтых, и розовых. Тина – не навсегда. Выберешься. Вот увидишь: дело кончится тем, что у всех появятся легкие, чтобы дышать.

## XXXVI

Филдс провел вторую ночь в соломенной хижине, завернувшись в одеяло, которое ему дала Минна. Спал он плохо, сломанные ребра болели; два раза пришлось встать: его рвало. Третий раз репортера разбудило присутствие женщины; он вскочил, сердце грозило выскочить из груди, но то была лишь африканская ночь в своем облике закутанной в покрывало женщины. Он долго сидел, пытаясь побороть беспокойство, оно таилось в глубине души, это желание женщины, – Филдс так и не смог привыкнуть к одиночеству. Когда он очень уставал или был болен, желание становилось неодолимым. Он сидел в темноте и курил, твердя, что это просто биологический инстинкт продолжения рода и нечего морочить себе голову. Но потребность в ком-нибудь была настолько сильна, что все на свете рассуждения, как всегда, лишь усугубили безнадежную борьбу с одиночеством, которую он вел столько лет. Филдс спрашивал себя, способна ли какая-нибудь женщина утолить эту потребность? Смешно думать, что пара рук, обнявших за шею, может спасти человека. К тому же ему приходилось спать со многими женщинами. Нет, все не то. Тут какое-то недоразумение. Он улыбнулся и вмял сигарету в песок; он знает, что ему нужно: хорошую собаку, которая время от времени будет давать лапу. Было два часа утра. В темноте разносился рев слонов, тревожный и очень близкий, – Филдс подумал: ничто не мешает этим гигантам прийти, перевернуть хижину и растоптать его. . . Наконец он снова заснул, чтобы, казалось, тотчас же проснуться – на самом деле он крепко проспал три часа – от ружейной стрельбы. Секунду он прислушивался, думая, что все еще находится во власти обычного ночного кошмара, ему снилась стрельба, одновременно и редкая, и частая, что велась в предместье д’Анцио на пятый день после высадки или на пляжах Нормандии. . . Он не любил своих воспоминаний. Но сейчас это не было сном. Единственное объяснение – на Мореля неожиданно напала полиция и он обороняется. Но перестрелка была слишком оживленной. Схватив аппарат и сумку с пленкой, Филдс выбежал на отмель. У него осталась только одна целая кассета и половина заправленной в катушку. Однако запасная пленка не в счет; он привык держать одну про запас при любых обстоятельствах. Это помогало сохранять присутствие духа. (Филдса вечно преследовал страх, что вот-вот произойдет какое-нибудь сенсационное событие, не похожее на обычные репортажи, а у него не останется пленки.) Глаза слипались со сна, но все-таки он сделал первый снимок, еще толком не понимая, что происходит. В утреннем свете, напоминавшем какое-то безмятежное сияние, окрестности словно приблизились; на всех кочках красной земли, на траве и в тростнике, покрывавшем скалы, лежали люди и стреляли в слонов. Выстрелы раздавались со всех сторон, пули летели вдоль всего озера; Филдс видел силуэты других людей, стоявших на скалах; они безостановочно стреляли с плеча, и солнце блестело на их арабских головных уборах, что напомнило репортеру солдат британской полиции во время войны в пустыне. Рев обезумевших животных сливался в чудовищный грохот, все больше и больше заглушавший стрельбу. Посреди озера в плотную, серую кучу сбились сотни слонов; они жались друг к другу, шарахаясь от взрывов; лежавшие на скалах охотники кидали им под ноги динамитные шашки. Филдс с первого взгляда понял, что бойня идет по всему Куру, вплоть до заболоченного участка на севере, откуда, казалось, в воздух поднялись птицы всей Земли; несколько стад собралось под большой скалой к востоку, в самой глубокой части озера, метрах в трехстах от ближайших каменных пиков. (Филдс потом рассказывал, что сперва ему показалось, будто ночью на Куру высадился целый армейский батальон.) С того места, где

он стоял, репортер сделал полдюжины снимков и попытался приблизиться к семерым слонам, медленно погружавшимся на дно под прицельным огнем, который велся с расстояния менее пяти метров, надеясь снять сцену крупным планом, но мимо его уха просвистела пуля, и он решил не рисковать своими бесценными пленками. Филдс отошел на верхушку отмели, стараясь разобраться в том, что происходит, и сообразить, откуда лучше снимать. В этом был весь Филдс; он не терял времени на раздумья о причинах массового избиения обессилевших слонов, заботился лишь о том, чтобы запечатлеть его на пленке. (Позднее Филдс опубликовал один из снимков, сопроводив его цитатой из речи Вайтари: «Мы сделали это для того, чтобы покончить с легендой о слонах. Нашу борьбу за независимость пытаются прикрыть дымовой завесой так называемой кампании в защиту природы. Это классическая уловка Запада – за громкими словами и звонкими гуманитарными лозунгами прятать уродливую действительность. Надо было покончить с этой тактикой. И мы с ней покончили».) Наконец он опустил аппарат на грудь и побежал к хижине Мореля. В эту минуту он упустил единственный в своем роде снимок. На бегу он заметил великолепного слона с поднятыми в небо бивнями, который сумел под выстрелами взобраться до половины скалы; пока Филдс разворачивался, животному удалось схватить стрелка и вместе с ним свалиться в воду. Репортер опоздал на какие-нибудь полсекунды только потому, что во время падения слон закрыл своей тушей тело охотника. Сквозь оглушительный шум явственно прозвучал человеческий вопль.

Филдс грубо ошибся, подсчитывая убитых на Куру животных. Вернувшись в Форт-Лами, он заявил, что в течение двух дней погибло приблизительно четыреста слонов. Официальная цифра, сообщенная британским властям администрацией Чада на основании доклада Инспекции по делам охоты и опубликованная в печати, составила двести семьдесят убитых животных, из которых двести были с бивнями. Ошибка Филдса объяснялась возбуждением, а также тем, что он вывел общее количество убитых слонов по всему Куру исходя из того, что произошло в центральной части озера. Но не только его цифра, – и официальные данные вызвали недоверие специалистов по охоте на крупного зверя. Даже если допустить, что де Врису, разместившему за ночь на скалистых берегах Куру тридцать пять своих стрелков, удалось в полной мере воспользоваться бессилием слонов, – семь животных на человека – такое не снилось никому из охотников. Самый крупный отстрел слонов, зарегистрированный в Убанги в 1910 году, составил семьдесят животных на двадцать охотников, а там люди имели дело со слонами, тонувшими в болотах Банду и двигавшимися крайне медленно, что давало охотникам возможность стрелять, сколько пожелают. Эксперты поставили под сомнение и слова Филдса о том, что за два дня, которые продолжалась эта бойня, множество животных, успевших спастись, вернулось на озеро. Подсчеты эти оспаривались даже после возвращения Шелшера, хотя тот привез неоспоримые доказательства. Арабские радиостанции называли количество убитых животных, приведенное европейской прессой, типичным примером пропагандистской кампании против африканских националистов. Филдс сперва 4 усомнился в подсчете Шелшера, который основывался на количестве изъятых бивней и не учитывал раненых животных, ушедших подальше от озера, чтобы умереть на воле. Число последних должно было быть весьма внушительным, тем более что стрелки больше рассчитывали на частоту огня, чем на прицельность. Умение хорошего солдата не всегда соответствуют умению охотника, а большинство своих людей Хабиб набрал из дезертиров суданских частей, которые взбунтовались в апреле, а потом, объединившись в небольшие группы и тщательно замаскировавшись, отсиживались в городах, рассчитывая, что они понадобятся во время референдума по вопросу о независимости. Было среди них и несколько дезертиров из Иностранного Легиона, которые спрыгнули с корабля во время прохождения по Суэцкому каналу; кое-кто из них томился в Хартуме в ожидании событий и обещанного жалованья. Операция была чисто военная, и все

участники были одеты в военную форму; многих животных расстреляли из пулеметов, а у других головы были оторваны разрывными снарядами (словом, не хватало только пикирующих бомбардировщиков).

Филдс обнаружил Мореля в хижине; тот сидел на земле вместе со своими товарищами; лицо у него было в крови; выяснилось, что в самом начале стрельбы Морель, схватив карабин, побежал к озеру, задержался на миг, чтобы выстрелить с отмели, а потом кинулся в Куру и продолжал стрелять, стоя по колено в воде, среди толпившихся вокруг слонов. Он попал в цель с третьего выстрела и снова поднял ружье, но упал, получив удар прикладом по шее. Незадолго до того Форсайта и Минну захватили спящими, но Мореля тогда не нашли, потому что он спал возле слонов на краю отмели, завернувшись в одеяло. Хабиб отправился на поиски и тут увидел, что он вдруг появился среди животных и начал стрелять. Кроме Минны, руки у всех были связаны за спиной; пленников охраняли два суданца с пулеметами. Среди незваных гостей был человек, которого Филдс никогда не видел, но сразу узнал. Его черное лицо было словно прокалено огнем, что придавало чертам, тонким, но почти классическим, мужественную красоту, которую трудно было забыть. (Первое, что почувствовал Филдс при виде Вайтари, – собственную неполноценность.) Тем не менее это лицо не казалось привлекательным. Филдс не мог отвести глаз от кепи на голове этого чернокожего Цезаря – небесно-голубого кепи французского кавалерийского офицера, с пятью генеральскими звездочками командующего армией посередине. Звезды были не золотыми, а черными. Филдс смотрел на них, разинув рот. Ему стало и страшно, и жалко, – он видел перед собой один из самых классических случаев паранойи, какой ему когда-либо приходилось наблюдать. Руки сами потянулись к аппарату, и он сделал снимок, крича: «Журналист, журналист. . .» и думая, что это последний снимок в его жизни. (Год назад Филдс встретил в Нью-Йорке писателя-негра Джорджа Пенна, вернувшегося из Аккры, и тот сказал: «В Африке есть несколько политических деятелей с большим размахом: Н'Крума в Аккре, Азикиве в Нигерии; Аволува у ямбов и Кеньятта, который сидит в тюрьме в Танганьике. Но есть там еще один незаурядный человек, пожалуй, самый необыкновенный из всех, кого я когда-либо видел, как среди белых, так и среди черных: это Вайтари из Французской Экваториальной Африки. Когда об Африке заговорят всерьез, то раньше всего назовут это имя. Разве что французы успеют произвести его в свои премьер-министры, если у них хватит смекалки.») За спиной у Вайтари стоял человек, который, казалось, получает такое же удовольствие от того, что здесь происходит, как и от потухшей сигары у себя в зубах. На нем были морская фуражка, синие полотняные рубаха и штаны, черные с белым туфли; весь его добродушный жуликоватый облик больше напоминал о маленьком средиземноморском порте, где по-дружески улаживают дела контрабандисты, а не об этом сердце Африки и самой древней распе всех времен. Пер Квист сидел в углу, рядом с Идриссом, уронив голову на грудь. Форсайт, как видно, оказал серьезное сопротивление, потому что харкал кровью. Американца поначалу обманул вид людей в военной форме, которые 1 разбудили его пинками в бок. Он было подумал, что это отряд регулярной суданской полиции, приехавший их арестовать по поручению ФЭА. Понял он, что происходит, только увидев Вайтари и Хабиба, да и то осознал до конца, что к чему, только после первых выстрелов на озере. Он кинулся на солдат, которые его вели, и тут ему здорово досталось. Юсефа не было, что же касается Минны, то она, в разорванной рубашке защитного цвета, плача и дрожа, почти в истерике, вырывалась из рук крепко державшего ее за плечи и скалившего от восторга зубы суданца. Войдя в хижину, Филдс мгновенно оказался под прицелом, но, несмотря на минутный испуг, сообразил поднять фотоаппарат и заявить о принадлежности к американской прессе. (У Филдса было совершенно четкое представление о будущем. Он верил, что непременно когда-нибудь умрет от рака простаты или прямой кишки, что играло

не последнюю роль в его репутации отважного человека, которую он снискал даже среди своих коллег.) Единственное, что его сейчас тревожило, – это судьба аппарата и пленки: он ждал, что их отнимут. Но Вайтари как будто даже обрадовался присутствию репортера. Лицо негра выражало удовольствие и предупредительность, которые он с трудом пытался скрыть. У Филдса был опытный взгляд старого волка; он сразу чувствовал отношение к себе политических деятелей и теперь быстро успокоился. Он прекрасно понимал, что бывший депутат от Уле заинтересован в том, чтобы о нем заговорили, особенно в США. Казалось, что Вайтари совсем забыл о Мореле; он беседовал с Филдсом настолько любезно и с таким желанием понравиться, что тому сразу стало ясно, какое значение Вайтари придает беседе с журналистом. (Филдс потом говорил, что у него было ощущение, будто он разговаривает с французским интеллектуалом.)

– Надеюсь, вы отдадите нам должное, когда будете о нас писать, – сказал Вайтари. (Филдс заметил, что он сперва выражался несколько напыщенно. Однако эта интонация быстро исчезла, уступив место глухому гневу, связанному с глубокой убежденностью в том, что он говорит. Филдс с самого начала почувствовал, что он абсолютно искренен и верит в себя. Вайтари умел захватить слушателей, обладал тем таинственным даром, каким владеют великие демагоги и подлинные трибуны. Правда, Филдса не обманули его чисто ораторские приемы, – он еще не встречал политических деятелей, способных забыть о потенциальной аудитории в разговоре с журналистом, но репортер был равнодушен к силе, может, потому, что сам был напроць ее лишен и сознавал это, а Вайтари к тому же был наделен физической привлекательностью, которая одновременно раздражала Филдса и вызывала у него легкую зависть.)

– Ваше присутствие позволит мне рассеять некоторое недоразумение. Я не могу выразить, с каким гневом и негодованием борцы за независимость следят за попытками прессы колонизаторов замаскировать подлинную цель нашей борьбы за свободу Африки, подменив ее той скандальной и оскорбительной версией, которую поручено было воплотить и поддержать тому Морелю. Мы знаем, кто ему платит и почему ему удавалось так долго ускользать от властей. Он был той дымовой завесой, которой хотят прикрыть наши законные устремления. Нас это возмущает и бесит тем более, что нам надоело, что Африку воспринимают как зоопарк, место отдыха для пресыщенных людей Запада, которые утомились от своих небоскребов и автомобилей; они приезжают сюда, чтобы восстановить силы в первобытной обстановке и растрогаться от нашей наготы и наших слонов. С нас хватит, мы сыты по горло, и я прошу вас всячески это подчеркнуть; мы хотим вывести Африку из варварства, и могу вам поклясться, что для нас фабричные трубы в тысячу раз красивее, чем шеи жирафов, которыми так восхищаются ваши бездельники-туристы. Мы пришли сюда, чтобы покончить с этим недоразумением. А также, – однако заметьте, что это не главное, – добыть слоновую кость, как можно больше, чтобы на вырученные деньги купить современное оружие, нам его всегда не хватает. Лично я никогда не увлекался охотой. Я хотел бы даже, чтобы наш народ навсегда забыл, что был народом охотников. Это ведь тоже связывает нас с первобытными временами, с той архаической эпохой, из которой мы любой ценой выведем наш народ. Но движению нужны деньги. И наше присутствие здесь доказывает, что мы ни у кого не состоим на содержании. Мне предложили помощь в Каире, – я отказался. Но торговцы оружием не отдают свой товар даром. За него надо платить. Ваше общественное мнение полно жалости к слонам, а положение африканских народов ему безразлично либо от него скрывается. Я намерен привлечь внимание к Африке и рассчитываю на вашу профессиональную честь: вы должны обнародовать правду о нашем движении. Если для нашей цели нам надо будет пожертвовать всеми слонами Африки, мы перебьем их безо всяких колебаний. . .

Филдс прожил в Париже несколько лет, но еще не слышал, чтобы кто-нибудь настолько свободно изъяснялся по-французски. Он подумал: «На каком же языке Вайтари обращается к племенам ФЭА во время своих пропагандистских турне?» (Потом он попытался это выяснить. Вайтари в совершенстве владел только диалектом уле. Около двадцати семи других диалектов были ему совершенно неизвестны. Он был одним из тех, кто, начиная с 1945 года, вел бешеную кампанию за обучение племен французскому языку и постепенный отказ от туземных диалектов. Причину отгадать было не трудно. Колдуны и вожди племен сохраняли власть, пока существовал языковой барьер. Для Вайтари французский язык был главным рычагом освобождения, объединения племен и орудием пропаганды, единственным способом борьбы с традициями. В диалекте уле нет слов «нация», «отечество», «политика», нет даже слов «рабочий», «труженик», «пролетариат» и выражение «право народов распоряжаться своей судьбой» превращается в «победу уле над своими врагами». Таким образом, кажущийся парадокс, состоявший в том, что Вайтари стал непримиримым борцом за введение французского языка, имел вполне логичное объяснение.) Пока Вайтари говорил, стрельба на озере не прекращалась, – что было практическим подтверждением его слов. Как и у большинства американцев, у Филдса не было особой склонности к философствованию; он мало предавался абстрактным размышлениям, особенно после натурализации. Его больше занимали используемые средства, нечто осязаемое, то, что можно сфотографировать, чего с избытком хватало там, на озере, чем величие поставленных целей. В то время, пока черный трибун в полутьме тростниковой хижины с дрожью в голосе развешивал перед ними образ будущей Африки – индустриальной, электрифицированной, избавленной от своих непроходимых зарослей и первобытного уклада, Филдса занимала стрельба снаружи и он не мог побороть желания мысленно подсчитать количество убитых слонов (которое впоследствии столь неумеренно преувеличил). Он сделал еще один снимок с Мореля, Форсайта, Пера Квиста и Идрисса, сидевших, скрестив ноги, со связанными за спиной руками, – в этой позе побежденных чувствовался неуловимый отсвет вечности. Рядом с ними рыдала Минна, уже беззвучно, изредка проводя рукой по лицу. Сидя в маленьком парижском кафе, где любил встречаться со своими соотечественниками, Филдс потом скажет: «Единственная революция, в какую я еще верю, – революция биологическая. Человек когда-нибудь станет чем-то более или менее приемлемым. Прогресс все больше и больше уходит в биологические лаборатории». Морель казался самым спокойным из всех, он не был ни удивлен, ни возмущен. Чувствовалось, что ему не впервой попадать в подобные переделки, равно как и то, что он не разрешает себе отчаиваться. Позднее, когда Филдс заинтересовался, о чем он думал в то время, пока шло избивание слонов, Морель ответил спокойно и не без иронии:

– О Юсефе. Ведь все от него зависит. Он должен это понять. Он сделает выбор.

(Бродя по отмели, Филдс несколько раз видел Юсефа возле лошадей, за которыми тот ухаживал. Юноша, скрестив ноги, сидел на песке. Свое оружие он либо припрятал, либо его отняли, но самого Юсефа, как видно, по причине молодости, люди Хабиба оставили на свободе. Когда журналист заговорил с ним, Юсеф поднял голову и поглядел на Филдса, но ничего не ответил, а может быть, его и не увидел; Филдс был поражен выражением глубочайшей скорби на этом лице, обычно прикрытом маской невозмутимости. Губы дрожали, глаза страдальчески блестели, черты потеряли свою четкость и выражали горе, неуверенность, внутреннюю борьбу, смысл которой журналист тщетно пытался разгадать. Юсеф медленно опустил голову, не отзываясь на дружеские слова Филдса.)

Пока Вайтари произносил речь – его пылкую тираду трудно было назвать иначе, – Морель только раз вышел из своего, как казалось, равнодушия. Он горько усмехнулся и одобрительно кивнул, когда бывший депутат Уле гневно бросил:

– Ну да, конечно, меня обвиняют в сочувствии коммунистам. Это куда удобнее. Но ведь не коммунисты, а крайне правый французский писатель Шарль Моррас сказал, что из всех человеческих свобод самая драгоценная – независимость твоей родины. . .

Единственным, на ком во время перебранки мог, что называется, отдохнуть глаз Филдса, был человек в морской фуражке, из черной как смоль бороды которого как-то уж очень похабно торчала сигара. Он с очевидным наслаждением наблюдал за этой сценой, временами выражая свое удовольствие беззвучным смешком. Форсайт слушал Вайтари с циничной ухмылкой, секретом которой он снова овладел. Один Пер Квист попытался прервать пылкий монолог. Он то и дело кидал на Вайтари нетерпеливые взгляды и в конце концов, тряся бородой, произнес сдавленным от ярости голосом, со своим тягучим скандинавским акцентом:

– Десятки тысяч негров, умерших во время строительства дороги от Конго до океана – игрушки по сравнению с тем, что вы собираетесь натворить в Африке. . . Вы будете одним из самых жестоких ее колонизаторов. . . одним из тех, кто ей больше всего чужд, и цвет вашей кепки вам не поможет; вы типичный продукт Запада, одно из наших великолепных порождений. Негры знали торговцев рабами, людоедство, колонизаторов и мо-мо, но все это – ничто по сравнению с вашими планами создания полностью индустриализированной Африки. Мое сердце сжимается при мысли о тех, кто при этом выживет. . .

Вайтари улыбнулся и ответил едва ли не ласково:

– Жаль, что в Африке почти не осталось таких белых, как вы, Пер Квист. Наша задача была бы гораздо легче. Наиболее опасны для нас те европейцы, которые пытаются что-то построить, а не те, кто отличается только простодушием, порядочностью и чистоплюйством. . . . . Вы – законченный анахронизм, даже для Европы, и мне не стоит пытаться вас убеждать. Вы – прошлое, вы уже не в счет. Утонченное человеконенавистничество Мореля, его отвращение к человеческим рукам, не очень-то, по его мнению, чистым – нервная болезнь, типичная для буржуазии, – надо быть сумасшедшим, чтобы обращать на это внимание; я уже давно не усматриваю в психических болезнях, как то делают наши колдуны, проявления злого духа. . . Наш друг Форсайт находится здесь по глубоко личным мотивам. Идрисс защищает самое отсталое прошлое Африки, бесчисленные стада диких зверей, львов, леопардов, слонов и бизонов. . . Эта молодая женщина, к которой я питаю большую симпатию, попала сюда из-за отвращения к мужчинам, ей лучше бы обзавестись какой-нибудь собачонкой. Все вы – образчики растерявшегося общества. И я разговариваю не с вами, а с представителем американского общественного мнения, который многое может сделать для нашего движения. . . Что до вас, Пер Квист, я еще раз повторяю, что очень вас люблю, потому что вы меня забавляете, и понимаю ту тайную мечту, которая вами владеет. . . Я был учеником белых отцов. Разрешите вам сообщить, что времена земного рая ушли навсегда. Чернокожие изрядно пострадали от своих суеверий и жажды чудес, чтобы те чудеса, которые вы можете им предложить, были встречены с признательностью. . . Как отец Фарг и прочие знаменитые миссионеры, вы все еще мечтаете о духовных пастырях и по ночам, глядя на небо, отыскиваете Вифлеемскую звезду; всякий раз, когда женщина проезжает по пустыне на осле, вы спрашиваете себя, не прячет ли она под покрывалами младенца. И стоит ли удивляться, что, когда вам тычут в нос жестокой действительностью с ее машинами, пролетариатом и тяжкими условиями существования, вы беситесь от злости и прячетесь либо, как ваш дружок Сен-Дени, в чрево «магической» Африки с ее религиозными ритуалами и колдунами, либо посреди слонов, навевающих вам мечту о библейских временах; вы не можете простить молодежи этой заброшенной земли желания лишиться вас дурманящих снов. . . А вы знаете, старик, чем за них платят? Невежеством, проказой, язвами, слоновой болезнью, глистами, – все это часть здешних «чудес», как и детская смертность и хроническое недоедание ста миллионов людей. Вот чем платит наш народ за



вашу потребность в бегстве от цивилизации, за стада слонов, которым вы придаете столько значения. Мы будем только рады, когда они исчезнут, все до одного. Советую вам, Пер Квист, вернуться в Музей естествознания в Копенгагене. . . Там вы будете на своем месте.

Он обернулся к Филдсу:

– Сейчас я поговорю с вами. Я хочу рассеять неверные представления людей, чьи взоры в эту минуту обращены к Африке. Прошу вас оказать мне содействие – честно и объективно выполнить свой профессиональный долг.

В его голосе не было и оттенка цинизма, в нем звучала некая благородная взволнованность. Однако Филдс не позволил себя провести. На такие вещи у него был устойчивый профессиональный нюх. Этот негр ничем не отличался от всех прочих вождей, писавших на своих знаменах слова «свобода», «справедливость» и «прогресс» и посылавших на смерть в трудовые лагеря миллионы людей. И сердиться на него было нечего: задача перед ним стояла непосильная. Оформлявшаяся на протяжении веков; ее вечно откладывали, и она в конце концов обрела гигантские масштабы. Филдс все это знал. Главное – сделать хорошие снимки, не отвлекаясь на всякие разговоры. Он еще раз сфотографировал Вайтари, но пленку надо было беречь; Филдса донимал страх, что ее явно не хватит. Когда бывший депутат Сионвилля вышел из хижины, человек в морской фуражке подошел к Морелю, вынул из кармана пачку табака, свернул сигарету, сунул пленнику в рот и поднес огонь. Морель молча затянулся. Он, казалось, питал к этому человеку нечто вроде симпатии, быть может, потому, что тот был просто продажным негодяем, начисто лишенным каких бы то ни было убеждений или бескорыстных интересов. Двое солдат с блестящими от пота лицами под желтыми головными уборами наставляли на пленных пулеметы больше с испугом, чем с угрозой, что не делало оружие менее опасным. Филдсу было неловко от своего привилегированного положения, он подумывал, не обратиться ли к Вайтари с просьбой развязать Мореля и его товарищей. Человек в морской фуражке, – Филдс позднее узнал, что это был авантюрист по имени Хабиб, – дружелюбно похлопал Мореля по плечу.

– Боюсь, что сегодня, дружище, денек для тебя неважнецкий, – сказал он довольно ласково. – Не знаю, слышал ты или нет, но конференцию по охране африканской фауны три дня назад отложили, так ничего и не решив по поводу твоих слонов. . . Слегка изменили закон об охоте, но в основном все осталось по-прежнему. . .

Он зажег свою потухшую сигару. Морель, казалось, был гораздо больше огорчен этой новостью, чем тем, что происходило на Куру. Лицо его прорезали глубокие морщины, он опустил голову. Филдс почувствовал, сколько надежд возлагал этот человек, которого многие считали жуликом и сумасшедшим, на здравый смысл и великодушие тех, на кого ополчился и с кем воевал. (Позднее репортер получил возможность побеседовать кое с кем из делегатов конференции в Букаву. Один из них заявил следующее: «Наша миссия состояла в том, чтобы пересмотреть закон об охране африканской фауны, особенно тех ее видов, которым грозит исчезновение. Мы собрались не для того, чтобы высказаться о моральной стороне охоты на крупного зверя, ее достоинствах и недостатках, и не для того, чтобы обсуждать Мореля и его манию. Число слонов в некоторых районах действительно уменьшается, но это происходит вслед за вырубкой лесов и расширением обрабатываемых земель. Если взять проблему в целом, применительно ко всей Африке, неверно, что слонам грозит полное истребление. Да, их число уменьшается, что совсем не одно и то же. Со временем можно будет изменить закон об охоте, чтобы сохранить число животных, необходимое для воспроизводства вида. Пока же их достаточно много, чтобы серьезно угрожать посевам. Но неминуемо настанет день – неизвестно, как скоро – когда число этих неуклюжих гигантов, требующих открытых безбрежных пространств, придется решительно сократить. Время это еще не пришло. А

вы на миг вообразите, что было бы, если бы огромные стада слонов свободно блуждали по одной из наших индустриальных стран, таких, к примеру, как Бельгия? Один только Бог знает, чего не дал бы Неру, чтобы избавить Индию от священных коров. И мы не намерены относиться к африканским слонам как к чему-то неприкасаемому из-за какого-то маньяка. . . ») Товарищи Мореля тоже, по-видимому, были подавлены, кроме разве Форсайта, тот сказал йотом Филдсу, что никогда не питал особых иллюзий насчет результатов конференции в Букаву. (К Форсайту в результате этой истории вернулся прежний цинизм. Он не раз повторял Филдсу с улыбкой, полной горечи: «Мне плевать. А ну их всех. . . Единственное, чего я хочу, – вернуться домой. В сущности, засесть дома – лучший способ на всех наплевать». Но это продолжалось всего несколько часов, он вновь начал возмущаться, что было признаком душевного здоровья.) Хабиб наслаждался, наблюдая за реакцией Мореля, у него был вид человека, подсчитывающего очки. Но, может быть, он просто со вкусом курил свою сигару. Морель посмотрел на Форсайта.

– Джек, тот тип на скале. . . Первый, в которого я выстрелил. Ты не знаешь, я в него попал?

– Я видел, как он упал в озеро. И не поднялся. К тому же по нему прошли слоны.

– Хорошо.

Морель повернулся к Хабибу.

– Я был с самого начала уверен, что это затея вашего дружка де Вриса, – сказал он. – Он один достаточно хорошо знает эти места, чтобы рассчитать удар. . . Я его предупреждал. И вас тоже. Я ему обещал, что если замечу поблизости от слонов, то его укокошу. И я это сделал.

Хабиб явно растерялся. Лицо его посерело, зубы стиснули сигару. Потом лицо разгладилось, на нем снова появилась насмешливая улыбка. Он потряс головой и толстыми пальцами вынул сигару изо рта.

– Если я вас правильно понял, он все же улизнул у меня из рук, – проговорил Хабиб неожиданно весело. – Раз или два мне удалось его удержать, но рано или поздно это должно было случиться. Inch'Allah! Придется искать другого товарища по несчастью. . .

Он выплюнул окурок сигары и слегка задумался. Потом разразился добродушным хохотом, который вовсе не казался деланным.

– Ну-ну! Уж это-то не помешает мне держаться на плаву!

Когда Филдс узнал, каковы были отношения, которые связывали Хабиба с его молодым подопечным, он мог лишь восхититься спокойствием и основательностью этого негодяя с могучими ляжками, размах которого поначалу недооценил.

Через несколько лет Филдс встретился с Хабибом в Стамбуле, в баре отеля «Хилтон», где как раз остановился. Он скучал в одиночестве над бокалом мартини, как вдруг услышал здоровый смех и огромная лапища стукнула его по плечу. Это был Хабиб – со свежевыкрашенной бородой, в ловко сидевшем на нем кителе капитана дальнего плавания торгового флота одной из стран Центральной Америки, – «Можете поверить, месье, груз – апельсины! На это раз настоящие апельсины! Клянусь!» Филдс приехал в Стамбул в момент напряженных отношений между Турцией и Грецией; со дня на день ждали каких-нибудь событий, и Хабиб мог снабдить его кое-какими интересными, не предназначенными для широкой публики сведениями. (Блокада Кипра английскими военными кораблями не мешала контрабанде оружием.) Он оказался на редкость хорошо осведомленным. Потом они заговорили о деле Мореля и об их встрече на озере Куру. «Помните, вы тогда повернулись к Морелю, чтобы спросить, не можете ли чем-нибудь помочь? Вот когда вы меня насмешили! Почему? Да потому что вы уже спасли ему жизнь, поэтому ваш вопрос и показался мне таким уморительным. Конечно, я могу

объяснить, каким образом: три молоденьких ученика Вайтари – Маджумба, Н’Доло и третий, не помню, как его звали, такой чертовски красивый мальчик, – ну вот, они решили казнить Мореля как изменника. Втроем даже провели в Хартуме нечто вроде трибунала, судили его за измену и приговорили к смерти еще до приезда на Куру. Кажется, Морель обманул их во время вылазки в Сионвилль, ни единым словом не упомянул об идеологических мотивах, ради которых просил поддержки. Не сказал ни слова о независимости Африки. В своем манифесте, – помните, в том, который заставил напечатать в местной газете, – он заявил, что его действия не имеют никакой политической подоплеки; это их взбесило, потому что они-то поехали только ради нее. Они вернулись в Хартум, кипя от негодования, торжественно его осудили и приговорили к смерти. Приехав на Куру, они стали настаивать, чтобы Вайтари разрешил им привести приговор в исполнение. Если бы не ваше присутствие, Мореля бы пристукнули как крысу, – но Вайтари не составило труда им объяснить, что раз здесь находится знаменитый журналист, о казни не может быть и речи. Помните, как он поспешил выйти из хижины? Так вот, он направился утихомиривать троих ребятшек. . . А вы еще спрашиваете у Мореля, чем бы ему помочь. . . Вот смехота! Ах, скажу я вам, хорошее было времечко! К несчастью, такие забавники, как Морель, не каждый день встречаются. . . Обидно. Не так уж часто имеешь возможность получить удовольствие. . .» – Он молча поковырял в зубах. – «Ничего не поделаешь, такова жизнь, insh’Allah!» – заключил он с легким сожалением.

Филдс еще немного постоял в хижине, где никто не произносил ни слова, не зная, чем бы подбодрить пленников. В голову ему приходили только какие-то туманные, малоубедительные ссылки на реакцию американского общественного мнения, «которое принимает происходящее близко к сердцу и требует охраны слонов», – фраза, встреченная Форсайтом иронической улыбкой. Морель не обращал на него ни малейшего внимания. Минна глубоко вздохнула и вытерла слезы.

– Будем продолжать, сколько сможем, – сказал Пер Квист.

– С каким оружием? – спросил Морель и повернулся к Филдсу.

– Вот вы меня спросили, чем можете нам помочь. Вы могли бы уговорить Вайтари оставить нам оружие и припасы. В конце концов, его интересует только одно: чтобы заговорили о восстаниях в Африке, и я не понимаю, почему бы ему вам отказать. . .

Филдс вдруг понял, что с тех пор, как Морель узнал о провале конференции в Африке, он ни на секунду не переставал строить планы будущей кампании. Журналиста утешало, что он может хоть что-то сделать; он пообещал, что попробует, и вышел, твердо решив добыть для Мореля оружие и припасы, даже если для того понадобится злоупотребить своим положением и украсть то и другое в ночной темноте. Он нашел Вайтари на отмели, тот с жаром спорил с двумя молодыми неграми, которые выглядели крайне чем-то недовольными. Третий парень, казавшийся взволнованным и несколько смущенным, держался в отдалении. В голосе Вайтари звучал гнев. При появлении Филдса спор же сразу прекратился, и оба молодых человека неприятливо поглядели на репортера. Просьба журналиста явно удивила и рассердила Вайтари, но, немного подумав, он согласился ее удовлетворить. Казалось, Морель его больше совсем не интересует, зато очень заботит, какое впечатление на Филдса произвели его слова и то, что тут произошло. Почувствовав, какое значение придает ему бывший депутат Уле, Филдс повел себя довольно сдержанно, заявив, что пока не успел еще все хорошенько обдумать; потом пошел на озеро, чтобы сделать несколько снимков; стрельба там хоть и стала реже, но по-прежнему продолжалась – на дальних излучинах и в тростниках. Он попытался определить, что за людей набрал Вайтари. И выяснил, что почти все они из южного Судана, владеют начатками английского языка и обращаются слегка по-военному – «сэр». Но на все его вопросы они только широко скалили зубы и отказывались отвечать. Он сильно удивился,

обнаружив среди них четырех белых, – двух немцев, прибалта и словака, – все они дезертировали из Иностранного Легиона и уже давно прониклись полным безразличием относительно того, «с кем и против кого» воюют, при условии, что их профессиональные услуги щедро оплачиваются, чего, как видно, в Легионе не было, – ни этого, ни длинного срока службы они ему простить не могли. Во время передышки они охотно давали себя фотографировать, как люди, свободные от всяких обязательств, которые побуждали бы их оставаться неузнанными. Они жаловались на суданцев, которые стреляли «как новобранцы», что в устах крепкого, белокурого словака звучало страшным оскорблением; считали, что хорошо обученные стрелки, учитывая пассивность слонов, могли поначалу забивать от семи до десяти животных на каждое ружье. Однако в значительной мере утратили словоохотливость, когда Филдс попытался узнать, для какой цели они приехали в Хартум; немец в конце концов сказал, что они «ждали» и были там «в распоряжении». . . Филдс заметил, что их экспедиция носила откровенно военный характер. Они имели при себе даже повара и провиант; единственное опасение, которое они высказали, – чтобы на обратном пути их не схватила суданская полиция, «хотя у нее есть и другие заботы».

Жара достигла апогея; над озером кружили слетевшиеся со всех сторон грифы. Филдс удивился, увидев в воде целую толпу негров, сбжавшихся неизвестно откуда, чтобы с ножами наброситься на мясо.

Он пытался подсчитать, сколько слонов погибло за день, но счет каждый раз получался другой. Эта цифра интересовала его в первую очередь потому, что он хотел хотя бы приблизительно оценить, сколько может нажать на экспедиции Вайтари и сколько оружия сможет приобрести. К концу дня было убито сто пятьдесят слонов, из них восемьдесят четыре с бивнями; если брать в среднем по сорок фунтов за пару бивней, это составит около трех тысяч пятисот египетских фунтов. Пулемет «томпсон» сейчас стоит на Среднем Востоке пятьдесят фунтов; ящик с двадцатью четырьмя гранатами – сто фунтов, ручное оружие – от десяти до пятнадцати фунтов, в зависимости от состояния; карабин «беретта» – двадцать фунтов; цены колебались в пределах пятидесяти процентов, в соответствии с политической ситуацией и состоянием рынка. Дезертира из Иностранного Легиона нанимали за пятьдесят фунтов в месяц. Филдс высчитал, что от доходов своей экспедиции Вайтари мог экипировать и содержать в течение трех месяцев человек двадцать «добровольцев». . . Чего, естественно, помимо того, что это не удовлетворяло его честолюбивых замыслов, но и не хватало на то, чтобы разжечь беспорядки в одной из наиболее мирных и наилучшим образом управляемых африканских колоний. Но главной целью Вайтари было покончить с мифом вокруг слонов, предстать перед глазами всего мира подлинным вождем восстания в Африке. В конце концов Филдс довольно грубо спросил об этом у самого Вайтари. Тот спокойно подтвердил правоту предположений репортера, признав, что, конечно, сам все тщательно обдумал.

– У меня нет ни малейшей надежды устроить серьезные беспорядки при теперешнем положении вещей. И тем более взбунтовать племена: они, увы, вовсе не готовы пойти за мной, из-за того первобытного состояния, в каком их держат вожди, царьки и колдуны, при попустительстве властей, заинтересованных, как вы знаете, в сохранении «обычаев». В настоящее время и в местных масштабах я ограничусь выжидательной тактикой. Надо, чтобы люди знали, что движение существует, – если еще и не массовое, то по крайней мере с руководством, способным себя показать. А в остальном, скажу вам с откровенно, мне важнее всего привлечь на свою сторону общественное мнение за пределами Африки, мнение тех, кто склонен к нам прислушиваться. Надо покончить с мифом о слонах, время громких скандалов миновало. Я хочу, чтобы мой голос был услышан, несмотря на все старания его заглушить. Остальное придет потом. А кроме того. . . Кеньятта в тюрьме, Н'Крума вышел оттуда только для то-

го, чтобы взять власть... Чего же удивляться, что организаторы конференции колониальных народов, которая еще неизвестно когда состоится в Бандунге, не сочли нужным меня пригласить? Тюрьмы сегодня – это приемные министерств... Для того что я задумал, двадцати человек хватит с избытком...

Филдс кивком подтвердил, что понял, однако явно почувствовал себя неловко от такой откровенности, а может и был слегка шокирован, хотя и не имел привычки проявлять свои эмоции, когда занимался делом. Лицо Вайтари приняло страдальческое выражение, и Филдс догадался, что наконец-то будет затронута самая суть вопроса.

– Я вас, видно, неприятно поражаю, – сказал Вайтари грустно, – и вы, наверное, думаете, что я хочу сыграть негритянского Макиавелли, но попробуйте стать на место вполне развитого негра и – почему бы в этом не признаться? – человека, сознающего свои внутренние силы и возможности в стране, которая находится еще вот где...

Он рукой показал на слоновью тушу, лежавшую в воде метрах в двадцати от того места, где они стояли; два голых негра, вспоров слону брюхо, крепкими зубами рвали внутренности...

– Я видел, как вы схватились за фотоаппарат... Но для нас это повседневное зрелище...

Он на миг замер с вытянутой рукой, а потом повернулся спиной к Филдсу и медленно, с достоинством пошел прочь – и грусть на его лице придавала его фигуре изысканное благородство.

Немного погодя Вайтари вернулся к этой теме. Хабиб приказал своим людям прекратить стрельбу, чтобы дать животным спокойно провести ночь: быть может, они возвратятся к озеру. Филдс сидел на песке у самой воды, дыша с осторожностью, чтобы поменьше болели сломанные ребра. Он был скорее хрупкого сложения и не очень вынослив от природы, но в работе иногда проявлял редкую физическую стойкость, правда, лишь при нервном напряжении, обретая тогда нечто вроде «второго дыхания», которое появлялось, как только ему попадался хороший сюжет. Этот таинственный источник энергии полностью иссякал в повседневной жизни, – Филдс задыхался, карабкаясь к себе на пятый этаж в квартиру на пляс-де-Дофин, которая позволяла быть на посту круглые сутки. Весь сегодняшний день он пробежал по отмели и по воде с аппаратом и сумкой, боясь с ними расстаться. У него осталась всего половина неотснятого ролика. Он чувствовал приближение жестокого нервного кризиса, который наверняка уложит его в постель. В такие минуты он больше всего нуждался в спиртном и пачке сигарет, и в тот же миг начинал ощущать потребность в женском присутствии. (К тому же даме полагалось быть красивой.) На озере становилось свежо, почти холодно, и резкая перемена температуры, холод после палящего зноя, лишала репортера последних сил. Он, понурясь, сидел на песке, а всякий раз, когда поднимал голову, видел небо другого цвета, голубизна сменилась желтизной, потом небосвод стал фиолетовым и наконец растворился во мгле, напомнившей Филдсу Мексиканский залив, где вокруг лодки светился молочно-белый планктон. Он смутно припоминал, почему оказался в лодке посреди Мексиканского залива; кажется, поехал снять серию цветных фотографий морского пейзажа для журнала, неустанно выпускавшего специальные номера о земле, небе, море, животных и людях. О нем говорили, что в один прекрасный день он выпустит специальный номер о Боге с цветными иллюстрациями. Филдс старался не слушать наполнявшего ночь вой раненых, издыхающих животных. Последний снимок он сделал с кучи слоновьих бивней, которые деревенские негры по одному перетаскивали к стоявшим в семи километрах отсюда грузовикам. Корни бивней были еще в крови. (Их Филдс снял напоследок на цветную пленку.) В общем, зрелище ничем не отличалось от того, что происходит во всем мире на бойнях; то, что здесь вместо быков слоны, ничего по существу не меняло. Быть может, от усталости мысли Филдса приняли то направление, которое он считал «бесплодным». Одним из первых впечатлений детства была улыбка матери,

так и сверкавшая золотом множества коронок, завораживая своим блеском ребенка. Стоило Филдсу пасть духом, как к нему возвращалось это воспоминание, а сразу вслед за ним перед мысленным взором возникали груды золотых зубов и коронок, «извлеченных» нацистами у жертв газовых камер и печей крематория. Он часами разглядывал фотографии, которые в ту пору печатались в газетах, отыскивая улыбку своей матери.

Вот о чем он думал, когда увидел какую-то фигуру, приближавшуюся к нему в сияющей ночной голубизне. Это оказался Вайтари. Они обменялись несколькими словами. Филдс сказал, мол, какое поразительное разнообразие шумов доносится с озера, особенно интригует глухой, почти непрерывный треск, что поднимается над болотом. Вайтари объяснил, что этот шум производят рыбы, пытаясь перебраться с высохшего дна болота поближе к озеру. Иногда их можно обнаружить в десятках километрах от всякой воды, а они все продолжают подпрыгивать на своих хвостовых плавниках.

– Какая удивительная страна! – воскликнул Филдс.

Вайтари помолчал.

– Да. Но пора со всем этим кончать. Расстаться с предысторией. . . Знаете, что я испытываю, когда вижу по краям наших немногочисленных дорог эти стада, которые одни только и влекут сюда ваших туристов? Стыд. Стыд, потому что знаю, что «красота» соседствует с голыми задами негров, с оспой, жизнью на деревьях, суевериями и диким невежеством. Каждый лев, каждый слон на свободе означает, что мы по-прежнему вынуждены терпеть нашу дикость, примитивность и высокомерную улыбку «технически грамотных» белых, которые хлопают африканцев по плечу. «Сами видите, старина, что без нас вам пока не обойтись. . . » Но мы хотим стать развивающимся континентом, а не сидеть на корточках возле фетишей, будучи современниками доисторических слонов и львов, которые все еще приходят пожирать наших детей в деревнях. Джунгли для нас – нечисть, от которой надо избавиться. Я без всякого зазрения совести убиваю зверей, которых вы считаете «великолепными созданиями», они чересчур наглядно напоминают нам о том, кем мы до сих пор продолжаем быть. Для Африки тот день, в который она отметит исчезновение последних диких зверей, будет великим праздником. Мы сохраним несколько особей в зоопарках, чтобы наши внуки знали, каково было прошлое, и смогли гордиться пройденным путем. Надо, чтобы Африку перестали воспринимать как некое место, где еще сохранились чудеса и где туземцам для полного счастья нужны только бананы, половые органы и кокосовые орехи. . . Я воспитывался во Франции, в самой цивилизованной стране мира, и многие годы заседал во французском парламенте. Можете вообразить, как мне здесь одиноко?

Голос его задрожал и он взмахом руки обвел сияющую звездами ночь.

– Мне и некоторым другим. Африка не пробудится, пока не перестанет быть для остального мира зоологическим садом. . . Тогда сюда будут приезжать не для того, чтобы смотреть наших негрятюк с подносами на голове, а на наши города и наши природные богатства, которые мы наконец-то используем для себя самих. Пока будут болтать о наших «бескрайних просторах» и нашем народе «охотников, земледельцев и воинов», мы будем целиком в вашей власти или, что еще хуже – слепо за кем-то следовать. Америка вышла из небытия с исчезновением буйволов и бизонов; пока волки бежали по степи за русскими санями, мужик подышал в грязи и невежестве, а в тот день, когда в Африке не останется ни львов, ни слонов, их место займет народ-хозяин своей судьбы. Для нашей молодежи, для нашей элиты – а ее капля в море – стада диких зверей на свободе суть мера той отсталости, которую надо преодолеть. . . Мы готовы к преодолению этой отсталости не только ценой гибели слонов, но и ценой своей собственной жизни. . .

Несмотря на усталость, на боль в левом боку и общее оцепенение, Филдс понимал, с каким

жаром его пытается склонить на свою сторону бывший депутат от Сионвилля. Репортера часто старались в чем-то убедить, но никогда еще не делали этого с таким пылом, с такой глухой яростью, таким голосом, волнующим своей мужественной красотой. Надо сказать, Филдса смущало некое недоразумение, которое он пытался рассеять.

– Понимаете, – сказал он, – я ведь только фоторепортер и за всю мою жизнь не опубликовал ни одной статьи, обхожусь без текста. Предоставляю говорить за меня фотоаппарату. Я отлично понимаю, что вами движет, но никогда не смогу так доступно изложить ваши соображения, как это сделали вы. . . – Он запнулся. – Вам нужен профессионал.

Вайтари молчал. Когда он заговорил, в голосе его звучало недоверие, похожее на злость:

– Иными словами, вы удовлетворитесь тем, что напечатаете снимки убитых слонов, никак их не объясняя?

– Писать – не моя профессия.

– Тогда ваш репортаж будет крайне тенденциозным. Фотографии вовсе не отражают сути дела. . . Я ведь, знаете ли, могу их и уничтожить.

– Знаю.

– Послушайте, мне нужно, чтобы ко мне прислушались в Америке. У вас там самые передовые негры на свете. Самые ассимилированные. . .

Слово «ассимилированные» прозвучало как комплимент. Филдс сказал себе, что из всех французов, каких видел, такого удивительного он еще не встречал.

– Вам даже не снилось, каким разговором молчания я окружен. Арабская пресса и радио говорят обо мне только тогда, когда им больше не о чем сказать. . . Ваш долг журналиста сделать так, чтобы меня услышали. . .

– Дайте мне вашу декларацию в письменном виде. Я сделаю с ней все, что смогу. У меня совсем нет литературного дара. Только глаза, вот и все. А надо иметь большой талант. . .

Он чуть было не сказал: «чтобы оправдать вот это», но смолчал.

– До вашего отъезда я передам вам всю необходимую документацию. Хотите поехать со мной в Хартум? Сможете отправить свой репортаж с первым же самолетом.

– Нет. Я хочу остаться с Морелем.

– Из сочувствия? Подозреваю, что он интересуется вас гораздо больше, чем судьба африканских народов. . . Наверное, считаете, что эта тема придется больше по вкусу вашим пресыщенным читателям. . .

– Дело не в том.

– Другой причины не вижу. . .

– А я не вижу, что буду снимать в Хартуме. У меня еще осталось больше половины катушки. . . Я бы хотел. . . – Филдс сказал грубо, словно убеждая самого себя:

– Хотел бы поставить точку в деле Мореля.

Вайтари это, кажется, позабавило.

– Что ж, долго вам ждать не придется. . . Без меня он далеко не уйдет.

– Правильно. И я хотел бы при этом быть.

Вайтари встал. На фоне сияющей ночи, – он закрывал плечами звезды, – он казался Эйбу Филдсу, который продолжал сидеть, почти гигантом.

– Месье Филдс, вы ведь матерый газетный волк. . .

– Да, я – профессионал.

– Завтра утром я вам передам мое *curriculum vitae*, декларацию и все касающиеся меня документы. Не забудьте, что у вас в руках золотая жила, – для такой страны, как ваша, которая через Африку жаждет освободиться от комплекса вины перед черными. . .

Он двинулся прочь своей кошачьей походкой, в ней больше всего сказывался африканец. Даже последние его слова были чисто французским выпадом; сколько раз Филдс слышал подобное из уст газетной братии, от французов, обозленных нападками американской печати на «французский колониализм». Ему подумалось, что Вайтари не столько африканский националист, сколько порождение раскола внутри самой Франции. Даже *sigillum vitae*, которое наутро Вайтари вручил ему лично, вместе с изложением целей и «смысла» своих действий, было чисто французским; лицей, с гордостью перечисленные учебные стипендии, диссертация по юриспруденции, список напечатанных статей и различных политических партий и группировок, к которым он примыкал и из которых затем уходил; парламентские поручения, – там было указано все. Ни один американский негр не сумел бы проделать такой путь у себя в стране или похвастаться таким вращением в жизнь чужой нации. Вайтари – образцовое творение французской культуры; единственным недостатком этого законченного продукта цивилизации было чрезмерное преуспевание, – оно привело к изоляции; честолюбие стало мерой одиночества. Ни в стране уле, ни во всей ФЭА не было такого места, которое могло бы утолить его жажду величия; он был воспитан как человек, обреченный стоять на вершине власти. Филдс снова вспомнил, что ему говорил, возвратившись из Аккры, его друг, негритянский писатель Джордж Пенн: «Когда по-настоящему заговорят об Африке, будут, главным образом, называть это имя. . . Разве что французы вовремя не сделают его своим премьер-министром, если у них хватит смекалки. . . » (Филдс сдержал свое слово и попытался как можно шире распространить декларацию Вайтари. Но результат был довольно убогий. Американское общественное мнение страстно интересовалось Форсайтом и Морелем и не желало видеть в их поступках политических мотивов. К тому же американский обыватель, как правило, более живо отзывался на то, что затрагивало его чувства, чем на любые призывы идеологического характера. Поэтому репортаж Филдса о Куру, фотографии убитых слонов на фоне других снимков, показывающих условия, в которых эти убийства совершались – засуху и страдания животных от жажды, – еще больше подчеркивали жестокость того, что произошло, трогали людей гораздо сильнее, чем политические мотивы, которые могли якобы оправдать подобное предприятие. Симпатии и горячий интерес, которые публика питала ко всему, что имело отношение к животным, были хорошо известны издателям газет, во времена затишья они делали на это ставку. Филдс любил рассказывать такой анекдот: перед войной он опубликовал в одном журнале с большим тиражом фоторепортаж, на снимках присутствовали перевернутые на спины гигантские черепахи, которых затем живьем кидали в кипяток, чтобы сварить суп. После публикации тираж журнала вырос на пять процентов. Однако Филдс так и не узнал, какое влияние имел его репортаж на торговлю консервами из мяса черепах, но предполагал, что та ничуть не пострадала.)



## XXXVII

Во время своего пребывания на Куру Филдс делал все, чтобы добиться у Вайтари облегчения участи Мореля и его товарищей. Он с самого начала так яростно и с таким негодованием запротестовал против «пытков», которым они подвергались, что Вайтари презрительно заметил, что американцы уж чересчур склонны считать «пыткой» всякий недостаток удобств.

– Когда ваши пленные вернулись из Кореи, они называли «пытками» извечные условия жизни огромной массы народов Азии, которые им пришлось разделять в течение всего нескольких месяцев. . .

– Может, и так, – согласился Эйб Филдс, – но вопрос ведь состоит в том, хотите ли вы привлечь к вашему движению симпатии американской публики или же она вам безразлична. . . Пока эта публика вас не знает, но горячо интересуется всем, что происходит с Морелем. А что делаете вы? Во имя свободы и права народов решать свою судьбу вы стали оптом убивать слонов, приводя доводы, чересчур абстрактные для читателей американских газет, а вот Мореля, которого печать – справедливо или ошибочно – произвела в народные герои и превратила чуть ли не в легенду, уже сутки держите, вместе с его соратниками, связанным по рукам и ногам в невыносимой жаре. . . Насколько я понимаю, вы, кажется, искренне хотите добиться признания в Соединенных Штатах. Понимаю, может, это глупо, но у нас гораздо охотнее откликаются на сентиментальную сторону всякой идеологии. Ну, а моя профессия говорить обо всем, что я видел, причем так, как видел. Я фотограф.

Вайтари перебил его с раздражением, похожим на злость:

– Думаю, что будет лучше, если я сразу же задам вам несколько вопросов.

– Валяйте.

– Вы за свободу африканских народов или против? Вы за колониализм или против, да или нет? Вы здесь единственный журналист, и вам не составит труда изобразить то, что мы делаем, крайне тенденциозно.

Нос Эйба Филдса стал издавать негодующий свист.

– Послушайте, месье, – сказал он, слегка повысив голос, – конечно, я против колониализма. Я за свободу для всех. Даже для французов, хотя не особенно их люблю. . . Да и других, в общем, тоже. Но вот уже четверть века как я фотографирую Историю. Историю с большой буквы, и в конце концов это пробуждает странную симпатию к слонам. . . Думаю, не ошибусь, сказав, что миллионы людей во всем мире питают куда большее сочувствие к Морелю, чем вам кажется. . . С этим надо считаться. Выберите правильную тактику. . .

– Да вы действительно глашатай Запада! – бросил Вайтари.

Во фразе прозвучала издевка, но Филдс привык иметь дело с французскими интеллектуалами.

– Не знаю. Не знаю, например, осведомлены ли советские люди о деле Мореля. Если да, то, по-моему, русских рабочих, который трудится восемь часов в день, завинчивая гайки, а остальное время слушает речи о необходимости завинчивать как можно больше гаек и делать это с еще большим энтузиазмом, такой советский рабочий наверняка питает горячую симпатию к Морелю и к тому, что тот пытается спасти. . .

Разговаривали они в одной из хижин, которую Вайтари превратил в свой штаб. Он сидел перед оружейным ящиком, который служил столом. На ящике была расстелена карта этого района, рядом лежали пачки сигарет, зажигалка и небесно-голубое кепи с пятью черными

звездами. Вход в хижину сторожил суданец в желтой головной повязке. Справа от бывшего депутата Уле, вытянувшись по стойке «смирно» и держа руку на револьвере, висевшем на кожаной портупее, застыл сопровождавший повсюду Вайтари молодой негр. Эйб Филдс то и дело косился на эту тщательно начищенную портупеею. Он испытывал отвращение к портупееям, да и к коже вообще; кожа у него почему-то ассоциировалась с жестокостью, эта; связь уходила в глубь веков. У молодого африканца были квадратные плечи и суровое лицо, – красивое в своей суровости, правда, только с точки зрения фотографа. Обстановка внушала тревогу еще и потому, что не была показной, а соответствовала чьей-то глубинной психологической потребности; она вызывала у Филдса тяжелые воспоминания. Сам Эйб Филдс, несомненно, был полнейшей антитезой кожи; в конце концов ненависть к ней превратилась у него в манию. С первой же минуты, когда вошел в хижину, он старался побороть эту враждебность, пытался внушить себе, что обстановка «боевого штаба» не обязательно является прелюдией к новой эпохе кожи, а есть всего-навсего признак одиночества человека, который хочет создать иллюзию своей причастности к чему-то, атмосферу боевого братства. Африканец слишком глубоко впитал традиции французского военного величия, чтобы не мечтать тому соответствовать. Голубое кепи с черными звездами было последней, трагической данью Франции. «Просто удивительно, – подумал Филдс, – как французам удавалось одерживать победы, где бы они ни прошли. Этот негр с минуты на минуту вспомнит о Жанне д'Арк или о Лафайете, о Сопротивлении, о Шарле де Голле и о Революции». Филдсу, быть может, и удалось бы отрешиться от неприятной «исторической» атмосферы, если бы не выстрелы снаружи и не рев подыхающих слонов.

– Ничего вы не понимаете, – сказал Вайтари.

Он вытащил из пачки сигарету. На запястье сверкнули вычурные золотые часы с тремя циферблатами. Как видно, последнее слово современной точной механики. Филдс был также весьма чувствителен к красоте рук. До чего же трогательно, какими красивыми, несмотря ни на что, еще могут быть человеческие руки!

– А я ведь, знаете ли, только и хочу понять.

– Французская буржуазия, предчувствуя свою гибель, использует таких людей, как Морель, чтобы скрыть под прикрытием идеализма и гуманности уродливые явления нашей жизни. Этот туман – громкие слова, ораторские призывы к свободе, равенству и братству, благородная забота о защите прежде всего африканской фауны. . . Слонов Мореля. А уродливые явления – колониализм, физиологическое убожество, содержание двухсот миллионов людей в полном невежестве, с тем чтобы затормозить их политическое развитие. . . Я намерен разорвать эту дымовую завесу. Всеми доступными мне средствами. Хотя бы вот так, как вы видите. Очень хитро, очень ловко кинуть нам под ноги, как вы изволили выразиться, «народного героя», сделав вид, будто все здешние беспорядки возникают благодаря этому чудаку, занятому исключительно защитой слонов от охотников. Красивая сказочка, искусно придуманная, чтобы усыпить общественное мнение. . . Но нет, действительность не желает поддаваться обману. Мы не хотим копошиться в облаках творимых легенд. Надо, чтобы нас увидели, увидели, какова африканская действительность, со всеми ее язвами. К тому же вовсе не исключено, что вашему «народному герою» щедро заплатили колонизаторы, за то, чтобы он устроил эту путаницу. . .

– Вы в это верите?

– А как иначе объяснить более чем странную снисходительность властей? Но давайте предположим, что этот одержимый действительно верит в то, что делает. Мой долг – рассеять всякие недоразумения на сей счет. Важно одно – независимость Африки. А не слоны. . .

Он резко взмахнул рукой.

– Давайте говорить серьезно. Судьба африканских народов нам дороже самых прекрасных побасенок. Я не утверждаю, будто Морель – агент Второго Бюро, я говорю, что он достоин им быть. Мы намерены рассеять дымовую завесу. Нас не хотят замечать, но обязательно заметят.

Филдсу было интересно, какую долю «я» он включает в это «нас».

– Теперь, когда мы покончили с объяснениями, я в угоду вашей чувствительности могу пообещать, что если ваш «народный герой» даст мне слово вести себя тихо и ничего не затевать, пока мы здесь, я готов его развязать. Я не могу позволить себе роскошь приставить к нему троих охранников, – они мне нужны в другом месте.

Филдс ни секунды не верил, что Морель примет его условие, но, к его удивлению, француз легко согласился. Он, как видно, рассматривал проигранную битву как одну из перипетий борьбы, в которой заранее предвидел взлеты и падения. Он не казался ни подавленным, ни, тем более, отчаявшимся. Невероятно грязный, пахнувший конюшной, с лицом, заросшим черной щетиной, с руками, связанными за спиной, под дулом пулемета, которое наставил на него пугливый суданец, он ничуть не походил на побежденного и был полон какой-то неправдоподобной, непреклонной веры, какого-то несокрушимого упрямства. Его безумие сказывалось именно в этом: он никогда не отчаивался. Дурень, подумал Филдс, другого слова для него не найдешь. Счастливый идиот, который не желает считаться с очевидностью. А ведь факты налицо, – не только рев слонов, издыхающих в озере, но и провал конференции в защиту африканской фауны, которая закрылась, не добившись изменения закона об охоте на диких зверей. В слонов будут стрелять, как и раньше, во имя прогресса, скорейшей индустриализации, потребности в мясе или же ради красивого выстрела. А Морель ведет себя так, словно ни о чем не подозревает. Он явно так и не научился жизни. Правда, в голосе Мореля прозвучал, пускай едва заметный, оттенок грусти.

– Надо изобрести специальные уколы, – проворчал он. – Или таблетки. Когда-нибудь их создадут. Я всегда был человеком верующим. Я верю в прогресс. Когда-нибудь таблетки гуманизма поступят в продажу. Их будут принимать натошак со стаканом воды перед встречей с другими людьми. Вот тогда сразу станет интереснее жить и, может быть, даже появится смысл заниматься политикой. . . Он хочет, чтобы я дал слово не выходить из хижины, и тогда нас развяжут? Даю. При условии, что нам оставят наше оружие и лошадей.

– Он обещал.

– Ладно. Как, он думает, что мы можем сделать, безоружные? Можно, конечно, плюнуть в рожу, но что это даст? Я человек практичный. Люблю точные задачи, в пределах возможного. . . Я не мечтатель. Потому-то я здесь.

Он даже как будто развеселился. Филдс впервые заметил, что к рубашке у него приколот лотарингский крестик. То была эмблема, принятая во время войны горсточкой французов, не желавших мириться с поражением, примкнувших к далекому тогда генералу Шарлю де Голлю, – человеку, тоже верившему в слонов. Этот значок объяснял многое, во всяком случае уверенность, которую излучало лицо Мореля. Сопратников, как видно, тоже заразило его настроение. А оно и прямо было заразительным, Эйб Филдс ничуть в том не сомневался. Он почувствовал, что и сам поддается; его сердце начинало почти непристойно стучать, и он поймал у себя на губах идиотскую улыбку. Пер Квист, насупив седую бровь и вздернув другую над язвительной ледышкой глаза, с интересом наблюдал за репортером; но о старом авантюристе не зря говорили, что под патриархальной внешностью кроется на редкость едкая ирония и отчетливая потребность в том, чтобы о нем говорили. Присутствие Пера Квиста в самой гуще схватки было вполне естественным, ведь его имя вот уже пятьдесят лет тесно связывали со всеми кампаниями в защиту окружающей среды. Он делал свое дело, подтверждая репутацию, тем более что его репутация была ему не менее дорога, чем то, что он защищал,

как открыто заявляли некоторые из коллег. Но что можно было сказать об этой девушке, об этой немке, которая сидела рядом с Морелем с таким выражением гордости, душевного подъема, почти счастья на лице, словно наконец-то обрела нечто такое, чего никто уже не сможет отнять? А ведь то была всего-навсего жалкая барменша; трудно представить, что и она приняла участие в этой аванюре, чтобы выразить свою веру, нежелание смириться и отчаяться, что можно пройти через фашистскую Германию, разрушенный Берлин и солдатские руки, сохранив иллюзии и доверчивую тягу к величию природы. Было бы легче и правдоподобнее предположить, что она пришла просто вслед за мужчиной, тем более что Морель был «видный парень», несколько простонародного типа, со своими непокорными космами, карими глазами, красивым подбородком, – несмотря на неприятную манеру прочищать горло – и французским ртом, чья насмешливость казалась подчас неистребимой.

(Филдс вынужден был подавлять в себе приливы нежности, когда потом рассказывал о Мореле своим соотечественникам в маленьком американском баре в Париже, где постоянно засиживался. «Один человек, я уже не помню кто, в Форт-Лами придумал для Мореля подходящий эпитет: *esperado*. Новая порода человека, победно восставшего из глубин низости. Не стоит и говорить, что я не такой. И тем не менее, признаюсь, мне приятно знать, что где-то есть кто-то, шагающий по своему пути вопреки всему на свете; это позволяет мне спать спокойно».)

Да и Форсайт не менее других поддался этой смехотворной заразе, безудержной надежде, которую никакие доказательства от противного не в силах были унять. На его опухшем украшенном синяками лице вновь засверкали веснушки, придававшие американцу жизнерадостный вид.

– Вот увидите, все образуется, – бросил он Филдсу. – Запад уже готов оказать поддержку, вы же сами это сказали. Теперь дело за народными демократиями. Уверю, скоро вокруг нас составится целый союз. С минуты на минуту жду телеграммы от моих бывших следователей в Китае и Корее, примерно такого содержания: «Искренне сожалеем прошлом недоразумении тчк принимаем немедленные меры для обеспечения защиты слонов тчк комиссия ученых ранее ложно подтвердила применение бактериологических средств войны нашими братьями-американцами тчк провокаторы приговорены принудительным работам пожизненно тчк да здравствует дружба народов братски объединившихся для защиты природы». Уверю вас, отчаиваться нет никаких оснований!

Эйб Филдс проверил, в порядке ли аппарат, и сделал с него хороший снимок – увековечил рыжие волосы в ярких бликах лучей, пробившихся сквозь сухой тростник стен хижины, шейный платок в красную горошину, физиономию боксера в перерыве между раундами и голый торс, – он сделал этот снимок скорее для того, чтобы заглушить в себе сочувствие.

– А потому можете передать, что я даю слово, – повторил Морель, при условии, что он оставит нам лошадей и оружие. . .

Он проводил Эйба Филдса дружеским взглядом. «Славный парень этот маленький фотограф. Смелый и готов помочь, весь так и светится добротой под внешним равнодушием. И на него не пришлось бы давить, чтобы он вместо своего аппарата схватил пулемет и кинулся защищать моих великанов. Нескладный, шуплый, близорукий, со своим еврейским носом и курчавыми волосами, несомненно, гораздо больше пострадавший во время аварии, чем хочет показать, этот человек явно готов броситься нам на подмогу в нашем великом бессмертном деле. К тому же хорошо, что он оказался здесь; очень важно, чтобы он сделал хорошие снимки, они взбудоражат общественное мнение. Нужно, чтобы все узнали, как в наш век приспособленчества и капитулянтства люди продолжают сражаться за честь называться людьми и за то, чтобы их смутные надежды поднялись на новую высоту. Рано или поздно их невысказан-

ные устремления обретут свободное дыхание и плоть, вырвутся на поверхность в победном цветении. От Байкала до Гренады и от Питтсбурга до озера Чад скрытая весна, таящаяся в глубинных корнях, выплеснется наружу со всей неукротимой силой миллиардов слабых, робких побегов». Морелю чудилось, он слышит, как они медленно пробивают себе дорогу к простору, к свету, к свободе; слышит их робкое, скрытное шуршание. Как трудно уловить это легкое потрескивание, едва различимый, прерывистый шорох родничков, которые стремятся дробиться сквозь толщу тысячелетий. Но у него тонкий слух, привыкший воспринимать медленное, миллиметр за миллиметром прорастание этой древней, трудной весны. . .

*Советское кино?*

*Каким должно быть наше советское кино?*

*Вот чего советский народ ждет от своего киноискусства.*

Два человека вышли в Москве из здания «Правды» и медленным шагом двинулись к той улице, где ходил трамвай. Один из них, худой и в очках, сутулый от чересчур высокого роста и канцелярской работы, шел, заложив руки за спину; у него была черная бородка и звали его Иваном Никитичем Тушкиным. Другой, пониже и не такой костлявый, выглядел довольно круглым и упитанным; звали его Николаем Николаевичем Рябчиковым; и на каждый шаг своего друга ему приходилось делать два, чтобы не отстать, отчего казалось, будто он вечно куда-то спешит. Эти двое были неразлучны вот уже двадцать лет; сидели друг против друга в одной комнате, в одном и том же информационном отделе газеты, где работали переводчиками, – один с английского, другой с французского; вместе еще с двумя семьями обитали в общей коммунальной квартире на Комсомольском проспекте.

– Да-а. . . – протянул Иван Никитич, который всегда начинал разговор с этого поддакивания, на которое его друг уже не обращал внимания. – Да-да-а. Видно миллионеры с Уолл-стрит не знают, что им еще придумать, чтобы отвлечь внимание американского народа от грозящего экономического кризиса и подготовки к войне. . . Уже несколько недель первые полосы газет посвящены приключениям, – по всей вероятности, целиком выдуманым, – этого француза, который будто бы поехал в Центральную Африку, чтобы защищать слонов от охотников. . . Вот та умственная пища, которую они по утрам преподносят своим читателям. А я обязан по долгу службы ее переваривать. . . Даже устал. Уже по ночам снится. Представьте себе, Николай Николаевич, прошлой ночью приснились целые стада слонов, которые несутся сквозь лесную чащу, топча и ломая все вокруг, так что даже земля дрожит. . .

– Да, я слышал, как вы вздыхали во сне, Иван Никитич, – сказал его спутник. – Слышу, как вы вздыхаете, и говорю себе: «Ага, ну и чудные сны, видно, снятся нашему Ивану Никитичу!»

– И по вашему языковому сектору то же самое происходит? Что пишут французские газеты?

– Трудно сказать определенно. Левые газеты в Париже сначала представляли все в благоприятном освещении. Сперва думали, что тут имеет место выступление против колониализма; охота на слонов – типичный пример эксплуатации природных богатств Африки западными монополиями. Но оказывается, этот Морель – агент французского Второго Бюро, посланный в Африку с диверсионными целями, хотят отвлечь внимание международной общественности от восстания африканских народов, их законных чаяний. . . Все это явно свидетельствует о растерянности западного мира. . .

– Да-а. . . – протянул Иван Никитич.

Двое друзей молча зашагали дальше. Сейчас они попытаются влезть в битком набитый

трамвай, постоят в очереди в продовольственном магазине, вернуться к себе домой и будут дожидаться своей очереди на кухню – того получаса, который каждому выделен. Но они ко всему этому привыкли. И тому и другому было всего по сорок лет, их родители при царизме тоже были плохо оплачиваемыми писаришками. По воскресеньям они ездили за город и разгибали усталые спины, вместе гребя на лодке. Иван Никитич снимал очки, Николай Николаевич засучивал рукава, и они с улыбкой поглядывали друг на друга.

– Готов?

– Есть!

Они хватались за весла и принимались грести: багровые лица, зубы сжаты, глаза горят остервенением, иногда они чертыхались, но всегда доводили себя до полного изнеможения. А на следующий день, в восемь утра, уже сидели у себя в конторе.

– Да-а, – вздохнул Иван Никитич. – Обратите внимание, Николай Николаевич, слоны ведь такие занятные животные. Жаль, что наше кино не позволяет нам чаще любоваться ими в природных условиях, на воле. Слон, Николай Николаевич, заслуживает того, чтобы его хорошенько изучали. У нас в зоопарке их два, я иногда вожу туда племянников с познавательной целью, чтобы они хоть видели, что такое слоны. . .

Он не закончил фразы и вздохнул.

– Прошлой зимой в цирке показывали прекрасный номер дрессировки слонов, – сказал Николай Николаевич. – Помните?

– Да-а, – пробурчал Иван Никитич.

– Удивительно, что может сделать умелый и решительный укротитель с такими громадными, могучими зверями. . . Они вели себя просто как овечки. Одни плясали, другие становились на задние лапы или ложились на бок; по ним можно было даже ходить. . . Замечательно! Наша школа дрессировки, наверное, лучшая в мире.

Вокруг бурлила Москва, росли новостройки, прокладывались трубы, поднимались промышленные здания; с каждой минутой увеличивалось число машин и движение транспорта; народ наконец добился материального благополучия, а Иван Никитич продолжал мечтать вслух о красоте природы.

– Да-а. На днях смотрел я на этих двух слонов за решеткой, и так мне стало их жалко! Даже обидно. Слоны ведь не созданы для такой жизни. Им нужен простор. Они родились, чтобы жить на воле. Такие великолепные животные, надо же иметь к ним уважение. . .

– Совершенно с вами согласен. Я не раз испытывал такие же чувства.

– Они, конечно, содержатся здесь для поучения юношества. Надо, чтобы молодежь в наших школах знала, как они выглядят, как живут; что тут говорить, дело это полезное, нужно углублять познания в естественной истории. Не то подрастающее поколение, в конце концов, и знать уже не будет, что слоны существуют. . .

Николая Николаевича поразило, какая грусть прозвучала в голосе друга. Он шагнул, как обычно к трамвайной остановке, чтобы встать там в очередь, но глядел отрешенно и, заложив руки за спину, продолжал громко восхищаться роскошествами природы.

– Заметьте, их поместили за обыкновенной решеткой, это ведь все же не клетка. . . Однако тоже как сказать. . . Особенно когда выходишь из конторы и у тебя потребность подумать о чем-то совсем другом, полюбоваться природой. Вот в каком отношении я нахожу советское кино неудовлетворительным. . . И даже невыносимым! Товарищи кинематографисты, дайте нам то, в чем мы нуждаемся. Покажите нам, дорогие товарищи, громадные стада слонов на воле. . . Сто, сто пятьдесят слонов. . . Да черт побери, хотя бы и тысячу!

– Прошу вас, Иван Никитич, перестаньте кричать. . . Все, конечно, так, как вы говорите. . . Но не на улице же. . .

Иван Никитич встал как вкопанный посреди тротуара и повернулся к другу. Прохожие смотрели на них с любопытством.

– Вы мне скажете: простите, Иван Никитич, но у нас это невозможно; наша русская земля никогда не видала слонов на воле. . . Но я вам как раз и отвечу: а зачем же кино, товарищи? Наше советское кино, для чего же оно тогда? Что же это оно мешкает, спрашиваю я вас? Не дает того, что нам нужно? Чего же оно дожидается?

– Да не кричите же вы, Иван Никитич, прошу вас. . .

– Я не кричу. Я только выражаю свои мысли. Я обращаюсь к лицам, ответственным за советское кино, и говорю им: довольно! Товарищи кинематографисты, надо, чтобы все пошло иначе! Почему бы нашим студиям не послать несколько съемочных групп в Африку, туда, где еще ходят на воле слоны, и не показать их на наших экранах, чтобы мы могли взглянуть на них хоть раз в жизни?

Он бурно размахивал руками. Вокруг собралась небольшая толпа, люди слушали с интересом; Николай Николаевич нервно дергал приятеля за рукав. Но Иван Никитич был весь во власти своего порыва.

– Вы покажите нам, товарищи киношники, огромные открытые просторы, небо с миллионами птиц, саванну с ее жирафами, антилопами и львами. . . Дайте нам поглядеть на львов, товарищи киношники, на львов, гуляющих на свободе! Покажите нам могучих носорогов, диких орангутангов, необычайное разнообразие птиц, каждую в своем оперении, каждую поющую по-своему, со своей расцветкой, своими гнездами, своими повадками и своими причудами. И в небе! А главное, дорогие советские киношники, дайте нам поглядеть на слонов. Покажите, как слоны преодолевают все преграды на своем пути, крушат, втаптывают в землю, поднимают в воздух, покажите тех, кого никто и ничто не может остановить. Земля дрожит, леса расступаются, – вот чего мы ждем от советского кино, товарищи! Наш народ имеет право требовать, чтобы его кинематограф дал ему то, в чем он нуждается! Наше советское кино должно быть верным отражением потребностей и непреодолимых чаяний советского человека. . .

Кто-то положил ему руку на плечо. Иван Никитич Тушкин поправил на носу очки. Вокруг него толпилось человек двадцать; они смотрели на него с любопытством. Кое-кто смеялся. Но смеялись не все. Человек, положивший руку на плечо, обратился к нему непререкаемым тоном блюстителя порядка:

– Проходите, товарищ, нельзя устраивать сборище. . .

– Но. . .

– Никаких «но». Может, хотите пройти в отделение?

– Да я только объяснял приятелю, каким, по-моему, должно быть советское кино. . .

Он с отчаянием разыскивал в толпе лицо Николая Николаевича. Но тот исчез. Иван Никитич провел дрожащей рукой по лбу.

– Прошу извинить. . . – пролепетал он. – У меня, наверное, простуда.

Сильнее прежнего ссутулив спину, он грустно занял свое место в очереди на трамвай.

Депутат французской палаты представителей Жан Дюбор сидел на табурете у стойки кафе на бульваре Сен-Жермен, в расстегнутом пальто, из-под которого выбивалось шелковое кашне, и рассеянно слушал бармена, излагавшего свои взгляды на этого чудака, защитника африканских слонов. Вечерние газеты только о нем и писали. Депутат был озабочен. Он пытался припомнить, к какой политической группе теперь примыкает. Партия его раскололась надвое, крайние элементы обеих фракций сами раскололись на три разные группы, которые вращались вокруг центра, намереваясь его подменить, в то время как центр проявлял тенден-

цию к полевению в своих центростремительных группировках и к поправению в группировках центробежных. Депутат Жан Дюбор до такой степени запутался, что даже спрашивал себя, не требует ли долг патриота самому создать новую группировку, нечто вроде центрально-право-левой ячейки с некоторыми отклонениями, которая смогла бы служить устойчивым противовесом колеблющемуся большинству и независимым, склонным к перегибам, разрушающим партию изнутри, чья политическая программа как раз и заключается в противодействии перегибам и поэтому сама играет роль противовеса. Да, единственный способ найти выход – создать собственную группировку. Он вскинул голову и растерянно поглядел на бармена.

– Что же, я вам скажу, что такое эта ваша история со слонами, – произнес он. – Еще одно противопарламентское движение. . .

Вид у бармена был до крайности изумленный.

– То есть? Почему?

– Все эти выдумки о поднявшейся из недр волне возмущения, о всенародном гневе, о непреодолимом могуществе масс давно известны. . . Слоны-мстители, которые все сметают на своем пути! Да надо быть ослом, чтобы не понимать, что тут подразумевается! Хотят насильственной смены правительства.

– Но простите, простите, господин депутат, – возразил бармен. – Какой-то тип в Африке пошел жить среди слонов, уверяет, что хочет защищать их от охотников. Какое отношение это имеет к правительству?

– Уловка, чтобы дать ход новому тоталитарному движению, вот что такое ваш Морель. Сначала говорят, что слонам угрожает гибель, а потом их пускают в поход на палату. . . Вот уже месяц, как вся реакционная пресса только и зудит, что о Мореле и его слонах. . . Все шито белыми нитками. Против нас хотят поднять народ. Нашелся еще один «спаситель», еще один «защитник». . . Возбуждают против нас народные массы. . .

Он слез с табурета, положил на блюдечко сто франков и удалился, сунув руки в карманы, набитые газетами, в кашне, уныло свисающем на грудь. . . Можно, конечно, купить билет на самолет и поехать в Чад, но что он там будет делать? Вряд ли он сумеет украдкой наладить контакт с Морелем и тем более к нему присоединиться. Вокруг сразу встанет стена чиновников, и тогда уже будет невозможно добраться до Мореля хотя бы для того, чтобы пожать тому руку. Дюбор зашагал по улице, понурился, жуя окурки и обдумывая, не стоит ли все же сделать запрос правительству насчет охраны африканской фауны.

В одной из частных клиник Нейи из палаты вышел человек в накинутом на плечи сером пальто. Он остановился, и к нему сразу же подошел врач и произнес несколько ободряющих слов, но человек не слышал. Он был молод, но его жена умирала от рака, матки. Они были женаты всего год, и жену свою он обожал. Странно, однако он не ощущал себя жертвой какой-то страшной несправедливости. Несправедливость, которой он подвергся, была просто исполнением закона, биологического закона, такого же подлого, бесчеловечного и циничного, как и некоторые человеческие законы, например, как те, о которых шла речь в Нюрнберге. Это был закон, который нельзя отменить, его можно лишь обойти, и люди в лабораториях пытались разгадать загадку, чтобы хоть как-то договориться с болезнью. Ученые всего мира работали день и ночь, отыскивая какой-нибудь компромисс. Врач положил руку на плечо, советуя юноше мужаться. Из бездны своего отчаяния человек вдруг вспомнил, что на свете все же есть тот, кто не желает идти на компромисс, не желает входить в сделки, не согласен на сговор с несправедливостью. Он взглянул на врача.

– У вас нет сегодняшней газеты?

Врач ничего не понял. Молодая женщина умирала, последние двое суток этот человек,



казалось, страдал по меньшей мере так же, как она. А вот теперь почему-то просит газету. . .

– Есть.

Он пошарил в кармане под белым халатом и протянул ему вечернюю газету. Человек ее взял и жадно развернул. Он быстро пробежал глазами страницы, потом взгляд его на чем-то задержался.

– Не сдастся, – с удовлетворением произнес он. – Да, не так-то легко с ним справиться. . . А я уж несколько дней беспокоюсь. . . Но он держится, наш дружок!

Он вернул изумленному врачу газету и, подняв голову, твердым шагом пошел по коридору: веки у него были красные и опухшие, но он улыбался.

Слухи о том, что Морель будет вот-вот арестован, поползли по Форт-Лами и были тут же подхвачены газетами всего мира. Среди всех тех, кто порою думали о Мореле с тайным удовлетворением, словно молча поручали ему нести бремя того, что у них самих не заладилось, что не удалось, чему они покорились, испытывая страстную и смутную потребность хоть раз «высказать им все, что о них думает», «уйти от всего», «показать», «со всем этим покончить», – словом, все те, кому стало невмозможу, хотя они и не отдавали себе отчета, столь многое вместило это коротенькое «все»; все те, кто чувствовал себя отомщенным отказом Мореля примириться и склонить голову, словно выраженным от их имени; все те, кого тешило то, что они принимали за презрение и отвращение, которые не были адресованы лично им, – те самые, кого восхищало, что капитан Карлсен провел трое суток в открытом море, цепляясь за обломок своего судна, те, кто давно потерпел во всем неудачу, – не сумели преуспеть в деле и довольствовались комнатушкой при лавке, дожидаясь, когда ее можно будет запереть; все те, кто ошибочно приписывали свое озлобление мелким материальным невзгодам, хотя для того была совсем другая причина – оно просто было в их крови, как у всех людей; словом, все те, кого приводила в раздражение, вызывала досаду одна только мысль, что человека, который так хорошо выражал их немислимую мечту выкарабкаться, одержать победу над жизнью, стать чем-то другим, стать, наконец, людьми, возмущались, что его как какого-то взломщика поведут в наручниках жандармы. Были, естественно, и такие, – тоже немало, кто, сидя у себя в уголке, с насмешкой и вздохом облегчения потягивал свой аперитив, – они думали о том, насколько были правы, ни во что не ввязываясь, ведь все равно «ничего сделать нельзя», как они с самого начала и твердили, что «в жизни надо уметь смиряться», – эти люди, обретая душевный покой, которого требовали в их профессии, награждали себя свидетельствами о мудрости и умеренности. Но у других, более многочисленных, которые всю жизнь не довольствовались тем, что, жуя сигару, изучали свой банковский счет, не пренебрегая при том любой подвернувшейся оказией, новость об аресте человека, выбравшего общество слонов, вызвала горестное изумление. Никто не хотел в этом признаться; нельзя же, в конце концов, признаваться, что ты недоволен тем, что ты есть; только отпетые неудачники, которым уже нечего терять, чье поражение так же очевидно, как их пьянство, грязная рубашка и дырявые башмаки, могут позволить себе роскошь выглядеть подавленными или открыто возмущаться тем, что все снова пойдет своим чередом и снова будет окутано смирением.

В одном из санаториев Верхней Савойи новости о человеке, требовавшем хотя бы элементарного уважения к природе, добытые из газет или услышанные по радио, вывешивались в холле на черной доске. Когда сообщение телеграфного агентства о том, что арест находящегося вне закона ожидается с часу на час, больные почувствовали такой упадок сил и уныние, что главный врач запретил вывешивать последующие сообщения. Большинство туберкулезников составляли молодые люди, пораженные болезнью в расцвете сил и надежд. Молодая девушка с пневмотораксом и пораженным болезнью вторым легким поглядела на

доску и разразилась рыданиями. Заплакала она впервые с тех пор, как приехала в санаторий. Вывешивать сообщения о крестовом походе Мореля постановил совет больных, и главному врачу стоило большого труда их переубедить. Один из студентов бросил фразу, связь которой с делом Мореля показалась врачу крайне сомнительной: «Не вижу причины, почему я должен махнуть на себя рукой без борьбы!»

Примерно в это же время белые разбили голову четырнадцатилетнему негру за то, что он с восхищением присвистнул, увидев проходившую белую женщину; русские любители голубей мира взорвали водородную бомбу и готовили межконтинентальную ракету, которая могла сделать непригодной для жизни территорию площадью больше Великобритании; мо-мо при-мешали к настойке, которую пили, мозги новорожденных, клянясь сохранить верность борьбе за право народов распоряжаться своей судьбой; бывший им под стать министр строительства, присутствуя на похоронах ребенка, замерзшего во французской трущобе, лицемерно пожимал руки его родителям. Североафриканские племена во имя свободы насильовали шестилетних детей и вспарывали животы французским женщинам, не умея иначе проявить свою мужественность, в то время как ученые серьезно рассуждали, кого породит радиоактивная пыль, попав в человеческий организм в результате нескольких ядерных взрывов подряд – поколение гениев или дегенератов; а правительство Франции официально поощряло производство алкоголя, что явно могло стать решением этой проблемы. Всех, кто по утрам читал газеты и мог вздохнуть с облегчением, думая о человеке, обуреваемом решимостью и дальше бороться за охрану природы, потрясло и даже взбесило сообщение о его неминуемом аресте, в который они, правда, не желали пока верить.

22 июня, в то время как последние журналисты, оставшиеся в Форт-Лами, наконец-то вкусили плоды своего долготерпения, – им конфиденциально сообщили, что «развязка неминуема», – и, сидя на террасе «Чадьена», ожидали этого события, группа всадников – два африканца и трое белых – медленно пробиралась сквозь низкорослые заросли к юго-востоку от Голы, где серые тени лежавших на земле ветвей мимозы, казалось, сами вот-вот испустят дух, а окрестности со своими сухими кустарниками, термитными кучами, поникшими деревьями и выжженной травой замерли в обморочном состоянии. Вот уже месяц как в ФЭА, в Судане, Уганде, в некоторых районах Донго, Кении и Танганьики была запрещена всякая спортивная охота; считалось, что засуха настолько сократит поголовье диких зверей, что понадобится от десяти до пятнадцати лет, чтобы его восстановить; потери в животноводстве и сельскохозяйственных культурах повсюду требовали правительственного вмешательства, колдуны на юге грозили продлить засуху, если им не будет возвращено издревле положенное место в племенных советах; черные крестьяне толпами покидали районы бедствия; низкий урожай хлопка разорил большинство тех, кто продавал его по срочным договорам. В воздухе пахло уже не побережьем, а пустыней, и воздух, из которого исчезли последние следы влаги, создавал у Хааса ощущение сухости в носу, какое бывает при хамсине. То, что Хаас видел вокруг, производило на него сильное впечатление, – ничего похожего он не наблюдал даже на границах Тибести, где все было приспособлено к суши пустыни и жило с ней в добром согласии; привыкнув к зловонной сырости Чада, он сперва не без удовольствия жевал свою сигару, наслаждаясь чистым воздухом, но мало-помалу начал воспринимать почти полное отсутствие всякой жизни, страдания редко попадававшихся истощенных животных, отчаянные взгляды людей в деревнях, через которые проезжал, и он помрачнел, стал чертыхаться сквозь зубы при виде очередного распухшего от жары трупа, а потом откровенно затосковал по своим москитам и даже признал за озером Чад, которое всегда обзывал болотом, грязной лужей, некоторые достоинства, – ведь в том еще была вода, которая могла утолить жажду, а за то

многое можно простить.

Спутник Хааса, Жан де Фонсальбер, специальный корреспондент крупного парижского еженедельника, спокойнее взирал на этот трагический пейзаж; он впервые очутился в Центральной Африке, и ему не с чем было сравнивать. Его заботило только одно: быть первым из журналистов, кто встретит Мореля. Вот уже четверть века как Хаас жил среди слонов Чада и ловил их для зоопарков; если говорить точно, то с войны 1914 года, когда он был отравлен газом; теперь его обуяло раскаяние и он организовал экспедицию с целью розыска Мореля, чтобы отвести того в надежное место. Его раздражали кретины, утверждавшие, будто Морель движим не только своей любовью к этим великанам, которых он, Хаас, так безжалостно выслеживал, но и преследует какие-то скрытые политические цели. Этот поклеп вызывал у старого отшельника ярость, он-то ведь знал, что такое любовь к слонам, а с тех пор, как его отравили газом, – и что такое неприязнь к людям. Тем не менее он решил внести в происходящее ясность. Если авантюрист – человек искренний, если он ничего не скрывает, если просто любит прекрасных животных, Хаас отведет его в надежное место, где тот будет в безопасности. Ну а если тут опять какое-то свинство, как то всегда бывает у людей, – политическое или любое другое, какой-нибудь пропагандистский трюк, тогда он просто даст Морелю в морду и вернется в свои тростниковые заросли.

Что касается сопровождавшего их Вердые, Хаас взял его потому, что тот твердил всем и каждому, как он сочувствует Морелю, и потому что в Камеруне у него была заброшенная плантация, – идеальное убежище, если только до него добраться. Хаас не обращал ни малейшего внимания на болтовню Вердые, уже давно бывшего в ФЭА всеобщим посмешищем. Вдохновитель Ассоциации Свободной Франции в Чаде, один из организаторов присоединения территории к союзникам во время войны, он был одержимым поклонником де Голля, к которому питал почти такую же привязанность, как Хаас к слонам. Этот толстяк имел смешное и весьма примитивное представление о Мореле, которого наделил своими собственными навязчивыми идеями.

– Уж вы мне разрешите сказать! – разглагольствовал он, снисходительно обращаясь к журналисту. – Если бы вы дали себе труд познакомиться с тем, что писал генерал де Голль, вы нашли бы там объяснение загадке Мореля. Лично я знаю это место наизусть: «Всю мою жизнь я носил в себе определенное представление о Франции. Чувство внушало его мне не меньше, чем рассудок. В душе моей, конечно же, живет образ Франции – сказочной принцессы или мадонны с фрески, страны, которой суждена великая и необыкновенная судьба. Интуиция подсказывает, что провидение создало ее для великих свершений или для таких бедствий, какие станут наукой для других. Если же ее поступки и деяния порой искажает посредственность, мне это кажется нелепой аномалией, в которой виноваты сами французы, а не гений моей родины. . . » И вот, месье, замените слово «Франция» словом «человечество», и перед вами Морель. Он тоже видит человеческий род то сказочной принцессой, то мадонной со стенной росписи, готовой к своему великому предназначению. Если его обманывают, то он обнаруживает в этом нелепую аномалию, в которой винит людей, а не самый гений человеческого рода. . . Тогда он сердится и пытается отыскать в людях какой-то признак великодушия, намек на достоинство, какое-то уважение к природе. . . Вот что он такое. Запоздавший голлист. Мне это совершенно ясно.

Хаас слушал Вердые с таким презрением, какое только позволяла выразить борода. Нет, люди настолько поглощены собой, что совершенно не способны понять, как могут надоесть другому: своим видом, запахом, надоесть до того, что пойдешь жить среди слонов, потому что лучшего общества на свете нет.

## XXXVIII

Выйдя из хижины, Филдс увидел, что на востоке собираются огромные черные тучи; его поразили эти чернильные клубы, которые, казалось, предвещали, что небеса неизбежно расколются надвое. И даже Хабиб, шагавший по отмели, как капитан по палубе судна перед бурей, был явно встревожен затянувшимся горизонтом, он поглядывал туда с почтением моряка к стихии.

– Да, теперь уже скоро, – сказал он Филдсу. – В последний раз в жизни еще чему-то поверю, хотя бы показаниям метеорологов. . . Надеюсь все же, что успеем проехать.

Он громко закричал и принялся раздавать тумачи, подгоняя негров, что таскали слоновую кость к грузовикам, которые Хабиб велел перегнать поближе к озеру; машины стояли у края высохшего болота. Если пойдут дожди, грузовики застрянут там до будущего года. Филдс готов был вытерпеть что угодно, лишь бы снять это зрелище. Но ливанец оставался неисправимым оптимистом. Он бродил взад-вперед по отмели, покачиваясь на кривых ногах, в фуражке, сдвинутой на ухо и открывавшей лысый череп, с огрызком потухшей сигары в зубах, время от времени вынимал ее, чтобы обругать носильщиков, отвечавших громким хохотом. Заметив, что Филдс с интересом за ним наблюдает, он крикнул:

– Видите, когда надо, я могу командовать и на суше. . .

Он дружелюбно похлопал американца по плечу и ушел, чтобы напутствовать в дорогу высокого белокурого легионера, с которым, как видно, подружился. (Кроме своего подопечного де Вриса, Хабиб в ходе операции потерял еще двоих: одного сдернул со скалы и раздавил слон, другой погиб от шальной пули во время беспорядочной стрельбы в самом начале.)

Филдс опустил на песок, чтобы передохнуть. Бока у него болели все больше и больше, и он уже стал сомневаться, сможет ли сопровождать Мореля. В озере, на тушах мертвых животных, сидели грифы, которые порой поднимали головы, озирались, а потом снова принимались за угощение. Филдс не знал, что ненавидит сильнее: их круглые спины или манеру поднимать голову и озираться вокруг. Погибшие слоны образовали по всему озеру кладбищенские холмы, и на каждом из них сидел серый, горбатый дозорный. Из воды доносились крики и смех, – это деревенские женщины и дети резали мясо и кидали куски в корзины, привязанные за спинами; каждый раз, когда они приближались к туше, грифы неохотно отодвигались в сторону, до последней секунды не уступая своей добычи, потом грузно поднимались в воздух, чтобы сразу же приземлиться на ближайшем бугре. Несколько слонов уже вернулось к воде, воздух дрожал от отдаленного рева; Филдс пытался различить среди гомона крики раненых животных.

В лучах заходящего солнца проплыла за тростниками целая флотилия рогов, похожих на мачты парусников; это возвращались к водопою антилопы. Далеко на западе пронизанное солнцем облако пыли оповещало о подходе новых стад. . .

На рассвете первого дня Филдс видел, как плотная масса буйволов воздвигла лес острых рогов там, где накануне не было ничего кроме птиц. (Потом, когда журналист рассказывал о буйволах на Куру в Форт-Лами, там хором запротестовали: на Куру буйволов никогда не видели. Однако Филдс стоял на своем и в подтверждение предъявил снимки.)

Около четырех часов дня Вайтари собрался покинуть озеро и передал Филдсу, что желает с ним поговорить. Фотограф заметил его издали – над болотом, где сидели птицы, на вершине отмели, на фоне грозового неба, в том самом месте, где у него состоялся первый разговор с

Пером Квистом; рядом с Вайтари стояли трое молодых негров, за все время пребывания на озере не сказавшие журналисту ни единого слова. Вайтари в своем небесно-голубом кепи с черными звездами, военной форме, с портупеей и револьвером на боку, окруженный адъютантами, произвел на Эйба Филдса впечатление чего-то знакомого, уже когда-то виденного. То был один из заезженнейших штампов человечества. Тем не менее репортер из вежливости сделал снимок. (Филдс любил говорить, что самой большой трагедией Цезаря был не удар Брута, а отсутствие фотографа. Он пытался поправить дело при помощи скульпторов, но это совсем не одно и то же, и что-то главное в карьере Цезаря было преждевременно утрачено.) Трое молодых негров враждебно застыли, но Вайтари протянул Филдсу руку.

– Я счел нужным с вами попрощаться.

– Ну, это скорее «до свиданья», – вежливо возразил Филдс. – Уверен, что еще часто буду о вас слышать.

Бывший депутат Уле не мог скрыть довольной улыбки.

– Что ж, поглядим. . . Я очень рассчитываю на то, что на обратном пути у нас произойдет стычка с карателями. Без этого наша миссия будет не вполне успешной. . . Необходимо, чтобы меня посадили в тюрьму. Или же убили. . .

– Я верю, что мы еще увидимся, – сказал Филдс.

– Может быть. Я во всяком случае рассчитываю на вас и на американскую прессу.

Филдс произнес несколько подобающих слов. К своему удивлению, он вдруг почувствовал, что тронут, чего вовсе не ожидал. Сколь безмерным ни было бы честолюбие этого человека, одиночество было ничуть не меньшим. Фотография, сделанная снизу, с подножия отмели – силуэт на фоне бескрайнего неба, – расскажет о нем куда красноречивее любого сопроводительного текста. В том и состояло мастерство Филдса – превращать текст в излишество.

– Африка – тяжкое бремя, – сказал Вайтари, – а нас еще так мало, чтобы взвалить ее себе на плечи. . .

То, что ты несешь в себе, куда тяжелее Африки, подумал Филдс.

– Кеньятта в тюрьме, Н'Крума только что из нее вышел, чтобы взять власть. . . Видите, мой путь начертан заранее. Но пока возле меня лишь четверо молодых людей, на которых я могу во всем положиться. . . Рассчитываю на вашу профессиональную порядочность, вы должны объяснить, кто мы и чего добиваемся.

Филдс попытался составить длинную, полную заверений фразу на своем корявом французском, надеясь, что акцент и убогий словарь скроют недостаток веры. Дело было не в том, что ему не хотелось помочь Вайтари. Он, правда, недолюбливал французов из-за их вечных свар, но был искренне привязан к Франции, не мог долго жить в другом месте, восхищался такими французами, как Виктор Гюго, Жанна д'Арк, Морис Шевалье и Лафайет. К тому же Вайтари был исключением; нельзя ведь сказать, что он такой же француз, как другие. Франция для такого волевого и честолюбивого человека, как Вайтари, чересчур просвещенная, ограниченная своими традициями и законами, своим укладом и общественным мнением страна. Ему под стать девственная земля, первобытный народ и гигантские цели. Ему нужна свобода действий и власть, равная той силе, какую он в себе ощущает. Вот почему он, вероятно, покинул свою скамью в палате депутатов Франции и отправился на завоевание Африки. Ему это, конечно, удастся, он колонизирует Африку, учредит новый порядок, откроет эру интенсивной эксплуатации; победа станет следствием за победой, колонизация не будет ни чересчур мягкой, ни слишком бескорыстной. Выход еще не найден, – Морель прав, лекарства не придумано, и потому молено лишь пожелать удачи будущему черному диктатору. Это Филдс и постарался сделать. Тем не менее он почувствовал облегчение, когда Вайтари зашагал к грузовикам, в сопровождении трех молодых негров, которые не удостоили репортера даже прощальным

кивком. Обидно смотреть, как человек цепляется за соломинку, особенно если эта соломинка – он сам. Поэтому Филдс следил за тем, как удаляется Вайтари не без сочувствия и даже с некоторой грустью. Ведь дело не только в том, что тут, под бескрайним небом Африки, идет командующий без войска, олицетворенная жажда власти без надежды ее утолить, французский интеллектуал и в то же время уле, африканец, восставший против первобытных законов джунглей. Главное, что он одинок, остальное не в счет. Тем не менее Филдс не преминул снять удаляющуюся группу.

Вернувшись к хижинам, он нашел на отмели Мореля; тот оживленно спорил с Пером Квистом и Форсайтом, которых убеждал отправиться в Хартум, а оттуда на родину, чтобы, воспользовавшись сочувствием общественного мнения, заново развернуть кампанию в защиту слонов. Минна сидела на песке лицом к озеру, подперев руками подбородок и, казалось, не прислушивалась к спору.

– Да ведь все равно во время дождей с места не сдвинешься! Будет гораздо полезнее, если вы уедете и поднимете шум. Созывайте собрания, конференции, выступайте по радио. . . Кричите. . . После всей этой шумихи вас будут слушать. . . А я месяцев шесть отсижусь в горах. Говорите, что я все еще тут, гляжу в оба. . . Надо заставить снова созвать конференцию, на этот раз не в Конго, а где-нибудь на виду, ну хотя бы в Женеве, где делегаты будут опасаться провала. . .

Они провели остаток дня, часть ночи и все следующее утро, разыскивая в тростниках и приканчивая смертельно раненных животных. Морель, за которым шагал Филдс, казалось, только раз пришел в отчаяние, шлепая по грязи, среди вонючей падали, гудящих мух и каркающих грифов, до последней секунды не слетавших со своих могильных холмов.

– Господи Боже мой! Неужели люди так никогда и не переменятся? Сколько же времени это продолжается. . . Право же, надо изобрести специальную пилюлю. . . Пилюлю человечности, собственного достоинства. И к тому же силой заставить ее глотать. Как мне хочется бросить все к чертям и уехать в Германию!

– А что ты там забыл? – прорычал Пер Квист, шлепавший рядом, закатав штаны до костлявых колен и держа ружье над водой.

– Окунуться в воспоминания. Может, они меня вылечат. . . Нацисты, как видно, говорили правду, не обманывали. . . Нельзя этого забывать. Что, если истина у них?.. А все остальное – красивая ложь. . . Кто знает, а вдруг то, что я пытаюсь здесь делать, тоже какой-то обман. . .

– Тьфу! – со злостью сплюнул датчанин.

Услышав от Мореля подобные слова, Эйб Филдс почувствовал себя крайне несчастным. Он предпочитал видеть у француза злые глаза и ружье в руках, видеть его не желающим ждать, пока появятся в продаже пилюли человеческого достоинства (весьма, кстати, вероятно, что человеческий организм не сможет их усвоить). Однако в каком бы настроении тот ни был, Филдс чувствовал себя счастливым только тогда, когда шагал со своим аппаратом рядом с этим сумасшедшим, который защищал слонов. Он забыл про сломанные ребра, про усталость, свое знание людей и все, что помнил о всякого рода безнадежных затеях. В конце концов он поверил даже в то, что еще можно чего-то добиться. Из скромности он убеждал себя, что его восхищение носит чисто профессиональный характер, у него еще оставалось больше половины пленки. Правда, если ему придется прожить с французом целых полгода в какой-нибудь пещере уле, пленки явно не хватит. Тем не менее он радовался, слушая, как Морель строит планы будущих кампаний в защиту африканской фауны.

– Я уверен, что при настойчивости и хорошей организации кампании в прессе мы добьемся результатов. . . Вот почему так важно, чтобы вы оба были на воле и поддавали жару. . . Огонь займется. Теперь все дело только в давлении на правительства.

Филдс попросил у Мореля разрешения сопровождать того в Чад. Ему хотелось заехать в Форт-Лами, чтобы оттуда отправить свои фотографии, почему бы не проделать часть дороги вместе?

(Филдс постоянно оправдывал свое желание следовать за Морелем исключительно профессиональными мотивами. Когда у него возникли трения с властями в Чаде, которые сперва отказывались верить в его версию аварии самолета и обвинили в соучастии и содействии преступникам, он остался на свободе лишь благодаря негодующим протестам журналистов, задержавшихся в Форт-Лами. Обвинения, выдвинутые против Филдса французскими властями, вызвали у коллег такое веселье, что фотограф долго потом за это расплачивался, тем более что ему недешево обошелся и сам сенсационный репортаж. Но Эйб Филдс – партизан, Эйб Филдс, впавший в амок и защищающий слонов с оружием в руках, против всех на свете, Эйб Филдс – бескорыстный идеалист! То был один из самых забавных анекдотов за год, и всякий раз, когда во время следствия репортер появлялся на террасе «Чадыена», его восторженно приветствовали все, кто там был. Филдс переносил издевательства с трудом, что лишь подхлестывало насмешников. Во время допросов он приводил в пример все знаменитые истории, какие ему припоминались: присутствие Томпсона у Сапаты, Страуса у Панчо Вильи, репортеров у Гулиано, когда тот терроризировал Сицилию. Возвращение Шелшера, видевшего на Куру разбитый самолет, вывело Филдса из-под обстрела. Надо сказать, что, только излагая полиции обстоятельства катастрофы, Филдс припомнил подробность, совсем выскочившую у него из головы. Она касалась пилота, командира звена Дэвиса. Он вспомнил, что Форсайт, боясь, что труп быстро разложится от жары, опустил тот под воду, между двумя скалами, ожидая возможности похоронить его по-христиански. А потом, когда на озере развернулись кровавые события, никто уже о Дэвисе и не вспомнил. Значит, бедняга все еще там, среди слонов. Филдс утешал себя тем, что для героя битвы за Англию общество не такое уж неподходящее.)

Когда он пришел к Морелю со своей просьбой, тот улыбнулся.

– Хотите и там сделать снимок? – И прежде, чем Филдс нашелся, что ответить, добавил: – Говорят, будто вы, знаменитые репортеры, со временем обретаєте особый нюх, чтобы вовремя попадать туда, куда надо. . .

Филдс был поражен грустью, прозвучавшей в голосе Мореля. Он подумал, не приписывает ли ему француз предчувствий, которые угнетают его самого.

(Филдс не верил в предчувствия, и в ту минуту у него их не было. Он не верил и в особенный нюх журналистов «быть вовремя там, где надо». Лучшие его фоторепортажи в большинстве своем были делом случая. В тот день, когда убили Ганди, он стоял между двумя самолетами, собираясь снимать охоту некоего магараджи на тигра; три снимка, которые он сделал через несколько секунд после покушения, принесли ему пятнадцать тысяч долларов. Филдс очутился в нужном месте просто потому, что надо было куда-то встать. Когда ураган разрушил Джеремию, он отдыхал в Гаити, что не только с лихвой окупило его расходы, но и позволило внести плату за квартиру в Париже на год вперед. Что же касалось Мореля, Филдс просто предполагал, что, почти в одиночку и безоружный, тот далеко не уйдет, и, естественно, хотел быть при нем в ту минуту, когда закончится авантюра, так занимавшая американцев.)

Морель назначил отъезд после захода солнца, чтобы успеть пройти за ночь как можно дальше. Идрисс и Юсеф привели на отмель лошадей. Морель внимательно вглядывался в тяжелое небо, где тучи громоздились над пустыней, как скопление черных скал. Он повернулся к Идриссу:

– А? Что скажешь? Будет дождь или нет?

Идрисс покачал головой. В своем синем балахоне и белом, обмотанном вокруг головы

тюрбане, с двумя суровыми складками, протянувшимися от ноздрей ко рту, и редкой седой щетиной на подбородке, он внушал Филдсу столько же доверия в свои предсказания погоды, сколько метеорологическая служба в Нью-Йорке. (Филдс провел немало бессонных ночей там, где, как сообщалось, должен был пронестись циклон, который в это время спокойно разрушал те области, где его вовсе и не ждали.)

– Будем надеяться. Нам потребуется на дорогу не меньше двух дней.

Последние несколько минут до отъезда Филдс провел с Пером Квистом, который захотел сделать прощальный обход болота и поглядеть на птиц.

– Этого я уже никогда больше не увижу, – сказал он.

Эйб Филдс не принадлежал к любителям природы, но на сей раз не мог не почувствовать восхищения. Повсюду, куда ни погляди, болото покрывал волнующийся ковер перьев: под неподвижным, свинцовым небом распласталось другое, близкое, живое, которое как будто парило над угрюмой пустотой. Второй небосвод создавали птицы, что летали у самой земли; до него было подать рукой, он наконец-то стал достижимым. Некоторые из пород были знакомы Филдсу; их присутствие на окраине африканской пустыни казалось ему трагической ошибкой. Ласточки, аисты, цапли, чайки, – вся крылатая Европа, слетев с крыш деревенских домишек и рыбацких поселков, нашла здесь приют среди огромных американских аистов, марабу, пеликанов, птиц из Бар-эль-Газалья и множества других, чьих названий он не знал. Пер Квист сказал, что этот менявший расцветку живой ковер величиной в сто квадратных километров, который вздымался и оседал, рассыпался, а потом превращался в сверкающий цветной гобелен, ткавшийся на глазах, лишь ничтожная частица миллиарда перелетных птиц, достигших Нильской долины и болот Бар-эль-Газалья в Судане. Датчанин говорил об этом почти с молитвенным жаром, а когда повернулся к репортеру, Филдс увидел у него на глазах слезы. Он тактично сделал вид, что снимает болото, с которого уже сделал целую серию цветных фотографий, Пер Квист напомнил Филдсу об обещании прислать снимки.

(Филдс сдержал свое обещание. Он послал на имя ученого полный комплект фотографий в адрес Музея естествознания в Копенгагене. Посылка вернулась с краткой надписью «Адресат неизвестен». Филдс нашел в ответе какое-то величие. Он переадресовал свою посылку Международному комитету охраны фауны и флоры в Женеве. Посылка вернулась вновь, с припиской: «Больше не работает». Тогда у Филдса родилась блестящая идея. Он отправил свой пакет по адресу: «Перу Квисту, Дания». И через несколько дней получил благодарственный ответ.)

Когда они с датчанином вернулись на отмель, остальные были уже готовы к отъезду. Филдс не без опаски подошел к своей лошади; он боялся, что путешествие будет ему не по силам. На озере воцарилась тишина; женщины и дети ушли до наступления сумерек в свои деревни, таща на спине или на голове драгоценные корзины; к запаху тины все больше примешивался другой запах, которого Филдс тщетно пытался не замечать. Часть слонов вернулась к воде, другие топтались в тростниках: их рев доносился со всех сторон, и слух Филдса как будто еще различал в нем крики раненых животных. Морель привязал к седлу свой кожаный портфель и прикурил от тлеющего трута сигарету. Он побрился, повязал свежевывстиранный шейный платок и приколот к груди лотарингский крестик. Вид у него был спокойный, казалось, он готов продолжать свое дело столько, сколько понадобится.

(Филдс никак не мог понять, какой тайной силой обладает Морель, пока несколько лет спустя не встретился с Пером Квистом в Упсальском университете, в Швеции, где старый ученый читал свой, как оказалось, последний курс об охране вымирающих видов. Уйдя в воспоминания, старик полночи ворошил свое прошлое и наконец рассказал журналисту историю с майскими жуками. Вот тогда Эйб Филдс и узнал подоплеку всего случившегося. Он слушал



молча, а выйдя в снежную, тихую ночь, где даже звезды, как ему казалось, содрогались от ужаса, вдруг почувствовал какую-то легкость и незнакомую прежде уверенность. Он много бы отдал за то, чтобы снова встретить Мореля и сказать, что и он, Эйб Филдс, тоже «во все это верит».)

Но сейчас, сидя верхом, глядя вокруг воспаленными глазами, повязав голову от солнца носовым платком с четырьмя узелками по углам, он чувствовал себя довольно скверно и удивлялся, чего ради ему взбрело в голову тащиться по пустынным местам за этим человеком вне закона, рискуя сесть в тюрьму или сдохнуть, – к тому же у него почти не осталось пленки. Форсайт стоял на другом краю отмели, держа лошадь под уздцы, и явно избегал церемонии прощания. Он сделал все, чтобы уговорить Минну не следовать за Морелем.

– Вам не одолеть такого перехода. . .

– Однажды я его уже проделала.

– В других условиях. Лошади едва держатся на ногах. . . Даже если вы доберетесь до Чада, вас арестуют. Мужчина один еще кое-как выкрутится, а женщина. . .

– Вам не мешало бы знать, что может вынести женщина, майор Форсайт. Я могла бы кое-что рассказать.

– И все же подумайте хорошенько. Мы хотели устроить демонстрацию, выразить на свой лад отвращение, которое многие испытывают и выражают. . . Нам это удалось сверх всякой меры. Весь мир на нас смотрит. Сейчас время продолжать борьбу другими средствами, используя сочувствие, которым мы окружены. Нельзя этим бросаться. Морель – другое дело: даже если его арестуют, суд над ним вызовет громадный отклик и только подогреет всеобщее сочувствие. Его наверняка с триумфом оправдают. Но пока он рискует жизнью, и вы тоже. . . Это безумие. . .

– С чего вы вдруг стали таким рассудительным, майор Форсайт? Узнали, что наконец можете вернуться домой, что даже стали там чем-то вроде героя, и, кто знает, не присвоит ли американская армия имя Форсайта новому выпуску Вест-Пойнта?

Он не сумел удержаться от смеха:

– Ну, этот день будет великим праздником для слонов. . . Однако вы подозрительно хорошо осведомлены о наших военных порядках.

– Я спала со многими американскими офицерами. . .

– Если не хотите ехать со мной, поезжайте с Пером Квистом в Данию.

Она покачала головой:

– Мне надо остаться с ним.

– Вы должны понять, что сейчас появились другие средства ему помочь, более действенные и даже более неотложные. Мы как раз это и попытаемся сделать. Не думаете же вы, что мы собираемся бросить Мореля на произвол судьбы?

– А мне все равно, что вы будете делать. Я хочу быть там, где он, и все.

– Зачем?

Она улыбнулась:

– А вам не кажется, майор Форсайт, что с ним надо быть кому-нибудь из Берлина?

Она повернулась спиной и пошла по песку той походкой, которую мужские брюки делали одновременно неуклюжей и еще более женственной. Форсайт проводил ее взглядом и легкой цинической усмешкой. Он был уверен, что встретится с ней снова. Надо только подождать. Когда-нибудь и ему посчастливится; общие воспоминания, не говоря уже обо всем прочем, их свяжут, приведут ее к нему. Разве что Морель наконец откажется от своего схимничества и, выйдя из тюрьмы, женится на Минне; тогда они обзаведутся детьми, поселятся в каком-нибудь африканском городе и откроют магазинчик по торговле слоновой костью для туристов.

«Можете увидеть самого Мореля, это, знаете ли, местная достопримечательность, в свое время он даже прославился, его называли «человеком, который защищает слонов. . . » А сейчас торгует сувенирами из слоновой кости. Ну да чего вы хотите, жить-то ведь надо, все всегда этим кончают. Он охотно дает себя снимать, особенно когда у него что-нибудь купишь».

Форсайт поднял руку и помахал на прощание. Минна помахала в ответ. Потом он дождался датчанина, и вдвоем они погнались лошадей по тропе в Гфат. Им надо было пересечь болото; над тем при их приближении птицы взлетали; в сумерках белели крылья марабу, лебедей и аистов, тоже как будто поднятые в прощальном жесте. Пер Квист натянул на лоб шляпу и ни разу не обернулся, чтобы поглядеть на тех пятерых, чьи силуэты еще виднелись на фоне неба. Он, несмотря ни на что, уже винил себя в вероломстве, хотя и понимал, что лучшим способом помочь французу было не оставаться с ним в Африке, а воспользовавшись общим сочувствием, добиться наконец конкретных мер для охраны природы; а если Мореля арестуют и будут судить, что почти неизбежно, то следует находиться там, где можно бить в набат и добиваться освобождения товарища. И все же Пер Квист был удручен, а чтобы успокоить совесть и забыть об усталости, стал громко излагать планы будущей борьбы.

– Надо снова организовывать комитеты, рассылать воззвания, собирать подписи. Жаль, что старый шведский король Густав умер. Это был друг, он бы нам помог. . . И пастор Кай Мунк. . . немцы его расстреляли. Большой был писатель. . . И Бернадотт, и Аксель Мунт. . . Когда живешь чересчур долго, в конце концов не остается даже знакомых. . .

Форсайт молчал. Трудно строить планы на будущее, когда оно осталось позади.

## XXXIX

Первые несколько часов Филдс думал, что больше ни минуты не выдержит боли в боках, которую ему причиняла езда на лошади; следующие несколько часов ему казалось невыносимым переносить такую жару: солнечные лучи превращали красную землю, камни, пыль, поднимаемую копытами, даже пучки травы в слепящую колючую проволоку, – но он терпел с удесятенной и даже противоестественной энергией человека, обуреваемого навязчивой идеей, которая в его случае была намерением сопровождать Мореля до самой развязки и сделать последний снимок. Вот и все, что им двигало, он отказывался признаться в чем-либо другом, в какой бы то ни было общности, в соучастии, в личной симпатии, всего лишь занимался своим делом. Получив редкостную возможность запечатлеть необычный сюжет, он не собирался ее упускать, пока у него оставался хоть кусочек пленки; все, кто знал Филдса, давно усвоили, что он не питает никаких иллюзий, не испытывает благородного негодования, не подвержен гуманистическим порывам; у него всегда наготове только аппарат и пленка; ему безразлично, что станет с миром после того, как он его снимет. Он вцепился в лук арабского седла, время от времени снимая с головы носовой платок, четыре уголка которого торчали наподобие рожек, для того чтобы вытереть шею, лицо, глаза и объектив аппарата, отогнать мух или обмахнуться; он тащился за Морелем на покрытой попоной лошади, по саванне, по крутым откосам, по камням, из которых вылетала красная пыль, изнемогая от жажды, злобно стискивая зубы, с аппаратом на шее и с упорством, вызывавшим у француза улыбку и даже восхищение.

– Ну как, фотограф, выдержишь до конца?

– Запросто, – огрызнулся Филдс. – А вы как думаете? Недаром я побывал в Ливии, в Анцио, на пляжах Нормандии и Коррегидора и получил звание кавалера Почетного Легиона за освобождение Парижа, если вам это что-нибудь говорит.

– Ладно, ладно. И ты совался везде и всюду только для того, чтобы щелкать аппаратом?

– Только.

– А на все остальное плюешь?

– Плюю.

– Пускай хоть все подохнут?

– Конечно.

Глаза Мореля смеялись. Выгоревшая на солнце фетровая шляпа, лотарингский крестик и шейный платок защитного цвета, запорошенный красной пылью, придавали ему чуть-чуть военный вид; он слегка смахивал на какого-то спаги, весело поглядывая на Филдса своими карими глазами. Тот злобно подумал: «Морда-то у тебя типично французская, особенно эти губы и ироническая усмешка, даже когда ты молчишь и только добродушно щуришься».

А потерянный портфель, набитый петициями, манифестами, прокламациями, воззваниями, которые он повсюду таскает с собой, привязав к седлу? Морель был настолько не похож на того, каким его расписывали газеты, что Эйб Филдс считал своим священным долгом привезти хотя бы хорошие фотографии француза и показать их публике; фотографии без текста, без подписи, без комментариев, – Морель такой, какой есть, то бишь абсолютно уравновешенный, уверенный в себе, лишенный и тени ненависти или мстительной злобы, насмехающийся над вами с самой серьезной миной и делающий свое дело – маленькое, ограниченное, земное, дело защиты слонов, африканской фауны, иными словами, какое нужно, не больше и не меньше,

дело, которое давно полагалось делать. Филдс не утерпел и сделал с него еще один снимок, хотя следовало всерьез позаботиться об экономии пленки, если они еще долго пробудут вместе.

– Фотограф. . .

– Да.

– У тебя довольно решительный вид. Признайся, тыт часом, не тосковал по слонам?

– Плевать я хотел на ваших слонов. У меня своя работа.

– Не злись. . . Злиться не надо! Вот я разве злюсь?

– Нет, нет, еще бы! Весь мир знает, что вы никогда не злитесь.

– Говоришь, будто участвовал в освобождении Парижа?

– Да.

– Я туда не успел. Помешали. Красиво было?

– Я покажу вам снимки.

– Ты говорил, что начинал во время Испанской войны?

– Да.

– Я тоже. Мы случайно там с тобой не встречались?

– Возможно.

– Там были прекрасные слоны. Она-то ведь и славится своими слонами, Испания.

– Да.

– А в России ты был?

– Еще нет.

– Да ну, как же это?

– Визы не было.

– Дадут. Как только у них появятся слоны, которых надо снимать, ты получишь свою визу. Карету за тобой пошлют. Строить новый мир, когда слоны путаются в ногах, говорят, невозможно. Кажется, что они – только помеха, пережиток, анахронизм. Это не я так думаю, но другие. Вот почему так важно то, что мы делаем, ты и я. . .

– Вы, а не я. Я делаю снимки.

– Судьба слонов тебя не волнует?

– А вы никогда ни о чем другом не думаете?

– Думаю. Но мне становится очень грустно.

– Пройдет.

– А к тому же я ведь сумасшедший, тебе разве не говорили?

– Конечно, сумасшедший, все вы такие: Ганди со своим пассивным сопротивлением и голодовками; ваш де Голль со своей Францией, вы с вашими слонами. . .

И, сжав зубы, Филдс поехал дальше, – высохший, с обожженными веками и вспухшими губами; с носом, горлом, ушами и – как он был уверен, – даже простатой, забитыми красной пылью, предательски разъедавшей внутренности. Время от времени он одурело озирался, видел сотни безжизненно лежащих рыжих антилоп, их рога – сотни лир – под охраной серых грифов, ожидающих своего часа; видел стадо буйволов, чья могучая плоть казалась там мало приспособленной для подобного бедствия; кое-кто из животных еще держался, пытаясь подняться при приближении людей; вдали, на востоке закрывали горизонт черные, совершенно неподвижные, словно спекшиеся тучи; дохлые слонята, кривые росчерки зеленых мух, визг гиен и снова пыль, снова скалы, термитные кучи под хвоей, лицо Черчилля, кричащего в 1940 году в микрофон, что будет продолжать войну, в то время как Филдс со своим аппаратом ждал его в соседнем зале; лошадь репортера как-то раз споткнулась о тушу льва со вспоротым брюхом, перед которой Идрисс, невозмутимый синий призрак, недоверчиво остановился с

тем немим почтением, которое оказывал только заклятому врагу; вид мертвого льва чуть было не довел Эйба Филдса до слез от жалости к самому себе. Но Идрисс к тому же явно невзлюбил и фотографа, и его аппарат; он смотрел на них косо и всякий раз, когда репортер наставлял объектив на Мореля, старый следопыт демонстративно сплевывал. Несколько раз он обзывал Филдса «oudjana ga» и «oudjana бага», что, как услужливо перевел Морель, означало: «птица-предвестник» или «птица-вещун несчастья». Морель смеялся. Но в том состоянии нервного истощения, в каком находился Филдс, он почувствовал себя глубоко уязвленным, униженным и оскорбленным. Понурившись, он долго размышлял над этими кличками, решив наконец, что Идрисс – антисемит. Как-то раз, увидев, как гриф раскинул крылья и медленно садится на почти разложившийся труп животного, Филдс сказал себе, что сам ничем от него не отличается – хищник, всегда готовый кинуться на свежую жертву; он даже нашел у себя какое-то внешнее сходство с птицей, особенно с ее клювом и близорукими глазами. Репортер попытался объяснить с Идриссом, тыча рукой в небо, где, состязаясь в скорости, кружили стервятники, пытавшиеся вырвать добычу из клюва у собрата; чем же он виноват, объяснял Филдс Идриссу, – надо всегда первым поспевать, этого требует профессия. Идрисс с возмущением сплюнул и пошел предостерегать Мореля. Филдсу помогли растянуться под тенью сброшенного на колючки одеяла, Минна села рядом, отирая репортеру лоб мокрым платком. К Филдсу стало понемногу возвращаться сознание, он пристально вглядывался в измученное лицо немки – женщины, выглядевшей столь неправдоподобно среди всего этого насилия и жестокостей, в лицо, осунувшееся до неузнаваемости, – только светлые волосы под сдвинутой на затылок широкополой фетровой шляпой на тесемке и взгляд голубых глаз, таких невинных, сохраняли свой блеск и нежность.

– Почему вы не поехали с ними в Судан? Влюбились?

– Постарайтесь немножко поспать, месье Филдс. . .

– Вы так его любите?

– Мы поговорим об этом в другой раз, когда нам обоим будет лучше. . . У меня ведь тоже больше нет сил, я заболела дизентерией.

На ее лице отчетливее виднелись тени, чем черты, «Вот что такое любовь, – подумал Филдс с тем глубоким знанием любви, каким обладают люди, которых никогда не любили. Ведь ей, в сущности, глубоко начхать на слонов. Женщина не стала бы терпеть такие муки ради идеи, уж я-то знаю женщин. Знаю, у женщины не бывает такого мужества, стойкости и равнодушия к тому, что с ней происходит, если она не любит какого-нибудь мужчину. . . Я женщин знаю, – важно сказал себе Филдс, – хорошо знаю, я только о них и думаю». В воображении он постоянно с ними общался, пережил, быть может, самые прекрасные любовные приключения нашего времени, добивался блистательных, ошеломляющих побед. Он в уме подсчитал количество слонов, которыми согласен пожертвовать ради того, чтобы внушить женщине подобную любовь, подобную преданность; скоро он уже был готов пожертвовать ими всеми. Минна наклонилась к нему с улыбкой, затмившей все: болезнь, раскаленный воздух, слабость. Лежа на спине под импровизированным навесом, задыхаясь от жары, Филдс, у которого шла из носа кровь, а глаза блестели от обиды, твердил себе, как ему хочется внушить такую любовь и такую преданность именно ей, этой немке, ему, сыну тех, кого отравили газом в Освенциме, это доказало бы, что человек, может быть, в общем и не так уж плох. . . Но, пожалуй, он просто-напросто подлец. . .

– Вы его любите. . . Это очевидно. Не отрицайте. Не старайтесь убедить, будто озабочены исключительно слонами. . .

– Я вас ни в чем не убеждаю, месье Филдс. Это вы слишком много разговариваете, а вам надо отдыхать.

– Скажите мне правду. . .

– Правда в том, что надо их хоть как-нибудь защитить, месье Филдс. Теперь это понял весь мир, даже я. . . раз я здесь. А я ведь не очень умная. Только видела все вблизи. . . во время войны, в Берлине, и потом тоже. Но давайте отложим объяснения до другого раза. . .

Эйб Филдс буквально зашипел от раздражения и обиды:

– Вы надо мной издеваетесь!

– Постарайтесь немножко поспать. Я положу вам платок на глаза. . .

Нигилисты, вот они кто, нигилисты и бунтовщики; наверное, хотят силой скинуть правительство Соединенных Штатов. Никогда, никогда Эйб Филдс не выдаст им американской визы. Визы, которую сам с таким трудом когда-то получил. Вся эта история – типичное явление заката Европы, анархия, подрывная акция, немыслимая в Соединенных Штатах, где человеческое достоинство оберегается на каждом шагу, – спереди, сзади и по бокам, и подобные проблемы даже не возникают; у него только одно желание: уехать в Америку, опубликовать там свои фотографии, изобличить нигилизм французских и немецких интеллектуалов, но в данный момент он, весь в пыли, лежит под импровизированным навесом между кактусом и колючим кустарником и сквозь воспаленные веки видит только мертвый пейзаж из камней, колючек, песка и собственных ног, ног Эйба Филдса, вечного путника, который, вернувшись домой, делает борьбу в защиту слонов целью своей жизни. К тому же это будет его последний репортаж. Он бросит свою профессию – никто не заставит его изменить решение. (Позднее Филдс часто приводил свое бесповоротное решение в доказательство того физического и морального упадка, в каком тогда находился.)

Филдс проехал последние двенадцать километров пустыни в почти радостном одурении, – его одолевали эротические галлюцинации, их вызывало и трение седла и нежелание расстаться с жизнью, в которой, несмотря ни на что, он находил вполне осязаемую прелесть. Однако он все же не забывал делать снимки. Однажды, когда Минна сидела на песке с полузакрытыми глазами, опершись спиной о камень, и от ее лица, казалось, остался только большой рот с чуть плоскими губами, – и раньше скорбный, а сейчас почти трагический, – Филдс увидел, как женщина потянулась за сумкой, открыла, достала оттуда помаду и принялась красить губы; Филдс глядел на нее с изумлением: она навела на себя красоту. Его это так поразило, что когда он наконец поднялся, чтобы наставить аппарат, Минна уже снова сидела неподвижно. Но с этой минуты он не спускал с нее глаз. То было такое проявление человеческой суетности, что ему захотелось сохранить его для вечности. Он держал аппарат наготове, лихорадочно смахивая с объектива песок. Непременно надо было иметь такой снимок. И наконец он его сделал. Когда он увидел на следующем привале, как Минна открывает сумку, вытирает лицо, на котором запеклись в твердый покров пыль, страдание и пот, и красит губы, он уже не зевал. Как видно, от лихорадки у него возникла еще одна несуразная мысль. Он вспомнил о своей матери, идущей по дороге в газовую камеру Освенцима, обо всех погибших там молодых женщинах и захохотал, подумав, что человечество всегда находит способ по дороге туда то и дело наводить красоту. Есть даже такие мужчины, великие мужи, специалисты своего дела. Примеры. Обычно им дают за это Нобелевскую премию.

На третий день после отъезда с Куру они добрались до зарослей, что покрывали землю корявыми голыми ветками, не дававшими ни малейшей тени, так что даже термитные кучи взметались пылью при малейшем ударе сапогом. Морель не пытался спрятаться и, проезжая через деревни или останавливаясь там, не заботился о том, что его увидят. Женщины, сушившие рассыпанную на больших листьях маниоку, поднимали головы, когда он проезжал мимо; столетний беспомощный мусульманин – видимо, здешний царек – вышел на порог своей глинобитной хижины, поддерживаемый под руки двумя мужчинами, его лицо было едва раз-

лично под огромным белым тюбаном; он долго провожал их взглядом; за отрядом бежали голые ребятишки; гончары бросали лепить свои красные амфоры, чтобы поглядеть на Мореля, а закутанные в бурнусы наездники уступали дорогу. Вот тогда Филдс впервые услышал кличку, которой окрестили Мореля в Чаде: Убаба Гива или, как с гордостью перевел Морель, «предок слонов». Как видно, ему приписывали своего рода святость, нечто сверхъестественное и поэтому испытывали перед ним почтительный страх, а быть может, просто боялись заразы: демон, который в нем обитает, наверное, из тех, что иногда вылезает у одного человека из уха и вселяется в другого через ноздрю, если подойти чересчур близко.

– Не бойтесь, что вас арестуют?

– Власти не особенно этого жаждут. Если они меня схватят, им придется устраивать суд, а ведь до чего красиво, когда французское правосудие судит человека за то, что он защищает слонов! На что это будет похоже?

Он, как видно, верил, что окружен всеобщим покровительством. Филдс решил, что безумие Мореля заключается именно в этом; он считает, что защищен всеобщим сочувствием. Может, в его самоощущении был оттенок иронии, безнадежности, но Филдс в это не верил. Морель казался беззаботным, искренне уверенным в своих силах; репортер сделал с него свой любимый снимок: Морель шутит и смеется с кузнецом, который возится с их лошадьми. (Насколько Филдс мог потом припомнить, из семи лошадей, бывших у них сначала, двух вынуждены были пристрелить во время перехода через пустыню, а когда добрались до первой деревни, животные были в таком состоянии, что передышку приходилось устраивать через каждые два часа. Идрисс потратил целый день, выторговывая новых лошадей.) Филдс не мог понять, откуда у француза берутся силы, но объяснял это тем, чем обычно объясняют стойкость людей, одержимых верой. Например, про себя он знал, на что способен, если надо сделать снимок. Все дело в призвании. Но девушка была измотана вконец. Лицо под широкополой фетровой шляпой как будто с каждым днем усыхало, съеживалось; несмотря на загар, Минна выглядела бледной, черты изменились, обострились. Как-то ночью, когда боль в сломанных ребрах не давала репортеру заснуть, он вышел из хижины подышать воздухом, несмотря на то что каждый раз, когда делал глубокий вдох, чувствовал, как кончики ребер впиваются в левое легкое. Он увидел Минну, – та стояла, прислонившись к дереву; ее тошнило.

– Не говорите ему ничего, месье Филдс.

– Пора кончать. Вы не в силах ехать дальше. Да и я тоже. Нас обоих следует поместить в больницу. Я-то, может, и выдержу еще денек-другой, а вы. . .

– Завтра посмотрим. . . Не могу я бросить его одного, месье Филдс. Вы же знаете. . . – Она улыбнулась с чем-то вроде вызова. – Я хочу, чтобы с ним до конца был кто-нибудь из Берлина. . .

– Не понимаю, при чем тут Берлин.

– Кто-нибудь вроде меня, месье Филдс, кто вышел из развалин Берлина и так много узнал. . .

– Все мы много знаем. В мире шестьдесят процентов населения умирает с голоду.

– Я бы могла как-нибудь вам рассказать. . .

– Ну да. В Форт-Лами о вас много говорят. Но это еще не причина.

– Я останусь с ним, пока смогу держаться на ногах, – сказала Минна.

– Можно любить человека и без того, чтобы умереть ради него от дизентерии.

Она даже подпрыгнула от возмущения.

– Ничего вы не понимаете! Ведь я барменша. . . необразованная. . . Я здесь ради себя самой, месье Филдс. Меня изнасиловали солдаты, и я. . .

– Это были русские солдаты. Шла война. Сейчас-то кто вас заставляет подышать ради слонов?

– Солдаты были не русские, месье Филдс. Но какая разница, мундиры тут ни при чем. Вам бы полагалось это знать. Вы, как никто, должны понимать, почему человек так неистово защищает природу. . . Вы же мне рассказывали на днях, что ваша семья погибла в газовой камере Освенцима. . .

– Да. Ну и что? Я все равно остаюсь обыкновенным фотографом. Все надо как следует документировать, вот это мы можем. Кого вы хотите судить?

Она не слушала. В ее голосе звучали истерические нотки, но Филдс не знал отчего – от истощения и болезни или это привычка; нет, Минна – удивительная девушка: бегство из ночного кабака в Чаде, доставка оружия человеку, который защищает слонов – такое поведение разительно контрастировало с ее внешностью: мягкими округлостями, белокурыми волосами и широко расставленными глазами; действительно ли она поступила так «ради себя самой» и, захотев участвовать в этой демонстрации, тоже кинулась в борьбу за неосуществимую идею, гиперболическую, дерзкую и даже недопустимую идею защиты человеческого достоинства? Она ведь для этого недостаточно умна, а судьба наделила ее таким телом, таким лицом, что у мужчин возникает желание не столько понять ее, сколько раздеть. Вероятно, в ней живет протест и против этого. Что же касается ума, то у Эйба Филдса было на сей счет собственное мнение: настоящая женственность, с присущими ей интуицией и умением сострадать ближе всего к подлинной гениальности. Правда, он ни разу в жизни такой женщины не встречал. Иногда ему казалось, что он обладает этими свойствами сам, что в нем живет какой-то пугающий призыв. Минна бессильно прислонилась спиной к акации, ее лицо блестело от пота и слез, она была измучена, опустошена, в ней осталась только воля. Она была человеком серьезным, как все немцы, лишенным всякого чувства юмора и вовсе не склонным к зубоскальству Мореля, но тем не менее никто не понимал того лучше ее.

– Завтра посмотрим. . . Не знаю, на что он надеется, но какая разница? Пещеру, где мы прятались раньше, с лекарствами, провизией и оружием, обнаружили войска. Если завтра я увижу, что становлюсь для него обузой, дальше не пойду. Скажу, чтобы он шел сам, ведь он и так уже выбирает из-за меня самую легкую дорогу. . . По тропе. Вчера Идрисс попросил его обойти стороной деревню, где есть фельдшеры, но он и слышать не захотел, заявил, что мне необходимо отдохнуть. . .

– И это вовсе не из-за вас, – сказал Филдс. – Он ведь уверен, что с ним ничего не случится. Вбил себе в голову, что окружен всеобщим сочувствием. И не только в Африке, во всем мире. . . Небось верит, что русские рабочие молятся за него у себя на заводах. . . Вот в чем его безумие. Если хотите знать мое мнение, он воображает, будто и французские власти исподтишка ему покровительствуют. . . что они им гордятся. Ведь помимо всего он боготворит Францию. Если вы на него поднажмете, он вам скажет, что «духовное предназначение Франции» – защищать слонов. . . Он такой, что с ним поделаешь. Вот в чем его бзик. В Индии ему, вероятно, приписали бы даже святость. . . Но я-то думаю, что, если будет упорствовать, он схлопочет пулю. А когда такое произойдет, – и уверяю вас, довольно скоро, – я хочу при этом присутствовать. . . чтобы сделать снимок. Ведь все всегда кончается подобным образом.

А ведь и правда, в Мореле чувствовалась какая-то сбивавшая с толку уверенность, она будоражила и захватывала. Помимо своей воли Филдс вдруг поверил, что с Морелем ничего не может случиться.

– Ну как, фотограф, устал?

– Устал.

– А ты не надрывайся. Ведь пока не конец. Такой работе конца не бывает. Уж кому, как



не тебе, это понимать, ты бываешь повсюду, где происходит что-либо подобное... Ничего, потерпи, еще наснимаешься.

– Надеюсь.

– Береги пленку... .

На лице Мореля заиграли смешливые морщинки, словно вокруг карих, молодых, горячих глаз засновала ласковая мошкара, впрочем, веселье быстро угасло.

– Заметь, ведь поймать трудно... . Еще никому не удалось как следует это изобразить.

Филдс чуть было не сказал, что раза два в жизни ему это удалось. Моментальный снимок с выдержкой в десять тысячных секунды, чтобы поймать вспышку, мимолетный блеск, а порой только отсвет человеческого благородства, еще не сошедшего с лица, которое уже покинула жизнь. Бывали лица, которые и потом сохраняли это выражение, словно для того, чтобы смешать его по-братски с землей. Но он на удочку не попадет. Он ответил Морелю холодным, равнодушным взглядом фотографа, разглядывая того I с чисто профессиональной точки зрения, – голова типичного француза, в духе «мы им покажем» и сигарет «Голуаз», голос низкий и в то же время протяжный, вид боевого пикетчика во время забастовки с кучей требований к хозяевам... . Филдс сам не понимал, что находит в нем такого уж французского, и решил, что это скрытая за серьезной миной веселость и форма рта, не то насмешливого, не то сердитого.

– Скажи... . У вас еще много слонов там, в Америке?

– Слонов в Америке нет с эпохи миоцена.

– Значит, совсем не осталось?

Филдс стиснул зубы.

– Почему? Еще остались... .

– Живые? Или на бумаге?

– Живые.

– Как же так?

– У нас один президент ими интересуется.

– А что-нибудь для них сделал?

– Да. Например, отменил сегрега... .

Он запнулся. Нет, так легко его не возьмешь. Он не поддастся. Морель засмеялся, откинув голову; его лицо словно вобрало в себя африканское солнце.

– Вот-вот. Во Франции много сделали для слонов. Столько, что сама Франция уже превратилась в слона и ей теперь тоже грозит исчезновение... . Скажи, фотограф, ты и сейчас думаешь, что я сумасшедший?

– Да.

– Ты прав. Надо быть сумасшедшим... . Ты получил образование?

– Да.

– Помнишь, как доисторическое пресмыкающееся впервые выползло из тины в начале палеозоя? И стало жить на воздухе, дышать, еще не имея легких, но надеясь, что те появятся?

– Не помню, но где-то читал.

– Ага. Ну вот! Оно тоже было сумасшедшим. Совсем сбрендило. Только потому и вылезло. Не забывай, это ведь наш общий предок. Без него мы бы там и сидели. Он был храбрец, тут и говорить нечего. Значит, нам тоже надо пытаться, в том и состоит прогресс. И если постараться как следует, может, в конце концов и займешь необходимые органы, ну хотя бы орган собственного достоинства или братства... . Вот его, такой орган, и стоит сфотографировать. Поэтому я тебе и говорю: «Береги пленку». Кто знает?..

– Я всегда ее берегу, на всякий случай, – сказал Филдс.

Репортер несколько раз пытался заговорить с Юсефом, но наталкивался на немую враждебность. С тех пор как они покинули Куру, юношу, казалось, терзало тайное горе. Он следил за Морелем с какой-то странной нервозностью, не расставался с оружием и на первых порах подолгу сидел возле спящего француза, глядел на того при свете звезд, опираясь на свой пулемет. Он как будто старался побороть в себе мучительную тревогу, причину которой фотограф не мог разгадать; в конце концов Филдс решил, что юноша понимает, как близок конец блестящей авантюры. Филдс пытался расспросить также Идрисса, который считался лучшим следопытом Африки, – уж его-то трудно было заподозрить в каких-либо подспудных мотивах. Филдс сделал с него прекрасные снимки: голова дикаря, орлиный нос с двумя бороздами, словно прорезанными ножом до редкой седины на подбородке, настороженно подрагивающие ноздри, внимательные глаза, что вглядывались лишь в те тропы, которые вели по земле Африки. Филдс добился от Идрисса только нескольких односложных ответов, но когда уже исчерпал все свои хитроумные подходы, человек, который провел всю жизнь в джунглях, среди диких зверей, вдруг крикнул своим гортанным голосом чуть ли не с яростью:

– Там, где слоны, там свобода. . .

Но Идрисс, конечно, хотел угодить своему белому хозяину, и Филдс решительно отказывался верить, что этот благородный дикарь тоже заражен идеалами. Правда, нельзя забывать, что он находится во Французской Африке, а уж французы способны напичкать бредовыми идеями любую голову. Колонизаторы не брезгуют ничем. Величественные туземцы с их первобытной красотой, душевным покоем и благородством неведения втискиваются по воле колонизаторов в прокрустово ложе идеологий и политики. Надо раз навсегда покончить с колониализмом и вернуть Африке ее подлинный лик. Только французу может прийти в голову такая дурацкая мысль: идти вперед и в то же время защищать священную особу слона. Как же можно идти вперед по пути прогресса, если загромождать свой путь слонами? Тут какое-то явное несоответствие. Неудивительно, что промышленность и экономика Франции в первобытном состоянии. Эйб Филдс раскачивался в седле, размахивая руками и громко отпуская замечания, забавлявшие Мореля. В какую-то минуту он совершенно потерял голову и остановил лошадь, чтобы приказать слонам встать перед ним – тогда он их наконец снимет. Потом громко объявил, что они вообще не существуют – миф, выдумка либералов, интеллигентов, предлог, чтобы сжить со света Эйба Филдса, к великой радости его конкурентов. Репортера сняли с лошади и уложили под деревьями на обочине дороги, Минна попыталась заставить его проглотить таблетку. «А-а! – воскликнул Эйб Филдс, – таблетки человеческого достоинства!» Он взбунтовался против такого недостойного посягательства на свои права. Заявил, что он – американец, вылез из ила двадцать лет назад, в день получения американского подданства, чем обрел легкие, чтобы свободно дышать. Он поспал час, а потом снова сел в седло, горько вопрошая себя, как может эта немка вынести то, чего он, Эйб Филдс, – величайший из нынешних репортеров, терпеть не в силах. Всякий раз, когда приходил в себя, он видел ее рядом с Морелем; в нее вселила силы какая-то смехотворная, но, по-видимому, незаурядная любовь к природе. И тем не менее на привалах, когда Юсеф и Идрисс предусмотрительно снимали Филдса с лошади и тот делал несколько шагов, расставив ноги, между которыми словно висели гири в сто кило, он видел, что и она, эта девушка, тоже совсем изнемогла. Потное лицо стало землистым, глаза выражали только физическое страдание, – единственное, чего, по мнению Филдса, нельзя было вынести. Она уже не претендовала на какую бы то ни было женственность, даже отказалась от простой стыдливости и, когда останавливалась двадцать раз на дню и слезала с лошади с помощью Идрисса, следовало отвернуться, – у нее больше не было сил даже отойти подальше. Эта бедная змейка мужественно доползла сюда из грязи и берлинских развалин, но тело, уже причинившее ей столько невзгод, снова брало над ней

верх.

(Филдс всегда считал, что правительство недостаточно помогает биологам, слишком много уделяет внимания политике и мало развивает биохимию. Двадцать Эйнштейнов, занявшись биологией, могли бы нас выручить, – думал он. Эта мысль вселила в него надежду, и он даже принялся напевать. Змеи вокруг одобрительно подняли головы. Потом он рассказывал, что у него тогда были все признаки белой горячки, вызванной обезвоживанием организма и отсутствием алкоголя; он явственно видел себя в окружении чешуйчатых рептилий, одного с ним роста, с широко раскрытыми пастьями, через которые они учились дышать. И сам всячески пытался дышать, но сломанные ребра вонзались ему в легкие, и он мечтал только о том, чтобы вернуться в тину, зарыться в добрую, свежую грязь, свернуться калачиком и так и лежать, раз навсегда простившись со всеми мечтами о человеческом достоинстве. И тем не менее... Эйб Филдс – предтеча, Эйб Филдс – первый человек, Эйб Филдс – пресмыкающееся, вылезшее из тины для того, чтобы завоевать человеческое достоинство... Вот это была бы фотография! Конкуренты лопнут от зависти... Пулитцеровская премия, Пулитцеровская премия... Репортер зарыдал от волнения и переполнивших его надежд.)

Но когда лихорадка отпустила, он не мог не почувствовать волнения, глядя на Мореля, на решимость этой девушки следовать за тем, куда бы тот ни пошел, на ее глаза, расширенные от страданий и от усилий их преодолеть.

– Если бы только я могла достать «виоформ»...

– Вы не можете ехать дальше в таком состоянии, – сказал Эйб Филдс, стоявший на краю тропы, расставив ноги и обняв ствол дерева, – его только что сняли с лошади, но он был уверен, что если сделает хотя бы малейшее движение, у него лопнет мочевого пузыря. – Пусть едет один... Это безумие... Бессмысленно...

– Я хочу дотянуть хотя бы до гор...

– А потом?

– А потом все равно. Если умру, то лучше всего там...

– А потом? – повторил Филдс.

Она сперва удивилась, потом стала подыскивать ответ и конечно, как с удовлетворением подумал Филдс, не нашла: у нее за душой не было ничего, кроме этого глупого мужества, типично немецкого упрямства!

– Вы правы, – сказала она. – Но неважно, все равно надо попробовать.

– Что попробовать? – рявкнул Филдс, выведенный из себя этим идиотским упрямством и нежеланием видеть реальное положение вещей. – Во имя чего? Почему? Какого дьявола, Боже ты мой, в таких-то условиях? К кому вы взываете, собственно говоря?

Она сидела на корточках, землистое лицо блестело от пота, шляпа лежала на коленях, придавленная ладонями. Вот Минна подняла голову, и Филдс увидел в ее глазах то, что всегда приводило его в бешенство: вызов и даже смешинку, которую она, видно, позаимствовала у этого негодяя Мореля. На высохшем лице, на котором еще больше выступили, подчеркивая худобу, скулы, на этом лице, почти лишенном выражения, смех в глазах был невыносим; Филдс сразу почувствовал его заразительность и услышал свой собственный смех.

– Ладно, – сказал он, – ладно. Слыхали мы такие песни. Но ведь можно любить слонов и без того, чтобы подыхать из-за них от дизентерии.

Она помотала головой:

– Я ведь, понимаете ли, верю,

– Во что? – заорал Филдс.

Она закрыла глаза и с улыбкой вновь помотала головой.

Во время суда, в конце учиненного Минне допроса, Филдс припомнил эту ее неспособность или нежелание найти нужные слова. Она признала, что не захотела бежать в Судан, сознательно решив остаться с Морелем; тот намеревался продолжать борьбу, когда кончится сезон дождей, который он собирался переждать в горах Уле. Председатель, казалось, был крайне доволен ее ответом.

– Значит, вы решили ему помогать?

– Да.

В публике послышался шумок. Адвокат не сдержался и воздел кверху руки. Сидевший среди публики отец Фарг крикнул, – он хотел сделать это тихо, но звук разнесся по всему залу и был услышан даже снаружи. Два заседателя-негра в красных фесках явно растерялись: теперь будет трудно ее оправдать. На скамье для прессы знаменитый крайне правый журналист из Чикаго Марстолл наклонился к не менее знаменитой соседке – специальной корреспондентке более левого направления и сказал:

– Эта девица изошла ненавистью... Виноваты русские, они ее не знаю уж сколько раз насильовали при взятии Берлина.

Сидя в первом ряду подсудимых, Вайтари держался презрительно и отчужденно. Пер Квист одобрительно кивнул головой, а Форсайт дружелюбно махнул рукой. Позади сидели Маджумба, Н'Доло и Ингеле, – последний половину срока предварительного заключения провел в больнице и был в отчаянии. Все трое выглядели раздраженными, и только Хабиб, находившийся позади всех, постоянно вытягивал шею, чтобы ничего не упустить; он явно испытывал искреннее наслаждение от своего присутствия на этом спектакле. Филдс скрючился на стуле, – неудобная при такой жаре поза помогала снимать нервное напряжение физическим. Он присутствовал на суде в качестве свидетеля, что вызывало у него крайнее недовольство; ему пришлось оставить свой аппарат и сердито наблюдать за работой своих конкурентов, которые предавались ей с полной отдачей. Филдс дорого заплатил бы за возможность снять Минну такой, какой видел ее сейчас, – она стояла у барьера в белой блузке и полотняной юбке, взгляд пристальный, красноречивый, какой бывает у немых, когда они стараются, чтобы их поняли, белокурая грива до плеч, – такая прическа шла Минне гораздо больше короткой стрижки. Она казалась полнотелой, почти неуклюжей в своем переизбытке женственности. Филдсу хотелось снять и прикованные к ней взгляды публики; они не задерживались на ее лице, не стремились на поиски истины. В этот миг до него дошло, почему в Минне было так легко ошибиться, почему он и сам поначалу ошибался: уделом этой девушки было возбуждать в мужчинах почти исключительно физиологическое влечение. Для всего остального оставалось слишком мало места.

– Таким, образом, в противовес всему, что вы утверждали ранее, у вас не было ни малейшего намерения уговорить Мореля отдаться в руки правосудия, а наоборот, вы хотели помочь ему продолжать свои террористические действия?

– Я хотела остаться с ним.

– Зачем?

Она попыталась ответить. Сначала взглядом, но тут же поняла, что это безнадежно.

– Не знаю, может, потому, что я – немка... Я хочу сказать, – при том, что о нас рассказывают, ах! – там очень много правды – я думала... говорила себе...

– Продолжайте, мы вас слушаем.

– Я говорила себе: надо, чтобы был еще и кто-то от нас, с ним... Кто-то из Берлина.

– Не вижу никакой связи. Объясните.

– Понимаете, я хочу сказать, что мы ведь тоже во все это верили...

– Во что?

- В то, что пытался сделать Морель. . . В то, что он защищал.
- Вы подразумеваете слонов?
- Да. Природу. . .
- И всё? Вы были готовы рисковать свободой, а быть может, и жизнью, – вы ведь были больны, – чтобы защищать животных? И хотите, чтобы мы вам поверили?
- Не только это. . .
- Тогда что же? Может, вы будете так любезны и хоть раз объясните суду, что же именно, по-вашему, «защищал» Морель?
- Она ничего не ответила, снова, уже с отчаянием, пытаюсь объяснить взглядом.
- Африканский национализм? Независимость Африки?
- Нет. . .
- Так что же?
- Не знаю. . . Не сумею сказать. . .
- Тогда, пожалуйста, скажите по-немецки. У нас есть переводчик.
- Не могу.
- Я так и полагал, – удовлетворенно изрек председатель.

Вцепившись в луку седла, чтобы поменьше терло между ногами, Филдс с бешенством твердил себе, что гуманисты по существу – последние и самые невыносимые из аристократов, что они никогда ничему не научатся и все забывают. Продолжают восхищаться величию природы, упорно требовать уважения к ней и простора для гуманизма, каковы бы ни были трудности на пути человечества, подобно тому как веками прославляли свободу и братство, ничуть не обескураженные концлагерями и разгулом национализма; требуют защиты слонов, не обращая внимания на громоздящиеся вокруг горы слоновой кости. А ведь исчезновение этих толстокожих предопределено развитием современного мира, возникновением новой Африки, так же как исчезновение буйволов и бизонов в Соединенных Штатах Америки. Процесс необратим, и столь же нелепо винить в нем как коммунизм, так и американский капитализм; если дело идет к концу колониализма, возможно, что на смену тому придет еще худшее рабство. Старания Мореля бессмысленны потому, что некому внять сигналу о бедствии. Трагедия этого человека в том, что у него нет другого собеседника, кроме самого себя. «Единственное, что могло бы нас выручить, – думал Филдс, – биологическая революция, однако и тут научные исследования идут в других направлениях. . . А жаль. Ведь мужества у этих людей с избытком и сила воли необычайная. . . Достаточно поглядеть на Минну, что не желает поддаваться физическим мукам и на каждом привале жметесь к человеку, который считает, что наш век еще способен заботиться о слонах. Образ в облаке золотистой пыли, светлые волосы и неясные линии тела, которые не могла огрубить никакая усталость, он хотел бы иметь перед глазами всегда. Филдс наблюдал, как время от времени Морель и Минна поворачиваются друг к другу, чтобы перемолвиться словом или обменяться иронической улыбкой соучастников, что всякий раз вызывало у него бешеное негодование. Право, это было уже не упорство, а признак какого-то врожденного и заразительного идиотизма. Можно было подумать, что они и в самом деле уверены, что их ждет светлое будущее. И еще имеют наглость любоваться пейзажем!»

– Смотри, фотограф, вот долина Ого и первые горы. . . Ну разве не красиво! Снял бы в цвете.

– Я не намерен тратить зря последнюю катушку, – проворчал Филдс. – К тому же у меня больше нет цветной пленки.

– Обидно. А для чего ты его, в сущности, бережешь, свой остаток пленки? Для моего ареста? – Морель расхохотался. – Зря, зря... Со мной ничего не будет.

Они остановились в деревне всего в нескольких километрах от ближайших отрогов Уле, у опушки бамбукового леса. За их приездом наблюдали все местные жители. Идрисс долго шушукался с низеньким сморщенным человечком, руки которого до плеч были изрезаны шрамами; то была эмблема охотника с тридцатилетним стажем, начинавшего в эпоху великого расцвета профессиональной охоты. Пальцы у него омертвели, а рубцы на руках и предплечьях напоминали о когтях льва, убившего в 1936 году в Удаи Брюно де Лаборэ. От этого человека они узнали, что после того, как в горах Уле была обнаружена пещера с оружием, запасами продовольствия и амуницией, туда отправили воинский отряд в пятьдесят человек с двумя грузовиками и джипом, который до сих пор там и находится. Идрисс сделал еще одну попытку уговорить Мореля сойти с тропы, чтобы избежать встречи с солдатами, временно отказаться от намерения в один бросок достигнуть гор, и, вместо того, на несколько дней укрыться в чаще. Филдс видел, как Идрисс горячо убеждает хозяина, то и дело показывая пальцем на дорогу. Они остановились на площади, под большим деревом, где уже целый век происходили собрания старейшин: их окружили тощие желтые шавки, вечные изгои африканских деревень; собаки с визгом бегали вокруг, а жители, выйдя из своих хижин, удерживали возле себя детей и глазели издали. Сжимавший в руках пулемет Юсеф хранил молчание; лицо у него было замкнутым, непроницаемым. Тени и солнечные блики, падавшие сквозь листву дерева, шевелились при малейшем движении. Идрисс настаивал, бурно жестикулировал, многословно что-то объяснял; синий рукав скатывался на плечо при каждом взмахе руки. Морель слушал внимательно, но качал головой. Раз или два, пока Идрисс его уговаривал, он кидал быстрые взгляды на Минну. Та сидела на земле, упершись подбородком в поднятые колени, пыталась скрыть этой позой то, что сразу бросалось в глаза: что еле жива. Капли пота у губ выступили не от жары, а от полного истощения. Филдс и сам был как выжатый лимон, но чувствовал, что сможет продержаться, пока у него остался хоть кончик пленки. Однако можно ли требовать от девушки в ее состоянии, чтобы она взобралась по склону холма, поросшего бамбуковым лесом? Идрисс наконец замолчал, ткнув в последний раз указательным пальцем в конец тропы. Морель утвердительно махнул рукой.

– Знаю, что идти надо прямо туда, – сказал он. – Только им теперь тоже известно, где мы находимся. Либо я здорово ошибаюсь, либо они потихоньку сойдут с дороги, чтобы на нас не напороться. Дадут пройти. Должны были получить такой приказ... А если и не получили, им ведь не по нутру нас задерживать. Какого дьявола, в конце концов они – французские солдаты! Слонов знают... Всегда их защищали, разве не их пришли защищать в Африку?..

В нем ощущалась такая уверенность, побороть которую было немислимо. Она заражала, захлестывала, как прибой. В карих глазах Мореля светился веселый огонек, впрочем, он, видно, блеснул там всегда, был всего лишь светлой точкой в зрачке. Филдс решил отложить выяснение этого вопроса на будущее. Сейчас он слишком устал, мог только через силу ехать за Морелем. Он увидел, что Минна тоже поднялась; они оба заняли свои места в маленьком отряде позади Юсефа. Юноша держался так близко к Морелю, что бока их лошадей иногда терлись друг о друга, но его непроницаемое лицо, словно лакированное от пота, дышало тревогой, он протыпывал взглядом пустую дорогу между деревьями, держа наготове прижатый к боку пулемет.

Юсеф чувствовал, как в нем все сильнее растет недовольство, но оно имело лишь отдаленное сходство с тем недовольством, которое когда-то толкнуло его примкнуть к Вайтари.

Там, впереди, на тропе, протянувшейся среди джунглей, с минуты на минуту появится во-

енный отряд, получивший приказ, – что бы ни говорил Морель, – арестовать француза, взять живым, дать ему спокойно высказать всему миру правду о своих дурацких слонах. Но негодование Юсефа было вызвано не этим обстоятельством. Вайтари приставил юношу к Морелю, чтобы он следил за каждым его шагом, а главное, не дал попасть живым в руки властей. Надо любой ценой помешать ему выступить на суде, когда к нему будут прикованы глаза всего мира, и заявить, что вызванные им беспорядки имели одну цель: защиту африканской фауны. Заявить, что вел свою бессмысленную борьбу, только защищая слонов, оберегая некое гуманное пространство, несмотря на жестокие войны, которые мы ведем, на груз истории и на поставленные нами цели. Если он попадет живым в руки полиции, ничто не помешает Морелю прокричать на весь мир свои бредни, заявить, что независимость Африки интересует его только в той степени, в какой гарантирует уважение к тому, чем он дорожит, что у него нет никаких политических целей, а намерения его носят чисто гуманистический характер, – он просто-напросто следует своим представлениям о человечности. Нельзя позволить ему причинить такой вред африканскому движению, тем более что в своей речи он будет, несомненно, обличать национализм; он делает это при любом удобном случае. С ним надо вовремя покончить, изобразив потом героем африканского национального движения, убитым в лесной глуши мерзавцами-колонизаторами. Инструкции, полученные Юсефом, были вполне определенными, но присутствие журналиста усложняло дело. Вместо того чтобы вернуться в Форт-Лами, как намеревался раньше, репортер упорно сопровождал Мореля и как будто не собирался его покидать. Но это затруднение было чепухой по сравнению с тем, что терзало Юсефа. В нем нарастала некая внутренняя раздвоенность, смахивавшая на отказ повиноваться. Юсеф был студентом юридического факультета, примкнувшим к национальному движению и вынужденным по приказу Вайтари уже более года изображать простого прислужника при Мореле. Бывали минуты, когда он поддавался заразительному доверию и оптимизму, которые исходили от француза; ему, получившему французское образование, было трудно не сознавать насущности того, что защищал Морель. Сюда примешивался ряд представлений, приобретенных в лицее, в университете; тексты, выученные наизусть и не раз произнесенные, слова, конечно, всего лишь слова, но этот француз впервые придал им оттенок истины. И вопрос уже был не в том, оправдывает ли цель средства, во что Юсеф никогда не верил, а в способности человека к подлинному братству, – или же то так и останется извечной мнимостью. О том, чтобы отказаться от независимости Африки, не могло быть и речи, но эта независимость уже не казалась отделимой от более важной и труднодостижимой цели. А между тем приказ был недвусмысленным: надо любой ценой помешать Морелю попасть в руки властей. Верность Юсефа движению оставалась, прежней, но он спрашивал себя, совместима ли она с тем, что ему предстояло сделать. Юсефу трудно было примирить ее с выстрелом в спину. Однако именно этого требовало движение, опираясь на непререкаемую логику и безусловную необходимость. И какое он имел право думать о чем бы то ни было, кроме стремления африканского народа войти в историю? Единственным оправданием тому, что он мешкал, было присутствие журналиста, крайне неудобного свидетеля, но если на дороге появится военный отряд, выбора не будет. Поэтому Юсеф и держал наготове оружие, – не чувствуя, впрочем, уверенности в собственной правоте. По мере своих сил он с непроницаемым лицом и бьющимся сердцем боролся с симпатией, которую внушал ему француз, ведь Юсеф так долго был с ним рядом и видел, как этот человек, находясь меж двух огней, продолжает со столь заразительным оптимизмом защищать то, чем современный мир вовсе не желает себя отягощать.

Тропа уходила вперед и слегка вверх, словно уводила в небо.

Они проехали через заросли, и на откосах справа и слева поднялись деревья, редкие вблизи и все более многочисленные в отдалении. Филдс, быть может, по опыту своих былых

разъездов по Корее и Малайзии, не мог побороть ощущения, что тишина и безлюдье, которые их окружают, таят невидимое человеческое присутствие; без этого в джунглях не могло быть так тихо.

Он был готов держать пари на что угодно, что они попадут в засаду. Но тишина оставалась ненарушенной, а тропа впереди – пустынной. Только иногда из зарослей выбегало стадо бабуинов. Обезьяны целыми выводками тонули в колодцах, куда кидались за водой и оказывались прихлопнуты крышкой. Небо было тусклым, словно затянутым пеленой; Филдс проверил, в порядке ли объектив, переставил диафрагму и выдержку. Он заметил, что не только он один старается справиться с дурными предчувствиями. Он не раз видел, как озирается вокруг Юсеф, то и дело останавливаясь взглядом на Мореле, которого почти касался дулом пулемета. Юноша тоже был наготове.

Отряд лейтенанта Сандьена, что двигался по тропе во встречном направлении, находился от них в тридцати километрах. Лейтенант ехал впереди в джипе, следом шли два грузовика со стрелками из Убанги. Автомобили быстро катили под серым небом, которое, казалось, вот-вот разверзнется ливнем. Лейтенант возвращался из округа Уле, где начались беспорядки, которые происходили почти ежегодно во время празднеств посвящения, – потом все утихло и племя предложило Сандьену в знак покорности и раскаяния шесть бурдюков горячей бычьей крови. (За несколько лет до первой мировой войны для этой церемонии еще употребляли человеческую кровь.) Лейтенант не знал о присутствии в этом районе Мореля; последний приказ о поимке, того издали до эпизода в Сионвилле; в нем предписывалось всем военным командирам в колонии разыскать и арестовать этого «проходимца». Но Сандьен был уверен, что Морель укрылся в Судане. Высокий молодой блондин спортивного вида, один из лучших выпускников Сен-Сира, лейтенант сражался в Корее, где был ранен. Позднее он объяснял все Филдсу с оттенком сожаления в голосе и даже с какой-то неловкостью, словно хотел оправдаться:

– Мне и в голову не приходило, что Морель тут, на этой же тропе, чуть ли не у меня под носом, поэтому я не отдал приказа быть начеку. Оружие заряжено не было, у меня лично имелся только положенный по уставу револьвер, лишь сидевший за моей спиной сержант держал заряженный пулемет. Когда мы на вас вдруг напали, я сначала подумал, что это плантаторы на прогулке. Вот вам и объяснение нашей растерянности и потери времени. Досадно... Мне здорово попало. Но при всем при том не думаю, чтобы это что-нибудь изменило... А все же обидно, человек, видно, был незаурядный. Разве не чудо, что в наш век, при всех его тяготах, кто-то еще способен до такой степени болеть душой за слонов...

Юсеф ехал меньше чем в метре за спиной Мореля, держа палец на спусковом крючке, и Филдсу до конца своих дней не забыть этого черного лица в белой чалме, лица, с которого от неуверенности и волнения крупными каплями катился пот и каждая черта которого выражала почти физическое страдание.

Между тем на тропе между деревьями было по-прежнему тихо и пусто, Филдс слышал лишь биение крови у себя в ушах. Однако профессиональный инстинкт подсказывал ему присутствие опасности и неизбежность трагической развязки; он каждые несколько минут нервно проверял, в порядке ли объектив, все острее предчувствуя, что до конца всего-навсего несколько шагов.

Шелшер поджидал грузовики Вайтари в пятидесяти километрах от суданской границы, под прикрытием гранитных скал ущелья Эль-Гаражат, в том самом месте, где почти полвека



назад нубийскими всадниками была вырезана топографическая экспедиция капитана Жантлья. Когда Шелшер шел на Куру, чтобы арестовать Мореля, он получил сообщение из Гфата, переадресованное через Форт-Лами, что суданские повстанцы перешли границу. С ним было всего двадцать человек, и он решил схватить контрабандистов, когда они двинутся обратно, в том месте, где рельеф местности позволял укрыть людей и верблюдов. Шелшер поддерживал связь по радию с лейтенантом Дюлю, оставленным с двенадцатью солдатами на тропе к Гфату, хотя вряд ли стоило ожидать, что Морель рискнет направиться к этому перекрестку, – всем известно, что находится под наблюдением. Шелшера интересовало, что могут делать на Куру восставшие дезертиры суданской армии. Большинство из них пряталось в джунглях на юге или уже сдалось, а более дружественные отношения с Египтом, так же как и ожидаемое объявление независимости, свели на нет усилия последних повстанцев. Тут, по-видимому, речь шла о контрабанде оружием, которое перевозилось южнее, чтобы обмануть тех, кто стерег обычные пункты перехода границы. 23 июня в три часа дня Шелшер увидел, что вдали, на западе поднимаются столбы песка, – воздух был настолько прозрачный, что пришлось ждать чуть не полчаса, прежде чем он заметил три грузовика, а потом потерпеть еще пятнадцать минут и лишь затем отдать приказ стрелять в шины. Грузовики сразу же остановились, все, кроме последнего, который свернул влево и с грохотом ударился о камни; под тяжестью нагруженной слоновой кости машина перевернулась, бивни вывалились на землю на глазах у пораженного Шелшера. Из кабины второго грузовика была выпущена пулеметная очередь; оттуда выскочили люди и залегли за камнями, больше для того, чтобы спрятаться, чем с намерением оказать сопротивление, но из грузовика продолжали беспорядочную стрельбу, поливая пулеметным огнем скалы. Один из контрабандистов вдруг испустил на бегу заунывный, пронзительный вопль, – Шелшер узнал древний воинственный клич племен уле; молодой студент юридического факультета инстинктивно вспомнил древний призыв своих предков. Трое молодых националистов, по-видимому, жаждали смерти, для них это было поединком чести, еще одним подвигом на звездном пути человечества, жестом из родовых традиций, из наших учебников истории, из всего, чему мы их учили. Шелшеру стало грустно, как может быть грустно тому, кто еще верит в человеческое братство. Но лежавшие за камнями старые солдаты только пересмеивались и не стреляли. Юнцы выпустили свои патроны – и подняли руки, ощущая пошлость сохраненной им жизни, свое одиночество и крушение надежд. Дверца первого грузовика распахнулась, оттуда высунулась рука и замахала морской фуражкой, грязная тулья которой при желании могла сойти за белый флаг. Потом из кабины с поднятыми руками вылез Хабиб, нервно сжимая в зубах сигару, расплюснутую от удара о ветровое стекло. Следом показался африканец в небесно-голубом кепи. Шелшер собрал побросавших оружие и весело поднявших руки суданцев. Среди них было трое белых, – ими он займется позднее; теперь же он подошел к Вайтари и Хабибу; ливанец, хоть и довольно бледный, беззвучно рассмеялся.

– Я тут ни при чем, только проездом, клянусь Богом! – сказал он.

Прежде чем заговорить, Вайтари кинул на него презрительный взгляд.

– Мы солдаты, на нас форма, и требуем, чтобы с нами обращались соответственно.

Шелшер с трудом оторвал взгляд от небесно-голубого кепи с черными звездами. Быть может, более затерянных и одиноких звезд не было на всем небосводе.

– Здравствуйте, господин депутат, – сказал он.

– Я давно уже давно не депутат, и вам это известно, – отозвался Вайтари. – Я здесь в качестве бойца армии африканской независимости. Выполняйте свой долг.

Шелшер посмотрел на троих молодых людей, стоявших за Вайтари. У одного было приятное, культурное лицо человека его, Шелшера, круга; другой стоял, стиснув кулаки, а у третьего в лице была такая мягкая грусть, что Шелшер вынужден был отвернуться с гневом

и досадой. Вероятно, массы надо готовить к борьбе раньше, чем элиту, подумал он, не то на свет появляются отчаявшиеся.

– На сколько молодых людей вроде этих вы можете рассчитывать в племени уле? Сколько готово идти за вами?

– Я обращаюсь к мировому общественному мнению, – ответил Вайтари. – Я еще не призывал уле... Мировое общественное мнение – вот моя армия. Выполняйте ваш долг, Шелшер, а главное, не пытайтесь меня учить. Надо думать, что мой политический опыт чуть-чуть солиднее, чем у кавалерийского офицера, который проводит жизнь среди верблюдов. Я знаю, что делаю. И сдаюсь в плен. Завтра ваши газеты будут вынуждены сообщить всему миру, что армия африканской независимости дала свой первый бой и что ее командующий в тюрьме. Меня это устраивает. Пока.

– Боюсь, что тут какое-то недоразумение, – сказал Шелшер, – вы, как видно, не заметили, что ваши грузовики буквально набиты слоновой костью. – Он не смог сдержать улыбку.

– Ну да, хорошо, если в моем рапорте не будет упомянуто, что грабители слоновой кости были пойманы с поличным, когда возвращались с набега, и не очень отличаются от наших старых друзей крейхов, тех, что орудуют чуть южнее, правда оружие у них гораздо менее современное. Жаль, что с ними будет связано ваше имя...

– Эта слоновая кость предназначалась для хотя бы частичной оплаты нашего оружия, – сказал Вайтари. – Что доказывает, что, несмотря на ваши инсинуации, я не состою на содержании у какого бы то ни было правительства и мне не к кому обратиться кроме мирового общественного мнения. Во всяком случае вы больше не сможете делать вид, будто недавние беспорядки в Африке произошли только из-за какого-то одержимого, который хочет защищать слонов... Уже не выйдет. Наконец-то узнают правду... Я ее выскажу еще подробнее и яснее на суде.

– Да, у меня, и верно, нет вашего политического опыта, – проговорил Шелшер, – но все же советую утверждать, что эти грузовики со слоновой костью были подкинута вам по дороге французскими властями, чтобы вас скомпрометировать... Ведь в борьбе все средства хороши.

Вайтари повел плечами и повернулся к нему спиной. Что же касается Хабиба – к тому вернулся прежний апломб.

– Честное слово, – сказал он. – Я просто «голосовал», чтобы меня подвезли...

Шелшер получил у него все нужные сведения о Мореле и о том, что тот намеревается делать. Он связался по рации с лейтенантом Дюлю, который сообщил ему об аресте Форсайта и Пера Квиста, которые тридцать шесть часов назад пытались пересечь суданскую границу. Шелшер передал командование своему адъютанту и, взяв шесть солдат, самый выносливый грузовик и весь наличный запас бензина, сразу же пустился в дорогу. Он провел на Куру лишь несколько часов и попытался догнать Мореля, чьи следы без труда обнаружил на дороге в Голу: еще полчаса, и он приехал бы вовремя.

Когда Морель проезжал мимо обнесенного частоколом участка, где помещалась мусульманская школа, мулла Абдур, сидевший в своем белоснежном бурнусе под тенью акации, бросил на него настороженный взгляд. Для виду он излагал ученикам комментарии к Корану, присовокупляя к ним кое-какие новости о священной войне, полученные на севере. Перед ним сидело около двадцати учеников от двенадцати до пятнадцати лет, они заворуженно слушали учителя, явно унаследовавшего свое искусство от арабских сказочников. В загородке кудахтали куры, грызлись две желтые собаки, но мальчики, скрестившие ноги под самой развесистой деревенской акацией, слушали разинув рты того, кто принес издалека эти волнующие рассказы. Неверные бегут от гнева Всемогущего, – но где найти убежище от Единого и

Вездесущего? Гнев Владыки, Хави-Лель-Кейюна, Единственного живого Наместника Аллаха, падет повсюду, как благодатный дождь. Было видно, как песчинки в пустыне превратились в вооруженных всадников и хлынули на города неверных неудержимым потоком, – а бедные, не ведающие света иноверцы никак не могут понять, почему в пустыне гак мало воды и так много песчинок. . . Абдо Абдур с тех пор как покинул университет в Муссоро, куда наезжал ежегодно, в то же время, что и десять других проповедников Корана среди африканских племен, повторял эту речь в сотый с лишним раз; поэтому, произнося ее, он сонно озирался, стараясь не зевнуть, и почесывал седую щетину. Глаза его, подернутые влагой от восторга перед Словом Истины, все же так и рыскали вокруг, ища, чем бы ему рассеяться. Вот тут он и увидел проезжавшего через деревню, покрытого пылью Мореля, которого сопровождали женщина и трое мужчин – один из них был белый. Мулла сразу же узнал Мореля, – ему не раз приходилось сообщать о нем властям. Узнал он и юношу, ехавшего вплотную за французом, с пулеметом под мышкой. Его поразило осунувшееся лицо Мореля, и он решил, что *Ubaa giva* – предок слонов – скоро умрет. Поглядев еще раз на скрытное, решительное лицо юноши, мулла утвердился в своем предположении. То, что предначертано, наконец свершится. . . Абдо Абдур был хорошо осведомленным агентом.

Губернатор Форт-Лами зашевелился в кресле, подыскивая слова. Двенадцать часов подряд он ожидал сообщения по радиии.

– Не понимаю. . . Шелшер находится на Куру с самого утра. Во всяком случае долго тянуться это не может. Надеюсь, его привезут живым, чтобы он мог дать показания.

– Если все так и случится, я сильно удивлюсь, – сказал Эрбье.

Он приехал, чтобы доложить о положении в своем районе, но губернатор вот уже три дня не отпускал его то под одним, то под другим предлогом. Они дружили без малого тридцать лет, и лишь случай да повышение по службе отдалили их друг от друга: один достиг вершины, а другой задержался и как видно навсегда на промежуточной ступеньке.

– Почему?

Эрбье вынул изо рта трубку. Зря он повсюду таскает этот агрегат, подумал губернатор, разумея громадную желтую пенковую головку с изогнутым чубуком, с которой Эрбье появляется на светских и официальных приемах, подчеркивая слегка эксцентричную, оригинальную сторону своей натуры «старого лесовика», что не внушало к нему расположения тех, кто требует срочно создать в Африке современный уклад и кадры в духе времени. . . Губернатор давно собирался поговорить с другом, но так и не решился дразнить человека, которого хорошо знал. Это смехотворное приспособление в виде трубки, вероятно, стало для Эрбье постоянным спутником, и сейчас было слишком поздно или слишком рано произносить *post mortem* его карьере: им обоим оставалось всего несколько лет до ухода в отставку.

– Меня удивит, если он дастся живым. Не думаю, чтобы Морель так уле мечтал жить в наших условиях. Я хочу сказать: в наших биологических условиях. . .

Губернатор пожал плечами. Он выглядел постаревшим и невеселым.

– Тебя не затруднит изложить это в официальном докладе? – спросил он. – У нас в министерстве еще нет философского подотдела, куда можно обращаться в серьезных случаях. Но будет. А пока я хочу, чтобы Мореля привезли сегодня и чтобы он дал показания. В Париже все меньше и меньше верят в слонов. Им все ясно: политическая провокация. Но давай обождем. Он нам скажет. . .

Он улыбнулся.

– Тебя, может, удивит, но в каком-то смысле я ему доверяю. Пусть это глупо, но я верю, что он – человек правдивый. . . По-своему. Одержимый, конечно, помешанный, но искренний.

Очень уж ему тошно. Точно от нас, от наших рук, сердец, наших жалких мозгов... Точно от условий человеческого существования. Ясно, что не верхом на лошади и не с оружием в руках все это можно переменить... Но тут не трусость. Он взбесился... И строго между нами, в какие-то минуты я его понимаю... Короче, я хочу, чтобы он пришел сюда, сел вот на этот стул и объяснился. А в остальном... Карьера моя, как ты знаешь, в настоящее время...

Он поднял руки. Эрбье улыбнулся: один выйдет в отставку губернатором, другой – чиновником первого класса. Но Эрбье слишком любил Африку и ее народ, чтобы жалеть о том, что так и не смог посмотреть на них свысока; может, вид и хороший, но чересчур дальний. Безбрежности просторов он предпочитал знакомые пейзажи. Уже давно выбрал для себя подходящую почву – землю черных крестьян – и жил на ней, привязавшись всей душой, даже не мечтая о вершинах. Он тихо сказал:

– Этого типа обуревают идеи, слишком благородные для человека... Подобных претензий не прощают. С таким сознанием жить нельзя. И тут ведь никакая не политика, не идеология. На его взгляд, нам недостает чего-то куда более важного, какого-то органа, пожалуй... Нет того, что должно было быть. Я сильно удивлюсь, если он позволит взять себя живьем.

На террасе «Чадьена» кроме Хубера не было никого. Он пришел сюда посидеть, отослав последнее сообщение об этом деле, быть может, потому, что ему надо было снова окунуться в пейзаж, так выразительно раскрывавший суть того, что происходило. Стоило поглядеть вокруг, чтобы все стало понятно. Там, за парашютом медленно текущая между пучками выгоревшей травы река, покрытая чешуйками отсветов, казалось, замедляет самый ход времени, а одинокая пальма Форт-Фура, видно, потеряла всю свою семью. В бунте Мореля его привлекало то, что Морель не был первым. Такие восстания бывали и раньше. В Египте во времена Нижней империи, например, можно было увидеть, как толпы кинулись на улицы и заполонили храмы, угрожая перепуганным жрецам. Эти толпы египтян четыре тысячи лет назад требовали не хлеба, не мира и не свободы. Они требовали бессмертия. Побивали жрецов камнями и требовали бессмертия. Выступление Мореля могло закончиться почти так же. Поднявшись на африканские холмы, он размахивал руками, возвышал свой голос, протестовал и подавал знаки, которым суждено было остаться без внимания. Человеческая жизнь по самой своей сути не поддается политическим решениям; в ней царит такая несправедливость, что даже революция не может ее искоренить.

В Биологическом институте на улице Пьера Кюри Вассер в последний раз просмотрел результаты сегодняшней работы. Вот уже месяц, как у него появилось ощущение, что он наконец достиг цели. Собранные данные значительно продвинули работу в нужном направлении. Он с самого начала предвидел, что причиной рака является не какой-то вирус, что это заболевание самого вируса, изъян, возникающий тогда, когда организм перестает обеспечивать себе нормальные условия существования. Иначе говоря, вместо того чтобы стараться побороть вирус, надо, наоборот, лечить самый организм, определить, каковы те нормальные условия, которые обеспечат ему физиологическое сосуществование с вирусом. Мысли Вассера были до того сосредоточены на работе, что он спал не больше четырех часов в сутки и не ел, пока его не заставляли принимать пищу. Обедал в студенческих столовках, носил одежду, которую дарили приятели, и упорно отказывался работать на частных лиц. Вассер, в сущности, не был человеком бескорыстным, и сам это знал. Для него это был вопрос самолюбия, собственного достоинства. Современные биологические условия существования казались ему постыдно несправедливыми. Его представления о человеческом достоинстве были несовместимы с унижительным зрелищем вымирания миллионов людей, гибели во цвете лет из-за

простой ошибки в определении причины смертей. Он с этим боролся изо всех сил. Нет оснований довольствоваться теми физиологическими условиями, какими нас наградила природа каких-нибудь пятьсот тысяч лет назад, говорил он. Недопустимо, чтобы через такой огромный промежуток времени человек в чем-то главном оставался калекой. Вассер верил в прогресс и шел в авангарде борцов за него. Выйдя из института, он купил газету и стал искать там сообщение о человеке, который явно разделял его негодование и отказ капитулировать перед предписанными нам условиями жизни. Он был абсолютно согласен с этим бунтарем, которого обвиняют в человеконенавистничестве. Кто-то позволил себе открыто восстать против пагубных условий современного существования; это глубоко трогало Вассера. Он хотел бы помочь этому человеку, но научные исследования требуют огромного терпения, – человечество нельзя преобразить ударом волшебной палочки в лаборатории, а Морель чересчур торопится. Нужно долготерпение, ряд открытий, исследования и обобщения, особенно в области физиологии мозга, три четверти которого пока не используются. Загадочные, предназначенные для выполнения каких-то неведомых функций; их нужно наконец мобилизовать, заставить работать. Будущее, вероятно, там, в этих еще не названных, потайных клетках. Он прочел сообщение о неизбежном аресте Мореля, но не поверил; этот человек наверняка окружен многочисленными сообщниками. Вассер сунул газету в карман и спокойно спустился в метро.

На долю Бютора выпало самое трудное испытание в его жизни. Хозяин оставил лошадь мирно пастись в миссии Белых Отцов в Нгуеле, где она вкушала заслуженный отдых, как вдруг францисканец явился туда в крайнем возбуждении и ярости, что сразу же непомерно увеличило его вес, быть может, потому, что он все время ерзал от нетерпения в седле. Лицо отца Фарга было растерянным, налилось кровью, и, как всегда, когда бывал взбудоражен, он пыхтел, сипел, вздыхал и потел, словно собирался вот-вот предстать перед тем, кто, несмотря ни на что, не приминет задать ему кое-какие вопросы. Он был не один. Позади ехали на мулах двое щупленьких нервных монахов, которых он оторвал от мирной молитвы; они следовали за ним, хоть и не без опаски, и вовсе не из-за тех неприятных слов, которые утром выслушали в свой адрес от миссионера прокаженных.

– Вы ловко прятали коллаборационистов во время войны, – кричал Фарг, энергично подталкивая их к дверям миссии. – А теперь благоволите спрятать настоящего борца против нашей подлой жизни! Ладно, ладно, молчите, не вам меня учить катехизису. Пусть он гордец и богохульник, пусть лучше бы встал на колени и помолился, вместо того чтобы грозить кулаком. Но ведь виноват не он один. У него не хватило разбега. Такая тяжесть легла на сердце, что он не смог взять настоящего разбега, уж больно его давило. Потому и застрял на слонах. Но, может, хороший пинок под зад и поможет ему как следует разбежаться. А пока я не желаю, чтобы его пристрелили как бешеную собаку до того, как он поймет, к кому надо обращаться с петициями. Вот вы и будете прятать его в миссии, сколько потребуется, а я, уж поверьте, беру на себя разбег. Я его научу, как застревать в дороге, заклиниваться на слонах. Мореля надо раскрутить, и я этим займусь. В таких делах я мастак, будьте спокойны.

– У миссии до сих пор не бывало неприятностей с властями, – несколько горделиво заметил младший из монахов.

– Нет, с удовлетворением согласился Фарг, – но пора бы и заняться.

Она не понимала, минутная ли это слабость, результат лихорадки и истощения, или нечто более глубокое, вдруг открывшаяся истина, но у нее больше не было сил и мужества бороться. Порой ей хотелось только одного: чтобы Морель ее обнял, погладил по лицу, прижал к себе. Все остальное не существовало. Нет, Минна была уверена, что это лишь мимолетная

усталость, жажда, вызванная физическим состоянием, простая потребность передохнуть. На суде она продолжала горячо отрицать чувство, которое ею владело, ведь они не желали понять, что она могла пойти туда по своей воле, что тоже способна во что-то верить, что может выказывать упорство и преданность, защищая жизненное пространство, где должно найтись место даже слонам. Подобная идея вызывала у них только смех, и даже суровый, угрюмый председатель в пенсне и тот лукаво улыбался. Несмотря на пергаментную кожу, он все же походил еще на мужчину, знающего женщин и даже девушек, а главное, те побуждения, – всегда одни и те же, которые ими руководят.

– Ну хорошо, скажите нам правду... – Сначала вы изображали дело так, будто, когда приехали к нему – между прочим, с оружием и боеприпасами, – у вас была только одна задача: убедить его сдать власть. Теперь признаете сами, что остались с ним, чтобы помогать ему в террористической деятельности. Если вы лгали нам раньше, признайтесь хотя бы теперь, суд вам зачет...

– Я не лгала. В Форт-Лами все говорили, что он ненавидит людей, что это человек отчаявшийся, мизантроп... Я в это поверила. Поверила, что он очень несчастен... Очень... Очень одинок... И что, может быть, смогу...

– Изменить его взгляды?

– Да.

– Вы были в него влюблены?

– Не в том дело... При чем тут...

– Он вам был... ну, скажем, очень симпатичен?

– Да.

– Потом вы уже не пытались изменить его взгляды?

– То, что о нем говорили, неправда. Он не такой...

– Не такой?

– Он не отчаялся. И вовсе не ненавидел людей... Наоборот, он в них верил, он любит смеяться, веселый... Любит жизнь и природу, и...

– И как видно, слонов?

Она промолчала, но легкая улыбка была яснее всяких слов.

– И вы просто остались с ним?

Минна будто и не слышала вопроса. Ее взгляд и улыбка были обращены куда-то вдаль. Но потом она быстро заговорила:

– Он не отчаивался, даже после провала конференции. Тут же сказал, что ничего, будет другая и там примут необходимые меры. Но надо и дальше протестовать, потому что сами собой такие вещи не делаются, надо драться, ведь повсюду царит инерция, а главное, потому, что в людей надо вселять бодрость, стараться все им объяснить. Вот почему для него было так важно продолжать борьбу; он хотел показать, что победить возможно, хотел пробудить людей, помешать им верить в самое худшее, в то, что все равно ничего не поделаешь, – ведь нельзя позволить, чтобы тебя лишили мужества...

В это время в зале произошел небольшой эпизод: Хаас, специально прибывший по такому случаю из своих тростниковых зарослей в Чаде, до того обрадовался известию, что Морель и не думает отказываться от защиты слонов, а, наоборот, решил до конца за них бороться, что поднялся на ноги и принялся изо всех сил колотить правым кулаком по левой ладони и кричать «браво!» – его тут же вывели из зала. (За восемь дней до этого Хаасу, тем не менее, удалось поймать троих слонят для зоопарка в Тадензее.) Сидевшему у дверей водителю грузовика Сандро никак не верилось, что это та самая девушка, с которой он спал полтора года назад. Его это злило и слегка унижало в собственных глазах, хотя он и не понимал почему. У него

возникло нелепое ощущение, будто он чего-то недобрал. И еще более неприятно от того, что он специально разоделся, – ведь все знали, что он с ней спал – ожидал, что на него будут смотреть, однако за все время суда никто не обратил на Сандро никакого внимания, и ему вдруг показалось, будто он никогда и не жил на свете.

– Значит, вы изменили свои намерения и решили ему помочь?

– Да чем же я могла ему помочь? Наоборот, была для него обузой... Камнем на шее... Я просто хотела остаться с ним до конца.

– Вы знали, что его с минуты на минуту могут арестовать?

– Да... Нам сказали в Голе, что по той же дороге идет военный отряд, вышел с земель уле и движется нам навстречу.

– И тем не менее вы последовали за ним?

– Да.

– Вы были в него влюблены?

– Какое это имеет значение?

– Вы были его любовницей?

– Я же вам говорю, это не имеет никакого значения! – воскликнула Минна.

– Словом, вы были ему преданы... душой и телом?

– Да.

Председатель выдержал небольшую паузу.

– Верно ли то, что сообщают газеты, будто вы намерены после конца процесса, – как они выражаются... выйти замуж за майора Форсайта?

Форсайт приподнял голову.

– Да.

– Даже при том, что питаете к Морелю... такую глубокую привязанность, что, не колеблясь, остались с ним, несмотря на неизбежный арест?

– Да.

Филдс отлично понимал, к чему ведет почтенный судейский, на какой ноте он намерен кончить допрос. Судья с самого начала пытался создать вокруг этого дела определенную атмосферу. Показать, что на скамье подсудимых нигилисты, анархисты, лишённые определенной цели, беспринципная, аморальная, ни во что не верящая шайка, что такие девки, как эта, всегда примазываются к бандитам, спят то с одним, то с другим, переходя по мере надобности и обстоятельств от жоака к помощникам. Филдс и сам поначалу едва не впал в подобную ошибку: поэтому ему трудно было возмущаться. Тем не менее он испытывал безумное желание встать и дать по морде этому праведному судье. В обычных обстоятельствах он удовольствовался бы тем, что сделал бы с того снимок. Но так как аппарата при нем не было, защищаться было очень трудно.

– Это вам кажется совершенно естественным?

Она поглядела на судью с некоторым любопытством, задумалась, а потом добродушно сказала, словно желая вывести человека из затруднительного положения:

– У нас с майором Форсайтом... совместные воспоминания.

Она, вероятно, хотела сказать «общие воспоминания».

– Воспоминания – это очень важно... и мы будем вместе продолжать... Мы обещали месье Морелю, что непременно будем продолжать...

Она замолчала.

– Защищать слонов? – язвительно осведомился председатель.

... Она снова увидела то выражение лица – слегка самодовольное, которое у него иногда бывало: он прочно стоял на коротковатых ногах, с хитрым видом свертывая сигарету, – эта поза часто вызывала у людей раздражение. Казалось, она слышит его голос:

– Видишь ли, нас ведь даже в школах этому учили... есть животные, которых зовут «друзьями человека»... их надо защищать... даже необходимо. Друзья человека... Во всех учебниках зоологии про них написано... По крайней мере так было в мое время. И очень хорошо сказано...

Публика удивлялась, чему она улыбается.

– Что же! – сказал председатель. – Мне не полагается предвосхищать решение, которое вынесет суд, но я надеюсь, что на какое-то время вы лишитесь возможности нарушать общественный порядок...

Больше всего Минне, вероятно, помогала держаться и продолжать путь, особенно когда ветки деревьев начинали кружиться над головой и ей приходилось зажмуриваться, чтобы преодолеть дурноту, боязнь не понравиться Морелю, показаться не такой, какой была в его глазах. Всякий раз, когда он с беспокойством спрашивал ее, а их лошади мерно шли бок о бок к горам, у нее хватало мужества отвечать с показной веселостью.

– Как дела?

– Не беспокойтесь обо мне, месье Морель... Я ведь немка, крепкая... крестьянских кровей...

– Через два часа доберемся до гор. В этой местности есть парочка пещер, в которых можно в случае чего укрыться... Очевидно, лекарств там нет... да и ничего вообще. Но ничего страшного, где-нибудь раздобудем.

– Не морочьте себе из-за меня голову.

Он уговаривал себя, что нуждается в ней только потому, что она немка и ее участие доказывает, будто и на этом народе нельзя ставить крест. Теперь их черед что-нибудь сделать для слонов. Им тоже пришло время показать свою любовь к природе, выступить в защиту человеческой свободы, отвоевать простор, который прогресс должен распахнуть как можно шире, чтобы хватило на всех, независимо от расы, нации и убеждений. Морель всегда питал неизбывную любовь к природе, что враги всегда обнаруживали, когда их пути пересекались. И разве не естественно, что он оказался защитником живого воплощения великой и наиболее незащищенной силы природы? Если существование этих доисторических, громоздких животных осложняет строительство нового мира, оно только доказывает, что строительство это – всего лишь дело рук человеческих. Морель чувствовал, что близок к цели, что способен ее добиться, хотя бы частично. Еще немного пошуметь – и придется созывать новую конференцию, а там под напором общественного мнения наконец-то договорятся о мерах, которые должны быть приняты. Потом... Он не смог удержаться, чтобы еще раз не обернуться к Минне...

– Погляди, вон уже горы.

– Вижу.

– Еще немного, и мы на месте. Можно будет отдохнуть...

Юсеф засучил рукав свободной руки и отер со лба пот. В конце тропы по-прежнему было пусто, но он сильно рисковал, оставляя все на последний момент. Однако у него было законное оправдание: присутствие американского журналиста. Мореля нельзя убивать на глазах у репортера. Это могло принести большой вред движению. Юсефу велели дожидаться, пока Морель остался один. Но репортер с трудом сидел в седле, Идриссу приходилось его придерживать, чтобы он не упал. С минуты на минуту он остановится и останется сидеть у края дороги.



Если Юсеф и тогда не выполнит своего долга, товарищи сочтут его изменником. Главное, не надо себя убеждать, будто цель не оправдывает средств, не надо цепляться за трусливую отговорку. Эту проблему давно уже разработали теоретически, и уж у него во всяком случае не должно быть колебаний. Если не нажмет на гашетку, пусть даже в последний момент, он пожертвует единственным братством, какое когда-либо знал. Юсеф чувствовал, как оружие жжет руку, ему приходилось то и дело вытирать потную ладонь о бурнус. Если журналист все же останется с ними, будет возможность поклясться, что он только выполнял волю самого Мореля, который не хотел, чтобы его взяли живым. Юсеф настолько пристально вглядывался в дорогу, что у него перед глазами мелькали черные пятна и он всякий раз принимал их за ожидаемые грузовики.

В эту минуту отряд лейтенанта Сандьена находился еще в десятке километрах, в четверти часа езды на средней скорости.

Губернатор округа Уле, сидя за рулем своей машины, поспешно выехал из Сионвилля, как только получил известие от туземного начальника округа Газа, что Морель находится на дороге Гола – Уле. Военное подразделение должно было выехать из горного района еще утром, и губернатор во что бы то ни стало хотел не допустить, чтобы Мореля убили во время стычки с французскими солдатами. . . Это было бы так же противоестественно, как если бы того затоптали слоны. Вот уже несколько веков, как они вместе сражаются против общего врага и ничто не может их разъединить. Губернатор накануне получил депешу, утверждавшую его в должности, и был готов поставить на карту весь свой вновь обретенный авторитет, чтобы спасти этого француза, который отказывался сдаться.

Единственный белый, видевший, как они проезжают в двадцати пяти километрах к югу от Голы, в том месте, где дорога пересекает плантацию хлопка, чтобы устремиться оттуда прямо к отрогам Уле, был мелкий старатель, по фамилии Жонке, искавший урановые месторождения. Он прибыл шесть недель назад из Европы, а сейчас возвращался в джипе с ближней плантации, где тщетно пытался заинтересовать владельца своими поисками, – по его выражению, «он испытывал нужду в кое-какой финансовой поддержке». Жонке собирался выехать с проселка, который вел от плантации на главную дорогу, но вынужден был затормозить, чтобы не наехать на всадников; он глядел, как те проезжают мимо, однако Морель не обратил на него никакого внимания. Отчет, данный Жонке об этой неожиданной встрече, примечателен по своей наивности.

– Я-то думал, что времена разбойников миновали, даже в Африке. Морель, правда, не был вооружен. Но за его спиной ехал молодой негр, вооруженный, так сказать, за двоих. Я только что попал в Африку и еще не обтерся; тот молодчик с пулеметом злобно на меня глазел, но куда страшнее был другой негр, много старше, в чалме и синем бурнусе» с лицом самого настоящего дикаря, которое не сулило ничего хорошего. Был там еще я деревенский мальчишка, он бежал за ними на почтительном расстоянии. Морель ехал впереди, с обнаженной головой, весь в пыли; на шее что-то вроде грязной косынки цвета хаки, но несмотря на все, что я о нем слышал, он по виду совсем не походил на буйно-помешанного, даже скорее выглядел спокойным. Однако он явно притворялся, не то разве ехал бы по этой дороге среди бела дня, ведь тут даже в сезон дождей снуют грузовики, кругом же плантации. Либо он на все плевал, либо у него были высокие покровители. Я, конечно, не знаю, только высказываю свои предположения. . . Но больше всего меня поразила девушка. Вид у нее был ужасный, можно было кое-как догадаться, что она красивая, но сейчас. . . Глаза ввалились, под ними чернота, кости на лице обтянуты потной кожей; я мог бы поклясться, что она и метра больше не проедет. . . Среди них был какой-то американец, видно журналист, с фотоаппаратами на

шее и кожаной сумкой через плечо, вот он выглядел совершенно ненормальным, – на голове носовой платок, по углам которого торчат четыре маленьких рожка. . . худющий, даже глаза на лоб вылезли. . . И все ради слонов! Ну во что после этого можно верить? Каких только освободителей и анархистиков я не навиделся, но тут, скажу я вам, просто рот разинул! Насколько же надо презирать людей, плевать им в лицо!.. Нет, мне это не нравится. И заметьте. . . в чем-то я их все же понимаю. У всех нас что-то подобное отыщется. . . Но не до такой же степени! У меня по крайней мере есть надежда, что я найду уран. . . Надо же во что-то верить, правда?.. Я тут же возвратился на плантацию, чтобы предупредить народ. Нашел Рубо и все ему рассказал. По правде говоря, сам не знаю, чего от него ждал. Но мне было неприятно утаить такую новость. Он меня спокойно выслушал. Вы его знаете: толстяк и не больно-то веселый. «Ну да, – сказал он, – проехал Морель. И что с того? Плевал я на это, я ничего против него не имею. Советую держать язык за зубами». . . Вот такие-то дела, месье. По-моему, тут сплошная мизантропия. Понятно, почему Рубо не пожелал участвовать в моих поисках: видно, еще один, из тех, кто ни во что не верит, в уран не больше, чем во что-либо другое. . . Если я узнаю, что Морель скрывается у него на плантации, меня это ничуть не удивит. . .

Жонке ошибся, утверждая, будто Минна была не способна проехать ни метра. Она проехала еще пять километров, хотя ей и приходилось несколько раз останавливаться. Она рассталась с Морелем только тогда, когда окончательно потеряла сознание и, открыв глаза, увидела над собой его полное участия лицо. Она попыталась улыбнуться, потому что именно улыбка наиболее глубоко выражала их связь.

– Бедный малыш, – сказал он. – На этот раз ты дошла до ручки.

– Jch kann ja nicht mehr. . .

Он взял ее на руки. Минна подняла к нему залитое слезами лицо, на котором сквозь пыль и пот еще дрожала улыбка, но он увидел там тот признак бессилия, который так хорошо, еще с самого лагеря, различал: муху, ползавшую по лбу и по щеке, которую у Минны не было сил не только согнать, но и почувствовать. Морель отлично знал ее, эту муху, которая чувствовала себя как дома. Он убрал с подбородка ремень, снял с Минны фетровую шляпу, взял голову девушки в ладони. Даже губы потеряли свои очертания, стали серыми и почти безжизненными. А ведь он рисковал, стараясь сократить путь, ехал по людной дороге, двигаясь прямо вперед, хотя солдаты, несомненно, шли им навстречу; правда, он рассчитывал на сочувствие одних, понимание других и верность французов традициям, но ведь надо посмотреть правде в глаза – дальше она ехать не может. Морель и сам толком не знал, куда ему деться. Пещера в горах Уле обнаружена. Были, правда, и другие пещеры, но без заранее припасенных лекарств, без оружия и продовольствия, кроме оставленного Вайтари, а того хватит всего на несколько дней. Но тем не менее нужно ехать дальше. Люди должны знать, что он жив, находится где-то в Африке, – все дело в его присутствии повсюду, о котором столько говорят. Надо и дальше защищать слонов от их недругов, добиваться, чтобы природу охраняли. . .

– А что, если ты часок-другой передохнешь? Мы можем остановиться. . .

Она ничего не ответила. И Морель даже не пытался ее убеждать.

– Ладно, Я отвезу тебя в деревню. . . Может, там есть санитарный пункт. Во всяком случае, рядом плантации. . . Я разыщу. . .

– Нет, я поеду одна.

– Не может быть и речи.

– Если вас из-за меня арестуют. . . Я вас прошу, уезжайте. . . Сделайте это для меня.

– Бросить тебя тут, на дороге?

– Я не хочу, чтобы из-за меня с вами что-нибудь случилось.

Морель помедлил, ему трудно было противиться этому взгляду – молящему и властному одновременно. Все, что он мог для нее сделать, – продолжать борьбу. Для нее и для миллионов тех, кому так нужна дружба, он должен идти дальше, не дать себя поймать, ловчить, прятаться, чтобы защищать человеческую свободу, несмотря на самые тяжкие обстоятельства, остаться неуловимым, жить где-нибудь в глуши, среди последних слонов, быть утешением, верой, неистребимой надеждой. Надо оставаться среди людей, а если достанет пуля, уползти умирать куда-нибудь в густые заросли, где его никогда не отыщут. И те, кому он нужен, всегда смогут верить, что он жив. Если уж ему суждено умереть от пули в спину, как положено в таких случаях по классической традиции, надо, чтобы о том никто не узнал, чтобы вокруг него родилась легенда, которая говорила бы о его присутствии сразу повсюду, чтобы люди считали, что он неуязвим, просто прячется и готов появиться в самую неожиданную минуту, когда на него уже и не смеют рассчитывать, и встать на защиту великанов, которым грозит беда.

– Хорошо.

– Нельзя, чтобы с вами что-нибудь случилось. . .

– Со мной ничего не случится, – серьезно пообещал он. – У меня уйма друзей. Я тебе не все говорил, но мне помогут, не беспокойся.

Он не знал, верит она ему или нет, но ее, как и всех, непременно надо было успокоить. Как важно, чтобы все верили, что он никогда не умрет!

– Если до тебя дойдут слухи о поражении, ты не верь. Будто я убит или что-нибудь в этом роде. . . Скажи, чтобы и другие тоже не верили, меня никогда не возьмут.

Самое смешное было в том, что Морель и сам почти в это верил. Он не знал, что станет теперь делать, куда пойдет, почти безоружный, но был уверен, что найдет друзей.

– Ты, наверное, какое-то время обо мне не услышишь, я где-нибудь отсижусь. – Он взмахом руки показал на чашу. – Но я вернусь.

В глазах его снова блеснула смешливая хитреца. . .

– Их заставят созвать новую конференцию. . . А может, меня даже туда пригласят. . . Говорю тебе, в конце концов они предоставят нам тот простор, какой нам нужен. . . Ну, а те, кто против. . . мы их возьмем за горло!

Эйб Филдс услышал эту презрительную фразу. «Мы их возьмем за горло», которую попросту не терпел, ибо тысячу раз слышал из уст французских солдат, так и не вернувшихся с войны. Мучимый лихорадкой, Эйб Филдс все же гордо считал себя практичным американцем, из страны с самым высоким национальным доходом на душу населения в мире, с самым благополучным уровнем жизни со времен первобытной эпохи; даже доисторические пресмыкающиеся могли гордиться Америкой, а чешуйчатый предок, впервые вылезший из своей родной тины, может спать спокойно: американец добился всего. Имя его должно с почетом поминаться во всех школах, потому что он – подлинный пионер, родоначальник свободного предпринимательства, рыцарь духа предприимчивости, риска, всего того, что и сегодня обеспечивает грандиозный материальный прогресс Соединенных Штатов. Филдс окинул собравшихся торжествующим взглядом, и все сидевшие вокруг ящерицы заплодировали; он хотел в ответ поприветствовать их и только благодаря поддержке Идрисса не свалился с лошади.

– Думаешь, у тебя хватит сил добраться до плантации? До нее километров десять.

– Месье Филдс мне поможет.

– Как же! Погляди на него, у него глаза вылезли на лоб. Его больше нет. Эй, фотограф! Филдс схватил свой аппарат.

- Ты сможешь ее проводить?
- Я хочу ехать с вами.
- Да что ты! А я думал, что у тебя больше нет пленки.
- Все равно. Как-нибудь выкручусь.
- А чем же ты будешь снимать? Задницей?
- Я хочу вам чем-нибудь помочь.
- Эге! А я-то думал, что тебе плевать на слонов.
- Моя семья погибла в газовой камере Освенцима.
- А-а... Так и надо было сказать. Но только взять тебя с собой я не могу.
- Почему?
- Это будет несправедливо. Ты уже не соображаешь, что делаешь. В таком состоянии, если тебя вежливо попросить, ты способен силой свергнуть правительство Соединенных Штатов.
- Я – американский гражданин и имею право защищать слонов повсюду, где им угрожают!
- рывкнул Эйб Филдс. – Джефферсон, Линкольн, Эйзен...
  - Ну да, да, знаю.
  - Имею такое же право защищать слонов, как и вы!
  - Вот-вот, и ступай защищать их, как все.
  - Я хочу умереть за слонов!.. – воскликнул Филдс.
  - Еще одни желающий предстать перед следственной комиссией...
    - Американские солдаты пришли защищать ваших чертовых слонов в Европу! – орал Филдс. – Без нас...

Сильнейшая боль в боку несколько его утихомирила. Он схватился обеими руками за бедро и соорудил страдальческую гримасу.

- Вам сейчас поворачивать. До плантации несколько километров. Ты меня слышишь?
- Не знаю, дотяну ли я. Ребра втыкаются в легкие.
- Попробуйся... Что там?
- Джип и грузовики, – закричал Юсеф.

Студент почувствовал, что на лице и шее выступил пот, ему показалось, что из пор хлынула кровь. Он сжал пулемет с такой силой, что уже не мог высвободить руку. Юсеф тяжело дышал, не сводя глаз с черных точек, вырвавшихся на горизонте, еще минут двадцать или полчаса, и они съедут с дороги и доберутся до отрогов Уле и зарослей бамбука между скал. Там он останется наедине с Идриссом и Морелем, без лишнего свидетеля. Юноша отер лицо рукавом, с яростью внушая себе, что решение принято, что все будет очень просто: пулеметная очередь, и Морель навсегда уйдет в область легенды. Станет героем борьбы африканцев за национальную независимость, тем, на кого всегда можно сослаться, не боясь быть опровергнутым. Его именем будут пользоваться на собраниях и митингах, вызывая энтузиазм и чувство общности у людей, стоя аплодирующих герою, который уже не появится и не начнет талдычить о нелепых слонах. Он навсегда останется первым белым, отдавшим жизнь за независимость черных. Он уже не сможет возражать, внезапно выступить и громко, упрямо заявить, что защищает прежде всего и главным образом свои представления о человеческом достоинстве. Наконец-то станет возможно, ничем не рискуя, использовать имя Мореля в практических целях, добиваться нужного результата, придавая этому имени тот резонанс, какой будет полезен. Не опасаться, что этот улыбчивый идиот вдруг вынырнет откуда-то, примется стучать кулаком и выкрикивать свои смехотворные истины. Не опасаться, что он когда-нибудь вскочит на одном из собраний, со своим портфелем, набитым петициями, тряхнет растрепанными кудрями вечного вояки, стукнет по столу и разом сведет на нет все усилия, закричит:

«Со мной просто: я защищаю природу. . . Называйте как хотите: свободой, достоинством, человечностью. . . Я тружусь на благо друзей человека. Нас еще в школе учили тому, что под этим подразумевается. А на остальное мне наплевать». Пока он жив, этот олух всегда будет помехой. Юсеф настолько отчетливо это понял, проведя в компании Мореля больше года, настолько хорошо изучил его несравненную манию, что, право же, ему оставалось только убить француза, а то еще переймешь заразу, прочувствуешь то спокойное доверие, которое он к тебе питает. Тем более что пятнадцать лет, проведенные в школах и университете твоих врагов, даром не проходят; в конце концов в тебя понемножку проникают те яды, которые они так ловко подмешивают. Цель не оправдывает средств. . . Человеческая свобода, которую надо уважать, каковы бы ни были твои убеждения и сурова борьба. . . Пусть ты догадываешься, что это только слова, либеральные пережитки другой эпохи, несовместимые с ходом исторического прогресса и классовой борьбы, все равно трудно от них отмахнуться, отсечь одной пулеметной очередью, при том воспитании, какое ты получил. И больше всего Юсефа злило, что, когда Морель оборачивался и смотрел на дуло пулемета, возникало впечатление, что его не проведешь, что он знает. Глаза Мореля загорались насмешливым блеском, во взгляде читался чуть ли не вызов, характерный для его безумия, и он словно говорил: «А я держу пари, что ты этого не сделаешь». Это было просто невыносимо: чудилось, будто Морель вступил с тобой в тайную борьбу, которую несомненно выиграет, потому что он в тебя верит. Юсефа так и подмывало крикнуть, что он такое, оскорбить его, даже ударить, раз навсегда лишит этой дурацкой веры в людей, которую Морель носит в себе, растолковать, что для него, Юсефа, нет ничего выше африканской независимости, никакой другой цели, никаких других соображений, другого достоинства и что для достижения этой цели хороши любые средства. Но если надо убить человека, который так тебе доверяет и с таким упорством верит в чистоту человеческих рук, лучше, чтобы он ничего не знал, чтобы он хотя бы мог умереть с незамутненной верой. Борьба, которую Юсеф вел с самим собой, была до того мучительной, что ему иногда хотелось пустить свою лошадь вскачь навстречу отряду солдат и стрелять, пока его не убьют. Лошадь чувствовала беспокойство всадника и становилась на дыбы, поднимая такое облако пыли, что его, вероятно, было видно со встречных грузовиков. Идрисс сердито прикрикнул на Юсефа, замахав руками и тыча указательным пальцем на дорогу. Морель наконец решил:

- Ладно, сейчас или никогда.
- Куда вы? – крикнул Филдс.
- Друзья везде найдутся.

Эйб Филдс кинул на Мореля прощальный взгляд. С виду почти мальчишка: непокрытая голова, кудрявые волосы, лотарингский крестик на груди, насмешливый блеск в глубине карих глаз, ироническая складка губ, в которых, казалось, всегда должна торчать сигарета «Голуаз», привязанный к седлу нелепый портфель вечного воителя, битком набитый брошюрами и воззваниями. Филдса вдруг осенило:

– Обождите! – крикнул он. – Что вы будете делать в джунглях со всей этой писаниной? Прикалывать к деревьям? Оставьте ее мне. Я ею займусь.

– Вот это верно, – сказал Морель. – На, фотограф, поручаю тебе от всего сердца. . . – Он отвязал портфель и кинул на дорогу. – Храни хорошенько. . . Делай все, что нужно. В один прекрасный день я приду и спрошу с тебя. Привет, товарищ!

Сопровождаемый Идриссом и Юсефом, он направил коня к откосу; втроем они съехали с дороги и углубились в лес. Проедут еще километров двенадцать, и вместо деревьев потянутся бамбуковые заросли, что достигают подножия серых гор Уле, где каменистая земля проросла редкими пучками жесткой травы, а деревни со своими кистеобразными крышами расположились среди нагромождений камней; далее снова, на сто тысяч квадратных километров,

раскинутся заросли бамбука и горная саванна, поросшая слоновой травой, где не страшны никакие облавы. Чуть дальше к югу находится отец Тассен, руководит палеонтологическими раскопками; он хотя и прекращает работы на время сезона дождей, но не откажет им в гостеприимстве, пустит в один из своих пустых барачков. А может быть, согласится помочь и в чем другом. . . Этот ученый, говорят, интересуется всем, что относится к происхождению человека. Можно двинуться и в Камерун, к озеру Чад, попросить убежище у Хааса, он тоже как будто к ним расположен. Но москиты на Чаде не такое уж благо, тем более что наступает пора, когда они особенно лютуют. Во всяком случае есть время осмотреться и решить, – содействие и даже покровительство будут обеспечены. А пока надо отъехать подальше от дороги, это ведь та же дорога, где десять месяцев назад Морель встретился лицом к лицу с начальником Эрбье; он с удовольствием вспоминал честное, возмущенное лицо, лицо человека, который всегда старался сделать все, что в его силах. От усталости тело Мореля стало тяжелым как камень, а когда силы на исходе, воспоминания становятся ярче и неотвязнее. Он подумал о том, что пишут о нем в газетах. Каждый старался приписать ему свои надежды, свое недовольство, свои тайные обиды или свою собственную мизантропию; сколько ни объясняй, все бесполезно, продолжают искать в его поступках какие-то сложные побудительные причины. А между тем все настолько просто! Он никогда не стеснялся высказывать правду вслух. Он любил природу, вот и все. Любил и всегда старался по мере сил оберегать ее. Самой тяжкой из всех, какие он выдержал за свою жизнь, была схватка за майских неукнов. На губах Мореля застыла улыбка, та улыбка, которой так не доверял Эйб Филдс. Он вспоминал ту схватку во всех подробностях, как всегда, тело испытывало боль, и силы, казалось, иссякли, – воспоминания всякий раз помогали справляться с трудностями.

Да, то была самая жестокая схватка в его жизни.

История с майскими жуками произошла в мае, на второй год пребывания в лагере, он был зачинщиком, первый кинулся на помощь насекомым, и с того-то все и началось.

Они тогда работали в карьере Эйпена, на Балтике, таскали мешки с цементом, надрывали спины в услужении у этих новых фараонов, строителей тысячелетнего царства. Шли медленно, вереницей, стараясь не делать ни одного неверного движения, чтобы не свалиться под тяжестью ноши. И политические узники, и уголовники – все подвергались перевоспитанию принудительным трудом по обычаям XX века, в то время как эсэсовцы, морды которых уже обожгло первыми лучами солнца, нежились на травке с цветочками в зубах. Польский пианист Ротштейн; издатель подпольной газеты француз Ревель, у которого борода отрастала необыкновенно быстро, и он до того зарастал шерстью, что становился похож на матрас из конского волоса, а чтобы не обращать внимания на вонь во время чистки сортиров, громко декламировал стихи Малларме; поляк Швабек, который не расставался с измятой фотографией своей свиноматки, получившей первую премию на сельскохозяйственной выставке, и с гордостью ее всем показывал, чтобы не дай Бог не подумали, будто он невесть кто. . . Прево по имени Эмиль, кочегар, железнодорожник, который как-то раз, услышав паровозный гудок, зарыдал в голос. . . Даже Дюран, непременный Дюран любого веселого сборища, который коротал время, рассказывая, как поступит с первым же встреченным после освобождения Шмидтом. . . После освобождения он явился к доктору Шмидту в Эйпене с револьвером в кармане, помешкал, а потом пожал тому руку и ушел. . . Капеллан Жюльен, почти не похудевший за два года в лагере, его даже попрекали тем, что он тайком питается дарами Господа. . . Да и другие, множество других, павших по дороге, чьи имена уже ничего не значат. Вот так они и шли, согнувшись под своей ношей, в то время как охранники наслаждались первым весенним теплом, спустив штаны, чтобы солнце ласкало тело.

И вдруг Морель почувствовал, как что-то ударило его в щеку и упало к ногам; он

осторожно поглядел вниз, стараясь не нарушить равновесия. Это был майский жук.

Насекомое упало на спину и шевелило лапками, тщетно сиюсь перевернуться. Морель остановился и стал пристально разглядывать жука. К этому времени он провел в лагере уже год и три недели подряд таскал по восемь часов в день на пустой желудок мешки с цементом.

Тут было нечто, мимо чего нельзя было пройти. Он согнул колено, удерживая в равновесии мешок на плечах, пальцем поставил неука на лапки. . .

Он проделал это дважды – на пути туда и обратно. Шедший следом Ревель первый понял, что происходит. Он одобрительно крякнул и тут же нагнулся, чтобы помочь очередному жуку. Потом к нам присоединился пианист Ротштейн, такой хрупкий, что все его тело казалось столь же тонким, как пальцы. С этой минуты почти все «политические» стали помогать жукам, в то время как уголовники с ругательствами проходили мимо. Все двадцать минут передышки политические старались не поддаваться слабости. А ведь обычно они падали на землю и лежали как мертвые, пока не раздавался свисток. А вот теперь, казалось, обрели новые силы. Бродили, опустив головы, в поисках жуков, которым требовалась помощь. Однако это продолжалось недолго, стоило только появиться сержанту Грюберу. То был не просто зверь, нет. Он был человек образованный. Преподавал до войны в Шлезвиг-Гольштинии. И в одну секунду понял, что к чему. Почуял врага. Скандальную провокацию, проявление символа веры, утверждение собственного достоинства, недопустимое у людей, сведенных к нулю. Да, ему понадобилось не больше секунды, чтобы оценить всю непомерность вызова, кинутого строителям нового мира. Он ринулся в бой. Сначала набросился на узников, которых сопровождали охранники, не очень-то понимавшие, что происходит, но всегда готовые бить. Они принялись дубасить заключенных прикладами и пинать сапогами, но сержант Грюбер быстро сообразил, что этим бунтовщиков не проймешь. Он сделал нечто, быть может, отвратительное, но в то же время жалкое по своей беспомощности: стал бегать по траве, высматривать жуков и давить тех сапогом. Он бегал взад-вперед, вертелся, подскакивал, поднимая ногу, бил каблуком о землю, словно отплясывал комический танец, едва ли трогательный в своей бессмысленности. Ведь он мог избивать заключенных и давить неуков, но то, что хотел уничтожить, было для него недостижимо, недосыгаемо, бессмертно. В конце концов он это понял, понял, что возложил на себя задачу, какую не в состоянии осуществить никакая армия, никакая полиция, никакое государство. Ведь даже если убить всех людей на Земле, и тогда, может быть, от них остался бы след, – улыбка природы. Он, конечно, заставил заключенных дорого заплатить за свою победу. Приказал «вкалывать» лишних два часа, которые как раз и являли разницу между крайним напряжением человеческих сил и тем, что не под силу. Вечером они спрашивали себя, смогут ли вынести такую непомерную муку, останутся ли у них силы на завтра. Особенно слаб был Ротштейн. Он рухнул поперек нар и так лежал. Хотелось наклониться, перевернуть его на спину, как жука. Помочь улететь. Но в том не было нужды. Он каждый вечер улетал сам.

– Эй, Ротштейн! Ротштейн!

– Да. . .

– Ты еще живой?

– Да. Не мешайте. Я даю себе концерт.

– Что ты играешь?

– Иоганна Себастьяна Баха.

– С ума сошел! Он ведь немец!

– Вот именно. Потому и играю. Чтобы восстановить равновесие. Нельзя, чтобы Германия всегда лежала на спине. Надо помочь ей перевернуться.

– Все мы лежим на спине, – пробурчал Ревель. – С самого рождения.

- Помолчи. А то я не слышу, что играю.
- Много народа сегодня?
- Хватает.
- И красивые женщины?
- Сегодня нет. Сегодня я играю для сержанта Грюбера.

В своем углу застонал силезец Отто. Ему снился сон. Они знали, что сон всегда один и тот же: Отто убил вдову, которую хотел ограбить, и каждую ночь видел во сне, что она показывает ему язык. Отто подскочил и проснулся.

- Immer die alte Schickse!\* – прорычал он.
- Странно, что она всегда показывает тебе язык, – проговорил Эмиль.
- Чего тут странного? Я ведь ее задушил.
- А, понятно, – сказал Эмиль. – В тот день, когда увидишь задницу, значит, она тебя простила.

Через вентиляционную щель была видна сторожевая вышка с нацеленным вниз пулеметом.

- Эй, ребята, что будем делать завтра, если жуки снова посыпятся?
- Надо надеяться, что больше они падать не будут, – сказал отец Жюльен.
- Ну нет! – отозвался Ревель. – Я-то надеюсь, что будут. Тогда, по крайней мере, можно излить душу. Это приятно.
- Ну знаешь! – возразил Эмиль. – Погляди на Ротштейна.
- Слушай, кюре!
- Что?
- Твой боженька, на что он смотрит?
- К чертовой матери, – сказал отец Жюльен. – Оставь Бога в покое. Что ему тут делать?
- Ничего, как обычно.
- Может, он тоже упал на спину. . . шевелит лапками и не в силах подняться.
- К чертовой матери! – выругался в сердцах капеллан.
- Ну и выражение для духовного лица!
- Какие тут духовные лица. . .
- Эмиль!
- Да?
- Ты коммунист?
- Да.
- Тогда чего же ты надрываешься из-за каких-то жуков? Разве это по-марксистски?
- Имеешь право иногда поступать как хочется.
- Эмиль!
- Что?
- Ты коммунист?
- Ну да. Отстань.
- Ты что, думаешь, в Советской России, в концлагере тебе позволили бы терять время, переворачивать майских жуков?
- Конечно, нет.
- Так что же?
- В России нет концлагерей.
- Ну да, конечно.
- Бедолаги мы. . .

---

\*Всегда эта старая жидовка! (нем.).



- Лично я никак не пойму, почему они всегда падают на спину.
  - Такая у них природа. А мы-то почему здесь?
  - Вот это еще надо прояснить.
  - Что именно?
  - Этот фокус природы.
  - Тебе его разъяснят, не бойся.
  - Эмиль!
  - Ну что еще?
  - Почему ты помогаешь жукам?
  - Из христианского милосердия, понятно?
  - Молодец, – сказал отец Жюльен.
  - А ты, кюре, помолчи. Тебе больше веры нет. Ты себя уронил. Лучше помалкивай.
  - Верно, – заметил кто-то. – Да неужто он нам не мог подсобить, твой боженька? Какой же от него толк?
  - Послушайте, ребята, я же делаю все, что могу! – воскликнул отец Жюльен.
  - Ну да, ну да.
  - Вы мне не верите?
  - Верим, верим.
  - А все же он мог нас выручить. Мы же валяемся на спине, разве он не видит?
  - Клянусь, я делаю все, что могу, – повторил отец Жюльен.
  - Даже мы и то стараемся что-то сделать для неукров.
  - Да ладно, чихали вы на этих жуков, – сказал отец Жюльен. – Вы поступаете так из гордыни. Если бы не концлагерь, шагали бы по этим жукам и даже не заметили бы, что они существуют. Все идет из головы, а не из сердца. Дохнете от гордыни, и все. . .
  - Это не гордыня, – возразил кто-то едва слышно. – Это другое. . .
  - Юсеф!
  - Да, муссие.
  - Брось ты свое «муссие». Уже не надо. Я все знаю.
- Они держали лошадей под уздцы, находясь в глухой чаще, под колючими кустарниками, что прикрывали их своими ветками; над головами желтел бамбук; один стоял, выпрямившись, с пулеметом на изготовку, другой сидел на камне, погрузившись в воспоминания и улыбаясь, высокомерный и такой уверенный в себе, что понять его было невозможно. . . Грузовиков уже не было слышно, кругом царил тишина, безумствовали одни насекомые. Юсеф видел спину Мореля, которая, казалось, ждала выстрела, а иногда, когда тот поворачивал голову, и чуть насмешливый профиль под порыжелой, рваной фетровой шляпой. Идрисс ушел искать проход сквозь чащу, и они остались вдвоем под желтым отсветом бамбука.
- Ну, чего ты ждешь? Валяй.
- Залитое потом лицо студента было почти тупым, ничего не выражало. Ему пришлось сделать огромное усилие, чтобы проглотить ком в горле.
- Как вы узнали?
- . . . Ночью в пустыне на песке зашевелилась белая фигура; Морель остановился над спящим юношей. В голубоватом полумраке лицо Юсефа было серьезным и даже печальным. Потом губы дрогнули, произнесли несколько слов; Морель долго стоял, не двигаясь, глядя на непокорную голову, которую даже во сне мучило обретение опоры, которой всегда жаждет человек.
- Ты говорил во сне по-французски. . .

– Что я сказал?

Морель отвел глаза. Посмотрел вдаль, его взгляд не так-то легко было поймать.

– Что-то насчет человеческого достоинства. . .

Он повернулся к юноше с той спокойной улыбкой, которая исходила больше от доброты глаз, чем от иронической складки губ.

– Так кто же ты на самом деле?

– Меня зовут Юсеф Ланото, и я три года проучился на юридическом факультете в Париже.

– А потом?

– Вайтари приставил меня к вам, чтобы я вас стерег.

– Это было очень любезно с его стороны.

– Нельзя, чтобы вы попали живым в руки властей. Вы бы и там утверждали, будто единственная цель ваших поступков – защита слонов. . .

– Но ведь это правда.

– После Сионвилля вас приговорили к смерти. Вы злоупотребили нашей помощью, скрыли подлинные политические цели нашего движения. . . Раньше привести в исполнение приговор было невозможно из-за американского журналиста.

– Понятно.

– Я должен был вас убить, когда он уедет. Когда мы останемся одни. . .

– Ну что же, значит, теперь, – сказал Морель.

– Да, теперь. . . – Голос Юсефа был полон горечи. . . – Потом вас изобразят перед всем миром героем, отдавшим жизнь за независимость Африки.

Морель слегка наклонил голову. Его губы сжались еще плотнее, челюсти набрякли, лицо снова приняло упрямое выражение.

– Здорово, ничего не скажешь! Только вы дали маху. Со мной такие штучки не пройдут. Говоришь, национальные интересы? Знаем, слышали, меня от них тошнит, навидался – у Гитлера, у Насера. . . Самые большие кладбища слонов – у них. Но если желаете выполнять работенку сами – не возражаю. Меня это устраивает. Только делайте. Будь то вы или мы, желтые или черные, синие, красные или белые, мне все равно. Я всегда буду с ними. Но при одном условии. Для меня ведь важно только одно. . . – В голосе его вдруг зазвучала злость. – Я хочу, чтобы уважали слонов.

– Знаю, – тихо сказал Юсеф.

Морель снова взглянул на дуло пулемета. Почти с надеждой: ему так хотелось немножко передохнуть, прежде чем идти дальше. Это была минутная усталость, ничего больше, и стыдиться не приходилось.

– Короче говоря, ты должен был меня пристрелить, – сказал он с оттенком сожаления. – Интересно, что же тебе помешало? Да, впрочем, не поздно. . . Пожалуй, момент лучше не придумаешь.

– Я не собираюсь этого делать.

– Да ну? Почему же?

Юсеф поглядел на него с любовью. Перед ним стоял человек, которого надо беречь, неотразимое доверие которого надо оправдать и беречь, как последний перл творения. . .

– Думаю, наши дороги пока не расходятся, – сказал он.

Эйб Филдс стоял посреди дороги, уставившись на кожаный портфель. Тот, набитый воззваниями и прокламациями, полный неоправданных надежд, валялся в дорожной пыли. . . Филдс нагнулся и поднял портфель. Ерунда все это, – подумал он, пытаясь цинично хихикнуть, чтобы пересилить душевную боль. – Нужны вовсе не манифесты и петиции, а важные

биологические открытия, по авторитетным отзывам, там как будто дело идет на лад. Научный советник при английском правительстве, – он ведь лицо официальное, – сделал недавно крайне оптимистическое заявление. Этот видный деятель утверждал, будто медленное накопление радиоактивности вследствие применения атомной энергии через длительный отрезок времени безусловно повлияет на гены, в результате чего среди новорожденных будет около девяноста процентов кретинов, а может быть, и десять процентов гениев, которые, в свою очередь, распахнут перед человечеством дверь в эру прогресса и благосостояния. Эйб Филдс воспрянул духом и даже захохотал. Сжимая в руке портфель, он повернулся к немке. Та рыдала» глядя на заросли, в которых скрылся Морель со своими двумя спутниками. Эйб Филдс взял ее за руку.

– Wein nicht\*, – сказал он ей на идише, думая, что говорит по-немецки. – Ты же знаешь, с ним ничего не может случиться.

Иезуит с утра ехал до просеке у подножия горы; он возвращался к себе с легким сердцем, готовясь провести еще один сезон на месте раскопок, наедине со своими мыслями и рукописями; да и орден предпочитал, чтобы он находился в недрах африканских джунглей, а не в Европе. А он ничуть не страдал от изгнания, ибо вел постоянную переписку с полудюжиной людей, чьи имена озаряли эпоху и чьи мысли, порой совсем отличные от его собственных, давали отцу Тассену бесценные доказательства от противного. К усталости от бессонной ночи примешивалась другая, более давняя, с которой труднее было справиться, она немного печалила иезуита. Он испытывал живейшее любопытство, смешанное с досадой при мысли, что вскоре расстанется с земным бытием, так и не сумев предугадать грядущие перемены, такие же случайные и не связанные друг с другом, как и эти горы, мимо которых едет с утра. Он был достаточно связан с людьми, чтобы не жалеть, что выходит из игры, не имея возможности присутствовать при самых волнующих ее перипетиях. Всячески пытался подавить властное любопытство, которым сам себя попрекал, считая его лишенным смирения, однако же с возрастом оно неуклонно возрастало, быть может, потому, что с приближением конца каждое явление приобретало для отца Тассена большую остроту. Жалел, что не может привезти из своей поездки более утешительных сведений, но давно выработал в себе терпение, а слишком торопиться не было необходимости. Он вспомнил последние слова, сказанные Сен-Дени при расставании, когда тот стоял возле его лошади; во взгляде священника, казалось, еще горел отблеск лунной ночи. «Поговаривают, отец мой, будто вы укрыли нашего друга в одном из ваших лагерей и что он просто набирается сил для новой борьбы, но я не пойму, почему бы вам проявлять такую симпатию к человеку, желающему возвести себя в главного защитника природы. Как мне кажется, это противоречит всему, что известно о вашем ордене, и даже тому, что вы пишете сами. Если я верно вас прочел, вы не очень-то много ждете от наших потуг и как будто считаете, что милость Всевышнего – тоже всего лишь биологическая мутация, которая может наконец дать человеку органическую способность проявить себя, как он хочет. Если так, то борьба Мореля, его старание возвысить людей, наверно, должны вам казаться тщетными и даже смехотворными; вероятно, те воспоминания, которым мы вместе предавались, только позволили вам получше скоротать ночь... Своими воззваниями, брошюрами, комитетами защиты и партизанщиной Морель, как должно вам казаться, тщился осуществить недостижимую мечту, в одиночку пропеть гимн надежде... Но я не могу допустить подобного скептицизма и предпочитаю верить, что и вы питаете тайную симпатию к этому бунтарю, вбившему себе в голову, что он может вырвать у самого неба какое-то

---

\*Не плачь (нем.).

уважение к нашему роду. В конце концов, мы несколько миллионов лет назад выбрались из тины и кончим тем, что когда-нибудь восторжествуем над жестоким законом, который был нам предписан, потому что наш друг прав: этот закон давно уже пора изменить. И тогда от нашей слабости останется лишь сброшенная на ходу лишняя оболочка».

Иезуит коротко кивнул, – жест, который мог вызвать и внезапный скачок лошади, а может, то был знак согласия. Тонкие, но не злые губы, которые смягчались еле заметной иронической складкой в уголках рта; пронзительный взгляд узких глаз, крупный костистый нос – отец Тассен напоминал обликом бретонского моряка, привыкшего вглядываться в даль. Враги любили вспоминать, что среди предков иезуита были знаменитые морские разбойники, а он не сердился, когда намекали, что в нем течет кровь искателей приключений. Он ведь и сам пережил одно из самых прекрасных и увлекательных приключений, которые выпадают на долю человеку, освобождая его от сомнений и вселяя уверенность в конечное торжество счастья. Он медленно покачивался в седле в такт ходу лошади, иногда быстрым движением поворачивал голову, чтобы посмотреть на горы или на дерево, на причудливое переплетение ветвей, ласкавшее глаз, ибо уже давно предпочитал знак дерева знаку креста. Он улыбался.